

АЗБУКА ВЕРЫ



Приключения Оливера Твиста – Чарльз Диккенс

Художественная литература 2020

Приключения Оливера Твиста - Чарльз Диккенс

Оглавление

Предисловие

Глава I, повествует о месте, где родился Оливер Твист, и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению

Глава II, повествует о том, как рос, воспитывался и как был вскормлен Оливер Твист

Глава III, рассказывает о том, как Оливер Твист едва не поступил на место, которое оказалось бы отнюдь не синекурой

Глава IV. Оливеру предложили другое место, и он впервые выступает на жизненном поприще

Глава V. Оливер знакомится с товарищами по профессии. Впервые побывав на похоронах, он приходит к неблагоприятному выводу о ремесле своего хозяина

Глава VI. Оливер, раздраженный насмешками Ноэ, приступает к действиям и приводит его в немалое изумление

Глава VII. Оливер продолжает бунтовать

Глава VIII. Оливер идет в Лондон. Он встречает на дороге странного молодого джентльмена

Глава IX, содержащая различные сведения о приятном старом джентльмене и его многообещающих питомцах

Глава X. Оливер ближе знакомится с новыми товарищами и дорогой ценой приобретает опыт. Короткая, но очень важная глава в этом повествовании

Глава XI, повествует о мистере Фэнге, полицейском судье, и дает некоторое представление о его способе отправлять правосудие

Глава XII, в которой об Оливере заботятся лучше, чем когда бы то ни, было, а в которой снова повествуется о веселом старом джентльмене и его молодых друзьях

Глава XIII. Понятливый читатель знакомится с новыми лицами; в связи с этим повествуется о разных занимательных предметах, имеющих отношение к этой истории

Глава XIV, заключающая дальнейшие подробности о пребывании Оливера у мистера Браунлоу, а также замечательное пророчество, которое некий мистер Гримуиг изрек касательно Оливера, когда тот отправился исполнять поручение

Глава XV, показывающая, сколь нежно любил Оливера Твиста веселый старый еврей и мисс Нэнси

Глава XVI, повествует о том, что случилось с Оливером Твистом после того, как на него предъявила права Нэнси

Глава XVII. Судьба продолжает преследовать Оливера и, чтобы опорочить его, приводит в Лондон великого человека

Глава XVIII. Как Оливер проводил время в душеспасительном обществе своих почтенных друзей

Глава XIX, в которой обсуждают, и принимают замечательный план

Глава XX, в которой Оливер поступает в распоряжение мистера Уильяма Сайкса

Глава XXI. Экспедиция

Глава XXII. Кража со взломом

Глава XXIII, которая рассказывает о приятной беседе между мистером Бамблом и некоей леди и убеждает в том, что в иных случаях даже бидл бывает не лишен чувствительности

Глава XXIV, трактует о весьма ничтожном предмете. Но это короткая глава, и она может оказаться не лишней в этом повествовании

Глава XXV, которая вновь повествует о мистере Феджине и компании

Глава XXVI, в которой появляется таинственная особа, и происходят многие события, неразрывно связанные с этим повествованием

Глава XXVII, заглаживает неучтивость одной из предыдущих глав, в которой весьма, бесцеремонно покинута некая леди

Глава XXVIII, занимается Оливером Твистом и повествует о его приключениях

Глава XXIX, сообщает предварительные сведения об обитателях дома, в котором нашел пристанище Оливер

Глава XXX, повествует о том, что подумали об Оливере новые лица, посетившие его

Глава XXXI, повествует о критическом положении

Глава XXXII, о счастливой жизни, которая началась для Оливера среди его добрых друзей

Глава XXXIII, в которой счастью Оливера и его друзей неожиданно угрожает опасность

Глава XXXIV, содержит некоторые предварительные сведения о молодом джентльмене, который появляется на сцене, а также новое приключение Оливера

Глава XXXV, повествующая о том, как неудачно окончилось приключение Оливера, а также о не лишенном значения разговоре между Гарри Мэйли и Роз

Глава XXXVI, очень короткая и, казалось бы, не имеющая большого значения в данном месте. Но тем не менее ее должно прочесть как продолжение предыдущей и ключ к той, которая последует в надлежащее время

Глава XXXVII, в которой читатель может наблюдать столкновение, нередкое в супружеской жизни

Глава XXXVIII, содержащая отчет о том, что произошло между супругами Бамбл и мистером Монксом во время их вечернего свидания

Глава XXXIX, выводит на сцену несколько респектабельных особ, с которыми читатель уже знаком, и повествует о том, как совещались между собой достойный Монкс и достойный еврей

Глава XL. Странное свидание, которое является продолжением событий, изложенных в предыдущей главе

Глава XLI, содержащая новые открытия и показывающая, что неожиданность, как и беда, не ходит одна

Глава XLII. Старый знакомый Оливера обнаруживает явные признаки гениальности и становится видным деятелем в столице

Глава XLIII, в которой рассказано, как Ловкий Плут попал в беду

Глава XLIV. Для Нэнси настает время исполнить обещание, данное Роз Мэйли. Она терпит неудачу

Глава XLV. Феджин дает Ноэ Клейполу секретное поручение

Глава XLVI. Свидание состоялось

Глава XLVII. Роковые последствия

Глава XLVIII. Бегство Саймса

Глава XLIX. Монкс и мистер Браунлоу, наконец, встречаются. Их беседа и известие, ее прервавшее

Глава I. Погоня и бегство

Глава II, дающая объяснение некоторых тайн и включающая брачное предложение без всяких упоминаний о закреплении части имущества за женой и о деньгах на булавки

Глава III. Последняя ночь Феджина

Глава IV, и последняя

Примечания

Предисловие

В свое время сочли грубым и непристойным, что я выбрал некоторых героев этого повествования из среды самых преступных и деградировавших представителей лондонского населения.

Не видя никакой причины, в пору писания этой книги, почему подонки общества (поскольку их речь не оскорбляет слуха) не могут служить целям моральным в той же мере, как его пена и сливки, — я дерзнул верить, что это самое «свое время» может и не означать «во все времена» или даже «долгое время». У меня были веские причины избрать подобный путь. Я читал десятки книг о ворах: славные ребята (большой частью любезные), одеты безукоризненно, кошелёк туго набит, знатоки лошадей, держат себя весьма самоуверенно, преуспевают в галантных интригах, мастера петь песни, распить бутылку, сыграть в карты или кости — прекрасное общество для самых достойных. Но я нигде не встречался (исключая — Хогарта^[1]) с жалкой действительностью. Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их жизнь, показать их такими, каковы они на самом деле, — вечно крадутся они, охваченные тревогой, по самым грязным тропам жизни, и куда бы ни взглянули, везде маячит перед ними большая черная страшная виселица, — мне казалось, что изобразить это — значит попытаться сделать то, что необходимо и что сослужит службу обществу. И я это исполнил в меру моих сил.

Во всех известных мне книгах, где изображены подобные типы, они всегда чем-то прельщают и соблазняют. Даже в «Опере нищего»^[2] жизнь воров изображена так, что, пожалуй, ей можно позавидовать: капитан Макхит, окруженный соблазнительным ореолом власти и завоевавший преданную любовь красивейшей девушки, единственной безупречной героини в пьесе, вызывает у слабовольных зрителей такое же восхищение и желание ему подражать, как и любой обходительный джентльмен в красном мундире, который, по словам Вольтера, купил право командовать двумя-тремя тысячами человек и так храбр, что не боится за их жизнь. Вопрос Джонсона, станет ли кто-нибудь вором, потому что смертный приговор Макхиту был отменен, — кажется мне не относящимся к делу. Я же спрашиваю себя, помешает ли кому-нибудь стать вором то обстоятельство, что Макхит был приговорен к смерти и что существуют Пичум и Локит. И, вспоминая бурную жизнь капитана, его великолепную внешность, огромный успех и великие достоинства, я чувствую уверенность, что ни одному человеку с подобными же наклонностями не послужит капитан предостережением и ни один человек не увидит в этой пьесе ничего, кроме усыпанной цветами дороги, хоть она с течением времени и приводит почтенного честолюбца к виселице.

В самом деле, Грэй высмеивал в своей остроумной сатире общество в целом и, занятый более важными вопросами, не заботился о том, какое впечатление произведет его герой. То же самое можно сказать и о превосходном, сильном романе сэра Эдуарда Бульвера «Поль Клиффорд»^[3], который никак нельзя считать произведением, имеющим отношение к затронутой мною теме;

автор и сам не ставил перед собой подобной задачи.

Какова же изображенная на этих страницах жизнь, повседневная жизнь Вора? В чем ее очарование для людей молодых и с дурными наклонностями, каковы ее соблазны для самых тупоумных юнцов? Нет здесь ни скачек галопом по вересковой степи, залитой лунным светом, ни веселых пирушек в уютной пещере, нет ни соблазнительных нарядов, ни галунов, ни кружев, ни ботфорт, ни малиновых жилетов и рукавичек, нет ничего от того бахвальства и той вольности, какими с незапамятных времен приукрашивали «большую дорогу». Холодные, серые, ночные лондонские улицы, в которых не найти пристанища; грязные и вонючие логовища — обитель всех пороков; притоны голода и болезни; жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплются, — что в этом соблазнительного?

Однако иные люди столь утонченны от природы и столь деликатны, что не в силах созерцать подобные ужасы. Они не отворачиваются инстинктивно от преступления, нет, но преступник, чтобы прийти им по вкусу, должен быть, подобно кушаньям, подан с деликатной приправой. Какой-нибудь Макарони в зеленом бархате — восхитительное создание, ну а такой в бумазейной рубахе невыносим! Какая-нибудь миссис Макарони^[4] — особа в короткой юбочке и маскарадном костюме — заслуживает того, чтобы ее изображали в живых картинах и на литографиях, украшающих популярные песенки; ну а Нэнси — существо в бумажном платье и дешевой шали — недопустима! Удивительно, как отворачивается Добродетель от грязных чулок и как Порок, сочетаясь с лентами и ярким нарядом, меняет, подобно замужним женщинам, свое имя и становится Романтикой.

Но одна из задач этой книги — показать суровую правду, даже когда она выступает в обличье тех людей, которые столь превознесены в романах, а посему я не утаил от своих читателей ни одной дырки в сюртуке Плута, ни одной папильотки в растрепанных волосах Нэнси. Я совсем не верил в деликатность тех, которым не под силу их созерцать. У меня не было ни малейшего желания завоевывать сторонников среди подобных людей. Я не питал уважения к их мнению, хорошему или плохому, не добивался их одобрения и не для их развлечения писал.

О Нэнси говорили, что ее преданная любовь к свирепому грабителю кажется неестественной. И в то же время возражали против Сайкса, — довольно непоследовательно, как смею я думать, — утверждая, будто краски сгущены, ибо в нем нет и следа тех искупающих качеств, против которых возражали, находя их неестественными в его любовнице. В ответ на последнее возражение замечу только, что, как я опасаюсь, на свете все же есть такие бесчувственные и бессердечные натуры, которые окончательно и безнадежно испорчены. Как бы там ни было, я уверен в одном: такие люди, как Сайкс, существуют, и если пристально следить за ними на протяжении того же периода времени и при тех же обстоятельствах, что изображены в романе, они не обнаружат ни в одном своем поступке ни малейшего признака добрых чувств. То ли всякое, более мягкое человеческое чувство в них умерло, то ли заржавела струна, которой следовало коснуться, и трудно ее найти — об этом я не берусь судить, но я уверен, что дело обстоит именно так.

Бесполезно спорить о том, естественны или неестественны поведение и характер девушки, возможны или невозможны, правильны или нет. Они — сама правда. Всякий, кто наблюдал эти печальные тени жизни, должен это знать. Начиная с первого появления этой жалкой несчастной девушки и кончая тем, как она опускает свою окровавленную голову на грудь грабителя, здесь нет ни малейшего преувеличения или натяжки. Это святая правда, ибо эту правду Бог оставляет в душах развращенных и несчастных; надежда еще тлеет в них; последняя чистая капля воды на дне заросшего тиной колодца. В ней заключены и лучшие и худшие стороны нашей природы — множество самых уродливых ее свойств, но есть и самые

прекрасные; это — противоречие, аномалия, кажущиеся невозможными, но это — правда. Я рад, что в ней усомнились, ибо, если бы я нуждался в подтверждении того, что эту правду нужно сказать, последнее обстоятельство вдохнуло бы в меня эту уверенность.

В тысяча восемьсот пятидесятом году один чудак-олдермен во всеуслышание заявил в Лондоне, что острова Джекоба нет и никогда не было. Но и в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году остров Джекоба (по-прежнему место незавидное) продолжает существовать, хотя значительно изменился к лучшему.

Глава I, повествует о месте, где родился Оливер Твист, и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению

Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно — работный дом^[5]. И в этом работном доме родился, — я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае на данной стадии повествования, — родился смертный, чье имя предшествует началу этой главы.

Когда приходский врач^[6] ввел его в сей мир печали и скорбей, долгое время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получить какое бы то ни было имя; по всей вероятности, эти мемуары никогда не вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли бы не более двух-трех страниц и благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и правдивый образец биографии из всех сохранившихся в литературе любого века или любой страны.

Хотя я не склонен утверждать, что рождение в работном доме само по себе самая счастливая и завидная участь, какая может выпасть на долю человека, тем не менее я полагаю, что при данных условиях это было наилучшим для Оливера Твиста. Потому что весьма трудно было добиться, чтобы Оливер Твист взял на себя заботу о своем дыхании, а это занятие хлопотливое, хотя обычай сделал его необходимым для нашего безболезненного существования. В течение некоторого времени он лежал, задыхающийся, на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим и решительно склоняясь в пользу последнего. Если бы на протяжении этого короткого промежутка времени Оливер был окружен заботливыми бабушками, встревоженными тетками, опытными сиделками и премудрыми докторами, он неизбежно и, несомненно был бы загублен. Но так как никого поблизости не было, кроме нищей старухи, у которой голова затуманилась от непривычной порции пива, и приходского врача, исполнявшего свои обязанности по договору, Оливер и Природа вдвоем выиграли битву. В результате Оливер после недолгой борьбы вздохнул, чихнул и возвестил обитателям работного дома о новом бремени, ложившемся на приход, испустив такой громкий вопль, какой только можно было ожидать от младенца мужского пола, который три с четвертью минуты назад получил сей весьма полезный дар — голос.

Как только Оливер обнаружил это первое доказательство надлежащей и свободной деятельности своих легких, лоскутное одеяло, небрежно брошенное на железную кровать, зашевелилось, бледное лицо молодой женщины приподнялось с подушки и слабый голос невянятно произнес:

— Дайте мне посмотреть на ребенка — и умереть.

Врач сидел у камина, согревая и потирая ладони. Когда заговорила молодая женщина, он встал и, подойдя к изголовью, сказал ласковее, чем можно было от него ждать:

— Ну, вам еще рано говорить о смерти!

— Конечно, Боже избавь! — вмешалась сиделка, торопливо засовывая в карман зеленую бутылку, содержимое которой она с явным удовольствием смаковала в углу комнаты. — Боже избавь! Вот когда она проживет столько, сколько прожила я, сэр, да произведет на свет тринадцать ребят, и из них останутся в живых двое, да и те будут с нею в работном доме, вот тогда она образумится и не будет принимать все близко к сердцу!.. Подумайте, милая, о том, что значит быть матерью! Какой у вас милый ребеночек!

По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку.

Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными, бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад... и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении. Но этого она давно уже не ведала.

— Все кончено, миссис Тингами! — сказал, наконец, врач.

— Да, все кончено. Ах, бедняжка! — подтвердила сиделка, подхватывая пробку от зеленой бутылки, упавшую на подушку, когда она наклонилась, чтобы взять ребенка. — Бедняжка!

— Вам незачем посылать за мной, если ребенок будет кричать, — сказал врач, медленно натягивая перчатки. — Очень возможно, что он окажется беспокойным. В таком случае дайте ему жидкой каши. — Он надел шляпу, направился к двери и, приостановившись у кровати, добавил: — Миловидная женщина... Откуда она пришла?

— Ее принесли сюда вчера вечером, — ответила старуха, — по распоряжению надзирателя. Ее нашли лежащей на улице. Она пришла издалека, башмаки у нее совсем истоптаны, но откуда и куда она шла — никто не знает.

Врач наклонился к покойнице и поднял ее левую руку.

— Старая история, — сказал он, покачивая головой. — Нет обручального кольца... Ну, спокойной ночи!

Достойный медик отправился обедать, а сиделка, еще раз приложившись к зеленой бутылке, уселась на низкий стул у камина и принялась облачать младенца.

Каким превосходным доказательством могущества одеяния явился юный Оливер Твист! Закутанный в одеяло, которое было доселе единственным его покровом, он мог быть сыном дворянина и сыном нищего; самый родовитый человек едва ли смог бы определить подобающее ему место в обществе. Но теперь, когда его облачили в старую коленкоровую рубашонку, пожелтевшую от времени, он был отмечен и снабжен ярлыком и сразу занял свое место — приходского ребенка, сироты из работного дома, смиренного колодного бедняка, проходящего свой жизненный путь под градом ударов и пощечин, презираемого всеми и нигде не встречающего жалости.

Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче.

Глава II, повествует о том, как рос, воспитывался и как был вскормлен Оливер Твист

В течение следующих восьми или десяти месяцев Оливер был жертвой системы вероломства и обманов. Его кормили из рожка. О голодном малютке-сироте, лишенном самого необходимого, власти работного дома доложили надлежащим образом приходским властям. Приходские власти с достоинством запросили властей работного дома о том, нет ли какой-нибудь особы женского пола, проживающей в доме, которая могла бы доставить Оливеру Твисту утешение и питание, столь для него необходимые. На это власти работного дома ответили, что такой особы нет. Тогда приходские власти великодушно и человечно порешили, что Оливера следует поместить «на ферму», или, иными словами, препроводить его в отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно трех миль, где от двадцати до тридцати других юных нарушителей закона о бедных^[7] копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды, под материнским надзором пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников за семь с половиной пенсов с души. Семь с половиной пенсов в неделю — недурная сумма на содержание ребенка; немало можно приобрести на семь с половиной пенсов — вполне достаточно, чтобы переполнить желудок и вызвать неприятные последствия. Пожилая особа женского пола была человеком разумным и опытным — она знала, что идет на пользу детям. И она в совершенстве постигла, что идет на пользу ей самой. Поэтому большую часть еженедельной стипендии она оставляла себе, а подрастающему приходскому поколению уделяла значительно меньшую долю, чем та, которая была ему назначена. Иными словами, она открыла в бездонных глубинах еще большую глубину, проявив себя великим философом.

Всем известна история другого философа, который измыслил знаменитую теорию о том, что лошадь может существовать без пищи, И он успешно доказал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую его собственной лошадью, до одной соломинки; несомненно он сделал бы ее чрезвычайно горячим и резвым животным, если бы она не пала за сутки до того дня, как ей предстояло перейти на отменную порцию воздуха. К несчастью для экспериментальной философии той женщины, чьим заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же результатам обычно приводило применение ее системы; потому что в ту самую минуту, когда дитя научалось поддерживать в себе жизнь ничтожной долей самой непитательной пищи, по превратности судьбы, в восьми с половиной случаях из десяти, оно или заболело от голода и холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной мир, чтоб там соединиться со своими родителями, коих он не ведал в этом.

Иной раз, когда производилось особо строгое следствие о приходском ребенке, за которым недосмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого неумышленно обварили насмерть во время стирки белья — впрочем, последнее случалось не часто, ибо все хоть сколько-нибудь напоминающее стирку было редким событием на ферме, — присяжным иной раз приходило в голову задавать неприятные вопросы, а прихожане возмущались и подписывали протест. Но эти дерзкие выступления тотчас же пресекались в корне после показания врача и свидетельства бидла^[8]; первый всегда вскрывал труп и ничего в нем не находил — это было в высшей степени правдоподобно, а второй неизменно показывал под присягой все, что было угодно приходу, — это было в высшей степени благочестиво. Вдобавок, члены совета регулярно посещали ферму и накануне всегда посылали бидла известить о своем прибытии. Когда они приезжали, дети были милы и опрятны, а можно ли требовать большего!

Нельзя ожидать, чтобы такая система воспитания на ферме давала какой-нибудь необычайный или богатый урожай. И в тот день, когда Оливеру Твисту исполнилось девять лет, он был

бледным, чахлым ребенком, малорослым и несомненно тощим. Но природа заронила добрые семена в грудь Оливера, и они развивались себе на свободе, чему весьма способствовала скудная диета, принятая в учреждении. И, быть может, этому обстоятельству Оливер был обязан тем, что увидел день, когда ему минуло девять лет.

Как бы там ни было, но это был день его рождения, и он проводил его в погребе для угля — в избранном обществе двух юных джентльменов, которые, разделив с ним основательную порку, были посажены под замок за то, что дерзко осмелились заявить, будто они голодны, — как вдруг миссис Манн, славная леди, возглавляющая это учреждение, была потрясена внезапным появлением мистера Бамбла, бидла, который старался открыть калитку в воротах сада.

— Господи помилуй! Это вы, мистер Бамбл? — воскликнула миссис Манн, высовывая голову из окна и искусно притворяясь чрезвычайно обрадованной. — (Сьюзен, приведите наверх Оливера и тех двух мальчишек и сейчас же их вымойте!) Ах, боже мой! Мистер Бамбл, как я рада вас видеть!

Мистер Бамбл был человек дородный и раздражительный; вместо того чтобы должным образом ответить на это «чистосердечное» приветствие, он отчаянно тряхнул калитку, а затем угостил ее таким пинком, какого можно было ждать только от ноги бидла.

— Ах, боже мой! — вскричала миссис Манн, выбежав из дому, ибо три мальчика были к тому времени доставлены наверх. — Подумать только! Как же это я могла позабыть о том, что из-за наших милых ребят калитка заперта изнутри! Войдите, сэр, прошу вас, войдите, мистер Бамбл, войдите, сэр!

Хотя это приглашение сопровождалось реверансом, который мог растрогать сердце церковного старосты, оно отнюдь не смягчило бидла.

— Неужели, миссис Манн, вы считаете почтительным или пристойным, — осведомился мистер Бамбл, сжимая свою трость, — заставлять приходских должностных лиц ждать у садовой калитки, когда они являются сюда по приходским делам, связанным с приходскими сиротами? Известно ли вам, миссис Манн, что вы, так сказать, выборное лицо прихода и получаете жалованье?

— Право же, мистер Бамбл, я только сообщила кое-кому из наших милых деток, которые вас так любят, что это вы пришли, — с большим смирением ответила миссис Манн.

Мистер Бамбл был высокого мнения о своем ораторском даровании и о своей значительности. Он выказал первое и утвердил второе. Он смягчился.

— Ладно, миссис Манн, — ответил он более спокойным тоном, — быть может, и так. Войдемте в дом, миссис Манн. Я пришел по делу и должен вам кое-что сообщить.

Миссис Манн ввела бидла в маленькую гостиную с кирпичным полом, подала ему стул и услужливо положила перед ним на стол его треуголку и трость. Мистер Бамбл вытер со лба пот, выступивший после прогулки, бросил самодовольный взгляд на треуголку и улыбнулся. Да, он улыбнулся. Бидлы в конце концов тоже люди, и мистер Бамбл улыбнулся.

— А теперь не обижайтесь на то, что я вам скажу, — заметила миссис Манн с чарующей любезностью. — Вы совершили, знаете ли, большую прогулку, иначе я бы не стала об этом упоминать. Мистер Бамбл, не выпьете ли вы капельку?..

— Ни капли! Ни капли! — сказал мистер Бамбл, махнув правой рукой с достоинством, но

благодарно.

— Я думаю, все-таки можно выпить, — сказала миссис Манн, отметив про себя тон отказа и жест, его сопровождавший. — Одну капельку, и немножко холодной воды и кусочек сахара.

Мистер Бамбл кашлянул.

— Только одну капельку, — убеждала миссис Манн.

— Капельку чего именно? — осведомился бидл.

— Того самого, что я обязана держать в доме для милых малюток, чтобы подбавлять в эликсир Даффи^[9], когда они нездоровы, мистер Бамбл, — ответила миссис Манн, открывая буфет и доставая бутылку и стакан. — Это джин. Я не хочу вас обманывать, мистер Бамбл. Это джин.

— Вы даете детям Даффи, миссис Манн? — спросил Бамбл, следя глазами за интересной процедурой приготовления смеси.

— Да благословит их Бог, даю, хотя это и дорого стоит, — ответила воспитательница. — Знаете ли, сэр, я не могу видеть, как они страдают у меня на глазах.

— Вот именно, — одобрительно сказал мистер Бамбл, — не можете. Вы добрая женщина, миссис Манн. — Она поставила стакан на стол. — Я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы доложить об этом совету, миссис Манн. — Он придвинул к себе стакан. — У вас материнские чувства, миссис Манн. — Он размешал джин с водой. — Я... я с удовольствием выпью за ваше здоровье, миссис Манн.

И он залпом выпил полстакана.

— А теперь к делу, — продолжал бидл, доставая кожаный бумажник. — Ребенку Твисту, которого окрестили Оливером, исполнилось сегодня девять лет.

— Да благословит его Бог! — вставила миссис Манн, докрасна растирая себе левый глаз кончиком передника.

— И, несмотря на предложенную награду в десять фунтов, которая затем была увеличена до двадцати фунтов, несмотря на чрезвычайные и, я бы сказал, сверхъестественные усилия со стороны прихода, — продолжал Бамбл, — нам так и не удалось узнать, кто его отец, а также местожительство, имя и звание его матери.

Миссис Манн с изумлением воздела руки, но после недолгого раздумья спросила:

— Как же тогда он вообще получил какую-то фамилию?

Бидл горделиво выпрямился и сказал:

— Это я придумал.

— Вы, мистер Бамбл?

— Я, миссис Манн. Мы даем фамилии нашим питомцам в алфавитном порядке. Последний был на букву С — я его назвал Суобл. Этот был на букву Т — его я назвал Твист. Следующий будет Унуин, а затем Филиппе. Я придумал фамилии до конца алфавита и, когда мы дойдем до буквы

Z, снова начну с начала.

— Да ведь вы настоящий писатель, сэр! — воскликнула миссис Манн.

— Ну-ну! — сказал бидл, явно польщенный комплиментом. — Может быть, и так... Может быть, и так, миссис Манн.

Он допил джин с водой и прибавил:

— Так как Оливер теперь подросток и не может оставаться здесь, совет решил отправить его обратно в рабочий дом. Я пришел сам, чтобы отвести его туда. Покажите-ка мне его поскорее.

— Я сейчас же его приведу, — сказала миссис Манн, выходя из комнаты.

Оливер, освободившись к тому времени от того верхнего слоя грязи, покрывавшей его лицо и руки, какой можно было соскрести за одно умывание, — был введен в комнату своей милостивой покровительницей.

— Поклонись джентльмену, Оливер, — сказала миссис Манн.

Оливер отвесил поклон, предназначавшийся как бидлу на стуле, так и треуголке на столе.

— Хочешь пойти со мной, Оливер? — величественно спросил мистер Бамбл.

Оливер готов был сказать, что очень охотно уйдет отсюда с кем угодно, но, подняв глаза, встретил взгляд миссис Манн, которая поместилась за стулом бидла и с разъяренной физиономией грозила ему кулаком. Он сразу понял намек — кулак слишком часто оставлял отпечатки на его теле, чтобы не запечатлеться глубоко в памяти.

— А она пойдет со мной? — спросил бедный Оливер.

— Нет, она не может пойти, — ответил мистер Бамбл. — Но иногда она будет тебя навещать.

Это было не очень большим утешением для мальчика. Однако, как ни был он мал, у него хватило ума притвориться, будто он с большим сожалением покидает эти места. Ему совсем нетрудно было прослезиться, голод и дурное обращение — великие помощники в тех случаях, когда вам нужно заплакать. И Оливер плакал и в самом деле очень натурально. Миссис Манн подарила ему тысячу поцелуев и — в этом Оливер нуждался гораздо больше — кусок хлеба с маслом, чтобы он не показался чересчур голодным, когда придет в рабочий дом.

С ломтем хлеба в руке и в коричневой приходской шапочке Оливер был уведен мистером Бамблом из гнусного дома, где ни одно ласковое слово, ни один ласковый взгляд ни разу не озарили его унылых младенческих лет. И все же детское его горе было глубоко, когда за ним закрылись ворота коттеджа. Как ни были жалки его маленькие товарищи по несчастью, которых он покидал, — это были единственные его друзья. И сознание своего одиночества в великом, необъятном мире впервые проникло в сердце ребенка.

Мистер Бамбл шел большими шагами; маленький Оливер, крепко ухватившись за его обшитый золотым галуном обшлаг, рысцой бежал рядом с ним и через каждую четверть мили спрашивал: «Далеко ли еще?» На эти вопросы мистер Бамбл давал очень короткие и резкие ответы, так как недолговечная приветливость, какую пробуждает в иных сердцах джин с водой, к тому времени испарилась, и он снова стал бидлом.

Оливер пробыл в стенах работного дома не более четверти часа и едва успел покончить со вторым ломтем хлеба, как мистер Бамбл, оставивший его на попечение какой-то старухи, вернулся и, рассказав о происходившем в тот вечер заседании совета, объявил ему, что, по желанию совета, он должен немедленно предстать перед ним.

Не имея достаточно ясного представления о том, что такое совет, Оливер был ошеломлен этим сообщением и не знал, смеяться ему или плакать. Впрочем, ему некогда было об этом раздумывать, так как мистер Бамбл ударил его тростью по голове, чтобы расшевелить, и еще раз по спине, чтобы подбодрить, и, приказав следовать за собой, повел его в большую выбеленную известкой комнату, где сидели вокруг стола восемь или десять толстых джентльменов. Во главе стола восседал в кресле, более высоком, чем остальные, чрезвычайно толстый джентльмен с круглой красной физиономией.

— Поклонись совету, — сказал Бамбл.

Оливер смахнул две-три еще не высохшие слезинки и, видя перед собой стол, по счастью, поклонился ему.

— Как тебя зовут, мальчик? — спросил джентльмен, восседавший в высоком кресле.

Оливер испугался стольких джентльменов, приводивших его в трепет, а бидл угостил его сзади еще одним пинком, который заставил его расплакаться. По этим двум причинам он ответил очень тихо и нерешительно, после чего джентльмен в белом жилете обозвал его дураком, сразу развеселился и пришел в прекрасное расположение духа.

— Мальчик, — сказал джентльмен в высоком кресле, — слушай меня. Полагаю, тебе известно, что ты сирота?

— Что это такое, сэр? — спросил бедный Оливер.

— Мальчик — дурак! Я так и думал, — сказал джентльмен в белом жилете.

— Тише! — сказал джентльмен, который говорил первым. — Тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери и что тебя воспитал приход, не так ли?

— Да, сэр, — ответил Оливер, горько плача.

— О чем ты плачешь? — спросил джентльмен в белом жилете.

И в самом деле — очень странно! О чем мог плакать этот мальчик?

— Надеюсь, ты каждый вечер читаешь молитву, — суровым голосом сказал другой джентльмен, — и молишься — как надлежит христианину — за тех, кто тебя кормит и о тебе заботится?

— Да, сэр, — заикаясь, ответил мальчик.

Джентльмен, говоривший последним, сам того не сознавая, был прав. Оливер и в самом деле был бы христианином и на редкость хорошим христианином, если бы молился за тех, кто *его* кормит и *о нем* заботится. Но он не молился, потому что никто его этому не учил.

— Прекрасно! Тебя привели сюда, чтобы воспитать и обучить полезному ремеслу, — сказал краснолицый джентльмен, сидевший в высоком кресле.

— И завтра же, с шести часов утра, ты начнешь трепать пеньку, — добавил угрюмый джентльмен в белом жилете.

В благодарность за соединение этих двух благодеяний в несложной операции трепанья пеньки Оливер, по указанию бидла, низко поклонился и был поспешно уведен в большую комнату, где на грубой, жесткой кровати он рыдал, пока не заснул. Какая превосходная иллюстрация к милосердным законам Англии! Они разрешают беднякам спать!

Бедный Оливер! Он спал в счастливом неведении, не помышляя о том, что в этот самый день совет вынес решение, которое должно было повлиять на всю его дальнейшую судьбу. Но совет вынес решение. Оно заключалось в следующем.

Члены этого совета были очень мудрыми, проницательными философами, и, когда они, наконец, обратили внимание на работный дом, они тотчас подметили то, чего никогда бы не обнаружили простые смертные, а именно: бедняки любили работный дом! Это было поистине место общественного увеселения для бедных классов; харчевня, где не нужно платить; даровой завтрак, обед, чай и ужин круглый год; рай из кирпича и извести, где все игра и никакой работы! «Ого! — с глубокомысленным видом изрек совет. — Нам-то и надлежит навести порядок. Мы немедленно положим этому конец». И члены совета постановили, чтобы всем бедным людям был предоставлен выбор (так как, разумеется, они никого не хотели принуждать) либо медленно умирать голодной смертью в работном доме, либо быстро умереть вне его стен. С этой целью они заключили договор с водопроводной компанией на снабжение водой в неограниченном количестве и с агентом по торговле зерном на регулярное снабжение овсянкой в умеренном количестве и постановили давать три раза в день жидкую кашу, луковичу дважды в неделю и полбулки по воскресеньям. Они сделали еще очень много мудрых и гуманных распоряжений, касающихся женщин, но их нет необходимости перечислять. Они милостиво согласились давать развод женатым беднякам ввиду больших издержек, сопряженных с бракоразводным процессом в Докторс-Коммонс^[10]. И вместо того чтобы заставлять человека содержать семью, как они делали раньше, они отнимали у него семью и превращали его в холостяка! Трудно сказать, сколько просителей из всех слоев общества обратилось бы к ним за пособием, имея в виду эти два последних пункта, если бы оно не было связано с работным домом, но члены совета были люди предусмотрительные и приняли меры против такого осложнения. Пособие было неразрывно связано с работным домом и кашей, и это отпугивало людей.

В течение первого полугодия после появления Оливера Твиста систему применяли вовсю. Сначала она потребовала немалых расходов, ибо счет гробовщика увеличился и приходилось непрерывно ушивать одежду бедняков, которая после одной-двух недель каши висела мешком на их исхудавших телах. Но число обитателей работного дома стало таким же тощим, как и сами бедняки, и совет был в восторге.

Мальчиков кормили в большом зале с кирпичными стенами; в одном конце его находился котел, и из этого котла в часы, назначенные для принятия пищи, надзиратель, надев передник, с помощью одной или двух женщин раздавал кашу. Каждый мальчик получал одну мисочку этого превосходного месива — не больше, за исключением больших праздников, когда он, кроме того, получал две с четвертью унции хлеба. Миски никогда не приходилось мыть. Мальчики скребли их ложками, пока они не начинали снова блестеть; покончив с этой операцией (которая никогда не отнимала много времени, так как ложки были почти такой же величины, как миски), они сидели, впиваясь в котел такими жадными глазами, словно собирались пожрать кирпичи, которыми он был обложен, и занимались тем, что жадно обсасывали себе пальцы в надежде найти крупички каши, случайно на них оставшейся.

Мальчики обычно отличаются прекрасным аппетитом. Оливер Твист и его товарищи на протяжении трех месяцев терпели муки, медленно умирая от недоедания; наконец, они стали такими жадными и так обезумели от голода, что один мальчик, который был рослым для своих лет и не привык к такому положению вещей (его отец содержал когда-то маленькую харчевню), мрачно намекнул товарищам, что, если ему не прибавят миски каши *per diem*, он боится, как бы случайно не съесть ночью спящего с ним рядом тщедушного мальчика. Глаза у него были дикие, голодные, и дети слепо ему поверили. Посоветовались; был брошен жребий, кому подойти в тот вечер после ужина к надзирателю и попросить еще каши. И жребий выпал Оливеру Твисту.

Настал вечер; мальчики заняли свои места. Надзиратель в поварском наряде поместился у котла; его нищие помощники расположились за его спиной. Каша была разлита по мискам. И длинная молитва была прочитана перед скудной едой. Каша исчезла; мальчики перешептывались друг с другом и подмигивали Оливеру, а ближайшие соседи подталкивали его. Он был совсем ребенок, впал в отчаяние от голода и стал безрассудным от горя. Он встал из-за стола и, подойдя с миской и ложкой в руке к надзирателю, сказал, немножко испуганный своей дерзостью:

— Простите, сэр, я хочу еще.

Надзиратель был дюжий, здоровый человек, однако он сильно побледнел. Остолбнев от изумления, он смотрел несколько секунд на маленького мятежника, а затем, ища поддержки, прислонился к котлу. Помощники онемели от удивления, мальчики — от страха.

— Что такое?.. — слабым голосом произнес, наконец, надзиратель.

— Простите, сэр, — повторил Оливер, — я хочу еще.

Надзиратель ударил Оливера черпаком по голове, крепко схватил его за руки и завопил, призывая бидла.

Совет собрался на торжественное заседание, когда мистер Бамбл в великом волнении ворвался в комнату и, обращаясь к джентльмену, восседавшему в высоком кресле, сказал:

— Мистер Лимкинс, прошу прощения, сэр! Оливер Твист попросил еще каши!

Произошло всеобщее смятение. Лица у всех исказились от ужаса.

— Еще каши?! — переспросил мистер Лимкинс. — Успокойтесь, Бамбл, и отвечайте мне вразумительно. Так ли я вас понял: он попросил еще, после того как съел полагающийся ему ужин?

— Так оно и было, сэр, — ответил Бамбл.

— Этот мальчик кончит жизнь на виселице, — сказал джентльмен в белом жилете. — Я знаю: этот мальчик кончит жизнь на виселице.

Никто не опровергал пророчества джентльмена. Началось оживленное обсуждение. Было предписано немедленно отправить Оливера в заточение; а на следующее утро к воротам было приклеено объявление, что любому, кто пожелает освободить приход от Оливера Твиста, предлагается вознаграждение в пять фунтов. Иными словами, вознаграждение в пять фунтов и Оливер Твист были предложены любому мужчине или женщине, которые, занимаясь ремеслом, торговлей или чем-либо иным, нуждались в ученике.

— Никогда и ни в чем, — сказал джентльмен в белом жилете, постучав на следующее утро в ворота и прочитав объявление, — я не был так уверен, как в том, что этот мальчик кончит жизнь на виселице.

Намереваясь показать в дальнейшем, прав или не прав был джентльмен в белом жилете, я не стану лишать занимательности это повествование (полагая, что оно обладает этим качеством) и не осмелюсь намекнуть, ждет ли Оливера Твиста такая страшная смерть, или нет.

Глава III, рассказывает о том, как Оливер Твист едва не поступил на место, которое оказалось бы отнюдь не синекурой

В течение недели после совершения кощунственного и позорного преступления — просьбы о добавочной порции — Оливер сидел взаперти в темной и пустой комнате, куда его заключили по мудрому и милосердному распоряжению совета. На первый взгляд как будто разумно предположить, что если бы он отнесся с должным почтением к предсказанию джентльмена в белом жилете, то раз и навсегда подтвердил бы пророческий дар этого джентльмена, прикрепив один конец носового платка к крюку в стене и повесившись на другом его конце. Однако для совершения этого подвига существовало одно препятствие, а именно: носовые платки, отнесенные к предметам роскоши, были на все грядущие века отторгнуты от носов бедных людей по специальному приказу совета, собравшегося в полном составе, — по приказу, который был скреплен подписями и печатью и торжественно оглашен.

Еще более серьезным препятствием являлись юный возраст и ребяческий нрав Оливера. Он горько проплакал весь день, а когда настала длинная, унылая ночь, он заслонил руками глаза, чтобы не видеть тьмы, и, забившись в угол, постарался уснуть. То и дело он просыпался, приподнимаясь и вздрагивая, и все теснее и теснее прижимался к стене, чувствуя, что холодная, твердая ее поверхность как бы служит ему защитой от одиночества во мраке, его окружающем.

Да не подумают враги «системы», что во время своего одиночного заключения Оливер был лишен упражнений, необходимых для здоровья, лишен при — личного общества и духовного утешения. Что касается упражнений, то стояла чудесная холодная погода и ему разрешалось каждое утро совершать обливание под насосом в обнесенном кирпичной стеной дворе, в присутствии мистера Бамбла, который заботился о том, чтобы он не простудился, и с помощью трости вызывал ощущение теплоты во всем его теле. Что касается общества, то каждые два дня его водили в зал, где обедали мальчики, и там секли при всех для примера и предостережения остальным. А для того чтобы не лишить его духовного утешения, его выгоняли пинками каждый вечер в час молитвы в тот же зал и там разрешали утешать свой дух, слушая общую молитву мальчиков, содержащую специальное дополнение, внесенное по распоряжению совета; в этом дополнении они просили сделать их хорошими, добродетельными, довольными и послушными и избавить от грехов и пороков Оливера Твиста: о последнем в молитве было отчетливо сказано, что он находится под особым покровительством и защитой злых сил и является изделием, выпущенным прямо с фабрики самого дьявола.

Однажды утром, когда Оливер находился в столь же утешительном положении, мистер Гэмфилд, трубочист, шел по Хай-стрит, глубокомысленно обдумывая пути и способы уплатить недоимки по арендной плате, которую его квартирохозяин требовал довольно настойчиво. При самом оптимистическом подсчете своих финансов мистер Гэмфилд никак не мог насчитать пяти фунтов, каковая сумма была ему нужна; придя в некое арифметическое отчаяние, он то

ломал себе голову, то старался проломить ее своему ослу, как вдруг, поравнявшись с работным домом, заметил на воротах объявление.

— Тпру-у, — сказал мистер Гэмфилд ослу.

Осел пребывал в глубокой задумчивости, размышляя, должно быть, о том, суждено ли ему получить одну-две кочерыжки, когда он избавится от двух мешков сажи, которыми была нагружена тележка; поэтому, не расслышав приказания, он продолжал рысцой подвигаться вперед.

Мистер Гэмфилд разразился неистовыми проклятиями, относившимися к ослу и в особенности к его глазам, и, бросившись за ним, нанес ему удар по голове, от которого неизбежно раскололся бы любой череп, кроме ослиного. Затем, схватив осла за узду, он сильно ее дернул, с целью любезно напомнить ему, кто его хозяин, и таким манером повернул его обратно. После этого он еще раз треснул его по голове, чтобы тот не очухался до самого его возвращения. Покончив с этими приготовлениями, он подошел к воротам прочитать объявление.

Заложив руки за спину, у ворот стоял джентльмен в белом жилете, высказавший только что несколько глубоких мыслей в комнате, где заседал совет. Наблюдая маленькую размолвку между мистером Гэмфилдом и ослом, он радостно улыбнулся, когда этот человек подошел прочесть объявление, ибо он сразу угадал, что мистер Гэмфилд — именно такой хозяин, какой нужен Оливеру Твисту. Прочитав бумагу, мистер Гэмфилд тоже улыбнулся, так как ему необходима была именно сумма в пять фунтов; что же касается мальчика, являвшегося придатком к этой сумме, то мистер Гэмфилд, зная, какова пища в работном доме, был уверен, что мальчик окажется очень миниатюрным экземпляром, весьма подходящим для дымоходов. Поэтому он снова прочел по складам объявление от начала до конца и затем, притронувшись в знак почтения к своей меховой шапке, обратился к джентльмену в белом жилете.

— Этот мальчик, сэр, которого приход хочет отдать в ученье... — начал мистер Гэмфилд.

— Да, любезный, — со снисходительной улыбкой отозвался джентльмен в белом жилете. — Что вы о нем скажете?

— Если приход желает, чтобы он обучился приятному ремеслу, доброму почтенному ремеслу трубочиста, — продолжал мистер Гэмфилд, — то могу сказать, что мне нужен ученик и я готов его взять.

— Войдите, — сказал джентльмен в белом жилете.

Мистер Гэмфилд, замешкавшись позади, угостил осла еще одним ударом по голове и еще раз дернул его за узду, предостерегая, чтобы он не убежал во время его отсутствия, а затем последовал за джентльменом в белом жилете в ту комнату, где Оливер впервые увидел этого джентльмена.

— Это скверное ремесло, — сказал мистер Лимкинс, когда Гэмфилд снова заявил о своем желании.

— Случалось, что мальчики задыхались в дымоходах, — произнес другой джентльмен.

— Это потому, что смачивали солому, прежде чем зажечь ее в камине, чтобы заставить мальчика выбраться наружу, — сказал Гэмфилд. — От этого только дым валит, а огня нет! Ну, а от дыму нет никакого толку, он не заставит мальчика вылезти, он его усыпляет, а мальчишке этого только и нужно. Мальчишки — народ очень упрямый и очень ленивый, джентльмены, и

ничего нет лучше славного горячего огонька, чтобы заставить их быстрехонько спуститься. К тому же это доброе дело, джентльмены, потому как, если они застрянут в дымоходе, а им начнешь поджаривать пятки, они изо всех сил стараются высвободиться.

Такое объяснение как будто очень позабавило джентльмена в белом жилете, но веселость эта быстро угасла от взгляда, брошенного на него мистером Лимкинсом. Затем члены совета беседовали между собой в течение нескольких минут, но так тихо, что можно было расслышать только слова: «сокращение расходов», «прекрасно отразится на балансе», «выпустим печатный отчет». Да и эти слова удалось расслышать только потому, что их повторяли очень часто и выразительно.

Наконец, перешептывание прекратилось, и, когда члены совета вернулись на свои места и снова обрели торжественный вид, мистер Лимкинс сказал:

— Мы обсудили ваше предложение и не одобряем его.

— Отнюдь не одобряем, — сказал джентльмен в белом жилете.

— Решительно не одобряем, — добавили остальные члены совета.

Так как мистеру Гэмфилду случилось пострадать от пустячного обвинения в том, что он забил до смерти трех или четырех мальчиков, то у него мелькнула мысль, что члены совета, по какому-то непонятному капризу, вообразили, будто это обстоятельство, не имеющее отношения к делу, должно повлиять на их решение. Правда, это отнюдь не походило на их обычный образ действия, однако, не имея особого желания воскрешать старые слухи, он повертел в руках шапку и медленно отошел от стола.

— Стало быть, вы не хотите отдать его мне, джентльмены? — спросил мистер Гэмфилд, приостановившись у двери.

— Не хотим, — ответил мистер Лимкинс, — ремесло у вас скверное, и мы считаем, что надо снизить предложенную нами премию.

Физиономия мистера Гэмфилда прояснилась; он быстрым шагом подошел к столу и сказал:

— Сколько дадите, джентльмены? Ну-ка! Не обижайте бедного человека. Сколько дадите?

— Я бы сказал, что трех фунтов десяти шиллингов хватит за глаза, — ответил мистер Лимкинс.

— Десять шиллингов сбросить, — вмешался джентльмен в белом жилете.

— Послушайте! — сказал Гэмфилд. — Порешим на четырех фунтах, джентльмены. Порешим на четырех фунтах, и вы избавитесь от него раз и навсегда. Идет?

— Три фунта десять, — твердо повторил мистер Лимкинс.

— Послушайте, джентльмены, разделим разницу пополам, — предложил Гэмфилд. — Три фунта пятнадцать.

— Ни одного фартинга не прибавлю, — был твердый ответ мистера Лимкинса.

— Уж очень вы меня прижимаете, джентльмены, — нерешительно сказал Гэмфилд.

— Ну-ну! Вздор! — сказал джентльмен в белом жилете. — Он стоит того, чтобы его взяли без

всякой премии. Забирайте его, глупый вы человек! Это самый подходящий для вас мальчик. Время от времени его нужно угощать палкой — это пойдет ему на пользу. А его содержание не обойдется дорого, потому что его не закармливали с самого рождения. Ха-ха-ха!

Мистер Гэмфилд хитрым взглядом окинул лица сидевших за столом и, заметив, что они улыбаются, сам начал ухмыляться. Сделка была заключена. Мистеру Бамблу немедленно объявили, что Оливер и его документы должны быть в тот же день препровождены к судье для подписи и утверждения.

Во исполнение этого решения маленького Оливера, крайне удивленного, выпустили из заточения и приказали надеть чистую рубашку. Едва он успел покончить с этим совершенно непривычным гимнастическим упражнением, как мистер Бамбл собственноручно принес ему миску с кашей и праздничную порцию хлеба — две с четвертью унции.

При этом потрясающем зрелище Оливер жалобно заплакал: он подумал, — и это было вполне естественно, — что совет решил убить его для каких-нибудь полезных целей, в противном случае его ни за что не стали бы так откармливать.

— Не плачь, Оливер, а то глаза покраснеют. Ешь свою кашу и будь благодарен! — сказал мистер Бамбл внушительным и торжественным тоном. — Тебя собираются отдать в ученье, Оливер.

— В ученье, сэр? — дрожа, переспросил мальчик.

— Да, Оливер, — сказал мистер Бамбл. — Добрые и милосердные джентльмены, которые заменяют тебе родителей, Оливер, потому что своих у тебя нет, хотят отдать тебя в ученье, поставить на ноги и сделать из тебя человека, хотя это обойдется приходу в три фунта десять шиллингов! Три фунта десять, Оливер! Семьдесят шиллингов... сто сорок шестипенсовиков! И все это для дрянного сироты, которого никто не может полюбить!

Когда мистер Бамбл, устрашающим голосом произнес эту речь, остановился, чтобы перевести дух, слезы заструились по лицу бедного мальчика, и он горько зарыдал.

— Полно, — сказал мистер Бамбл уже не таким торжественным тоном, ибо ему лестно было видеть, какое впечатление производит его красноречие. — Полно, Оливер! Вытри глаза обшлагом куртки и не роняй слез в кашу. Это очень неразумно, Оливер.

И в самом деле это было неразумно, так как в каше и без того было достаточно воды.

По пути к судье мистер Бамбл сообщил Оливеру, что он сейчас должен казаться счастливым и, когда старый джентльмен спросит его, хочет ли он поступить в ученье, ответить, что ему этого очень хочется. Оба предписания Оливер обещал исполнить, тем более что трудно себе представить, как деликатно намекнул мистер Бамбл, какая его постигнет судьба, если он не выполнит того или другого. Когда они явились в камеру судьи, мистер Бамбл запер его одного в маленькой комнатке и приказал ждать здесь, пока он за ним зайдет.

С сильно бьющимся сердцем мальчик ждал около получаса. По прошествии этого времени мистер Бамбл просунул в дверь голову, не украшенную на этот раз треуголкой, и громко сказал:

— Оливер, милый мой, пойдем к джентльменам. — Произнеся эти слова, мистер Бамбл принял мрачный и угрожающий вид и шепотом добавил: — Помни, что я тебе сказал, негодный мальчишка!

Его манера обращения сбивала с толку, и Оливер простодушно заглянул в лицо мистеру Бамблу, но сей джентльмен помешал ему сделать какое бы то ни было замечание и немедленно повел его в смежную комнату, дверь которой была открыта.

Это была просторная комната с большим окном. За конторкой сидели два старых джентльмена с напудренными волосами; один читал газету, другой, вооружившись очками в черепаховой оправе, изучал лежавший перед ним кусок пергамента. Мистер Лимкинс стоял перед конторкой с одной стороны, а мистер Гэмфилд — его лицо было кое-как умыто — с другой; два-три грубоватых на вид человека в высоких сапогах слонялись вокруг.

Старый джентльмен в очках в конце концов задремал над куском пергамента, и, когда мистер Бамбл поставил Оливера перед конторкой, в течение нескольких минут длилось молчание.

— Вот он, этот мальчик, ваша честь, — сказал мистер Бамбл.

Старый джентльмен, который читал газету, приподнял на минуту голову и дернул другого старого джентльмена за рукав, после чего тот проснулся.

— О, это тот самый мальчик? — промолвил старый джентльмен.

— Он самый, сэр, — отвечал мистер Бамбл. — Милый мой, поклонись судье ^[11].

Оливер восторгнулся и отвесил почтительнейший поклон. Рассматривая напудренные волосы судей, он с недоумением размышлял о том, неужели все члены совета так и рождаются с этой белой пылью на голове и потому-то становятся сразу членами совета.

— Ну-с, — сказал старый джентльмен, — полагаю, ему нравится ремесло трубочиста?

— Он без ума от него, ваша честь, — ответил Бамбл и украдкой ущипнул Оливера, давая понять, что лучше ему с этим не спорить.

— И он *хочет* быть трубочистом, не так ли? — спросил старый джентльмен.

— Если бы мы вздумали завтра обучать его какому-нибудь другому ремеслу, он тотчас же сбежал бы, ваша честь, — отвечал Бамбл.

— А этот человек, будущий его хозяин... вы, сэр... вы будете хорошо обращаться с ним... кормить его... и тому подобное, не правда ли, сэр? — сказал старый джентльмен.

— Раз я говорю, что буду, значит буду, — угрюмо ответил мистер Гэмфилд.

— Речь у вас грубоватая, друг мой, но вы производите впечатление честного, прямодушного человека, — сказал старый джентльмен, обратив свои очки в сторону кандидата на премию за Оливера.

Мерзкая физиономия этого кандидата была поистине отмечена клеймом, удостоверявшим его жестокость. Но судья был подслеповат и впадал в детство, и потому вряд ли можно было ожидать, чтобы он подметил то, что подмечали другие.

— Надеюсь, что так, сэр, — сказал мистер Гэмфилд с отвратительной усмешкой.

— Я в этом не сомневаюсь, друг мой, — отозвался старый джентльмен, прочнее водрузив очки на нос и озираясь в поисках чернильницы.

Это был решающий момент в жизни Оливера. Если бы чернильница находилась там, где предполагал ее найти старый джентльмен, он обмакнул бы в нее перо, подписал бумагу и Оливер был бы немедленно уведен. Но так как она стояла под самым его носом, он, разумеется, осмотрев всю конторку, не нашел ее и когда, продолжая поиски, случайно посмотрел прямо перед собой, взгляд его упал на бледное, испуганное лицо Оливера Твиста, который, не обращая внимания на предостерегающие взоры и щипки Бамбла, глядел на отвратительную физиономию своего будущего хозяина со страхом и ужасом, столь нескрываемым, что этого не мог не заметить даже подслеповатый судья.

Старый джентльмен помедлил, положил перо и перевел взгляд с Оливера на мистера Лимкинса, который взял понюшку табаку, стараясь принять беззаботный и независимый вид.

— Мальчик! — сказал старый джентльмен, перегнувшись через конторку.

Оливер вздрогнул при этих словах. Ему можно простить это, потому что голос звучал ласково, а незнакомые звуки пугают людей. Он задрожал всем телом и залился слезами.

— Мальчик, — повторил старый джентльмен, — ты бледен и взволнован. В чем дело?

— Отойдите от него, бидл... — сказал другой судья, отложив газету и с любопытством наклонившись вперед. — А теперь, мальчик, объясни нам, в чем дело. Не бойся.

Оливер упал на колени и, сжав руки, стал умолять, чтобы его отослали обратно в темную комнату... морили голодом... избивали... убили, если это им угодно, но только не отправляли с этим страшным человеком.

— Вот как! — сказал мистер Бамбл, весьма торжественно воздев руки и возведя очи горе. — Вот как! Из всех лукавых и коварных сирот, каких я когда-либо видел, ты, Оливер, самый наглый из наглых.

— Придержите язык, бидл, — сказал второй старый джентльмен, когда мистер Бамбл произнес этот сложный эпитет.

— Прошу прощения, ваша честь, — сказал мистер Бамбл, не веря своим ушам. — Ваша честь изволили обращаться ко мне?

— Да. Придержите язык.

Мистер Бамбл остолбенел от изумления. Бидлу приказано придерживаться язык! Светопреставление!

Старый джентльмен в очках в черепаховой оправе посмотрел на своего коллегу. Тот многозначительно кивнул головой.

— Мы отказываемся утвердить этот договор, — сказал старый джентльмен, отбрасывая в сторону пергамент.

— Н... надеюсь... — заикаясь, начал мистер Лимкинс, — я надеюсь, что, основываясь на показаниях ребенка, ничем не подкрепленных, судьи не придут к тому заключению, будто приходские власти виновны в каком-нибудь недостойном поступке.

— Судьи не обязаны выносить какое бы то ни было заключение по этому вопросу, — резко произнес второй старый джентльмен. — Отведите мальчика обратно в работный дом и

обращайтесь с ним хорошо. По-видимому, он в этом нуждается.

В тот же вечер джентльмен в белом жилете заявил совершенно категорически, что Оливер не только будет повешен, но что его вдобавок приволокут к месту казни в четвертую. Мистер Бамбл мрачно и таинственно покачал головой и выразил желание, чтобы он обратился к добру, после чего мистер Гэмфилд пожелал, чтобы он попал к нему в руки; и хотя мистер Гэмфилд почти во всем соглашался с приходским бидлом, он, по-видимому, решительно с ним разошелся, выразив такое пожелание.

На следующее утро публику снова известили о том, что Оливер Твист сдается внаем и что пять фунтов будут уплачены тому, кто пожелает им владеть.

Глава IV. Оливеру предложили другое место, и он впервые выступает на жизненном поприще

Если молодому человеку из аристократической семьи не могут обеспечить выгодной должности по завещанию, дарственной или купчей, то его принято отправлять в плавание. Подражая столь мудрому и спасительному примеру, члены совета принялись обсуждать, уместно ли будет спровадить Оливера Твиста на какое-нибудь маленькое торговое судно, отправляющееся в превосходный, гибельный для здоровья порт. Это казалось наилучшим из всего, что только можно было с ним сделать: как-нибудь после обеда шкипер, находясь в игривом расположении духа, по всей вероятности, засечет его до смерти или проломит ему череп железным ломом; и та и другая забава являются, как многим известно, излюбленным и повседневным развлечением джентльменов этого рода. Чем дольше члены совета рассматривали данный случай с упомянутой точки зрения, тем больше разнообразных преимуществ открывалось им в задуманном плане; и они пришли к решению, что единственный способ облагодетельствовать Оливера — безотлагательно отправить его в плавание.

Мистера Бамбла послали предварительно навести справки с целью отыскать какого-нибудь капитана, которому нужен кают-юнга, не имеющий друзей, и Бамбл возвращался в работный дом сообщить о результатах своей миссии, как вдруг встретил у ворот мистера Саурбери, приходского гробовщика.

Мистер Саурбери был высоким, сухощавым, ширококостным человеком, в поношенном черном костюме, в заштопанных бумажных чулках тоже черного цвета и таких же башмаках, физиономия его не была от природы предназначена для улыбки, но, в общем, ему не была чужда профессиональная веселость. Походка у него была эластичная, а лицо выражало искреннее удовольствие, когда он подошел к мистеру Бамблу и сердечно пожал ему руку.

— Я снял мерку с двух женщин, умерших сегодня ночью, мистер Бамбл, — сказал гробовщик.

— Вы сколотите себе состояние, мистер Саурбери, — отозвался бидл, запуская большой и указательный пальцы в протянутую ему гробовщиком табакерку; это была искусно сделанная маленькая модель гроба. — Уверяю вас, вы сколотите себе состояние, мистер Саурбери! — повторил мистер Бамбл, дружески похлопав гробовщика тростью по плечу.

— Вы полагаете? — сказал гробовщик таким тоном, как будто он и признавал и оспаривал возможность такого события. — Приходский совет назначил очень низкую цену, мистер Бамбл.

— Да и гробы невелики... — ответил бидл, позволив себе улыбнуться не больше, чем это

подобало важному должностному лицу.

Мистера Саурбери это очень позабавило, что было вполне понятно, и он смеялся долго и неукротимо.

— Ну, что же, мистер Бамбл, — произнес он наконец, — нельзя отрицать, что с тех пор, как введена новая система питания, гробы стали чуточку поуже и пониже, чем в былые времена. Но должны же мы получать какую-то прибыль, мистер Бамбл! Сухое, выдержанное дерево стоит недешево, сэр, а железные ручки пересылают по каналу из Бирмингема.

— Так-то оно так, — сказал мистер Бамбл, — каждое ремесло требует затрат. Конечно, дозвоительно получать честный барыш.

— Разумеется! — подтвердил гробовщик. — И если я не получаю барыша на той или другой статье, ну что ж, к концу концов я свое наверстаю, хи-хи-хи!

— Вот именно, — сказал мистер Бамбл.

— Однако я должен сказать... — продолжал гробовщик, возвращаясь к размышлениям, прерванным бидлом, — однако я должен сказать, мистер Бамбл, что есть одно немаловажное затруднение. Видите ли, чаще всего умирают люди тучные. Те, что были лучше обеспечены и много лет платили налоги, чахнут в первую очередь, когда попадают в работный дом. И разрешите вам сказать, мистер Бамбл, что три-четыре дюйма, превышающие норму, — нешуточная потеря, в особенности если приходится содержать семью, сэр.

Так как мистер Саурбери произнес эти слова с негодованием — вполне простительным — обиженного человека и так как мистер Бамбл почувствовал, что в них кроется нечто, предосудительное для чести прихода, сей последний джентльмен почел нужным заговорить о другом. Мысли его были заняты главным образом Оливером Твистом, и о нем-то он и заговорил.

— Кстати, — сказал мистер Бамбл, — не знаете ли вы кого-нибудь, кому бы нужен был мальчик? Приходский ученик, который в настоящее время является обузой, я бы сказал — жерновом на шее прихода... Выгодные условия, мистер Саурбери, выгодные условия.

С этими словами мистер Бамбл коснулся тростью объявления, висевшего над его головой, и три раза отчетливо ударил по словам «пять фунтов», которые были напечатаны гигантскими буквами романским шрифтом.

— Ах, бог ты мой! — воскликнул гробовщик, схватив мистера Бамбла за обшитый золотым галуном лацкан его шинели. — Да ведь об этом-то я и хотел с вами поговорить! Знаете ли... Боже мой, какая красивая пуговица, мистер Бамбл! Я до сей поры не обращал на нее внимания.

— Да, мне кажется, что она недурна, — промолвил бидл, горделиво бросив взгляд на большие бронзовые пуговицы, украшавшие его шинель. — Штмп тот же, что и на приходской печати: добрый самаритянин, врачующий больного и немощного. Приходский совет преподнес мне эту шинель на Новый год, мистер Саурбери. Помню, я впервые надел ее, чтобы присутствовать на следствии о том разорившемся торговце, который умер в полночь у подъезда.

— Припоминаю, — сказал гробовщик. — Присяжные вынесли решение: «Умер от холода и отсутствия самого необходимого для поддержания жизни», не правда ли?

Мистер Бамбл кивнул головой.

— И они как будто вынесли специальный вердикт, — продолжал гробовщик, — присовокупив, что если бы чиновник по надзору за бедными... [12]

— Вздор! Чепуха! — перебил бидл. — Если бы совет прислушивался к тем глупостям, какие говорят эти невежды присяжные, у него было бы дела по горло.

— Истинная правда, — согласился гробовщик, — по горло.

— Присяжные, — продолжал мистер Бамбл, крепко сжимая трость, ибо такая была у него привычка, когда он сердился, — присяжные — это невежественные, пошлые, жалкие негодяи!

— Верно, — подтвердил гробовщик.

— В философии и политической экономии они смыслят вот сколько! — сказал бидл, презрительно щелкнув пальцами.

— Именно так, — подтвердил гробовщик.

— Я их презираю! — сказал бидл, весь побагровев.

— Я тоже, — присовокупил гробовщик.

— И мне бы только хотелось, чтобы эти независимые присяжные попали к нам в дом на одну-две недельки, — сказал бидл. — Правила и порядок, введенные советом, быстро бы их усмирили.

— Оставим-ка их в покое, — сказал гробовщик.

С этими словами он одобрительно улыбнулся, чтобы умерить нарастающий гнев вознегодовавшего приходского служителя.

Мистер Бамбл снял треуголку, вынул из тульи носовой платок — он разозлился, и пот выступил у него на лбу, — вытер лоб, снова надел треуголку и, повернувшись к гробовщику, сказал более спокойным тоном:

— Ну, так как же насчет мальчика?

— О, знаете ли, мистер Бамбл, — отозвался гробовщик, — я плачу немалый налог в пользу бедных.

— Гм! — сказал мистер Бамбл. — А дальше что?

— А вот что, — ответил гробовщик: — я думал, что если я столько плачу в пользу бедных, то, стало быть, имею право извлечь из них как можно больше, мистер Бамбл. И... и... кажется, я сам возьму этого мальчика.

Мистер Бамбл схватил гробовщика под руку и повел его в дом. Мистер Саурбери в течение пяти минут договаривался с членами совета, и было решено, что Оливер отправится к нему в тот же вечер «на пробу». Применительно к приходскому ученику это означало следующее: если хозяин после короткого испытания убедится, что может, не слишком заботясь о питании мальчика, заставить его изрядно работать, он вправе оставить его у себя на определенный срок

и распоряжаться им по своему усмотрению.

Когда маленького Оливера привели в тот вечер к «джентльменам» и объявили ему, что он сегодня же поступает в услужение к гробовщику, а если он вздумает пожаловаться на свое положение или когда-нибудь вернуться в приход, его отправят в плавание либо прошибут ему голову, — Оливер выказал так мало волнения, что все единогласно признали его закоснелым юным негодяем и приказали мистеру Бамблу немедленно его увести.

Вполне естественно, что члены совета должны были скорее, чем кто-либо другой, прийти в величайшее и добродетельное изумление и ужас при малейших признаках бесчувственности со стороны кого бы то ни было, но в данном случае они несколько заблуждались. Дело в том, что Оливер отнюдь не был бесчувственным; пожалуй, он даже отличался чрезмерной чувствительностью, а в результате дурного обращения был близок к тому, чтобы стать тупым и угрюмым до конца жизни. В полном молчании он принял известие о своем назначении, забрал свое имущество — его не очень трудно было нести, так как оно помещалось в пакете из оберточной бумаги, имевшем полфута длины, полфута ширины и три дюйма толщины, — надвинул шапку на глаза и, уцепившись за обшлаг мистера Бамбла, отправился с этим должностным лицом к месту новых терзаний.

Сначала мистер Бамбл вел Оливера, не обращая на него внимания и не делая никаких замечаний, ибо бидл высоко держал голову, как и подобает бидлу, а так как день был ветреный, маленького Оливера совершенно скрывали полы шинели мистера Бамбла, которые развевались и обнажали во всей красе жилет с лацканами и короткие коричневые плюшевые штаны. Но, приблизившись к месту назначения, мистер Бамбл счел нужным взглянуть вниз и убедиться, что мальчик находится в должном виде, готовый предстать перед новым хозяином; так он и поступил, скроив надлежащую мину, милостивую и покровительственную.

— Оливер! — сказал мистер Бамбл.

— Да, сэр? — тихим, дрожащим голосом отозвался Оливер.

— Сдвиньте шапку на лоб, сэр, и поднимите голову!

Хотя Оливер тотчас же исполнил приказание и свободной рукой быстро провел по глазам, но когда он поднял их на своего проводника, в них блеснули слезинки. Мистер Бамбл сурово посмотрел на Оливера, но у того слезинка скатилась по щеке. За ней последовала еще и еще одна. Ребенок сделал неимоверное усилие, но оно ни к чему не привело. Вырвав у мистера Бамбла свою руку, он обеими руками закрыл лицо и заплакал, а слезы просачивались между подбородком и костлявыми пальцами.

— Вот как! — воскликнул мистер Бамбл, останавливаясь и бросая на своего питомца злобный взгляд. — Вот как! Из всех неблагодарных, испорченных мальчишек, каких мне случалось видеть, ты, Оливер, самый...

— Нет, нет, сэр! — всхлипывая, воскликнул Оливер, цепляясь за руку, которая держала хорошо знакомую ему трость. — Нет, нет, сэр! Я исправлюсь, право же, я исправлюсь, сэр! Я еще очень маленький, сэр, и такой... такой...

— Какой — такой? — с изумлением спросил мистер Бамбл.

— Такой одинокий, сэр — Очень одинокий! — воскликнул ребенок. — Все меня ненавидят. О сэр, пожалуйста, не сердитесь на меня!

Мальчик прижал руку к сердцу и со слезами, вызванными неподдельным горем, посмотрел в лицо спутнику.

Мистер Бамбл с некоторым удивлением встретил жалобный и беспомощный взгляд Оливера, раза три-четыре хрипло откашлялся и, пробормотав что-то об этом «надоедливом кашле», приказал Оливеру осушить слезы и быть хорошим мальчиком. Затем он снова взял его за руку и молча продолжал путь.

Когда вошел мистер Бамбл, гробовщик, только что закрывший ставни в лавке, делал какие-то записи в приходно-расходной книге при свете унылой свечи, весьма здесь уместной.

— Эге! — сказал гробовщик, оторвавшись от книги и не дописав слово. — Это вы! Бамбл?

— Я самый, мистер Саурбери, — отозвался бидл. — Ну вот! Я вам привел мальчика.

Оливер поклонился.

— Так это и есть тот самый мальчик? — спросил гробовщик, подняв над головой свечу, чтобы лучше рассмотреть Оливера. — Миссис Саурбери, будь так добра, зайди сюда на минутку, дорогая моя.

Из маленькой комнатки позади лавки вышла миссис Саурбери. Это была невысокая, тощая, высохшая женщина с ехидным лицом.

— Милая моя, — почтительно сказал мистер Саурбери, — это тот самый мальчик из работного дома, о котором я тебе говорил.

Оливер снова поклонился.

— Ах, боже мой! — воскликнула жена гробовщика. — Какой он маленький!

— Да, он, пожалуй, мал ростом, — согласился мистер Бамбл, поглядывая на Оливера так, словно тот был виноват, что не дорос. — Он и в самом деле маленький. Этого нельзя отрицать. Но он подрастет, миссис Саурбери, он подрастет.

— Да что и говорить! — с раздражением отозвалась эта леди. — Подрастет на наших хлебах. Я никакой выгоды не вижу от приходских детей: их содержание обходится дороже, чем они сами того стоят. Но мужчины всегда думают, что они все знают лучше нас... Ну, ступай вниз, мешок с костями!

С этими словами жена гробовщика открыла боковую дверь и вытолкнула Оливера на крутую лестницу, ведущую в каменный подвал, сырой и темный, служивший преддверием угольного погреба и носивший название кухни; здесь сидела девушка, грязно одетая, в стоптанных башмаках и дырявых синих шерстяных чулках.

— Шарлотт, — сказала миссис Саурбери, спустившаяся вслед за Оливером, — дайте этому мальчику остатки холодного мяса, которые отложены для Трипа. Трип с утра не приходил домой и может обойтись без них. Надеюсь, мальчик не настолько привередлив, чтобы отказываться от них... Верно, мальчик?

У Оливера глаза засверкали при слове «мясо», он задрожал от желания съесть его и дал утвердительный ответ, после чего перед ним поставили тарелку с объедками.

Хотел бы я, чтобы какой-нибудь откормленный философ, в чьем желудке мясо и вино превращаются в желчь, чья кровь холодна как лед, а сердце железное, — хотел бы я, чтобы он посмотрел, как Оливер Твист набросился на изысканные яства, которыми пренебрегла бы собака! Хотел бы я, чтобы он был свидетелем того, с какой жадностью Оливер, терзаемый страшным голодом, разрывал куски мяса! Еще больше мне хотелось бы увидеть, как этот философ с таким же наслаждением поедает такое же блюдо.

— Ну что? — спросила жена гробовщика, когда Оливер покончил со своим ужином; она следила за ним в безмолвном ужасе, с тревогой предвидя, какой будет у него аппетит. — Кончил?

Не видя поблизости ничего съедобного, Оливер ответил утвердительно.

— Ну так ступай за мной, — сказала миссис Саурбери, взяв грязную, тускло горевшую лампу и поднимаясь по лестнице. — Твоя постель под прилавком. Надеюсь, ты можешь спать среди гробов? А впрочем, это не важно — можешь или нет, потому что больше тебе спать негде. Иди! Не оставаться же мне здесь всю ночь!

Оливер больше не мешкал и покорно пошел за своей новой хозяйкой.

Глава V. Оливер знакомится с товарищами по профессии. Впервые побывав на похоронах, он приходит к неблагоприятному выводу о ремесле своего хозяина

Оставшись один в лавке гробовщика, Оливер поставил лампу на верстак и робко осмотрелся вокруг с чувством благоговения и страха, которое без труда поймут многие люди значительно старше его. Недоделанный гроб на черных козлах, стоявший посреди лавки, казался таким унылым и зловещим, что холодок пробежал у Оливера по спине, когда он посматривал на этот мрачный предмет: ему чудилось, что какая-то ужасная фигура вот-вот медленно приподнимет голову и он сойдет с ума от страха. Вдоль стены в образцовом порядке выстроился длинный ряд вязовых досок, заготовленных для гробов; в тусклом свете они казались сутулыми привидениями, засунувшими руки в карманы. Таблички для гробов, стружки, гвозди с блестящими шляпками и обрезки черной материи валялись на полу, а стену за прилавком украшала картина, на которой были очень живо изображены два немых плакальщика в туго накрахмаленных галстуках, стоящие на посту у дверей дома, к которому подъезжал катафалк, запряженный четверкой вороных лошадей. В лавке было душно и жарко. Казалось, воздух пропитан запахом гробов. Местечко под прилавком, куда был брошен ему тюфяк, напоминало могилу.

Но не только эта унылая обстановка угнетала Оливера. Он был один в незнакомом месте, а все мы знаем, каким покинутым и несчастным может почувствовать себя любой из нас при таких обстоятельствах. У мальчика не было любящих или любимых друзей. Не было у него сожалений о недавней разлуке; не было дорогого, близкого лица, которое ему мучительно хотелось бы увидеть. Но, несмотря на это, на сердце у него было тяжело; и когда он забрался на свое узкое ложе, ему захотелось, чтобы это ложе было гробом, а его, спящего безмятежным и непробудным сном, зарыли бы на кладбище, где тихо шелестела бы над его головой высокая трава и баюкал густой звон старого колокола.

Утром Оливера разбудили громкие удары ногами в дверь лавки; пока он успел кое-как одеться, неистовый стук повторился раз двадцать пять. Когда он стал снимать дверную цепочку, ноги, колотившие в дверь, утихомирились, и раздался голос.

— Отворяйте, слышите! — кричал голос, который принадлежал тому же лицу, что и ноги.

— Сейчас отопру, сэр, — сказал Оливер, снимая цепочку и поворачивая ключ.

— Должно быть, ты и есть новый мальчик? — спросил голос через замочную скважину.

— Да, сэр, — ответил Оливер.

— Сколько тебе лет? — осведомился голос.

— Десять, сэр, — ответил Оливер.

— Ну так я тебя вздую, как только войду, — сообщил голос, — помяни мое слово, приходский щенок!

После этого любезного обещания послышался свист. Оливера слишком часто подвергали операции, обозначаемой только что упомянутым выразительным словечком, а потому он ничуть не сомневался в том, что тот, кому принадлежал голос, добросовестнейшим образом выполнит свою угрозу. Дрожащей рукой он отодвинул засов и открыл дверь.

Секунду или две Оливер осматривал улицу, посмотрел направо, налево и на противоположный тротуар, полагая, что неизвестный, разговаривавший с ним через замочную скважину, прогуливается, чтобы согреться. Дело в том, что он не видел перед собой никого, кроме рослого приютского мальчика, который сидел на тумбе перед домом и ел ломоть хлеба с маслом, разрезая его складным ножом на куски величиной с собственный рот и проглатывая их с большим проворством.

— Прошу прощения, сэр, — сказал Оливер, убедившись, что никто не появляется, — это вы стучали?

— Я колотил ногами, — ответил приютский мальчик.

— Вам нужен гроб, сэр? — простодушно спросил Оливер.

При этих словах приютский мальчик принял необычайно грозный вид и заявил, что самому Оливеру в скором времени понадобится гроб, если он позволяет себе шутить таким образом со старшими.

— Приходский щенок, ты не знаешь, кто я такой? — продолжал приютский мальчик, с важным видом слезая с тумбы.

— Не знаю, сэр, — ответил Оливер.

— Я мистер Ноз Клейпол, — сказал приютский мальчик, — а ты находишься у меня под началом. Открой ставни, ленивая тварь!

С этими словами мистер Клейпол угостил Оливера пинком и вошел в лавку с большим достоинством, делавшим ему честь. При любых обстоятельствах большеголовому, толстому юнцу с маленькими глазками и тупой физиономией нелегко принять достойный вид, и тем более это трудно, если к таким привлекательным чертам прибавить красный нос и короткие желтые штаны.

Оливер снял ставни и попытался перетащить их во дворик позади дома, куда их уносили на день, но зашатавшись под тяжестью первого же ставня, разбил оконное стекло, после чего

Нозэ, утешив его уверением, что «ему влетит», снисходительно пришел ему на помощь. Вскоре в лавку спустился мистер Саурбери. Вслед за ним появилась миссис Саурбери. Оливеру, согласно предсказанию Нозэ, «влетело», а потом он отправился с этим молодым джентльменом вниз завтракать.

— Подсаживайтесь к очагу, Нозэ, — сказала Шарлотт. — Я припасла для вас славный кусочек копченой грудинки от хозяйского завтрака... Оливер, притвори дверь за мистером Нозэ и возьми себе вот те объедки, которые я положила на крышку от кастрюльки. Вот твоя чашка чаю. Поставь ее на ящик, пей там и поторапливайся, потому что тебя скоро позовут в лавку. Слышишь?

— Слышишь, приходский щенок? — сказал Нозэ Клейпол.

— Ах, боже мой, Нозэ! — воскликнула Шарлотт. — Какой вы чудной парень! Почему бы вам не оставить мальчика в покое?

— Оставить в покое! — повторил Нозэ. — Да ведь все и так оставили его в покое. Ни отец, ни мать никогда ни в чем ему не помешают. Все родственники позволяют ему идти своей дорогой. Правда, Шарлотт? Хи-хи-хи!

— Ах, чудак вы этакий! — воскликнула Шарлотт, заливаясь громким смехом, к которому присоединился и Нозэ.

Затем оба посмотрели с презрением на бедного Оливера Твиста, дрожащего на ящике в самом холодном углу комнаты и поедавшего вонючие объедки, отложенные специально для него.

Нозэ был приютским мальчиком, а не сиротой из работного дома. Он не был подкидышем, так как мог проследить свою родословную вплоть до родителей, живших поблизости; мать его была прачкой, а отец — пьяницей-солдатом, вышедшим в отставку с деревянной ногой и ежедневной пенсией в два пенса с половиной и еще какой-то неудобопроизносимой дробью. Мальчишки из соседних лавок давно приобрели привычку клеймить Нозэ на улице позорными кличками вроде «кожаные штаны», «приютский» и так далее, и Нозэ принимал их безропотно. Но теперь, когда судьба поставила на его пути безродного сироту, на которого даже самый ничтожный человек мог с презрением указать пальцем, он вымещал на нем свои обиды с лихвой.

Это дает превосходную пищу для размышлений. Мы видим, какой прекрасной может стать человеческая натура и как одни и те же приятные качества развиваются у благороднейшего лорда и у самого грязного приютского мальчишки.

Прошло три-четыре недели с тех пор, как Оливер поселился у гробовщика. Лавка была закрыта, и мистер и миссис Саурбери ужинали в маленькой задней гостиной, когда мистер Саурбери, бросив несколько почтительных взглядов на жену, сказал:

— Дорогая моя...

Он хотел продолжать, но миссис Саурбери посмотрела на него столь неблагоприятно, что он запнулся.

— Ну? — резко спросила миссис Саурбери.

— Ничего, дорогая моя, ничего! — сказал мистер Саурбери.

— Уф, негодяй! — сказала миссис Саурбери.

— Право же, нет, дорогая моя, — смиренно отозвался мистер Саурбери. — Мне показалось, что ты не расположена слушать, дорогая. Я хотел только сказать...

— Ах, не говори мне, что ты там хотел сказать, — перебила миссис Саурбери. — Я — ничто; пожалуйста, не обращай ко мне за советом. Я не желаю выведывать твои секреты.

Произнеся эти слова, миссис Саурбери залилась истерическим смехом, который угрожал серьезными последствиями.

— Но, дорогая моя, — сказал мистер Саурбери, — я хочу с тобой посоветоваться.

— Нет, нет! Не советуйся со мной! — жалобным тоном промолвила миссис Саурбери. — Советуйся с кем-нибудь другим.

Тут снова раздался истерический смех, чрезвычайно испугавший мистера Саурбери. Такова весьма распространенная и рекомендуемая система обращения с супругом, которая часто приводит к желаемым результатам. Это немедленно побудило мистера Саурбери умолять, как об особом одолжении, чтобы ему было разрешено высказать то, что миссис Саурбери жаждала услышать. После недолгих пререканий, занявших меньше трех четвертей часа, разрешение было милостиво дано.

— Это касается юного Твиста, дорогая моя, — сказал мистер Саурбери. — Он очень миловидный мальчик, дорогая.

— Еще бы, когда он столько ест! — заметила леди.

— У него меланхолическое выражение лица, дорогая моя, — продолжал мистер Саурбери, — и это делает его очень интересным... Из него, милочка, вышел бы превосходный немой плакальщик.

Миссис Саурбери с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Мистер Саурбери подметил это и, не дожидаясь возражений со стороны доброй леди, продолжал:

— Я говорю не о настоящем немом плакальщике, присутствующем на похоронах у взрослых, а только о немом плакальщике для детей, дорогая. Было бы такой новинкой, милочка, иметь немого плакальщика соответствующего роста. Можешь быть уверена, что это произведет прекрасное впечатление.

Миссис Саурбери, проявлявшая замечательный вкус, когда дело касалось похорон, была поражена новизной этой идеи; но так как признаться в этом при данных обстоятельствах значило бы уронить свое достоинство, она осведомилась только довольно резким тоном, почему эта простая мысль не приходила раньше в голову ее супругу? Мистер Саурбери правильно истолковал ее слова как согласие на его предложение. Итак, тут же было решено немедленно посвятить Оливера во все тайны ремесла, чтобы он мог сопровождать своего хозяина, как только потребуются его услуги.

Случай не замедлил представиться. На следующее утро, через полчаса после завтрака, в лавку вошел мистер Бамбл и, прислонив свою трость к прилавку, достал поместительный кожаный бумажник, откуда извлек клочок бумаги, который и протянул Саурбери.

— Эге! — сказал гробовщик, с просиявшей физиономией посмотрев на бумажку. — Заказ на гроб?

— Сначала гроб, потом приходские похороны, — ответил мистер Бамбл, затягивая ремешок кожаного бумажника, который, подобно ему самому, был очень тучен.

— Бейтон? — сказал гробовщик, переводя взгляд с клочка бумаги на мистера Бамбла. — Никогда не слышал этой фамилии.

Бамбл, покачивая головой, ответил:

— Упрямый народ, мистер Саурбери, очень упрямый. Боюсь, что к тому же еще и гордый.

— Гордый? — усмехаясь, воскликнул — гробовщик. — Ну, это уж слишком.

— Ох, это отвратительно! — отвечал бидл. — Это безнравственно, мистер Саурбери.

— Совершенно верно, — согласился гробовщик.

— Об этом семействе мы услышали только третьего дня вечером, — продолжал бидл, — да и тогда мы бы ничего о нем не узнали, не будь в том же доме женщины, которая обратилась в приходский комитет с просьбой прислать приходского врача, чтобы он осмотрел больную, — ей, мол, очень худо. Врач уехал на званный обед, а его ученик (очень смысленный парнишка) сейчас же послал им в баночке из-под ваксы какое-то лекарство.

— Вот это быстрота! — сказал гробовщик.

— Именно так! — подтвердил бидл. — Но каковы были последствия, каково было поведение этих неблагодарных бунтовщиков? Муж присылает сказать, что это лекарство не помогает от той болезни, какой страдает его жена, и, стало быть, она не будет его принимать. Он говорит, что она не будет его принимать, сэр! Прекрасное, сильно действующее, полезное лекарство, которое всего неделю назад очень помогло двум ирландским рабочим и грузчику угля... Его послали даром, в баночке из-под ваксы, а он присылает сказать, что она не будет его принимать, сэр!

Когда чудовищность этого поступка была воспринята мистером Бамблом во всей ее полноте, он сильно ударил тростью по прилавку и покраснел от негодования.

— О! — сказал гробовщик. — Мне бы и в голову никогда...

— Никогда, сэр, — воскликнул бидл. — И никому никогда! Но теперь, когда она умерла, нам приходится ее хоронить! Вот адрес, и чем скорее это будет сделано, тем лучше.

С этими словами мистер Бамбл в приступе лихорадочного возбуждения надел задом наперед свою треуголку и быстро вышел из лавки.

— Ах, Оливер, он так рассердился, что даже забыл спросить о тебе, — сказал мистер Саурбери, глядя вслед бидлу, шагавшему по улице.

— Да, сэр, — ответил Оливер, который во время этого свидания старался не попадаться на глаза бидлу и начал дрожать с головы до ног при одном воспоминании о голосе мистера Бамбла.

Впрочем, он напрасно старался избежать взоров мистера Бамбла, ибо это должностное лицо, на которое предсказание джентльмена в белом жилете произвело очень сильное впечатление, полагало, что теперь, когда гробовщик взял Оливера к себе на испытание, разумнее избегать

разговоров о нем, пока он не будет окончательно закреплен на семь лет по контракту, а тогда раз и навсегда, законным образом, минует опасность его возвращения на содержание прихода.

— Прекрасно! — проговорил мистер Саурбери, берясь за шляпу. — Чем скорее будет покончено с этим делом, тем лучше... Ноэ, присматривай за лавкой... Оливер, надень шапку и ступай за мной.

Оливер повиновался и последовал за хозяином, отправившимся исполнять свои профессиональные обязанности.

Сначала они шли по самым людным и густонаселенным кварталам города, а затем, свернув в узкую улицу, еще более грязную и жалкую, чем те, какие они уже миновали, они приостановились, отыскивая дом, являвшийся целью их путешествия. По обеим сторонам улицы дома были большие и высокие, но очень старые и населенные бедняками: об этом в достаточной мере свидетельствовали грязные фасады домов, и такой вывод не нуждался в подтверждении, каким являлись испитые лица нескольких мужчин и женщин, которые, скрестив на груди руки и согнувшись чуть ли не вдвое, крадучись проходили по улице. В домах находились лавки, но они были заколочены и постепенно разрушались, и только верхние этажи были заселены. Некоторые дома, разрушавшиеся от времени и ветхости, опирались, чтобы не рухнуть, на большие деревянные балки, припертые к стенам и врытые в землю у края мостовой. Но даже эти развалины, очевидно, служили ночным убежищем для бездомных бедняков, ибо необтесанные доски, закрывавшие двери и окна, были кое-где сорваны, чтобы в отверстие мог пролезть человек. В сточных канавах вода была затхлая и грязная. Даже крысы, которые разлагались в этой гнили, были омерзительно тощими.

Не было ни молотка, ни звонка у раскрытой двери, перед которой остановился Оливер со своим хозяином. Ощупью, осторожно пробираясь по темно — му коридору и уговаривая Оливера не отставать и не трусить, гробовщик поднялся во второй этаж. Наткнувшись на дверь, выходившую на площадку лестницы, он постучал в нее суставами пальцев.

Дверь открыла девочка лет тринадцати — четырнадцати. Гробовщик, едва заглянув в комнату, понял, что сюда-то он и послан. Он вошел; за ним вошел Оливер.

Огня в очаге не было, но какой-то человек по привычке сидел, сгорбившись, у холодного очага. Рядом с ним, придвинув низкий табурет к нетопленной печи, сидела старуха. В другом углу копошились оборванные дети, а в маленькой нише против двери лежало что-то, покрытое старым одеялом. Оливер, бросив взгляд в ту сторону, задрожал и невольно прижался к своему хозяину; хотя предмет и был прикрыт, он догадался, что это труп.

У мужчины было худое и очень бледное лицо; волосы и борода седые; глаза налиты кровью. У старухи лицо было сморщенное; два уцелевших зуба торчали над нижней губой, а глаза были острые и блестящие. Оливер боялся смотреть и на нее и на мужчину. Они слишком походили на крыс, которых он видел на улице.

— Никто к ней не подойдет! — злобно крикнул мужчина, вскочив с места, когда гробовщик направился к нише. — Не подходите! Будь вы прокляты, не подходите, если вам дорога жизнь!

— Вздор, дружище! — сказал гробовщик, который привык к горю во всех его видах. — Вздор!

— Слушайте! — крикнул человек, сжав кулаки и в бешенстве топнув ногой. — Слушайте! Я не позволю зарыть ее в землю. Там она не найдет покоя: черви будут ей мешать... Глодать ее они не могут, так она иссохла.

В ответ на этот сумасшедший бред гробовщик не сказал ни слова; достав из кармана мерку, он опустился на колени перед покойницей.

— Ах! — воскликнул мужчина, залившись слезами и падая к ногам умершей. — На колени перед ней, на колени перед ней, вы все, и запомните мои слова! Говорю вам, ее уморили голодом! Я не знал, что ей так худо, пока у нее не началась лихорадка. И тогда обрисовались все ее кости. Не было ни огня в очаге, ни свечи. Она умерла в темноте — в темноте! Она не могла даже разглядеть лица своих детей, хотя мы слышали, как она окликала их по имени. Для нее я просил милостыню, а меня посадили в тюрьму. Когда я вернулся, она умерла, и кровь застыла у меня в жилах, потому что ее уморили голодом. Клянусь пред лицом бога, который это видел, — ее уморили голодом!

Он вцепился руками в волосы и с громкими воплями стал кататься по полу; глаза его остановились, а на губах выступила пена.

Испуганные дети горько заплакали, но старуха, которая все время оставалась невозмутимой, как будто не слышала того, что происходило вокруг, угрозами заставила их замолчать. Развязав галстук мужчине, все еще лежавшему на полу, она, шатаясь, подошла к гробовщику.

— Это моя дочь, — сказала старуха, кивая головой в сторону покойницы и с идиотским видом подмигивая, что производило здесь еще более страшное впечатление, чем вид мертвеца. — Боже мой, боже мой! Как это чудно! Я родила ее и была тогда молодой женщиной, теперь я весела и здорова, а она лежит здесь, такая холодная и застывшая! Боже мой, боже мой, подумать только: ведь Это прямо как в театре, прямо как в театре!

Пока жалкое создание шамкало и хихикало, предаваясь омерзительному веселью, гробовщик направился к двери.

— Пойдите! — громким шепотом окликнула старуха. — Когда ее похоронят — завтра, послезавтра или сегодня вечером? Я убирала ее к погребению, и я, знаете ли, должна идти за гробом. Пришлите мне большой плащ — хороший теплый плащ, потому что стоит лютый холод. И мы должны поесть пирожка и выпить вина, перед тем как идти! Ладно уж! Пришлите хлеба — ковригу хлеба и чашку воды... Миленький, будет у нас хлеб? — нетерпеливо спросила она, уцепившись за пальто гробовщика, когда тот снова двинулся к двери.

— Да, да, — сказал гробовщик. — Конечно. Все, что вы пожелаете!

Он вырвался из рук старухи и поспешно вышел, увлекая за собой Оливера.

На следующий день (тем временем семейству оказана была помощь в виде двух фунтов хлеба и куска сыру, доставленных самим мистером Бамблом) Оливер со своим хозяином вернулся в убогое жилище, куда уже прибыл мистер Бамбл в сопровождении четырех человек из работного дома, которым предстояло нести гроб. Ветхие черные плащи были наброшены на лохмотья старухи и мужчины, и, когда привинтили крышку ничем не обитого гроба, носильщики подняли его на плечи и вынесли на улицу.

— А теперь шагайте быстрее, старая леди, — шепнул Саурбери на ухо старухе. — Мы опаздываем, а не годится, чтобы священник нас ждал. Вперед, ребята, во всю прыть!

После такого распоряжения носильщики пустились рысцой ее своей легкой ношей, а двое провожающих изо всех сил старались не отставать. Мистер Бамбл и Саурбери бодро шагали впереди, а Оливер, у которого ноги были не такие длинные, как у его хозяина, бежал сбоку.

Впрочем, вопреки предположениям мистера Саурбери, не было необходимости спешить, ибо, когда они достигли заброшенного, заросшего крапивой уголка кладбища, отведенного для приходских могил, священника еще не было, а клерк, сидевший у камина в ризнице, считал вполне возможным, что он придет примерно через час. Поэтому гроб поставили у края могилы, и двое провожающих терпеливо ждали, стоя в грязи, под холодным морозящим дождем, а оборванные мальчишки, привлеченные на кладбище предстоящим зрелищем, затеяли шумную игру в прятки среди могильных плит или, придумав новое развлечение, перепрыгивали через гроб. Мистер Саурбери и Бамбл в качестве личных друзей клерка сидели с ним у камина и читали газету.

Наконец, по прошествии часа показались мистер Бамбл, Саурбери и клерк, бежавшие к могиле. Немедленно вслед за ними появился священник, на ходу надевавший стихарь. Затем мистер Бамбл для соблюдения приличий поколотил двух-трех мальчишек, а священник, прочитав из погребальной службы столько, сколько можно было прочесть за четыре минуты, отдал стихарь клерку и ушел.

— Ну, Билл, — сказал Саурбери могильщику, — засыпайте могилу.

Работа была нетрудная: в могиле было столько гробов, что всего несколько футов отделяли верхний гроб от поверхности земли. Могильщик набросал земли, притоптал ее ногами, поднял на плечи лопату и удалился в сопровождении мальчишек, которые орали, досадуя на то, что потеха так скоро кончилась.

— Ступайте, приятель! — сказал Бамбл, похлопав по спине мужчину. — Сейчас запрут ворота кладбища.

Мужчина, который не шевельнулся с тех пор, как стал у края могилы, вздрогнул, поднял голову, посмотрел на говорившего, сделал несколько шагов и упал без чувств. Сумасшедшая старуха была слишком занята оплакиванием плаща (который снял с нее гробовщик), чтобы обращать внимание на мужчину. Поэтому его окатили холодной водой из кружки, а когда он очнулся, благополучно выпроводили с кладбища, заперли ворота и разошлись в разные стороны.

— Ну что, Оливер, — спросил Саурбери, когда они шли домой, — как тебе это понравилось?

— Ничего, благодарю вас, сэр, — нерешительно ответил Оливер. — Не очень, сэр.

— Со временем привыкнешь, Оливер, — сказал Саурбери. — Это пустяки, когда привыкнешь.

Оливер хотел бы знать, долго ли пришлось привыкать мистеру Саурбери. Но он счел более разумным не задавать этого вопроса и вернулся в лавку, размышляя обо всем, что видел и слышал.

Глава VI. Оливер, раздраженный насмешками Ноэ, приступает к действиям и приводит его в немалое изумление

Месяц испытания истек, и Оливер был формально принят в ученики. Пора года была славная, несущая болезни. Выражаясь коммерческим языком, на гробы был спрос, и за несколько недель Оливер приобрел большой опыт. Успех хитроумной выдумки мистера Саурбери превзошел самые радужные его надежды. Старожилы не помнили, чтобы так свирепствовала

корь и так косила младенцев; и много траурных процессий возглавлял маленький Оливер в шляпе с лентой, спускавшейся до колен, к невыразимому восторгу и умилению всех матерей города. Так как Оливер принимал участие вместе со своим хозяином также и в похоронах взрослых людей, чтобы приобрести невозмутимую осанку и умение владеть собой, насущно необходимые безупречному гробовщику, то у него было немало случаев наблюдать превосходное смирение и твердость, с какими иные сильные духом люди переносят испытания и утраты.

Так, например, когда Саурбери получал заказ на погребение какой-нибудь богатой старой леди или джентльмена, окруженных множеством племянников и племянниц, которые в течение всей болезни были поистине безутешны и предавались безудержной скорби даже на глазах посторонних, — эти самые особы чувствовали себя прекрасно в своем кругу и были весьма беззаботны, беседуя между собой столь весело и непринужденно, словно не случилось ровно ничего, что могло бы нарушить их покой. Да и мужья переносили потерю своих жен с героическим спокойствием. В свою очередь жены, облакаясь в траур по своим мужьям, не только не горевали в этой одежде скорби, но как будто заботились о том, чтобы она была изящна и к лицу им. Можно было также заметить, что леди и джентльмены, претерпевавшие жестокие муки при церемонии погребения, приходили в себя немедленно по возвращении домой и совершенно успокаивались еще до окончания чаепития. Видеть все это было очень приятно и назидательно, и Оливер наблюдал за происходящим с великим восхищением.

Утверждать с некоторой степенью достоверности, будто пример этих добрых людей научил Оливера покорности судьбе, я не могу, хотя и являюсь его биографом; но я могу решительно заявить, что в течение многих месяцев он смиренно выносил помыкание и насмешки Ноэ Клейпола, который стал обращаться с ним гораздо хуже, чем раньше, ибо почувствовал зависть, когда новый ученик получил черный жезл и ленту на шляпу, тогда как он, старый ученик, по-прежнему ходил в шапке блином и в кожаных штанах. Шарлотт относилась к Оливеру плохо, потому что плохо относился к нему Ноэ; а миссис Саурбери оставалась непримиримым его врагом, потому что мистер Саурбери не прочь был стать его другом; и вот между этими тремя лицами, с одной стороны, и обилием похорон, с другой, Оливер чувствовал себя, пожалуй, не так приятно, как голодная свинья, когда ее по ошибке заперли в амбар с зерном при пивоварне.

А теперь я приступаю к очень важному эпизоду в истории Оливера, ибо мне предстоит поведать о происшествии, которое, хотя и может показаться пустым и незначительным, косвенным образом повлекло за собой существенную перемену во всех его делах и видах на будущее.

Однажды Оливер и Ноэ спустились, по обыкновению, в обеденный час в кухню, чтобы угоститься бараниной — кусок был самый дрянной, фунта в полтора, — когда Шарлотт вызвали из кухни, а Ноэ Клейпол, голодный и злой, решил, что этот короткий промежуток времени он использует наилучшим образом, если станет дразнить и мучить юного Оливера Твиста.

Намереваясь предаться сей невинной забаве, Ноэ положил ноги на покрытый скатертью стол, потянул Оливера за волосы, дернул его за ухо и высказал мнение, что он «подлиза»; далее он заявил о своем желании видеть, как его вздернут на виселицу, когда бы ни наступило это приятное событие, и сделал ряд других язвительных замечаний, каких можно было ждать от столь зловредного и испорченного приютского мальчишки. Но так как ни одна из этих насмешек не достигла желанной цели — не довела Оливера до слез, — Ноэ попытался проявить еще больше остроумия и совершил то, что многие пошлые остряки, пользующиеся большей славой, чем Ноэ, делают и по сей день, когда хотят поиздеваться над кем-либо. Он перешел на личности.

— Приходский щенок, — начал Ноэ, — как поживает твоя мать?

— Она умерла, — ответил Оливер. — Не говорите о ней ни слова.

При этом Оливер вспыхнул, стал дышать прерывисто, а губы и ноздри его начали как-то странно подергиваться, что, по мнению мистера Клейпола, неминуемо предвещало бурные рыдания. Находясь под этим впечатлением, он снова приступил к делу.

— Отчего она умерла, приходский щенок? — спросил Ноэ.

— От разбитого сердца, так мне говорили старые сиделки, — сказал Оливер, не столько отвечая Ноэ, сколько думая вслух. — Мне кажется, я понимаю, что значит умереть от разбитого сердца!

— Траляля-ля-ля, приходский щенок! — воскликнул Ноэ, когда слеза скатилась по щеке Оливера. — Что это довело тебя до слез?

— Не вы, — ответил Оливер, быстро смахнув слезу. — Не воображайте!

— Не я, вот как? — поддразнил Ноэ.

— Да, не вы! — резко ответил Оливер. — Ну, а теперь довольно. Больше ни слова не говорите мне о ней. Лучше не говорите!

— Лучше не говорить! — воскликнул Ноэ. — Вот как! Лучше не говорить! Приходский щенок, да ты наглец! Твоя мать! Хороша она была, нечего сказать! О, бог ты мой!

Тут Ноэ многозначительно кивнул головой и сморщил, насколько было возможно, свой крохотный красный носик.

— Знаешь ли, приходский щенок, — ободренный молчанием Оливера, он заговорил насмешливым, притворно соболезнующим тоном, — знаешь ли, приходский щенок, теперь уж этому не помочь, да и тогда, конечно, ты не мог помочь, и я очень этим огорчен. Разумеется, мы все огорчены и очень тебя жалеем. Но должен же ты знать, приходский щенок, что твоя мать была самой настоящей шлюхой.

— Что вы сказали? — вздрогнув, переспросил Оливер.

— Самой настоящей шлюхой, приходский щенок, — хладнокровно повторил Ноэ. — И знаешь, приходский щенок, хорошо, что она тогда умерла, иначе пришлось бы ей исполнять тяжелую работу в Брайдуэле^[13], или отправиться за океан, или болтаться на виселице, вернее всего — последнее!

Побагровев от бешенства, Оливер вскочил, опрокинул стол и стул, схватил Ноэ за горло, потряхнул его так, что у того зубы застучали, и, вложив все свои силы в один тяжелый удар, сбил его с ног.

Минуту назад мальчик казался тихим, кротким, забитым существом, каким его сделало суровое обращение. Но, наконец, дух его возмутился: жестокое оскорбление, нанесенное покойной матери, воспламенило его кровь. Грудь его вздымалась; он выпрямился во весь рост; глаза горели; он был сам на себя не похож, когда стоял, грозно сверкая глазами над трусливым своим мучителем, съезжившимся у его ног, и бросал вызов с энергией, доселе ему неведомой.

— Он меня убьет! — заревел Ноэ. — Шарлотт! Хозяйка! Новый ученик хочет убить меня! На помощь! На помощь! Оливер сошел с ума! Шарлотт!

На крик Ноэ ответила громким воплем Шарлотт и еще более громким — миссис Саурбери; первая вбежала в кухню из боковой двери, а вторая стояла на лестнице, пока окончательно не убедилась в том, что ни малейшая опасность не угрожает жизни человеческой, если спуститься вниз.

— Ах негодяй! — завизжала Шарлотт, вцепившись в Оливера изо всех сил, которые были примерно равны силам довольно крепкого мужчины, прекрасно их развивавшего. — Ах ты маленький неблаго-дар-ный, кро-во-жадный, мерз-кий негодяй!

И в промежутках между слогами Шарлотт наносила Оливеру полновесные удары, сопровождая их визгом в утеху всей компании.

Кулак у Шарлотт был довольно тяжелый, но, опасаясь, что кулака будет мало для усмирения взбешенного Оливера, миссис Саурбери ринулась в кухню и оказала Ноэ помощь, одной рукой придерживая Оливера, а другой царапая ему лицо. При таком благоприятном положении дел Ноэ поднялся с пола и принялся тузить Оливера кулаками по спине.

Это было, пожалуй, слишком энергичное упражнение, чтобы долго длиться. Выбившись из сил и устав бить и царапать, они поволокли Оливера, вырывавшегося и кричавшего, но не уstraшенного, в чулан и заперли его там. Когда с этим было покончено, миссис Саурбери упала в кресло и залилась слезами.

— Ах, боже мой, она умирает! — воскликнула Шарлотт. — Ноэ, миленький, стакан воды! Скорей!

— О Шарлотт! — сказала миссис Саурбери, стараясь говорить внятно вопреки недостатку воздуха и избытку холодной воды, которой Ноэ облил ей голову и плечи. — О Шарлотт, какое счастье, что нас всех не зарезали в постели!

— О да! Это — счастье, миссис, — подтвердила та. — Надеюсь только, что это послужит уроком хозяину, чтобы он впредь не брал этих ужасных созданий, которые с самой колыбели предназначены стать убийцами и грабителями. Бедный Ноэ! Он был едва жив, миссис, когда я вошла.

— Бедняжка! — сказала миссис Саурбери, глядя с состраданием на приютского мальчика.

Ноэ, верхняя жилетная пуговица которого могла бы оказаться примерно на одном уровне с макушкой Оливера, тер глаза ладонями, пока его осыпали этими соболезнующими возгласами, и, жалобно всхлипывая, выжал из себя несколько слезинок.

— Что нам делать! — воскликнула миссис Саурбери. — Вашего хозяина нет дома, ни единого мужчины нет в доме, а ведь он через десять минут вышибет эту дверь.

Решительный натиск Оливера на упомянутый кусок дерева делал такое предположение в высшей степени правдоподобным.

— Ах, боже мой! — сказала Шарлотт. — Не знаю, что делать, миссис... Не послать ли за полицией?

— Или за солдатами! — предложил мистер Клейпол.

— Нет! — сказала миссис Саурбери, вспомнив о старом приятеле Оливера. — Бегите к мистеру Бамблу, Ноэ, и скажите ему, чтобы он сейчас же, не теряя ни минуты, шел сюда! Бросьте искать шапку! Скорей! Вы можете на бегу прикладывать лезвие ножа к подбитому глазу. Опухоль спадет.

Ноэ не стал тратить времени на ответ и пустился во всю прыть. И как же были удивлены прохожие при виде приютского мальчика, прокладывавшего себе дорогу в уличной толчее, без шапки и со складным ножом, приложенным к глазу.

Глава VII. Оливер продолжает бунтовать

Ноэ Клейпол стремглав мчался по улицам и ни разу не остановился, чтобы перевести дух, пока не добежал до ворот работного дома. Помешкав здесь с минутку, чтобы хорошенько запастись всхлипываниями и скорчить плаксивую и испуганную мину, он громко постучал в калитку и предстал перед стариком нищим, открывшим ее, с такой унылой физиономией, что даже этот старик, который и в лучшие времена видел вокруг себя только унылые лица, с удивлением попятился.

— Что это случилось с мальчиком? — спросил старик нищий.

— Мистера Бамбла! Мистера Бамбла! — закричал Ноэ с ловко разыгранным отчаянием и таким громким и встревоженным голосом, что эти слова не только коснулись слуха самого мистера Бамбла, случайно находившегося поблизости, но привели его в смятение, и он выбежал во двор без треуголки — обстоятельство весьма любопытное и примечательное: оно свидетельствует о том, что даже бидл, действуя под влиянием внезапного и сильного порыва, может временно потерять самообладание и забыть о собственном достоинстве.

— О мистер Бамбл, сэр! — вскричал Ноэ. — Оливер, сэр... Оливер...

— Что? Что такое? — перебил мистер Бамбл, глаза которого засветились радостью. — Неужели сбежал? Неужели он сбежал, Ноэ?

— Нет, сэр! Не сбежал, сэр! Он оказался злодеем! Он хотел убить меня, сэр, а потом хотел убить Шарлотт, а потом хозяйку. Ох, какая ужасная боль! Какие муки, сэр!

Тут Ноэ начал корчиться и извиваться, как угорь, тем самым давая понять мистеру Бамблу, что неистовое и кровожадное нападение Оливера Твиста привело к серьезным внутренним повреждениям, которые причиняют ему нестерпимую боль.

Увидев, что сообщенное им известие совершенно парализовало мистера Бамбла, он постарался еще усилить впечатление, принявшись сетовать на свои страшные раны в десять раз громче, чем раньше. Когда же он заметил джентльмена в белом жилете, шедшего по двору, вопли его стали еще более трагическими, ибо он правильно рассудил, что было бы весьма целесообразно привлечь внимание и привести в негодование вышеупомянутого джентльмена.

Внимание джентльмена было очень скоро привлечено. Не сделав и трех шагов, он гневно обернулся и спросил, почему этот дрянной мальчишка воеет и почему мистер Бамбл не угостит его чем-нибудь так, чтобы эти звуки, названные воем, вырывались у него произвольно.

— Это бедный мальчик из приютской школы, сэр, — ответил мистер Бамбл. — Его чуть не убил — совсем уж почти убил — тот мальчишка, Твист.

— Черт возьми! — воскликнул джентльмен в белом жилете, остановившись как вкопанный. — Я так и знал! С самого начала у меня было странное предчувствие, что этот дерзкий мальчишка кончит виселицей!

— Он пытался также, сэр, убить служанку, — сказал мистер Бамбл, лицо которого приняло землистый оттенок.

— И свою хозяйку, — вставил мистер Клейпол.

— И своего хозяина, кажется, так вы сказали, Ноз? — добавил мистер Бамбл.

— Нет, хозяина нет дома, а то бы он его убил, — ответил Ноз. — Он сказал, что убьет.

— Ну? Он сказал, что убьет? — спросил джентльмен в белом жилете.

— Да, сэр, — ответил Ноз. — И простите, сэр, хозяйка хотела узнать, не может ли мистер Бамбл уделить время, чтобы зайти туда сейчас и выпороть его, потому что хозяина нет дома.

— Разумеется, разумеется, — сказал джентльмен в белом жилете, благосклонно улыбаясь и поглаживая Ноз по голове, которая находилась примерно на три дюйма выше его собственной. — Ты — славный мальчик, очень славный. Вот тебе пенни... Бамбл, отправляйтесь-ка с вашей тростью к Саурбери и посмотрите, что там нужно сделать. Не щадите его, Бамбл.

— Не буду щадить, сэр, — ответил Бамбл, поправляя дратву, которой был обмотан конец его трости, предназначенной для бичеваний.

— И Саурбери скажите, чтобы он его не щадил. Без синяков и ссадин от него ничего не добиться, — сказал джентльмен в белом жилете.

— Я позабочусь об этом, сэр, — ответил бидл.

И так как треуголка и трость были уже приведены в порядок, к удовольствию их владельца, мистер Бамбл поспешил с Ноз Клейполом в лавку гробовщика.

Здесь положение дел отнюдь не изменилось к лучшему. Саурбери еще не вернулся, а Оливер с прежним рвением колотил ногами в дверь погреба. Ярость его, по словам миссис Саурбери и Шарлотт, была столь ужасна, что мистер Бамбл счел благоразумным сперва начать переговоры, а потом уже отпереть дверь. С этой целью он в виде вступления ударил ногой в дверь, а затем, приложив губы к замочной скважине, произнес голосом низким и внушительным:

— Оливер!

— Выпустите меня! — отозвался Оливер из погреба.

— Ты узнаешь мой голос, Оливер? — спросил мистер Бамбл.

— Да, — ответил Оливер.

— И ты не боишься? Не трепещешь, когда я говорю? — спросил мистер Бамбл.

— Нет! — дерзко ответил Оливер.

Ответ, столь не похожий на тот, какой он ждал услышать и какой привык получать, не на шутку потряс мистера Бамбла. Он попятился от замочной скважины, выпрямился во весь рост и в немом изумлении посмотрел на присутствующих, перевода взгляд с одного на другого.

— Ох, мистер Бамбл, должно быть, он с ума спятил, — сказала миссис Саурбери. — Ни один мальчишка, будь он хотя бы наполовину в здравом рассудке, не осмелился бы так разговаривать с вами.

— Это не сумасшествие, миссис, — ответил мистер Бамбл после недолгого глубокого раздумья. — Это мясо.

— Что такое? — воскликнула миссис Саурбери.

— Мясо, миссис, мясо! — повторил Бамбл сурово и выразительно. — Вы его закармливали, миссис. Вы пробудили в нем противоестественную душу и противоестественный дух, которые не подобают иметь человеку в его положении. Это скажут вам, миссис Саурбери, и члены приходского совета, а они — практические философы. Что делать беднякам с душой или духом? Хватит с них того, что мы им оставляем тело. Если бы вы, миссис, держали мальчика на каше, этого никогда бы не случилось.

— Ах, боже мой! — возопила миссис Саурбери, набожно возведя глаза к потолку. — Вот что значит быть щедрой!

Щедрость миссис Саурбери по отношению к Оливеру выражалась в том, что она, не скупясь, наделяла его отвратительными объедками, которых никто другой не стал бы есть. И, следовательно, было немало покорности и самоотвержения в ее согласии добровольно принять на себя столь тяжкое обвинение, выдвинутое мистером Бамблом. Надо быть справедливым и отметить, что в этом она была не повинна ни помыслением, ни словом, ни делом.

— Ах! — сказал мистер Бамбл, когда леди снова опустила глаза долу. — Единственное, что можно сейчас сделать, — это оставить его на день-другой в погребе, чтобы он немножко проголодался, а потом вывести его оттуда и кормить одной кашей, пока не закончится срок его обучения. Он из дурной семьи. Легко возбуждающиеся натуры, миссис Саурбери! И сиделка и доктор говорили, что его мать приплелась сюда, невзирая на такие препятствия и мучения, которые давным-давно убили бы любую добропорядочную женщину.

Когда мистер Бамбл довел свою речь до этого пункта, Оливер, услышав ровно столько, чтобы уловить снова упоминание о своей матери, опять заколотил ногами в дверь с таким неистовством, что заглушил все прочие звуки.

В этот критический момент вернулся Саурбери. Когда ему поведали о преступлении Оливера с теми преувеличениями, какие, по мнению обеих леди, могли наилучшим образом воспламенить его гнев, он немедленно отпер дверь погреба и вытащил за шиворот своего взбунтовавшегося ученика.

Одежда Оливера была разорвана в клочья во время избиения; лицо в синяках и царапинах; всклоченные волосы падали ему на лоб. Но лицо его по-прежнему пылало от ярости, а когда его извлекли из темницы, он бросил грозный взгляд на Ноэ и казался несколько не запуганным.

— Нечего сказать, хорош парень! — произнес Саурбери, встряхнув Оливера и угостив его пощечиной.

— Он ругал мою мать, — ответил Оливер.

— Ну так что за беда, если и ругал, неблагодарная, негодная ты тварь? — воскликнула миссис Саурбери. — Она заслужила все, что он о ней говорил, и даже больше.

— Нет, не заслужила, — сказал Оливер.

— Нет, заслужила, — сказала миссис Саурбери.

— Это неправда! — крикнул Оливер. — Неправда!

Миссис Саурбери залилась потоком слез. Этот поток слез лишил мистера Саурбери возможности сделать выбор. Если бы он хоть на минутку поколебался сурово наказать Оливера согласно всем прецедентам в супружеских размолвках, то заслужил бы, как поймет искушенный читатель, наименование скотины, чудовища, оскорбителя, гнусной пародии на мужчину и другие лестные отзывы, слишком многочисленные, чтобы их можно было уместить в пределах этой главы. Нужно отдать ему справедливость: поскольку простиралась его власть, — а она простиралась недалеко, — он был расположен щадить мальчика, может быть потому, что это отвечало его интересам, а быть может потому, что его жена не любила Оливера. Однако поток ее слез поставил его в безвыходное положение, и он отколотил Оливера так, что удовлетворил даже миссис Саурбери, а мистеру Бамблу в сущности уже незачем было пускаться в ход приходскую трость. До наступления ночи Оливер сидел под замком в чулане в обществе насоса и ломтя хлеба, а вечером миссис Саурбери, стоя за дверью, сделала ряд замечаний, отнюдь не лестных для памяти его матери, затем — Ноэ и Шарлотт все это время осыпали его насмешками и остротами — приказала ему идти наверх, где находилось его жалкое ложе.

Оставшись один в безмолвии и тишине мрачной лавки гробовщика, Оливер только тогда дал волю чувствам, которые после такого дня могли пробудиться даже в душе ребенка. Он с презрением слушал язвительные замечания, он без единого крика перенес удары плетью, ибо сердце его исполнилось той гордости, которая заставила бы его молчать до последней минуты, даже если бы его поджаривали на огне. Но теперь, когда никто не видел и не слышал его, Оливер упал на колени и заплакал такими слезами, какие мало кто в столь юном возрасте имел основания проливать — к чести нашей, Бог дарует их смертным.

Долго оставался Оливер в этой позе. Свеча догорала в подсвечнике, когда он встал. Осторожно осматриваясь и чутко прислушиваясь, он потихоньку отпер дверь и выглянул на улицу.

Была холодная, темная ночь. На взгляд мальчика, звезды были дальше от земли, чем он привык их видеть; ветра не было, и мрачные тени, отбрасываемые на землю деревьями, казались призрачными и мертвыми — так были они неподвижны. Он тихо запер дверь. При слабом свете догорающей свечи, увязав в носовой платок коекакую свою одежду, он сел на скамейку и стал ждать утра.

Когда первый луч света пробился сквозь щели в ставнях, Оливер встал и снова снял дверные засовы. Робкий взгляд, брошенный вокруг, минутное колебание — и он притворил за собой дверь и очутился на улице.

Он посмотрел направо, потом налево, не зная, куда бежать. Он вспомнил, что повозки, выезжая из города, медленно поднимались на холм. Он избрал этот путь и, дойдя до тропинки, пересекавшей поле, которая, как он знал, дальше снова выходила на дорогу, свернул на эту тропинку и быстро пошел вперед.

Оливер прекрасно помнил, что по этой самой тропинке он бежал рысцой рядом с мистером Бамблом, когда тот вел его с фермы в рабочий дом. Путь его лежал как раз мимо коттеджа. Сердце у него сильно забилося, когда он об этом подумал, и он чуть было не повернул назад. Но он уже прошел немалое расстояние и потерял бы много времени на обратный путь. К тому же было очень рано, и вряд ли были основания опасаться, что его увидят. Итак, он двинулся вперед.

Он поравнялся с домом. По-видимому, в такой ранний час все обитатели его еще спали. Оливер остановился и заглянул в сад. Какой-то мальчик полтел грядку; когда Оливер остановился, он поднял бледное личико — это был один из его прежних товарищей. Оливер обрадовался, что увидел его, прежде чем отсюда уйти: мальчик был моложе его, но Оливер жил с ним в дружбе и часто они вместе играли. Много раз их обоих били, морили голодом, сажали под замок.

— Тише, Дик! — сказал Оливер, когда мальчик подбежал к калитке и просунул между перекладинами худую руку, чтобы поздороваться с ним. — Никто еще не встал?

— Никто, кроме меня, — ответил мальчик.

— Дик, не говори, что ты меня видел, — сказал Оливер. — Я сбежал. Меня били и обижали, и я решил искать счастья где-нибудь далеко отсюда. Не знаю только где. Какой ты бледный!

— Я слышал, как доктор сказал, что я умру, — слабо улыбувшись, ответил мальчик. — Я рад, что повидался с тобой, но уходи, уходи!

— Нет, я хочу попрощаться с тобой, — сказал Оливер. — Мы еще увидимся, Дик. Знаю, что увидимся! Ты будешь здоровым и счастливым!

— Надеюсь, — ответил мальчик. — После того как умру. Я знаю, доктор прав, Оливер, потому что мне часто снятся небо, ангелы и добрые лица, которых я никогда не вижу наяву. Поцелуй меня, — сказал мальчик, вскарабкавшись на низкую калитку и обвив ручонками шею Оливера. — Прощай, милый! Да благословит тебя Бог.

Это благословение произнесли уста ребенка, но Оливер впервые услышал, что на него призывают благословение, и в последующей своей жизни, полной борьбы, страданий, превратностей и невзгод, он никогда не забывал его.

Глава VIII. Оливер идет в Лондон. Он встречается на дороге странного молодого джентльмена

Оливер добрался до перелаза, которым кончалась тропинка, и снова вышел на большую дорогу. Было восемь часов. Хотя от города его отделяло почти пять миль, но до полудня он бежал, прячась за изгородями, опасаясь, что его преследуют и могут настигнуть. Наконец, он сел отдохнуть у придорожного столба и впервые задумался о том, куда ему идти и где жить.

На столбе, у которого он сидел, было начертано крупными буквами, что отсюда до Лондона ровно семьдесят миль. Эта надпись вызвала у мальчика вереницу мыслей. Лондон!.. Величественный, огромный город!.. Никто — даже сам мистер Бамбл — никогда не сможет отыскать его там! Старики в рабочем доме говаривали, что ни один толковый парень не будет нуждаться, живя в Лондоне, и в этом большом городе существуют такие способы зарабатывать деньги, о каких понятия не имеют люди, выросшие в провинции. Это было самое подходящее место для бездомного мальчика, которому придется умереть на улице, если никто ему не поможет. Когда эти мысли пришли ему в голову, он вскочил и снова зашагал вперед.

Расстояние между ним и Лондоном уменьшилось еще на добрые четыре мили, прежде чем он сообразил, сколько он должен претерпеть, пока достигнет цели своего путешествия. Слегка замедлив шаги, он задумался о том, как ему туда добраться. В узелке у него была корка хлеба, грубая рубашка и две пары чулок. Кроме того, в кармане был пенни — подарок Саурбери после каких-то похорон, на которых Оливер особенно отличился. «Чистая рубашка, — подумал Оливер, — вещь прекрасная, так же как две пары заштопанных чулок и пенни; но от этого мало пользы тому, кто должен пройти шестьдесят пять миль в зимнюю пору».

Оливер, как и большинство людей, отличался чрезвычайной готовностью и умением подмечать трудности, но был совершенно беспомощен, когда нужно было придумать какой-нибудь осуществимый способ их преодолеть. И после долгих размышлений, оказавшихся бесплодными, он перебросил свой узелок через другое плечо и поплелся дальше.

В тот день Оливер прошел двадцать миль, и за все это время у него во рту не было ничего, кроме сухой корки хлеба и воды, которую он выпросил у дверей придорожного коттеджа. Когда стемнело, он свернул на луг и, забравшись в стог сена, решил лежать здесь до утра. Сначала ему было страшно, потому что ветер уныло завывал над оголенными полями. Ему было холодно, он был голоден и никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Но, очень устав от ходьбы, он скоро заснул и забыл о своих невзгодах.

К утру он озяб, окоченел и был так голоден, что поневоле обменял свой пенни на маленький хлебец в первой же деревне, через которую случилось ему проходить. Он прошел не больше двенадцати миль, когда снова спустилась ночь. Ступни его ныли, и от усталости подкашивались ноги. Прошла еще одна ночь, которую он провел в холодном, сыром месте, и ему стало еще хуже; когда наутро он тронулся в путь, то едва волочил ноги.

Он подождал у подножия крутого холма, пока приблизится почтовая карета, и попросил милостыню у пассажиров, сидевших снаружи, но мало кто обратил на него внимание, да и те сказали, чтобы он подождал, пока они поднимутся на вершину холма, а тогда они посмотрят, так ли он быстро побежит, чтобы получить полпенни. Бедный Оливер старался не отставать от кареты, но потерпел неудачу: он очень устал, и у него болели ноги. Наружные пассажиры спрятали в карман свои полпенни, заявив, что он — ленивый щенок и ровно ничего не заслуживает. И карета с грохотом укатила, оставив за собой только облако пыли.

В некоторых деревнях были прибиты большие цветные доски с предупреждением всем, кто просит милостыню в этой округе, что им грозит тюрьма. Оливера это всякий раз очень пугало, и он спешил поскорее покинуть эти места. В других деревнях он стоял у гостиниц и горестно смотрел на прохожих; обычно это кончалось тем, что хозяйка гостиницы приказывала одному из фореиторов, слонявшихся поблизости, прогнать мальчишку, потому что — в этом она уверена — он хочет что-нибудь стащить. Если он просил милостыню у двери фермера, в девяти случаях из десяти грозили натравить на него собаку, а когда он просовывал нос в лавку, заходила речь о бидле, после чего у Оливера от страха пересыхало во рту, а ведь частенько у него во рту ничего, кроме слюны, не бывало.

В конце концов не будь добросердечного сторожа у заставы и милосердной старой леди, страдания Оливера закончились бы гораздо скорее, так же как и страдания его матери, — иными словами, он упал бы мертвым на королевской большой дороге. Но сторож у заставы накормил его хлебом и сыром, а старая леди, внук которой, потерпев кораблекрушение, скитался босой в какой-то далекой стране, пожалела бедного сироту и дала ему то небольшое, что могла уделить; и самое главное, она подарила ему добрые, ласковые слова и слезы сочувствия и сострадания, запавшие в душу Оливера глубже, чем все перенесенные им доселе мучения.

На седьмой день после ухода из родного города Оливер, прихрамывая, медленно вошел рано утром в городок Барнет. Ставни на окнах были закрыты, улицы пустынные: никто еще не просыпался для повседневных дел. Солнце вставало во всем своем великолепии, но свет заставил Оливера только сильнее почувствовать свое полное одиночество и заброшенность, когда он с окровавленными ногами, покрытый пылью, сидел на ступеньках у какой-то двери.

Постепенно начали открываться ставни; поднялись шторы на окнах, и на улице появились прохожие. Иные на минутку приостанавливались и смотрели на Оливера или на ходу оборачивались, чтобы взглянуть на него; но никто не пришел ему на помощь и не спросил, как он сюда попал. У него не хватало духу просить милостыню. И он по-прежнему сидел у двери.

Долго он сидел, съезжившись, на ступеньке, удивляясь количеству трактиров (в каждом втором доме города Барнета помещалась таверна, большая или маленькая), равнодушно посматривая на проезжающие мимо кареты и размышляя о том, как странно, что им ничего не стоит проделать в несколько часов то, на что ему понадобилась целая неделя, в течение которой он проявил мужество и решимость, несвойственные его возрасту. Вдруг он заметил мальчика, который, безучастно пройдя мимо него несколько минут назад, вернулся и теперь очень пристально следил за ним с противоположной стороны улицы. Сначала он не придавал этому значения, но мальчик так долго занимался наблюдением, что Оливер поднял голову и тоже посмотрел на него в упор. Тогда мальчик перешел улицу и, подойдя к Оливеру, сказал:

— Эй, парнишка! Какая беда стряслась?

Мальчик, обратившийся с этим вопросом к юному путешественнику, был примерно одних с ним лет, но казался самым удивительным из всех мальчиков, каких случалось встречать Оливеру. Он был курносый, с плоским лбом, ничем не примечательной физиономией и такой грязный, каким только можно вообразить юнца, но напускал на себя важность и держался как взрослый. Для своих лет он был мал ростом, ноги у него были кривые, а глазки острые и противные. Шляпа едва держалась у него на макушке, ежеминутно грозя слететь; это случилось бы с ней не раз, если бы ее владелец не имел привычки то и дело встряхивать головой, после чего шляпа водворялась на прежнее место. На нем был сюртук взрослого мужчины, доходивший ему до пят. Обшлага он отвернул до локтя, выпростав кисти рук из рукавов, по-видимому с той целью, чтобы засунуть их с вызывающим видом в карманы плисовых штанов, ибо руки он держал в карманах. Вообще это был самый развязный и самоуверенный молодой джентльмен, ростом около четырех футов шести дюймов и в блюхеровских башмаках^[14].

— Эй, парнишка! Какая беда стряслась? — сказал сей странный молодой джентльмен Оливеру.

— Я очень устал и проголодался, — со слезами на глазах ответил Оливер. — Я пришел издалека. Я иду вот уже семь дней.

— Семь дней! — воскликнул молодой джентльмен. — Понимаю. По приказу клюва, да? Но, кажется, — добавил он, заметив удивленный взгляд Оливера, — ты не знаешь, что такое клюв, приятель?

Оливер скромно ответил, что, по его сведениям, упомянутое слово обозначает рот у птиц.

— До чего же он желторотый! — воскликнул молодой джентльмен. — Да ведь *клюв* — это судья! И если идешь по приказу клюва, то идешь не прямо вперед, а к петле, и с нее уж не сорваться. Ты никогда не бывал на ступальном колесе?^[15]

— На каком колесе? — спросил Оливер.

— На каком? Да, конечно, на ступальном, на том самом, которое занимает так мало места, что может вертеться в каменном кувшине. И чем лучше оно работает, тем хуже приходится людям, потому что, если людям хорошо живется, для него не найти рабочих... Но послушай, — продолжал молодой джентльмен, — тебе нужно задать корму, и ты его получишь. Я и сам теперь на мели — только и есть у меня, что боб да сорока^[16], но уж коли на то пошло, я раскошелюсь. Вставай-ка! Ну!.. Вот так!.. В путь-дорогу!

Молодой джентльмен помог Оливеру подняться и повел его в ближайшую мелочную лавку, где купил ветчины и половину четырехфунтовой булки, или, как он выразился, «отрубей на четыре пенса»; ветчина сохранялась от пыли благодаря хитроумной уловке, заключавшейся в том, что из булки вытаскивали часть мякиша, а вместо него запихивали ветчину. Взяв хлеб под мышку, молодой джентльмен свернул в небольшой трактир и прошел в заднюю комнату, служившую распивочной. Сюда, по распоряжению таинственного юнца, была принесена кружка пива, и Оливер, воспользовавшись приглашением своего нового друга, принялся за еду и ел долго и много, а в это время странный мальчик посматривал на него с величайшим вниманием.

— Идешь в Лондон? — спросил странный мальчик, когда Оливер, наконец, покончил с едой.

— Да.

— Квартира есть?

— Нет.

— Деньги?

— Нет.

Странный мальчик свистнул и засунул руки в карманы так глубоко, как только позволяли длинные рукава.

— Вы живете в Лондоне? — спросил Оливер.

— Да, когда бываю у себя дома, — ответил мальчик. — Ты бы не прочь отыскать какое-нибудь местечко, чтобы переночевать там сегодня, верно?

— Очень хотел бы, — ответил Оливер. — Я не спал под крышей с тех пор, как ушел из своего городка.

— Нечего тереть из-за этого глаза, — сказал молодой джентльмен. — Сегодня вечером я должен быть в Лондоне, а там у меня есть знакомый, почтенный старый джентльмен, который приютит тебя даром и сдачи не потребует, — конечно, если ему тебя представит джентльмен, которого он знает. А разве он меня не знает? О нет! Совсем не знает! Нисколько! Разумеется!

Молодой джентльмен улыбнулся, давая понять, что последние замечания были шутливо-ироническими, и допил пиво.

Неожиданное предложение дать приют было слишком соблазнительно, чтобы его отклонить. К тому же за ним тотчас же последовало уверение, что упомянутый старый джентльмен несомненно подыщет Оливеру хорошее место в самое ближайшее время. Это повело к более дружеской и задушевной беседе, из которой Оливер узнал, что его друга зовут Джек Даукинс и

что он пользуется особой любовью и покровительством вышеупомянутого пожилого джентльмена.

Наружность мистера Даукинса вряд ли свидетельствовала в пользу удобств, какие его патрон предоставлял тем, кого брал под свое покровительство. Но так как он вел довольно легкомысленные и развязные речи и вдобавок признался, что среди близких своих друзей больше известен под шутливым прозвищем «Ловкий Плут», Оливер заключил, что это беззаботный и беспутный малый, на которого поучения его благодетеля до сей поры не возымели действия. Находясь под этим впечатлением, он втайне решил поскорее заслужить доброе мнение старого джентльмена, и если Плут окажется неисправимым, что было более чем вероятно, он уклонится от чести поддерживать с ним знакомство.

Так как Джек Даукинс не хотел войти в Лондон, пока не стемнеет, то они ждали одиннадцати часов и только тогда подошли к заставе у Излингтона. От «Ангела»^[17] они свернули на Сент-Джон-роуд, прошли маленькой улочкой, заканчивающейся у театра Сэдлерс-Уэлс, миновали Элут-стрит и Копис-Роу, прошли по маленькому дворику около рабочего дома, пересекли Хокли-интехоул, оттуда повернули к Сафрен-Хилл, а затем к Грейт-Сафрен-Хилл, и здесь Плут стремительно помчался вперед, приказав Оливеру следовать за ним по пятам.

Хотя внимание Оливера было поглощено тем, чтобы не упустить из виду проводника, однако на бегу он изредка посматривал по сторонам. Более гнусного и жалкого места он еще не видывал. Улица была очень узкая и грязная, а воздух насыщен зловонием. Много было маленьких лавчонок, но, казалось, единственным товаром являлись дети, которые даже в такой поздний час копошились в дверях или визжали в доме. Единственными заведениями, как будто преуспевавшими в этом обреченном на гибель месте, были трактиры, и в них орала во всю глотку отпетые люди — ирландские подонки. За крытыми проходами и дворами, примыкавшими к главной улице, виднелись домишки, сбившиеся в кучу, и здесь пьяные мужчины и женщины буквально барахтались в грязи, а из некоторых дверей крадучись выходили какие-то дюжие подозрительные парни, очевидно отправлявшиеся по делам не особенно похвальным и безобидным.

Оливер подумал, не лучше ли ему улизнуть, но они уже спустились с холма. Проводник, схватив его за руку, отворил дверь дома около Филд-лепп, втащил его в коридор и прикрыл за собой дверь.

— Эй, кто там? — раздался снизу голос в ответ на свист Плути.

— Плутни и удача! — был ответ.

По-видимому, это был пароль или сигнал, возвещавший о том, что все в порядке, так как на стену в дальнем конце коридора упал тусклый свет свечи, а из-за сломанных перил старой лестницы, ведущей в кухню, выглянуло лицо мужчины.

— Вас тут двое, — сказал мужчина, вытягивая руку со свечой, а другой рукой заслоняя глаза от света. — Кто этот второй?

— Новый товарищ, — ответил Джек Даукинс, подталкивая вперед Оливера.

— Откуда он взялся?

— Из страны желторотых... Феджин наверху?

— Да, сортирует утиралки. Ступайте наверх!

Свечу убрали, и лицо исчезло. Оливер, одной рукой шаря в темноте, в то время как товарищ крепко сжимая в своей другую его руку, с большим трудом поднялся по темной ветхой лестнице, по которой его проводник взбирался с легкостью и быстротой, свидетельствовавшими о том, что она ему хорошо знакома. Он открыл дверь задней комнаты и втащил за собой Оливера.

Стены и потолок в этой комнате совсем почернели от времени и пыли. Перед очагом стоял сосновый стол, а на столе — свеча, воткнутая в бутылку из-под имбирного пива, две-три оловянные кружки, хлеб, масло и тарелка. На сковороде, подвешенной на проволоке к полке над очагом, поджаривались на огне сосиски, а наклонившись над ними, стоял с вилкой для поджаривания гренек очень старый, сморщенный еврей с всклокоченными рыжими волосами, падавшими на его злобное, отталкивающее лицо. На нем был засаленный фланелевый халат с открытым воротом, а внимание свое он, казалось, делил между сковородкой и вешалкой, на которой висело множество шелковых носовых платков. Несколько дрянных старых мешков, служивших постелями, лежали один подле другого на полу. За столом сидели четыре-пять мальчиков не старше Плута и с видом солидных мужчин курили длинные глиняные трубки и угощались спиртным. Все они столпились вокруг своего товарища, когда тот шепнул несколько слов еврею, а затем повернулись и, ухмыляясь, стали смотреть на Оливера. Так поступил и еврей, не выпуская из рук вилки для поджаривания гренек.

— Это он самый и есть, Феджин, — сказал Джек Даукинс, — мой друг Оливер Твист.

Еврей усмехнулся и, отвесив Оливеру низкий поклон, подал ему руку и выразил надежду, что удостоится чести познакомиться с ним ближе. Вслед за этим Оливера окружили молодые джентльмены с трубками и очень крепко пожали ему обе руки — в особенности ту, в которой он держал свой узелок. Один из молодых джентльменов очень заботливо повесил его шапку, а другой был столь услужлив, что засунул руки в его карманы, чтобы Оливер вследствие своего крайнего утомления не трудился вынимать вещи из карманов, когда будет ложиться спать. Вероятно, их любезность простерлась бы еще дальше, если бы еврей не пустил в ход вилку, колотя ею предупредительных юношей по голове и по плечам.

— Мы очень рады познакомиться с тобой, Оливер, очень рады... — сказал еврей. — Плут, сними сосиски и придвинь ближе к огню бочонок для Оливера. Ты смотришь на носовые платки, да, миленький? Их много, правда? Мы их только что разобрали, приготовили к стирке. Вот и все, Оливер, вот и все. Ха-ха-ха!

Заключительные фразы вызвали шумное одобрение всех многообещающих питомцев веселого старого джентльмена. И среди этого шума они принялись за ужин.

Оливер съел свою порцию, а затем еврей налил ему стакан горячего джина с водой, приказав выпить залпом, потому что стакан нужен другому джентльмену. Оливер повиновался. Тотчас после этого он почувствовал, что его осторожно перенесли на один из мешков, потом он заснул глубоким сном.

Глава IX, содержащая различные сведения о приятном старом джентльмене и его многообещающих питомцах

На следующий день Оливер проснулся поздно после долгого, крепкого сна. В комнате никого не было, кроме старого еврея, который варил в кастрюльке кофе к завтраку и тихонько

насвистывал, помешивая его железной ложкой. Он то и дело останавливался и прислушивался к малейшему шуму, доносившемуся снизу, а затем, удовлетворив свое любопытство, снова принимался насвистывать и помешивать ложкой.

Хотя Оливер уже не спал, но он еще не совсем проснулся. Бывает такое дремотное состояние между сном и бодрствованием, когда вы лежите с полузакрытыми глазами и наполовину сознаете все, что происходит вокруг, и, однако, вам за пять минут может пригрезиться больше, чем за пять ночей, хотя бы вы их провели с плотно закрытыми глазами и ваши чувства были погружены в глубокий сон. В такие минуты смертный знает о своем духе ровно столько, чтобы составить себе смутное представление о его великом могуществе, о том, как он отрывается от земли и отметаает время и пространство, освободившись от уз, налагаемых на него телесной его оболочкой.

Именно таким было состояние Оливера. Из-под полуопущенных век он видел еврея, слышал его тихое посвистывание и догадывался по звуку, что ложка скребет края кастрюли, и, однако, в то же самое время мысли его были заняты чуть ли не всеми, кого он когда-либо знал.

Когда кофе был готов, еврей снял кастрюльку с подставки на очаге, где она нагревалась. Постояв несколько минут в раздумье, словно не зная, чем заняться, он обернулся, посмотрел на Оливера и окликнул его по имени. Тот не отозвался — по-видимому, он спал.

Успокоившись на этот счет, еврей потихоньку подошел к двери и запер ее. Затем он вытащил — из какого-то тайника под полом, как показалось Оливеру, — небольшую шкатулку, которую осторожно поставил на стол. Глаза его блеснули, когда он, приподняв крышку, заглянул туда. Придвинув к столу старый стул, он сел и вынул из шкатулки великолепные золотые часы, сверкавшие драгоценными камнями.

— Ого! — сказал еврей, приподняв плечи и скривив лицо в омерзительную улыбку. — Умные собаки! Умные собаки! Верные до конца! Так и не сказали старому священнику, где они были. Не донесли на старого Феджина! Да и к чему было доносить? Все равно это не развязало бы узла и ни на минуту не отсрочило бы конца. Да! Молодцы! Молодцы!

Бормоча себе под нос эти слова, еврей снова спрятал часы в то же надежное место. По крайней мере еще с полдюжины часов он извлек по очереди из шкатулки и рассматривал их с не меньшим удовольствием, так же как и кольца, брошки, браслеты и другие драгоценные украшения, столь же искусно сделанные, о которых Оливер не имел ни малейшего представления и даже не знал, как они называются.

Положив обратно эти драгоценные безделушки, еврей достал еще одну, умещавшуюся у него на ладони. Очевидно, на ней было что-то написано очень мелкими буквами, потому что он положил ее на стол и, заслонясь рукой от света, разглядывал очень долго и внимательно. Наконец, он спрятал ее, словно отчаявшись в — успехе, и, откинувшись на спинку стула, пробормотал:

— Превосходная штука — смертная казнь! Мертвые никогда не каются. Мертвые никогда не выбалтывают неприятных вещей. Ах, и славная это штука для такого ремесла! Пятерых вздернули, и ни одного не осталось, чтобы заманить в ловушку сообщников или отпраздновать труса!

Когда еврей произнес эти слова, его блестящие темные глаза, рассеянно смотревшие в пространство, остановились на лице Оливера. Глаза мальчика с безмолвным любопытством были прикованы к нему, и, хотя их взгляды встретились на одно мгновение — на кратчайшую

долю секунды, — этого было достаточно, чтобы старик понял, что за ним следят. Он с треском захлопнул шкатулку и, схватив хлебный нож, лежавший на столе, в бешенстве вскочил. Но он трясся всем телом, и Оливер, несмотря на ужасный испуг, заметил, как дрожит в воздухе нож.

— Что это значит? — крикнул еврей. — Зачем ты подсматриваешь за мной? Почему не спишь? Что ты видел? Говори! Живей, живей, если тебе дорога жизнь!

— Я больше не мог спать, сэр, — робко ответил Оливер. — Простите, если я вам помешал, сэр.

— Ты уж час как не спишь? — спросил еврей, злобно глядя на мальчика.

— Нет! О нет! — ответил Оливер.

— Это правда? — крикнул еврей, бросив еще более злобный взгляд и приняв угрожающую позу.

— Клянусь, я спал, сэр, — с жаром ответил Оливер. — Право же, сэр, я спал.

— Полно, полно, мой милый, — сказал еврей, неожиданно вернувшись к прежней своей манере обращения, и поиграл ножом, прежде чем положить его на стол, словно желая показать, что нож он схватил просто для забавы. — Конечно, я это знаю, мой милый. Я хотел только напугать тебя. Ты храбрый мальчик. Ха-ха! Ты храбрый мальчик, Оливер!

Еврей, хихикая, потер руки, но тем не менее с беспокойством посмотрел на шкатулку.

— Ты видел эти хорошенькие вещички, мой мальчик? — помолчав, спросил еврей, положив на шкатулку руку.

— Да, сэр, — ответил Оливер.

— А! — сказал еврей, слегка побледнев. — Это... это мои вещи, Оливер. Мое маленькое имущество. Все, что у меня есть, чтобы прожить на старости лет. Меня называют скрягой, мой милый. Скрягой, только и всего.

Оливер подумал, что старый джентльмен, должно быть, и в самом деле настоящий скряга, если, имея столько часов, живет в такой грязной дыре; но, решив, что его заботы о Плуте и других мальчиках связаны с большими расходами, он бросил почтительный взгляд на еврея и попросил разрешения встать.

— Разумеется, мой милый, разумеется, — ответил старый джентльмен. — Вон там в углу, у двери, стоит кувшин с водой. Принеси его сюда, а я дам тебе таз, и ты, милый мой, умоешься.

Оливер встал, прошел в другой конец комнаты и наклонился, чтобы взять кувшин. Когда он обернулся, шкатулка уже исчезла.

Он едва успел умыться, привести себя в порядок и, по указанию еврея, выплеснуть воду из таза за окно, как вернулся Плут в сопровождении своего бойкого молодого друга, которого накануне вечером Оливер видел с трубкой; теперь он был официально ему представлен как Чарли Бейтс. Вчетвером они сели за завтрак, состоявший из кофе, ветчины и горячих булочек, принесенных Плутом в шляпе.

— Ну, — сказал еврей, лукаво посмотрев на Оливера и обращаясь к Плуту, — надеюсь, мои милые, вы поработали сегодня утром?

— Здорово, — ответил Плут.

— Как черти, — добавил Чарли Бейтс.

— Славные ребята, славные ребята! — продолжал еврей. — Что ты принес. Плут?

— Два бумажника, — ответил сей молодой джентльмен.

— С прокладкой? — нетерпеливо осведомился еврей.

— Довольно плотной, — ответил Плут, подавая два бумажника — один зеленый, другой красный.

— Могли бы быть потяжелее, — заметил еврей, внимательно ознакомившись с их содержимым, — но сделаны очень мило и аккуратно... Он искусный работник, правда, Оливер?

— О да, очень искусный, сэр, — сказал Оливер.

Тут юный Чарльз Бейтс оглушительно захохотал, к большому удивлению Оливера, который не видел ровно ничего смешного в том, что происходило.

— А ты что принес, мой милый? — обратился Феджин к Чарли Бейтсу.

— Утиралки, — ответил юный Бейтс, доставая четыре носовых платка.

— И то хорошо, — сказал еврей, пристально их рассматривая. — Недурны, совсем недурны. Но ты плохо их пометил, Чарли, — придется спороть метки иголкой. Мы научим Оливера, как это делается... Научить тебя, Оливер? Ха-ха-ха!

— Пожалуйста, сэр, — ответил Оливер.

— Тебе хотелось бы делать носовые платки так же искусно, как Чарли Бейтс, мой милый?

— Очень, сэр, если вы меня научите, — ответил Оливер.

Юный Бейтс усмотрел нечто столь смешное в этом ответе, что снова разразился хохотом; и этот хохот едва не привел к преждевременной смерти от удушения, так как он пил кофе, которое и попало в дыхательное горло.

— Уж очень он желторотый! — оправившись, сказал Чарли, принося извинение за свою неучтивость.

Плут промолчал и только взъерошил Оливеру волосы так, что они упали ему на глаза, а потом сказал, что со временем он поумнеет. Тут старый джентльмен, заметив, как покраснел Оливер, переменял тему разговора и спросил, много ли народу глазело утром на казнь. Оливер удивился еще больше, так как из ответа мальчиков выяснилось, что они оба там были, и он, разумеется, не понимал, когда же они успели так усердно поработать.

После завтрака, когда убрали со стола, веселый старый джентльмен и оба мальчика затеяли любопытную и необычайную игру: веселый старый джентльмен, положив в один карман брюк табакерку, в другой — записную книжку, а в жилетный карман — часы с цепочкой, обвивавшей его шею, и приколов к рубашке булавку с фальшивым бриллиантом, наглухо застегнул сюртук, сунул в карманы футляр от очков и носовой платок и с палкой в руке принялся расхаживать по комнате, подражая тем пожилым джентльменам, которых можно увидеть в любой час дня прогуливающимися по улице. Он останавливался то перед очагом, то у двери, делая вид, будто с величайшим вниманием рассматривает витрины. При этом он то и дело озирался, опасаясь

воров и, желая убедиться, что ничего не потерял, похлопывал себя поочередно по всем карманам так забавно и натурально, что Оливер смеялся до слез. Все время оба мальчика следовали за ним по пятам, а когда он оборачивался, так ловко скрывались из поля его зрения, что невозможно было за ними уследить. Наконец, Плут не то наступил ему на ногу, не то случайно за нее зацепился, а Чарли Бейтс налетел на него сзади, и в одно мгновение они с удивительным проворством стянули у него табакерку, записную книжку, часы с цепочкой, носовой платок и даже футляр от очков.

Если старый джентльмен ощущал чью-то руку в кармане, он кричал, в каком кармане рука, и тогда игра начиналась сызнова.

Когда в эту игру сыграли много раз подряд, явились две молодые леди навестить молодых джентльменов; одну из них звали Бет, а другую Нэнси. У них были чрезвычайно пышные волосы, не очень аккуратно причесанные, и грязные чулки и башмаки. Пожалуй, их нельзя было назвать хорошенькими, но румянец у них был яркий, и они казались здоровыми и жизнерадостными. Держали они себя очень мило и непринужденно, и Оливер решил, что они славные девушки. И несомненно так оно и было.

Эти гости пробыли долго. Подали виски, так как одна из молодых леди пожаловалась, что внутри у нее все застыло. Завязалась беседа, очень оживленная и поучительная. Наконец, Чарли Бейтс заявил, что пора, по его мнению, поразмять копыта. Оливер решил, что, по-видимому, это значит прогуляться, так как немедленно вслед за этим Плут. Чарли и обе молодые леди ушли все вместе, получив предварительно деньги на расходы от любезного старого еврея.

— Так-то, мой милый, — сказал Феджин. — Приятная жизнь, не правда ли? Они ушли на целый день.

— Со своей работой они уже покончили, сэр? — спросил Оливер.

— Совершенно верно, — ответил еврей, — разве что им подвернется какое-нибудь дельце во время прогулки, а уж тогда они им займутся, мой милый, можешь не сомневаться в этом. Бери с них пример, милый мой. Бери с них пример, — повторил он, постукивая по очагу лопаткой для угля, чтобы придать своим словам больше веса. — Делай все, что они тебе прикажут, и во всем слушайся их советов, в особенности, мой милый, советов Плута. Он будет великим человеком и тебя сделает таким же, если ты станешь ему подражать. Кстати, мой милый, не торчит ли у меня из кармана носовой платок? — спросил вдруг еврей.

— Да, сэр, — ответил Оливер.

— Посмотрим, удастся ли тебе его вытащить так, чтобы я не заметил. Утром ты видел, как они это делали, когда мы играли.

Оливер одной рукой придержал карман снизу, как это делал на его глазах Плут, а другой осторожно вытащил платок.

— Готово? — воскликнул еврей.

— Вот он, сэр! — сказал Оливер, показывая платок.

— Ты ловкий мальчуган, мой милый, — сказал старый джентльмен, одобрительно погладив Оливера по голове. — Никогда еще я не видывал такого шустрого мальчика. Вот тебе шиллинг. Если ты будешь продолжать в этом духе, из тебя выйдет величайший человек в мире. А теперь

иди сюда, я тебе покажу, как спарывают метки с платков.

Оливер не понимал, почему кража — в шутку — носового платка из кармана старого джентльмена имеет отношение к его шансам стать великим человеком. Но полагая, что еврей, который был много старше его, прекрасно об этом осведомлен, он послушно подошел к столу и вскоре углубился в новую работу.

Глава X. Оливер ближе знакомится с новыми товарищами и дорогой ценой приобретает опыт.

Короткая, но очень важная глава в этом повествовании

Много дней Оливер не выходил из комнаты еврея, спарывая метки с носовых платков (их приносили в большом количестве), а иной раз принимая участие в описанной выше игре, которую оба мальчика и еврей затекали каждое утро. Наконец, он начал тосковать по свежему воздуху и не раз умолял старого джентльмена разрешить ему пойти на работу вместе с двумя его товарищами.

Оливеру не терпелось приступить к работе еще и потому, что он узнал суровый, добродетельный нрав старого джентльмена. Если Плут и Чарли Бейтс приходили вечером домой с пустыми руками, он с жаром толковал о гнусной привычке к праздности и безделью и внушал им необходимость вести трудовую жизнь, отправляя их спать без ужина. Однажды он даже спустил обоих с лестницы, но, пожалуй, тут он слишком далеко зашел в своих моральных поучениях.

Наконец, настало утро, когда Оливер получил разрешение, которого так ревностно добивался. Вот уже два три дня не приносили носовых платков, ему нечего было делать, и обеды стали довольно скудными. Быть может, по этой-то причине старый джентльмен дал свое согласие. Как бы там ни было, он позволил Оливеру идти и поручил его заботам Чарли Бейтса и его приятеля Плута.

Мальчики втроем отправились в путь. Плут, по обыкновению, шел с подвернутыми рукавами и в заломленной набекрень шляпе; юный Бейтс шествовал, заложив руку в карманы, а между ними брел Оливер, недоумевая, куда они идут и какому ремеслу будет он обучаться в первую очередь.

Брели они лениво, не спеша, и Оливер вскоре начал подумывать, не хотят ли его товарищи обмануть старого джентльмена и вовсе не пойти на работу. Вдобавок у Плута была дурная привычка сдергивать шапки с ребят и забрасывать их во дворы, а Чарли Бейтс обнаружил весьма непохвальное понятие о правах собственности, таская яблоки и луковицы с лотков, стоящих вдоль тротуара, и рассыпая их по карманам, столь поместительным, что казалось, его костюм весь состоит из них. Это так не нравилось Оливеру, что он собирался заявить о своем намерении идти назад, как вдруг мысли его приняли другое направление, так как поведение Плута весьма загадочно изменилось.

Они только что вышли из узкого двора неподалеку от площади в Клеркенуэле, которая неведомо почему называется «Лужайкой», как вдруг Плут остановился и, приложив палец к губам, с величайшей осторожностью потащил своих товарищей назад.

— Что случилось? — спросил Оливер.

— Те... — зашептал Плут. — Видишь вон того старикашку у книжного ларька?

— Видишь джентльмена на той стороне? — спросил Оливер. — Вижу.

— Годится! — сказал Плут.

— Первый сорт! — заметил юный Чарли Бейтс.

Оливер с величайшим изумлением переводил взгляд с одного на другого, но задать вопроса не пришлось, так как оба мальчика незаметно перебежали через дорогу и подкрались сзади к старому джентльмену, которого показали ему раньше. Оливер сделал несколько шагов, и не зная, идти ли ему за ними, или пойти назад, остановился и взирав на них с безмолвным удивлением.

Старый джентльмен с напудренной головой и в очках в золотой оправе имел вид весьма почтенный. На нем был бутылочного цвета фрак с черным бархатным воротником и светлые брюки, а под мышкой он держал изящную бамбуковую трость. Он взял с прилавка книгу и стоя читал ее с таким вниманием, как будто сидел в кресле у себя в кабинете. Очень возможно, что он и в самом деле воображал, будто там сидит: судя по его сосредоточенному виду, было ясно, что он не замечает ни прилавка, ни улицы, ни мальчиков — короче говоря, ничего, кроме книги, которую усердно читал; дойдя до конца страницы, он переворачивал лист, начинал с верхней строки следующей страницы и продолжал читать с величайшим интересом и вниманием.

Каковы же были ужас и смтение Оливера, остановившегося в нескольких шагах и смотревшего во все глаза, когда он увидел, что Плут засунул руку в карман старого джентльмена и вытащил оттуда носовой платок, увидел, как он передал этот платок Чарли Бейтсу и, наконец, как они оба бросились бежать и свернули за угол.

В одно мгновение мальчику открылась тайна носовых платков, и часов, и драгоценных вещей, и еврея. Секунду он стоял неподвижно, и от ужаса кровь бурлила у него в жилах так, что ему казалось, будто он в огне; потом, растерянный и испуганный, он кинулся прочь и, сам не по ни мая, что делает, бежал со всех ног.

Все это произошло в одну минуту. В тот самый момент, когда Оливер бросился бежать, старый джентльмен сунул руку в карман и, не найдя носового платка, быстро оглянулся. При виде удиравшего мальчика он, разумеется, заключил, что это и есть преступник, и, закричав во все горло: «Держите вора!» — пустился за ним с книгой в руке.

Но не один только старый джентльмен поднял тревогу. Плут и юный Бейтс, не желая бежать по улице и тем привлечь к себе всеобщее внимание, спрятались в первом же подъезде за углом. Услыхав крик и увидев бегущего Оливера, они сразу угадали, что произошло, поспешили выскочить из подъезда и с криком: «Держите вора!» — приняли участие в погоне, как подобает добрым гражданам.

Хотя Оливер был воспитан философами, он теоретически не был знаком с превосходной аксиомой, что самосохранение есть первый закон природы. Будь он с нею знаком, он оказался бы к этому подготовленным. Но он не был подготовлен и тем сильнее испугался; посему он летел, как вихрь, а за ним с криком и ревом гнались старый джентльмен и два мальчика.

«Держите вора! Держите вора!» Есть в этих словах магическая сила. Лавочник покидает свой прилавок, а возчик свою подводку, мясник бросает свой лоток, булочник свою корзину, молочник свое ведро, рассыльный свои свертки, школьник свои шарики^[18], мостильщик свою кирку, ребенок свой волан^[19]. И бегут они как попало, вперемежку, наобум, толкаются, орут,

кричат, заворачивая за угол, сбивают с ног прохожих, пугают собак и приводят в изумление кур; а улицы, площади и дворы оглашаются криками.

«Держите вора! Держите вора!» Крик подхвачен сотней голосов, и толпа увеличивается на каждом углу. И мчатся они, шлепая по грязи и топая по тротуарам; открываются окна, выбегают из домов люди, вперед летит толпа, зрители покидают Панча^[20] в самый разгар его приключений и, присоединившись к людскому потоку, подхватывают крики и с новой энергией вопят: «Держите вора! Держите вора!»

«Держите вора! Держите вора!» Глубоко в человеческом сердце заложена страсть травить кого-нибудь. Несчастный, измученный ребенок, задыхающийся от усталости, — ужас на его лице, отчаяние в глазах, крупные капли пота стекают по щекам, — напрягает каждый нерв, чтобы уйти от преследователей, а они бегут за ним и, с каждой секундой к нему приближаясь, видят, что силы ему изменяют, и орут еще громче, и гикают, и режут от радости. «Держите вора!» О да, ради бога, задержите его хотя бы только из сострадания!

Наконец, задержали! Ловкий удар. Он лежит на мостовой, а толпа с любопытством его окружает. Вновь прибывающие толкаются и протискиваются вперед, чтобы взглянуть на него. «Отойдите в сторону!» — «Дайте ему воздуха!» — «Вздор! Он его не заслуживает». — «Где этот джентльмен?» — «Вот он, идет по улице». — «Пропустите вперед джентльмена!» — «Это тот самый мальчик, сэр?» — «Да».

Оливер лежал, покрытый грязью и пылью, с окровавленным ртом, бросая обезумевшие взгляды на лица окружавших его людей, когда самые быстроногие его преследователи угодливо привели и втолкнули в круг старого джентльмена.

— Да, — сказал джентльмен, — боюсь, что это тот самый мальчик.

— Боится! — пробормотали в толпе. — Добряк!

— Бедняжка! — сказал джентльмен. — Он ушибся.

— Это я, сэр! — сказал здоровенный, неуклюжий парень, выступив вперед. — Вот разбил себе кулак о его зубы. Я его задержал, сэр.

Парень, ухмыльнувшись, притронулся к шляпе, ожидая получить что-нибудь за труды, но старый джентльмен, посмотрев на него с неприязнью, тревожно оглянулся, как будто в свою очередь подумывал о бегстве. Весьма возможно, что он попытался бы это сделать и началась бы новая погоня, если бы в эту минуту не пробился сквозь толпу полисмен (который в таких случаях обычно является последним) и не схватил Оливера за шиворот.

— Ну, вставай! — грубо сказал он.

— Право же, это не я, сэр. Право же, это два других мальчика! — воскликнул Оливер, с отчаянием сжимая руки и осматриваясь вокруг. — Они где-нибудь здесь.

— Ну, здесь их нет, — сказал полисмен. Он хотел придать иронический смысл своим словам, но они соответствовали истине: Плут и Чарли Бейтс удрали, воспользовавшись первым подходящим для этой цели двором. — Вставай!

— Не обижай его! — мягко сказал старый джентльмен.

— Нет, я-то его не обижу! — отвечал полисмен и к доказательство своих слов чуть не сорвал с

Оливера куртку. — Идем, я тебя знаю, брось эти штуки. Встанешь ты, наконец, на ноги, чертенок?

Оливер, который едва мог стоять, ухитрился подняться на ноги, и тотчас его потащили за шиворот по улице. Джентльмен шагал рядом с полисменом, а те из толпы, что были попроворнее, забежали вперед и то и дело оглядывались на Оливера. Мальчишки торжественно орали, а они продолжали путь.

Глава XI, повествует о мистере Фэнге, полицейском судье, и дает некоторое представление о его способе отправлять правосудие

Преступление было совершено в районе, входившем в границы весьма известного полицейского участка столицы. Толпа имела удовольствие сопровождать Оливера только на протяжении двух-трех улиц и по так называемому Маттон-Хилл, а затем его провели под низкой аркой в грязный двор полицейского суда. В этом маленьком мощеном дворике их встретил дородный мужчина с клочковатыми бакенбардами на лице и связкой ключей в руке.

— Что тут еще случилось? — небрежно спросил он.

— Охотник за носовыми платками, — ответил человек, который привел Оливера.

— Вы — пострадавшая сторона, сэр? — осведомился человек с ключами.

— Да, я, — ответил старый джентльмен, — но я не уверен в том, что этот мальчик действительно стащил у меня носовой платок... Мне... мне бы хотелось не давать хода этому делу...

— Теперь остается только идти к судье, — сказал человек с ключами. — Его честь освободится через минуту. Ступай, молодой висельник.

Этимися словами он пригласил Оливера войти в отпертую им дверь, ведущую в камеру с кирпичными стенами. Здесь Оливера обыскали и, не найдя у него ничего, заперли.

Камера своим видом и размерами напоминала погреб, но освещалась куда хуже. Она оказалась нестерпимо грязной; было утро понедельника, а с субботнего вечера здесь сидели под замком шестеро пьяниц. Но это пустяки. В наших полицейских участках каждый вечер сажают под арест мужчин и женщин по самым ничтожным обвинениям — это слово достойно быть отмеченным — в темницы, по сравнению с которыми камеры в Ньюгете^[21], заполненные самыми опасными преступниками, коих судили, признали виновными и приговорили к смертной казни, напоминают дворцы. Пусть тот, кто в этом сомневается, сравнит их сам.

Когда ключ заскрежетал в замке, старый джентльмен был опечален почти так же, как Оливер. Он со вздохом обратился к книге, которая послужила невольной причиной происшедшего переполоха.

— В лице этого мальчика, — сказал старый джентльмен, медленно отходя от двери и с задумчивым видом похлопывая себя книгой по подбородку, — в лице этого мальчика есть что-то такое, что меня трогает и интересует. Может ли быть, что он не виновен? Лицо у него такое... Да, кстати! — воскликнул старый джентльмен, вдруг остановившись и подняв глаза к небу. — Ах, боже мой! Где ж это я раньше мог видеть такое лицо?

После нескольких минут раздумья старый джентльмен все с тем же сосредоточенным видом вошел в прихожую перед камерой судьи, выходящую во двор, и здесь, отступив в угол, воскресил в памяти длинную вереницу лиц, над которыми уже много лет назад спустился сумеречный занавес.

— Нет! — сказал старый джентльмен, покачивая головой. — Должно быть, это моя фантазия!

Он снова их обозрел. Он вызвал их, и нелегко было вновь опустить на них покров, так долго их скрывавший. Здесь были лица друзей, врагов, людей, едва знакомых, назойливо выглядывавших из толпы; здесь были лица молодых, цветущих девушек, теперь уже старух; здесь были лица, искаженные смертью и сокрытые могилой. Но дух, властвующий над ней, по-прежнему облакал их свежестью и красотой, вызывая в памяти блеск глаз, сверкающую улыбку, сияние души, просвечивающей из праха, и то неясное, что нашептывает красота из загробного мира, изменившаяся лишь для того, чтобы вспыхнуть еще ярче, и отнятая у земли, чтобы стать светочем, который озаряет мягкими, нежными лучами тропу к небесам.

Но старый джентльмен не мог припомнить ни одного лица, чьи черты можно было найти в облике Оливера. С глубоким вздохом он распрощался с пробужденными им воспоминаниями и, будучи, к счастью для себя, рассеянным старым джентльменом, снова похоронил их между пожелтевших страниц книги.

Он очнулся, когда человек с ключами тронул его за плечо и предложил следовать за ним в камеру судьи. Он поспешно захлопнул книгу и предстал перед лицом величественного и знаменитого мистера Фэнга.

Камера судьи помещалась в первой комнате с обшитыми панелью стенами. Мистер Фэнг сидел в дальнем конце, за перилами, а у двери находилось нечто вроде деревянного загона, куда уже был помещен бедный маленький Оливер, весь дрожавший при виде этой устрашающей обстановки.

Мистер Фэнг был худощавым, с длинной талией и несгибающейся шеей, среднего роста человеком, с небольшим количеством волос, произрастающих на затылке и у висков. Лицо у него было хмурое и багровое. Если он на самом деле не имел обыкновения пить больше, чем было ему полезно, он мог бы возбудить в суде против своей физиономии дело о клевете и получить щедрое вознаграждение за понесенные убытки.

Старый джентльмен почтительно поклонился и, подойдя к столу судьи, сказал, согласуя слова с делом:

— Вот моя фамилия и адрес, сэръ.

Затем он отступил шага на два и, отвесив еще один учтивый джентльменский поклон, стал ждать допроса.

Случилось так, что в этот самый момент мистер Фэнг внимательно читал передовую статью в утренней газете, упоминающую одно из недавних его решений и в триста пятидесятый раз предлагающую министру внутренних дел обратить на него особое и чрезвычайное внимание. Он был в дурном расположении духа и, нахмурившись, сердито поднял голову.

— Кто вы такой? — спросил мистер Фэнг.

Старый джентльмен с некоторым удивлением указал на свою визитную карточку.

— Полисмен, — сказал мистер Фэнг, презрительно отбрасывая карточку вместе с газетой, — кто этот субъект?

— Моя фамилия, сэр, — сказал старый джентльмен, как подобает говорить джентльмену, — моя фамилия, сэр, Браунлоу... Разрешите узнать фамилию судьи, который, пользуясь защитой своего звания, наносит незаслуженное и ничем не вызванное оскорбление почтенному лицу.

С этими словами мистер Браунлоу окинул взглядом комнату, словно отыскивая кого-нибудь, кто бы доставил ему требуемые сведения.

— Полисмен, — повторил мистер Фэнг, швыряя в сторону лист бумаги, — в чем обвиняется этот субъект?

— Он ни в чем не обвиняется, ваша честь, — ответил полисмен. — Он выступает обвинителем против мальчика, ваша честь.

Его честь прекрасно это знал; но это был превосходный способ досадить свидетелю, да к тому же вполне безопасный.

— Выступает обвинителем против мальчика, вот как? — сказал Фэнг, с ног до головы смерив мистера Браунлоу презрительным взглядом. — Приведите его к присяге!

— Прежде чем меня приведут к присяге, я прошу разрешения сказать одно слово, — заявил мистер Браунлоу, — а именно: я бы никогда не поверил, не убедившись на собственном опыте...

— Придержите язык, сэр! — повелительно сказал мистер Фэнг.

— Не желаю, сэр! — ответил старый джентльмен.

— Сию же минуту придержите язык, а не то я прикажу выгнать вас отсюда! — воскликнул мистер Фэнг. — Вы наглец! Как вы смеете грубить судье? Что такое? — покраснев, вскричал старый джентльмен.

— Приведите этого человека к присяге! — сказал Фэнг клерку. — Не желаю больше слышать ни единого слова. Приведите его к присяге.

Негодование мистера Браунлоу было безгранично, но, сообразив, быть может, что он только повредит мальчику, если даст волю своим чувствам, мистер Браунлоу подавил их и покорно принес присягу.

— Ну, — сказал Фэнг, — в чем обвиняют этого мальчика? Что вы имеете сказать, сэр?

— Я стоял у книжного ларька... — начал мистер Браунлоу.

— Помолчите, сэр, — сказал мистер Фэнг. — Полисмен! Где полисмен?.. Вот он. Приведите к присяге этого полисмена... Ну, полисмен, в чем дело?

Полисмен с надлежащим смирением доложил о том, как он задержал обвиняемого, как обыскал Оливера и ничего не нашел, и о том, что он больше ничего об этом не знает.

— Есть еще свидетели? — осведомился мистер Фэнг.

— Больше никого нет, сэр, — ответил полисмен.

Мистер Фэнг несколько минут молчал, а затем, повернувшись к потерпевшему, сказал с неудержимой злобой:

— Намерены вы изложить, в чем заключается ваше обвинение против этого мальчика, или не намерены? Вы принесли присягу. Если вы отказываетесь дать показание, я вас покараю за неуважение к суду. Чтоб вас...

Конец фразы остается неизвестным, ибо как раз в надлежащий момент клерк и тюремщик очень громко кашлянули, и первый уронил на пол — разумеется, случайно — тяжелую книгу, благодаря чему слова невозможно было расслышать.

Мистер Браунлоу, которого много раз перебивали и поминутно оскорбляли, ухитрился изложить свое дело, заявив, что в первый момент, растерявшись, он бросился за мальчиком, когда увидел, что тот удирает от него: затем он выразил надежду, что судья, признав мальчика виновным не в воровстве, но в сообщничестве с ворами, окажет ему снисхождение, не нарушая закона.

— Он и без того уже пострадал, — сказал в заключение старый джентльмен. — И боюсь, — энергически добавил он, бросив взгляд на судью, — право же, боюсь, что он болен!

— О да, конечно! — насмешливо улыбаясь, сказал мистер Фэнг. — Эй ты, бродяжка, брось эти фокусы! Они тебе не помогут. Как тебя зовут?

Оливер попытался ответить, но язык ему не повиновался. Он был смертельно бледен, и ему казалось, что все в комнате кружится перед ним.

— Как тебя зовут, закоснелый ты негодяй? — спросил мистер Фэнг. — Полисмен, как его зовут?

Эти слова относились к грубоватому, добродушному на вид старику в полосатом жилете, стоявшему у перил. Он наклонился к Оливеру и повторил вопрос, но, убедившись, что тот действительно не в силах понять его, и зная, что молчание мальчика только усилит бешенство судьи и приведет к более суровому приговору, он рискнул ответить наобум.

— Он говорит, и его зовут Том Уайт, ваша честь, — сказал этот мягкосердечный охотник за ворами.

— О, так он не желает разговаривать? — сказал Фэнг. — Прекрасно, прекрасно. Где он живет?

— Где придется, ваша честь! — заявил полисмен, снова притворяясь, будто Оливер ему незнаком.

— Родители живы? — осведомился мистер Фэнг.

— Он говорит, что они умерли, когда он был совсем маленький, ваша честь, — сказал полисмен наугад, как говорил обычно.

Когда допрос достиг этой стадии. Оливер поднял голову и, бросив умоляющий взгляд, слабым голосом попросил глоток воды.

— Вздор! — сказал мистер Фэнг. — Не вздумай меня дурачить.

— Мне кажется, он и в самом деле болен, ваша честь, — возразил полисмен.

— Мне лучше знать, — сказал мистер Фэнг.

— Помогите ему, полисмен, — сказал старый джентльмен, инстинктивно протягивая руки, — он вот-вот упадет!

— Отойдите, полисмен! — крикнул Фэнг. — Если ему угодно, пусть падает.

Оливер воспользовался милостивым разрешением и, потеряв сознание, упал на пол. Присутствующие переглянулись, но ни один не посмел шевельнуться.

— Я знал, что он притворяется, — сказал Фэнг, словно это было неопровержимым доказательством притворства. — Пусть он так и лежит. Ему это скоро надоест.

— Как вы намерены решить это дело, сэр? — спросил клерк.

— Очень просто! — ответил мистер Фэнг. — Он приговаривается к трехмесячному заключению и, разумеется, к тяжелым работам. Очистить зал!

Открыли дверь, и два человека приготовились унести бесчувственного мальчика в тюремную камеру, как вдруг пожилой человек в поношенном черном костюме, на вид пристойный, но бедный, ворвался в комнату и направился к столу судьи.

— Подождите! Не уносите его! Ради бога, подождите минутку! — воскликнул вновь прибывший, запыхавшись от быстрой ходьбы.

Хотя духи, председательствующие в подобных местах, пользуются полной и неограниченной властью над свободой, добрым именем, репутацией, чуть ли не над жизнью подданных ее величества, в особенности принадлежащих к беднейшим классам, и хотя в этих стенах ежедневно разыгрываются такие фантастические сцены, что ангелы могли бы выплакать себе глаза, однако это скрыто от общества, разве только кое-что проникает в печать. Вследствие этого мистер Фэнг не на шутку вознегодовал при виде незваного гостя, столь неучтиво нарушившего порядок.

— Что это? Кто это такой? Выгнать этого человека! Очистить зал! — вскричал мистер Фэнг.

— Я буду говорить! — крикнул человек. — Я не позволю, чтобы меня выгнали! Я все видел. Я владеец книжного ларька. Я требую, чтобы меня привели к присяге! Меня вы не заставите молчать. Мистер Фэнг, вы должны меня выслушать! Вы не можете мне отказать, сэр.

Этот человек был прав. Вид у него был решительный, а дело принимало слишком серьезный оборот, чтобы можно было его замять.

— Приведите этого человека к присяге! — весьма недружелюбно проворчал мистер Фэнг. — Ну, что вы имеете сказать?

— Вот что: я видел, как три мальчика — арестованный и еще двое слонялись по другой стороне улицы, когда этот джентльмен читал книгу. Кражу совершил другой мальчик. Я видел, как это произошло и видел, что вот этот мальчик был совершенно ошеломлен и потрясен.

К тому времени достойный владеец книжного ларька немного отдышался и уже более связно рассказал, при каких обстоятельствах была совершена кража.

— Почему вы не явились сюда раньше? — помолчав, спросил Фэнг.

— Мне не на кого было оставить лавку, — ответил тот. — Все, кто мог бы мне помочь, приняли

участие в погоне. Еще пять минут назад я никого не мог найти, а сюда я бежал всю дорогу.

— Истец читал, не так ли? — осведомился Фэнг, снова помолчав.

— Да, — ответил человек. — Вот эту самую книгу, которая у него в руке.

— Эту самую, да? — сказал Фэнг. — За нее уплачено?

— Нет, не уплачено, — с улыбкой ответил книгопродавец.

— Ах, боже мой, я об этом совсем забыл! — простодушно воскликнул рассеянный старый джентльмен.

— Что и говорить, достойная особа, а еще возводит обвинения на бедного мальчика! — сказал Фэнг, делая комические усилия казаться сердобольным. — Я полагаю, сэр, что вы завладели этой книгой при весьма подозрительных и порочащих вас обстоятельствах. И можете считать себя счастливым, что владелец ее не намерен преследовать вас по суду. Пусть это послужит вам уроком, любезнейший, а не то правосудие еще займется вами... Мальчик оправдан. Очистить зал!

— Черт побери! — вскричал старый джентльмен, не в силах больше сдерживать свой гнев. — Черт побери! Я...

— Очистить зал! — сказал судья. — Полисмены, слышите? Очистить зал!

Приказание было исполнено. И негодующего мистера Браунлоу, который был вне себя от гнева и возмущения, выпроводили вон с книгой в одной руке и с бамбуковой тростью в другой. Он вышел во двор, и бешенство его мгновенно улеглось. На мощеном дворе лежал маленький Оливер Твист в расстегнутой рубашке и со смоченными водой висками; лицо его было смертельно бледно, дрожь пробегала по всему телу.

— Бедный мальчик, бедный мальчик! — сказал мистер Браунлоу, наклонившись к нему. — Карету! Пожалуйста, пусть кто-нибудь наймет карету. Поскорее!

Появилась карета, и когда Оливера бережно опустили на одно сиденье, старый джентльмен занял другое.

— Разрешите поехать с вами? — попросил владелец книжного ларька, заглядывая в карету.

— Ах, боже мой, конечно, дорогой сэр! — быстро ответил мистер Браунлоу. — Я забыл о вас. Боже мой, боже мой! У меня все еще эта злополучная книга! Влезайте поскорее! Бедный мальчуган! Нельзя терять ни минуты.

Владелец книжного ларька сел в карету, и они уехали.

Глава XII, в которой об Оливере заботятся лучше, чем когда бы то ни, было, а в которой снова повествуется о веселом старом джентльмене и его молодых друзьях

Карета с грохотом катила почти той же дорогой, какой шел Оливер, когда впервые вступил в Лондон, сопровождаемый Плутон, и, доехав до «Ангела» в Излингтоне, свернула в другую сторону и, наконец, остановилась у чистенького домика в тихой, окаймленной деревьями улице

близ Пентонвила. Здесь Оливеру была немедленно приготовлена постель, и сам мистер Браунлоу проследил, чтобы в нее бережно уложили его юного питомца; здесь за ним ухаживали с бесконечной нежностью и заботливостью.

Но в течение многих дней Оливер оставался нечувствительным к доброте своих новых друзей. Солнце взошло и зашло, и снова взошло и зашло, и это повторялось много раз, а мальчик по-прежнему метался на кровати к иссушающему жару лихорадки. Червь совершает свою работу над трупом не с большей уверенностью, чем этот медленно ползущий огонь над живым телом.

Слабый, худой и бледный, он очнулся, наконец, словно после долгого тревожного сна.

— Что это за комната? Куда меня привели? — спросил Оливер. — Мне здесь никогда не случалось спать.

Он был очень истощен и слаб, и эти слова произнес тихим голосом, но их тотчас же услышали. Полог у изголовья кровати быстро отдернули, и добродушная старая леди, опрятно и скромно одетая, поднялась с кресла у самой кровати, в котором она сидела, занимаясь шитьем.

— Тише, дорогой мой, — ласково сказала старая леди. — Ты должен лежать очень спокойно, иначе опять заболеешь. А тебе было очень плохо, так плохо, что хуже и быть не может. Ложись, будь умником!

С этими словами старая леди осторожно уложила голову Оливера на подушку и, откинув ему волосы со лба с такой добротой и любовью посмотрела на него, что он невольно схватил исхудалой рукой ее руку и обвил ее вокруг своей шеи.

— Господи помилуй! — со слезами на глазах сказала старая леди. — Какое благодарное милое дитя! И какой он хорошенький! Что почувствовала бы его мать, если бы все это время она сидела, как я, в его кровати и могла поглядеть на него сейчас!

— Может быть, она меня видит, — прошептал Оливер, складывая руки. — Может быть, она сидела подле меня. Мне казалось, будто она сидела.

— Это тебя от лихорадки, дорогой мой, — ласково сказала старая леди.

— Должно быть, — ответил Оливер, — потому что небо от нас очень далеко, а они там слишком счастливы, чтобы прийти к постели больного мальчика. Но если она знала, что я болен, она и там должна была пожалеть меня, ведь она сама перед смертью была очень больна. Впрочем, она ничего не может обо мне знать, — помолчав, добавил Оливер. — Если бы она видела, как меня обижали, ее бы это опечалило, но, когда она мне снилась, лицо у нее всегда было ласковое и счастливое.

Старая леди ничего на это не ответила; вытерев сначала глаза, а потом лежавшие на одеяле очки, словно они являлись неотъемлемой частью глаз, она подала Оливеру какое-то прохладительное питье, а затем, погладив его по щеке, сказала, что он должен лежать очень спокойно, а не то опять заболеет.

И Оливер лежал очень спокойно, отчасти потому, что хотел во всем повиноваться доброй старой леди, а отчасти, сказать по правде, и потому, что очень ослабел после этого разговора. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше.

— Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый? — сказал джентльмен.

— Да, благодарю вас, — ответил Оливер.

— Я знаю, что лучше, — сказал джентльмен. — И тебе хочется есть, правда?

— Нет, сэр, — ответил Оливер.

— Гм! — сказал джентльмен. — Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин, — с глубокомысленным видом сказал джентльмен.

Старая леди почтительно наклонила голову, как бы давая понять, что считает доктора очень умным человеком. По-видимому, и сам доктор был того же мнения.

— Тебя клонит в сон, правда, мой милый? — сказал доктор.

— Нет, сэр, — ответил Оливер.

— Так! — сказал доктор с очень пронизательным и довольным видом. — Тебя не клонит в сон. И пить не хочется, правда?

— Пить хочется, сэр, — ответил Оливер.

— Я так и предполагал, миссис Бэдуин, — сказал доктор. — Очень естественно, что ему хочется пить. Вы можете дать ему немного чаю, сударыня, и гренок без масла. Не укрывай его слишком тепло, но, будьте добры, позаботьтесь, чтобы ему не было холодно.

Старая леди сделала реверанс. Доктор, отведав освежающее питье и выразив свое одобрение, поспешно удалился; башмаки его скрипели очень внушительно и чванливо, когда он спускался по лестнице.

Вскоре после этого Оливер снова задремал, а когда он проснулся, было около полуночи. Старая леди ласково пожелала ему спокойной ночи и оставила его на попечение толстой старухи, которая только что пришла, принесла с собой в узелке маленький молитвенник и большой ночной чепец. Надев чепец на голову и положив молитвенник на стол, старуха сообщила, что пришла ухаживать за ним ночью, а затем придвинула стул поближе к камину и погрузилась в сон, который то и дело прерывался, потому что она клевала носом, охала и сопела. Впрочем, никакой беды от этого не приключилось, только по временам она просыпалась и сильно терла нос, после чего снова засыпала.

Медленно тянулись ночные часы. Оливер долго не спал, считая светлые кружочки, которые отбрасывала на потолок тростниковая свеча ^[22], заслоненная экраном, или всматриваясь усталым взором в сложный рисунок на обоях. Сумрак и тишина в комнате были торжественны. Они навеяли мальчику мысль о том, что в течение многих дней и ночей здесь витала смерть и, быть может, еще теперь в комнате сохранился след ее страшного присутствия; он уткнулся лицом в подушку и стал горячо молиться.

Наконец, он заснул тем глубоким, спокойным сном, какой приходит только после недавних страданий, тем безмятежным, тихим сном, который мучительно нарушить. Если такова смерть, кто захотел бы воскреснуть для борьбы и треволнений жизни со всеми ее заботами о настоящем, тревогой о будущем и прежде всего тяжелыми воспоминаниями о прошлом!

Давно уже рассвело, когда Оливер открыл глаза; он почувствовал себя бодрым и счастливым.

Кризис благополучно миновал. Оливер возвратился в этот мир.

Прошло три дня — и он уже мог сидеть в кресле, со всех сторон обложенный подушками; а так как он все еще был очень слаб и не мог ходить, миссис Бэдуин — экономка — на руках перенесла его вниз, в маленькую комнатку, которую она занимала. Усадив его здесь у камина, добрая старая леди тоже села и, в восторге от того, что он чувствует себя гораздо лучше, расплакалась не на шутку.

— Не обращай на меня внимания, дорогой мой, — сказала старая леди. — Я хочу хорошенько поплакать... Ну вот, все уже прошло, и у меня очень весело на душе.

— Вы очень, очень добры ко мне, сударыня, — сказал Оливер.

— Полно, не думай об этом, дорогой мой, — сказала старая леди. — Это никакого отношения не имеет к твоему бульону, а тебе давно уже пора его покушать, потому что доктор позволил мистеру Браунлоу навестить тебя сегодня утром, и у тебя должен быть наилучший вид: чем лучше будет у тебя вид, чем он будет довольнее.

И с этими словами старая леди принялась разогревать в кастрюльке большую порцию бульона, такого крепкого, что, по мнению Оливера, если разбавить этот бульон надлежащим образом, он мог бы послужить обедом, по самому скромному подсчету, на триста пятьдесят бедняков.

— Ты любишь картины, дорогой мой? — спросила старая леди, заметив, что Оливер пристально смотрит на портрет, висевший на стене, как раз против его кресла.

— Право, не знаю, сударыня, — ответил Оливер, не спуская глаз с холста. — Я видел так мало картин, что и сам хорошенько не знаю. Какое прекрасное, кроткое лицо у этой леди!

— Ах! — сказала старая леди. — Живописцы всегда рисуют леди красивее, чем они есть на самом деле, иначе у них не было бы заказчиков, дитя мое. Человек, который изобрел машину, снимающую портреты, мог бы догадаться, что она не будет пользоваться успехом. Она слишком правдива, слишком правдива, — сказала старая леди, от души смеясь своей собственной остроте.

— А это... это портрет, сударыня? — спросил Оливер.

— Да, — сказала старая леди, на минутку отвлекаясь от бульона, — это портрет.

— Чей, сударыня? — спросил Оливер.

— Право, не знаю, дорогой мой, — добродушно ответила старая леди. — Думаю что этой особы на портрете мы с тобой не знаем. Он как будто тебе понравился?

— Он такой красивый, — сказал Оливер.

— Да уж не боишься ли ты его? — спросила старая леди, заметив, к большому своему изумлению, что мальчик с каким-то благоговейным страхом смотрит на картину.

— О нет! — быстро ответил Оливер. — Но глаза такие печальные, и с того места, где я сижу, кажется, будто они смотрят на меня. У меня начинает сильно биться сердце, — шепотом добавил Оливер, — словно этот портрет живой и хочет заговорить со мной, но не может.

— Господи помилуй! — вздрогнув, воскликнула старая леди. — Не надо так говорить, дитя мое.

Ты еще слаб, и нервы у тебя не в порядке после болезни. Дай-ка я передвину твое кресло к другой стене, и тогда тебе не будет его видно. Вот так! — сказала старая леди, приводя свое намерение в исполнение. — Уж теперь-то ты его не видишь.

Оливер *видел* его духовным взором так же ясно, как будто не менял места; но он решил не огорчать добрую старую леди; поэтому он кротко улыбнулся, когда она взглянула на него. Миссис Бэдуин, радуясь тому, что он успокоился, посолила бульон и положила туда сухариков; исполняя эту торжественную процедуру, она чрезвычайно суетилась. Оливер очень быстро покончил с бульоном. Едва успел он проглотить последнюю ложку, как в дверь тихонько постучали.

— Войдите, — сказала старая леди.

И появился мистер Браунлоу.

Старый джентльмен очень бодро вошел в комнату, но как только он поднял очки на лоб и заложил руки за спину под полы халата, чтобы хорошенько всмотреться в Оливера, лицо его начало как-то странно подергиваться. Оливер казался очень истощенным и прозрачным после болезни. Из уважения к своему благодетелю он сделал неудачную попытку встать, закончившуюся тем, что он снова упал в кресло. А уж если говорить правду, сердце мистера Браунлоу, такое большое, что его хватало бы на полдюжины старых джентльменов, склонных к человеколюбию, заставило его глаза наполниться слезами благодаря какому-то гидравлическому процессу, который мы отказываемся объяснить, не будучи в достаточной мере философами.

— Бедный мальчик, бедный мальчик! — откашливаясь, сказал мистер Браунлоу. — Я немножко охрип сегодня, миссис Бэдуин. Боюсь, что простудился.

— Надеюсь, что нет, сэр, — сказала миссис Бэдуин. — Все ваши вещи были хорошо просушены, сэр.

— Не знаю, Бэдуин, не знаю, — сказал мистер Браунлоу. — Кажется, вчера за обедом мне подали сырую салфетку, но это неважно... Как ты себя чувствуешь, мой милый?

— Очень хорошо, сэр, — ответил Оливер. — Я очень благодарен, сэр, за вашу доброту ко мне.

— Славный мальчик... — решительно сказал Мистер Браунлоу. — Вы ему дали поесть, Бэдуин? Какого-нибудь жиденького супу?

— Сэр, он только что получил тарелку прекрасного, крепкого бульону, — ответила миссис Бэдуин, выпрямившись и делая энергическое ударение на последнем слове, как бы давая этим понять, что жиденький суп и умело приготовленный бульон не состоят ни в родстве, ни в свойстве.

— Уф! — вымолвил мистер Браунлоу, передернув плечами. — Рюмки две хорошего портвейна принесли бы ему гораздо больше пользы. Не правда ли, Том Уайт?

— Меня зовут Оливер, сэр, — с удивлением сказал маленький больной.

— Оливер, — повторил мистер Браунлоу. — Оливер, а дальше как? Оливер Уайт, да?

— Нет, сэр, Твист, Оливер Твист.

— Странная фамилия, — сказал старый джентльмен. — Почему же ты сказал судье, что тебя зовут Уайт?

— Я ему этого не говорил, сэр, — с недоумением возразил Оливер.

Это так походило на ложь, что старый джентльмен довольно строго посмотрел на Оливера. Немыслимо было не поверить ему: тонкое, исхудавшее лицо его дышало правдой.

— Какое-то недоразумение! — сказал мистер Браунлоу.

У него больше не было оснований пристально смотреть на Оливера, тем не менее мысль о сходстве его с каким-то знакомым лицом снова овладела старым джентльменом с такой силой, что он не мог отвести взгляд.

— Надеюсь, вы не сердитесь на меня, сэр? — спросил Оливер, устремив на него умоляющий взгляд.

— Нисколько! — сказал старый джентльмен. — Что же это значит?.. Бэдуин, смотрите!

С этими словами он быстро указал на портрет над головой мальчика, а потом на лицо Оливера. Это была живая копия. Те же черты, глаза, лоб, рот. И выражение лица то же, словно мельчайшая черточка была воспроизведена с поразительной точностью!

Оливер не узнал причины такого неожиданного восклицания, потому что у него еще не было сил перенести вызванное этим потрясение, и он потерял сознание.

Обнаруженная им слабость дает нам возможность удовлетворить интерес читателя к двум юным ученикам веселого старого джентльмена и поведать о том, что, когда Плут и его достойный друг юный Бейтс приняли участие в погоне за Оливером, начавшейся вследствие того, что они, как было описано выше, незаконным образом присвоили личную собственность мистера Браунлоу, — ими руководила весьма похвальная забота о самих себе. А так как истый англичанин прежде всего и с наибольшей гордостью хвастается гражданскими вольностями и свободой личности, то вряд ли нужно обращать внимание читателя на то, что поведение Плута и юного Бейтса должно поднимая их в глазах всех общественных деятелей и патриотов в такой же мере, в какой это неопровержимое доказательство их беспокойства о собственной безопасности и благополучии утверждает и подкрепляет небольшой свод законов, который иные глубокомысленные философы положили в основу всех деяний и поступков Природы! Упомянутые философы очень мудро свели действия этой доброй леди к правилам и теориям и, делая весьма любезный и приятный комплимент ее высокой мудрости и разуму, совершенно устранили все, что имеет отношение к сердцу, великодушным побуждениям и чувствам. Ибо эти качества вовсе не достойны особы, которая со всеобщего согласия признана стоящей выше многочисленных маленьких слабостей и недостатков, присущих ее полу.

Если бы мне нужно было еще какое-нибудь доказательство в пользу философического характера поведения этих молодых джентльменов, я бы тотчас обрел его в том факте (уже отмеченном в предшествующей части этого повествования), что они отказались от погони, когда всеобщее внимание сосредоточилось на Оливере, и немедленно отправились домой кратчайшим путем. Хотя я не намерен утверждать, что прославленные, всеведущие мудрецы имеют обыкновение сокращать пути, ведущие к великим умозаклучениям (в сущности, они скорее расположены увеличивать расстояние с помощью различных многоречивых уклонений и колебаний, подобных тем, которым склонны предаваться пьяные под натиском слишком мощного потока мыслей), но я намерен сказать и говорю с уверенностью, что многие великие философы, развивая теории, проявляют большую мудрость и предусмотрительность, принимая

меры против всех случайностей, какие могут быть им хоть сколько-нибудь опасны. Таким образом, для того чтобы принести великое добро, вы имеете право сотворить маленькое зло и можете пользоваться любыми средствами, которые будут оправданы намеченной вами целью. Определить степень добра и степень зла и даже разницу между ними всецело предоставляется усмотрению заинтересованного в этом философа, дабы он их установил путем ясного, разумного и беспристрастного исследования каждого частного случая.

Оба мальчика быстро пробежали запутаннейшим лабиринтом узких улиц и дворов и тогда только рискнули остановиться в низком и темном подъезде. Постояв здесь молча ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы отдышаться и обрести дар речи, юный Бейтс весело взвизгнул и, залившись неудержимым смехом, бросился на крылечко и начал по нему кататься вне себя от восторга.

— В чем дело? — осведомился Плут.

— Ха-ха-ха! — заливался Чарли Бейтс.

— Заткни глотку, — приказал Плут, осторожно озираясь. — Хочешь, чтобы тебя сцапали, дурак?

— Я не могу удержаться, — сказал Чарли, — не могу удержаться! Как он улепетывал, сворачивая за угол, налетал на тумбы и опять пускался бежать, словно и сам он железный, как тумба, а утиралка у меня в кармане, а я ору ему вслед. Ах, боже мой!

Живое воображение юного Бейтса воспроизвело всю сцену в слишком ярких красках. При этом восклицании он снова стал кататься по крылечку и захохотал еще громче.

— Что скажет Феджин? — спросил Плут, воспользовавшись минутой, когда его приятель снова задохнулся от смеха.

— Что? — переспросил Чарли Бейтс.

— Вот именно — что? — повторил Плут.

— А что же он может сказать? — спросил Чарли, внезапно перестав веселиться, потому что вид у Плута был серьезный. — Что он может сказать?

Мистер Даукинс минуты две свистел, затем, сняв шляпу, почесал голову и трижды кивнул.

— Что ты хочешь сказать? — спросил Чарли.

— Тра-ля-ля! Вздор и чепуха, черт подери! — сказал Пим. И на умной его физиономии появилась усмешка.

Это было пояснение, но неудовлетворительное. Юный Бейтс нашел его таковым и повторил:

— Что ты хочешь сказать?

Чарли ничего не ответил; надев шляпу и подобрав полы своего длинного сюртука, он подпер щеку языком, раз шесть по привычке, но выразительно, щелкнул себя по переносице и, повернувшись на каблуках, шмыгнул во двор. Юный Бейтс с задумчивой физиономией последовал за ним.

Несколько минут спустя после этого разговора шаги на скрипучей лестнице привлекли

внимание веселого старого джентльмена, который сидел у очага, держа в левой руке дешевую колбасу и хлеб, а в правой — складной нож: на тагане стояла оловянная кастрюля. Отвратительная улыбка появилась на его бледном лице, когда он оглянулся и, зорко поглядывая из-под густых рыжих бровей, повернулся к двери и стал прислушиваться.

— Что же это? — пробормотал еврей, изменившись в лице. — Только двое? Где третий? Не могли же они попасть в беду.

Шаги приближались; они уже слышались с площадки лестницы. Дверь медленно открылась, и Плут с Чарли Бейтсом, войдя, закрыли ее за собой.

Глава XIII. Понятливый читатель знакомится с новыми лицами; в связи с этим повествуется о разных занимательных предметах, имеющих отношение к этой истории

— Где Оливер? — с грозным видом спросил еврей и вскочил. — Где мальчик?

Юные воришки смотрели на своего наставника, встревоженные его порывистым движением, и с беспокойством переглянулись. Но они ничего не ответили.

— Что случилось с мальчиком? — крикнул еврей, крепко схватив Плута за шиворот и осыпая его отвратительными ругательствами. — Отвечай, или я тебя задушу!

Мистер Феджин отнюдь не шутил, и Чарли Бейтс, который почитал разумным заботиться о собственной безопасности и не видел ничего невероятного в том, что затем наступит и его черед погибнуть от удушения, упал на колени и испустил громкий, протяжный, несмолкающий рев — нечто среднее между ревом бешеного быка и ревом рупора.

— Будешь ты говорить? — рявкнул еврей, встряхивая Плута с такой силой, что казалось поистине чудесным, как тот не выскочит из своего широкого сюртука.

— Ищейки его сцапали, и конец делу! — сердито сказал Плут. — Пустите меня, слышите!

Рванувшись и выскользнув из широкого сюртука, который остался в руках еврея. Плут схватил вилку для поджаривания гренок и замахнулся, целясь в жилет веселого старого джентльмена; если бы это увенчалось успехом, старик лишился бы некоторой доли веселости, которую нелегко было бы возместить.

В этот критический момент еврей отскочил с таким проворством, какого трудно было ожидать от человека, по-видимому столь немогущего и дряхлого, и, схватив кувшин, замахнулся, чтобы швырнуть его в голову противнику. Но так как в эту минуту Чарли Бейтс привлек его внимание поистине устрашающим воем, он внезапно передумал и запустил кувшином в этого молодого джентльмена.

— Что за чертовщина! — проворчал чей-то бас. — Кто это швырнул? Хорошо, что в меня попало пиво, а не кувшин, не то я бы кое с кем расправился!.. Ну конечно! Кто же, кроме этого чертова богача, грабителя, старого еврея, станет зря расплескивать напитки! Разве что воду, — да и воду только в том случае, если каждые три месяца обманывает водопроводную компанию... В чем дело, Феджин? Черт меня подери, если мой шарф не вымок в пиве!.. Ступай сюда, подлая тварь, чего торчишь там, за дверью, будто стыдишься своего хозяина! Сюда!

Субъект, произнесший эту речь, был крепкого сложения детиной лет тридцати пяти, в черном вельветовом сюртуке, весьма грязных коротких темных штанах, башмаках на шнуровке и серых бумажных чулках, которые обтягивали толстые ноги с выпуклыми икрами, — такие ноги при таком костюме всегда производят впечатление чего-то незаконченного, если их не украшают кандалы. На голове у него была коричневая шляпа, а на шее пестрый шарф, длинными, обтрепанными концами которого он вытирал лицо, залитое пивом. Когда он покончил с этим делом, обнаружилось, что лицо у него широкое, грубое, несколько дней не знавшее бритвы; глаза были мрачные; один из них обрамляли разноцветные пятна, свидетельствующие о недавно полученном ударе.

— Сюда, слышишь? — проворчал этот симпатичный субъект.

Белая лохматая собака с исцарапанной мордой прошмыгнула в комнату.

— Почему не входила раньше? — сказал субъект. — Слишком возгордилась, чтобы показываться со мной на людях? Ложись!

Приказание сопровождалось пинком, отбросившим животное в другой конец комнаты. Однако пес, по-видимому, привык к этому: очень спокойно он улегся в углу, не издавая ни звука, раз двадцать в минуту мигая своими недобрыми глазами, и, казалось, принялся обозревать комнату.

— Чем это вы тут занимаетесь: мучите мальчиков, жадный, скупой, ненасытный старик, укрыватель краденого? — спросил детина, преспокойно усаживаясь. — Удивляюсь, как это они вас еще не прикончили! Я бы на их месте это сделал! Я бы давным-давно это сделал, будь я вашим учеником и... нет, продать вас мне бы не удалось, куда вы годны?! Разве что сохранять вас, как редкую уродину, в стеклянной банке, да таких больших стеклянных банок, кажется, не делают.

— Тише! — дрожа, проговорил еврей. — Мистер Сайкс, не говорите так громко.

— Бросьте этих мистеров! — отозвался детина. — У вас всегда что-то недоброе на уме, когда вы начинаете этак выражаться. Вы мое имя знаете — стало быть, так меня и называйте! Я его не опозорю, когда час пробьет!

— Вот именно, совершенно верно, Билл Сайкс, — с гнусным подбострастием сказал еврей. — Вы как будто в дурном расположении духа, Билл?

— Может быть, и так, — ответил Сайкс. — Я бы сказал, что и вы не в своей тарелке, или вы считаете, что никому не приносите убытка, когда швыряетесь кувшинами или выдаете...

— Вы с ума сошли? — вскричал еврей, хватая его за рукав и указывая на мальчиков.

Мистер Сайкс удовольствовался тем, что затянул воображаемый узел под левым своим ухом и склонил голову к правому плечу, — по-видимому, еврей прекрасно понял этот пантомим. Затем на жаргоне, которым были в изобилии приправлены все его речи, — если бы привести его здесь, он был бы решительно непонятен, — мистер Сайкс потребовал себе стаканчик.

— Только не подумайте всыпать туда яду, — сказал он.

Это было сказано в шутку, но если бы он видел, как еврей злобно прищурился и повернулся к буфету, закусив бледные губы, быть может, ему пришло бы в голову, что предосторожность не является излишней и веселому старому джентльмену во всяком случае не чуждо желание

улучшить изделие винокура.

Пропустив два-три стаканчика, мистер Сайкс снизошел до того, что обратил внимание на молодых джентльменов; такая любезность с его стороны привела к беседе, в которой причины и подробности ареста Оливера были детально изложены с теми изменениями и уклонениями от истины, какие Плут считал наиболее уместными при данных обстоятельствах.

— Боюсь, — произнес еврей, — как бы он не сказал чего-нибудь, что доведет нас до беды...

— Все может быть, — со злобной усмешкой отозвался Сайкс. — Вас предадут, Феджин.

— И, знаете ли, я боюсь, — продолжал еврей, как будто не обращая внимания на то, что его прервали, и при этом пристально глядя на своего собеседника, — боюсь, что если наша игра проиграна, то это может случиться и кое с кем другим, а для вас это обернется, пожалуй, хуже, чем для меня, мой милый.

Детина вздрогнул и круто повернулся к еврею. Но старый джентльмен поднял плечи до самых ушей, а глаза его рассеянно уставились на противоположную стену.

Наступило длительное молчание. Казалось, каждый член почтенного общества погрузился в свои собственные размышления, не исключая и собаки, которая злорадно облизывалась, как будто подумывая о том, чтобы атаковать ноги первого джентльмена или леди, которых случится ей встретить, когда она выйдет на улицу.

— Кто-нибудь должен разузнать, что там произошло, в камере судьи, — сказал мистер Сайкс, заметно умерив тон.

Еврей в знак согласия кивнул головой.

— Если он не донес и посажен в тюрьму, бояться нечего, пока его не выпустят, — сказал мистер Сайкс, — а потом уж нужно о нем позаботиться. Вы должны как-нибудь заполнить его в свои руки.

Еврей снова кивнул головой.

Такой план действий был разумен, но, к несчастью, ему препятствовало одно весьма серьезное обстоятельство. Дело в том, что Плут, Чарли Бейтс, Феджин и мистер Уильям Сайкс питали глубокую и закоренелую антипатию к прогулкам около полицейского участка на любом основании и под любым предлогом.

Как долго могли бы они сидеть и смотреть друг на друга, пребывая в неприятном состоянии нерешительности, угадать трудно. Впрочем, нет необходимости делать какие бы то ни было догадки, так как внезапное появление двух молодых леди, которых уже видел раньше Оливер, оживило беседу.

— Как раз то, что нам нужно! — сказал еврей. — Бет пойдет. Ты пойдешь, моя милая?

— Куда? — осведомилась молодая леди.

— Всего-навсего в полицейский участок, моя милая, — вкрадчиво сказал еврей.

Нужно воздать должное молодой леди: она не объявила напрямик, что не хочет идти, но выразила энергическое и горячее желание «быть проклятой, если она туда пойдет». Эта

вежливая и деликатная уклончивость свидетельствовала о том, что молодая леди отличалась прирожденной учтивостью, которая препятствовала ей огорчить ближнего прямым и резким отказом.

Физиономия у еврея вытянулась. Он отвернулся от этой молодой леди, которая была в ярком, если не великолепном наряде — красное платье, зеленые ботинки, желтые папильотки, — и обратился к другой.

— Нэнси, милая моя, — улещивал ее еврей, — что ты скажешь?

— Скажу, что это не годится, стало быть нечего настаивать, Феджин, — ответила Нэнси.

— Что ты хочешь этим сказать? — вмешался мистер Сайкс, бросая на нее мрачный взгляд.

— То, что сказала, Билл, — невозмутимо отозвалась леди.

— Да ведь ты больше всех подходишь для этого, — произнес мистер Сайкс. — Здесь о тебе никто ничего не знает.

— А так как я и не хочу, чтобы знали, — с тем же спокойствием отвечала Нэнси, — то скорее скажу «нет», чем «да», Билл.

— Она пойдет, Феджин, — сказал Сайкс.

— Нет, она не пойдет, Феджин, — сказала Нэнси.

— Она пойдет, Феджин, — сказал Сайкс.

И мистер Сайкс не ошибся. С помощью угроз, посулов и подачек упомянутую леди в конце концов заставили взять на себя это поручение. В самом деле, ей не могли воспрепятствовать соображения, какие удерживали ее любезную подругу: не так давно переселившись из отдаленных, но аристократических окрестностей рэтклифской большой дороги ^[23] в Филд-Лейн, она могла не опасаться, что ее узнает кто-нибудь из многочисленных знакомых.

И вот, повязав поверх платья чистый белый передник и спрятав папильотки под соломенную шляпку — эти принадлежности туалета были извлечены из неисчерпаемых запасов еврея, — мисс Нэнси приготовилась выполнить поручение.

— Подожди минутку, моя милая, — сказал еврей, протягивая ей корзинку с крышкой. — Держи ее в руках. Она тебе придаст более пристойный вид.

— Феджин, дайте ей ключ от двери, пусть она держит его в руке, — сказал Сайкс. — Это покажется естественным и приличным.

— Совершенно верно, мой милый, — сказал еврей, вешая молодой леди большой ключ от двери на указательный палец правой руки. — Вот так! Прекрасно! Прекрасно, моя милая! — сказал еврей, потирая руки.

— Ох, братец! Мой бедный, милый, ни в чем не повинный братец! — воскликнула Нэнси, заливаясь слезами и в отчаянии теребя корзиночку и дверной ключ. — Что с ним случилось? Куда они его увели? Ох, жальтесь надо мной, скажите мне, джентльмены, что сделали с бедным мальчиком? Умоляю вас, скажите, джентльмены!

Произнеся эти слова, к бесконечному восхищению слушателей, очень жалобным, душераздирающим голосом, мисс Нэнси умолкла, подмигнула всей компании, улыбнулась, кивнула головой и скрылась.

— Ах, мои милые, какая смышленная девушка! — воскликнул еврей, поворачиваясь к своим молодым друзьям и торжественно покачивая головой, как бы призывая их следовать блестящему примеру, который они только что лицезрели.

— Она делает честь своему полу, — промолвил мистер Сайкс, налив себе стакан и ударив по столу огромным кулаком. — Пью за ее здоровье и желаю, чтобы все женщины походили на нее!

Пока все эти похвалы расточались по адресу достойной Нэнси, эта молодая леди спешила в полицейское управление, куда вскоре и прибыла благополучно, несмотря на вполне понятную робость, вызванную необходимостью идти по улицам одной, без провожатых.

Войдя с черного хода, она тихонько постучала ключом в дверь одной из камер и прислушалась. Оттуда не доносилось ни звука; тогда она кашлянула и снова прислушалась. Ответа не было, и она заговорила.

— Ноли, миленький! — ласково прошептала Нэнси. — Ноли!

В камере не было никого, кроме жалкого, босого преступника, арестованного за игру на флейте; так как его преступление против общества было вполне доказано, мистер Фэнг приговорил его к месяцу заключения в исправительном доме, заметив весьма кстати и юмористически, что раз у него такой избыток дыхания, полезнее будет потратить его на ступальное колесо, чем на музыкальный инструмент. Преступник ничего не отвечал, ибо мысленно оплакивал флейту, конфискованную в пользу графства. Тогда Нэнси подошла к следующей камере и постучалась.

— Что нужно? — отозвался тихий, слабый голос.

— Нет ли здесь маленького мальчика? — спросила Нэнси, предварительно всхлипнув.

— Нет! — ответил заключенный. — Боже упаси!

Это был шестидесятипятилетний бродяга, приговоренный к тюремному заключению за то, что не играл на флейте, — иными словами, просил милостыню на улице и ничего не делал для того, чтобы заработать себе на жизнь. В смежной камере сидел человек, который отправлялся в ту же самую тюрьму, так как торговал вразнос оловянными кастрюлями, не имея разрешения, — иными словами, уклонялся от уплаты налогов и делал что-то для того, чтобы заработать себе на жизнь.

Но так как никто из этих преступников не отзывался на имя Оливера и ничего о нем не знал, Нэнси обратилась непосредственно к добродушному старику в полосатом жилете и со стонами и причитаниями, — они казались особенно жалобными, ибо она искусно теребила корзинку и ключ, — потребовала у него своего милого брата.

— У меня его нет, моя милая, — сказал старик.

— Где же он? — взвизгнула Нэнси.

— Его забрал с собой джентльмен, — ответил тот.

— Какой джентльмен? Боже милостивый! Какой джентльмен? — вскричала Нэнси.

В ответ на этот невразумительный вопрос старик сообщил взволнованной «сестре», что Оливеру стало дурно в камере судьи, что его оправдали, так как один свидетель показал, будто кража совершена не им, а другими мальчиками, оставшимися на свободе, и что истец увез Оливера, лишившегося чувств, к себе, в свой собственный дом. Об этом доме ее собеседник знал только, что он находится где-то в Пентонвиле, — это слово он расслышал, когда давались указания кучеру.

В ужасном смятении и растерянности несчастная молодая женщина, шатаясь, поплелась к воротам, а затем, сменив нерешительную поступь на быстрый бег, вернулась к дому еврея самыми запутанными и извилистыми путями, какие только могла придумать.

Мистер Билл Сайкс, едва успев выслушать отчет о ее походе, поспешно кликнул белую собаку и, надев шляпу, стремительно удалился, не тратя времени на такую формальность, как пожелание остальной компании счастливо оставаться.

— Милые мои, мы должны узнать, где он... Его нужно найти! — в страшном волнении сказал еврей. — Чарли, ты пока ничего не делай, только шныряй повсюду, пока не добудешь о нем каких-нибудь сведений. Нэнси, моя милая, мне во что бы то ни стало нужно его отыскать. Я тебе доверяю во всем, моя милая, — тебе и Плуту! Пойдите, пойдите, — добавил еврей, дрожащей рукой отпирая ящик стола, — вот вам деньги, милые мои. Я на сегодня закрываю лавочку. Вы знаете, где меня найти! Не задерживайтесь здесь ни на минуту. Ни на секунду, мои милые!

С этими словами он вытолкнул их из комнаты и, старательно повернув два раза ключ в замке и заложив дверь засовом, достал из потайного местечка шкатулку, которую случайно увидел Оливер. Затем он торопливо начал прятать часы и драгоценные вещи у себя под одеждой.

Стук в дверь заставил его вздрогнуть и оторваться от этого занятия.

— Кто там? — крикнул он пронзительно.

— Я! — раздался сквозь замочную скважину голос Плута.

— Ну, что еще? — нетерпеливо крикнул еврей.

— Нэнси спрашивает, куда его тащить — в другую берлогу? — осведомился Плут.

— Да! — ответил еврей. — Где бы она его не сцапала! Отыщите его, отыщите, вот и все! Я уж буду знать, что дальше делать. Не бойтесь!

Мальчик буркнул, что он понимает, и бросился догонять товарищей.

— Пока что он не выдал, — сказал еврей, принимаясь за прежнюю работу. — Если он вздумает болтать о нас своим новым друзьям, мы еще успеем заткнуть ему глотку.

Глава XIV, заключающая дальнейшие подробности о пребывании Оливера у мистера, Браунлоу, а также

замечательное пророчество, которое некий мистер Гримуиг изрек касательно Оливера, когда тот отправился исполнять поручение

Оливер быстро пришел в себя после обморока, вызванного внезапным восклицанием мистера Браунлоу, а старый джентльмен и миссис Бэдуин в дальнейшем старательно избегали упоминать о портрете: разговор не имел ни малейшего отношения ни к прошлой жизни Оливера, ни к его видам на будущее и касался лишь тех предметов, которые могли позабавить его, но не взволновать. Оливер был все еще слишком слаб, чтобы вставать к завтраку, но на следующий день, спустившись в комнату экономки, он первым делом бросил нетерпеливый взгляд на стену в надежде снова увидеть лицо прекрасной леди. Однако его ожидания были обмануты — портрет убрали.

— А, вот что! — сказала экономка, проследив за взглядом Оливера. — Как видишь, его унесли.

— Вижу, что унесли, сударыня, — ответил Оливер. — Зачем его убрали?

— Его сняли, дитя мое, потому что, по мнению мистера Браунлоу, он как будто тебя беспокоил. А вдруг он, знаешь ли, помешал бы выздоровлению, — сказала старая леди.

— О, право же нет! Он меня не беспокоил, сударыня, — сказал Оливер. — Мне приятно было смотреть на него. Я очень его полюбил.

— Ну-ну! — благодушно сказала старая леди. — Постарайся, дорогой мой, как можно скорее поправиться, и тогда портрет будет повешен на прежнее место. Это я тебе обещаю! А теперь поговорим о чем-нибудь другом.

Вот все сведения, какие мог получить в то время Оливер о портрете. В ту пору он старался об этом не думать, потому что старая леди была очень добра к нему во время его болезни; и он внимательно выслушивал бесконечные истории, какие она ему рассказывала о своей милой и прекрасной дочери, вышедшей замуж за милого и прекрасного человека и жившей в деревне, и о сыне, который служил клерком у купца в Вест-Индии и был также безупречным молодым человеком, и четыре раза в год посылал домой такие почтительные письма, что у нее слезы навертывались на глаза при упоминании о них. Старая леди долго распространялась о превосходных качествах своих детей, а также и о достоинствах своего доброго, славного мужа, который — бедная, добрая душа! — умер ровно двадцать шесть лет назад... А затем наступало время пить чай. После чаю она принималась обучать Оливера кривбеджу^[24], который он усваивал с такой же легкостью, с какой она его преподавала; и в эту игру они играли с большим интересом и торжественностью, пока не наступал час, когда больному надлежало дать теплого вина с водой и уложить его в мягкую постель.

Это были счастливые дни — дни выздоровления Оливера. Все было так мирно, чисто и аккуратно, все было так добры и ласковы, что после шума и сутолоки, среди которых протекала до сих пор его жизнь, ему казалось, будто он в раю. Как только он окреп настолько, что мог уже одеться, мистер Браунлоу приказал купить ему новый костюм, новую шляпу и новые башмаки. Когда Оливеру объявили, что он может распорядиться по своему усмотрению старым своим платьем, он отдал его служанке, которая была очень добра к нему, и попросил ее продать это старье какому-нибудь еврей, а деньги оставить себе. Эту просьбу она с готовностью исполнила. И когда Оливер, стоя у окна гостиной, увидел, как еврей спрятал платье в свой мешок и удалился, он пришел в восторг при мысли, что эти вещи унесли и теперь

ему уже не грозит опасность снова их надеть. По правде сказать, это были жалкие лохмотья, и у Оливера никогда еще не бывало нового костюма.

Однажды вечером, примерно через неделю после истории с портретом, когда Оливер разговаривал с миссис Бэдуин, мистер Браунлоу прислал сказать, что хотел бы видеть Оливера Твиста у себя в кабинете и потолковать с ним немного, если он хорошо себя чувствует.

— Господи, спаси и помилуй нас! Вымой руки, дитя мое, и дай-ка я хорошенько приглажу тебе волосы! — воскликнула миссис Бэдуин. — Боже мой! Знай мы, что он пожелает тебя видеть, мы бы надели тебе чистый воротничок и ты засиял бы у нас, как новенький шестипенсовик!

Оливер повиновался старой леди, и хотя она горько сетовала о том, что теперь уже некогда прогладить гофрированную оборочку у воротничка его рубашки, он казался очень хрупким и миловидным, несмотря на отсутствие столь важного украшения, и она, с величайшим удовольствием осмотрев его с головы до ног, пришла к выводу, что даже если бы их и предупредили заблаговременно, вряд ли можно было сделать его еще красивее.

Ободренный этими словами, Оливер постучал в дверь кабинета.

Когда мистер Браунлоу предложил ему войти, он очутился в маленькой комнатке, заполненной книгами, с окном, выходившим в красивый садик. К окну был придвинут стол, за которым сидел и читал мистер Браунлоу. При виде Оливера он отложил в сторону книгу и предложил ему подойти к столу и сесть. Оливер повиновался, удивляясь, где можно найти людей, которые бы читали такое множество книг, казалось написанных для того, чтобы сделать человечество более разумным. До сей поры это является загадкой и для людей более искушенных, чем Оливер Твист.

— Много книг, не правда ли, мой мальчик? — спросил мистер Браунлоу, заметив, с каким любопытством Оливер посматривал на книжные полки, поднимавшиеся от пола до потолка.

— Очень много, сэр, — ответил Оливер. — Столько я никогда не видал.

— Ты их прочтешь, если будешь вести себя хорошо, — ласково сказал старый джентльмен, — и тебе это понравится больше, чем рассматривать переплеты. А впрочем, не всегда: бывают такие книги, у которых самое лучшее — корешок и обложка.

— Должно быть, это вон те тяжелые книги, сэр, — заметил Оливер, указывая на большие томы в раззолоченных переплетах.

— Не обязательно, — ответил старый джентльмен, глядя его по голове и улыбаясь. — Бывают книги такие же тяжелые, но гораздо меньше этих. А тебе бы не хотелось вырасти умным и писать книги?

— Я думаю, мне больше бы хотелось читать их, сэр, — ответил Оливер.

— Как! Ты не хотел бы писать книги? — спросил старый джентльмен.

Оливер немножко подумал, а потом сообщил, что, пожалуй, гораздо лучше продавать книги; в ответ на это старый джентльмен от души рассмеялся и объявил, что он неплохо сказал. Оливер обрадовался, хотя понятия не имел о том, что тут хорошего.

— Прекрасно! — сказал старый джентльмен, перестав смеяться. — Не бойся! Мы из тебя не сделаем писателя, раз есть возможность научиться какому-нибудь честному ремеслу или стать

каменщиком.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Оливер.

Услыхав его серьезный ответ, старый джентльмен снова расхохотался и сказал что-то о странностях инстинкта, но Оливер не понял и не обратил на это внимания.

— А теперь, мой мальчик, — продолжал мистер Браунлоу, говоря — если это было возможно — еще более ласково, но в то же время лицо его было такое серьезное, какого Оливер никогда еще у него не видывал, — я хочу, чтобы ты с величайшим вниманием выслушал то, что я намерен сказать. Я буду говорить с тобой совершенно откровенно, потому что я уверен: ты можешь понять меня не хуже, чем многие другие старше тебя.

— О, прошу вас, сэр, не говорите мне, что вы хотите меня прогнать! — воскликнул Оливер, испуганный серьезным тоном старого джентльмена. — Не выбрасывайте меня за дверь, чтобы я снова бродил по улицам! Позвольте мне остаться здесь и быть вашим слугой. Не отсылайте меня назад, в то ужасное место, откуда я пришел! Пожалейте бедного мальчика, сэр!

— Милое мое дитя, — сказал старый джентльмен, растроганный неожиданной и горячей мольбой Оливера, — тебе незачем бояться, что я тебя когда-нибудь покину, если ты сам не дашь повода...

— Никогда, никогда этого не случится, сэр! — перебил Оливер.

— Надеюсь, — ответил старый джентльмен. — Не думаю, чтобы ты когда-нибудь это сделал. Мне приходилось быть обманутым теми, кому я старался помочь, но я весьма расположен верить тебе, и мне самому непонятно, почему я тобой так интересуюсь. Люди, которым я отдал самую горячую свою любовь, лежат в могиле; и хотя вместе с ними погребены счастье и радость моей жизни, я не превратил своего сердца в гробницу и оставил его открытым для — лучших моих чувств. Глубокая скорбь только укрепила эти чувства и очистила их.

Так как старый джентльмен говорил тихо, обращаясь скорее к самому себе, чем к своему собеседнику, а затем умолк, то и Оливер не нарушал молчания.

— Так-то! — сказал, наконец, старый джентльмен более веселым тоном. — Я заговорил об этом только потому, что сердце у тебя молодое и ты, узнав о моих горестях и страданиях, постарайся, быть может, не доставлять мне еще новых огорчений. По твоим словам, ты сирота и у тебя нет ни единого друга; сведения, какие мне удалось получить, подтверждают эти слова. Расскажи мне все о себе: откуда ты пришел, кто тебя воспитал и как ты попал в ту компанию, в какой я тебя нашел? Говори правду, и пока я жив, у тебя всегда будет друг.

В течение нескольких минут всхлипывания мешали Оливеру говорить; когда же он собрался рассказать о том, как его воспитывали на ферме и как мистер Бамбл отвел его в работный дом, раздался отрывистый, нетерпеливый двойной удар в парадную дверь, и служанка, взбежав по лестнице, доложила о приходе мистера Гримуига.

— Он идет сюда? — осведомился мистер Браунлоу.

— Да, сэр, — ответила служанка. — Он спросил, есть ли в доме сдобные булочки, и, когда я ответила утвердительно, объявил, что пришел пить чай.

Мистер Браунлоу улыбнулся и, обратившись к Оливеру, пояснил, что мистер Гримуиг — старый его друг, и пусть Оливер не обращает внимания на его несколько грубоватые манеры,

ибо в сущности он достойнейший человек, о чем имел основания знать мистер Браунлоу.

— Мне уйти вниз, сэр? — спросил Оливер.

— Нет, — ответил мистер Браунлоу, — я бы хотел, чтобы ты остался.

В эту минуту в комнату вошел, опираясь на толстую трость, дородный старый джентльмен, слегка прихрамывающий на одну ногу; на нем был синий фрак, полосатый жилет, нанковые брюки и гетры и широкополая белая шляпа с зеленой каймой. Из-под жилета торчало мелко гофрированное жабо, а снизу болталась очень длинная стальная цепочка от часов, на конце которой не было ничего, кроме ключа. Концы его белого галстука были закручены в клубок величиной с апельсин, а всевозможные гримасы словно скручивали его физиономию и не поддавались описанию. Разговаривая, он имел обыкновение склонять голову набок, посматривая уголком глаза, что придавало ему необычайное сходство с попугаем. В этой позе он и остановился, едва успел войти в комнату, и, держа в вытянутой руке кусочек апельсиновой корки, воскликнул ворчливым, недовольным голосом:

— Смотрите! Видите? Не странная ли и не удивительная ли это вещь: стоит мне зайти к кому-нибудь в дом, как я нахожу на лестнице вот такого помощника бедных врачей? Некогда я охромел из-за апельсиновой корки и знаю, что в конце концов апельсиновая корка послужит причиной моей смерти. Так оно и будет, сэр! Апельсиновая корка послужит причиной моей смерти, а если это неверно, то я готов съесть свою собственную голову, сэр!

Этим превосходным предложением мистер Гримуиг заключал и подкреплял чуть ли не каждое свое заявление, что было весьма странно, ибо, если даже допустить, что наука достигнет той ступени, когда джентльмен сможет съесть свою собственную голову, если он того пожелает, голова мистера Гримуига была столь велика, что самый сангвинический человек вряд ли мог питать надежду прикончить ее за один присест, даже если совершенно не принимать в расчет очень толстого слоя пудры.

— Я съем свою голову, сэр! — повторил мистер Гримуиг, стукнув тростью по полу. — Погодите! Это что такое? — добавил он, взглянув на Оливера и отступив шага на два.

— Это юный Оливер Твист, о котором мы говорили, — сказал мистер Браунлоу.

Оливер поклонился.

— Надеюсь, вы не хотите сказать, что это тот самый мальчик, у которого была горячка? — попятившись, сказал мистер Гримуиг. — Подождите минутку! Не говорите ни слова! Постойте-ка... — бросал отрывисто мистер Гримуиг, потеряв всякий страх перед горячкой и с торжеством делая открытие, — это тот самый мальчик, у которого был апельсин? Если это не тот самый мальчик, сэр, который бросил корку на лестнице, я съем свою голову, да и его в придачу!

— Нет, у него не было апельсина, — смеясь, сказал мистер Браунлоу. — Полно! Положите свою шляпу и побеседуйте с моим юным другом.

— Меня этот вопрос очень беспокоит, сэр, — произнес раздражительный старый джентльмен, снимая перчатки. — По всей нашей улице всегда валяются на мостовой апельсиновые корки, и мне *известно*, что их разбрасывает мальчишка хирурга, который живет на углу. Вчера вечером молодая женщина поскользнулась, наступив на корку, и упала у решетки моего сада. Как только она встала, я увидел, что она смотрит на его проклятый красный фонарь ^[25], безмолвно

приглашающий войти. «Не ходите к нему! — крикнул я из окна. — Это убийца! Он расставляет капканы!» И это правда. А если это не так...

Тут вспыльчивый старый джентльмен громко стукнул тростью об пол, что, как знали его друзья, заменяло его обычную присказку всякий раз, когда она не была выражена словами. Затем, не выпуская из рук трости, он сел и, раскрыв лорнет, висевший на широкой черной ленте, устремил взор на Оливера, который, видя, что является объектом наблюдения, покраснел и снова поклонился.

— Это тот самый мальчик, не так ли? — сказал, наконец, мистер Гримуиг.

— Тот самый, — ответил мистер Браунлоу.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил мистер Гримуиг.

— Гораздо лучше, благодарю вас, сэр, — ответил Оливер.

Мистер Браунлоу, как будто опасаясь, что его чудаковатый друг вот-вот скажет что-нибудь неприятное, попросил Оливера пойти вниз и передать миссис Бэдуин просьбу распорядиться о чае; он с радостью повиновался, так как ему не особенно понравились манеры гостя.

— Хорошенький мальчик, не правда ли? — спросил мистер Браунлоу.

— Не знаю, — брюзгливо отозвался мистер Гримуиг.

— Не знаете?

— Не знаю. Не вижу никакой разницы между мальчишками. Я знаю только два сорта мальчишек: мальчишки мучнистые и мальчишки мясистые.

— К каким же относится Оливер?

— К мучнистым. У одного моего приятеля мясистый мальчишка; они его называют прекрасным мальчуганом: круглая голова, красные щеки, блестящие глаза. Ужасный мальчишка. Туловище, руки и ноги у него такие, что его синий костюм вот-вот лопнет по швам; голос, как у лощмана, а аппетит волчий. Я его знаю! Негодяй!

— Полно! — сказал мистер Браунлоу. — Это отнюдь не отличительные признаки юного Оливера Твиста; стало быть, он не может возбуждать ваш гнев.

— Согласен, не отличительные, — заметил мистер Гримуиг. — У него могут быть еще похуже.

Тут мистер Браунлоу нетерпеливо кашлянул, что, по-видимому, доставило величайшее удовольствие мистеру Гримуигу.

— У него могут быть и похуже, говорю я, — повторил мистер Гримуиг. — Откуда он взялся? Кто он такой? Что он такое? У него была горячка. Ну так что ж! Горячка не является особой привилегией порядочных людей, не так ли? Дурные люди тоже болеют иной раз горячкой, не правда ли? Я знал одного человека, которого повесили на Ямайке за то, что он убил своего хозяина. Он шесть раз болел горячкой; на этом основании он не был помилован. Тьфу! Чепуха!

Дело в том, что в самых тайниках души мистер Гримуиг был весьма расположен признать наружность и манеры Оливера в высшей степени привлекательными; однако у него была неудержимая потребность противоречить, обострившаяся в тот день благодаря найденной им

апельсиновой корке; решив про себя, что ни один человек не заставит его признать мальчика красивым или некрасивым, он сразу стал возражать своему другу. Когда мистер Браунлоу заявил, что ни на один из этих вопросов он пока не может дать удовлетворительного ответа, так как откладывает расследование, касающееся прошлой жизни Оливера, до той поры, пока мальчик не окрепнет, мистер Гримуиг злорадно усмехнулся. С насмешливой улыбкой он спросил, имеет ли экономка обыкновение проверять на ночь столовое серебро; если она в одно прекрасное утро не обнаружит пропажи одной-двух столовых ложек, то он готов... и так далее.

Зная странности своего друга, мистер Браунлоу — хотя он и сам был вспыльчивым джентльменом — выслушал все это очень добродушно; за чаем все шло очень мирно, так как мистер Гримуиг за чаем милостиво соизволил выразить полное свое одобрение булочкам, и Оливер, принимавший участие к чаепитию, уже не так смущался и присутствии сердитого старого джентльмена.

— А когда же вам предстоит услышать полный, правдивый и подробный отчет о жизни и приключениях Оливера Твиста? — спросил Гримуиг мистера Браунлоу по окончании трапезы и, заведя об этом речь, искоса взглянул на Оливера.

— Завтра утром, — ответил мистер Браунлоу. — Я бы хотел быть в это время с ним наедине. Ты придешь ко мне, дорогой мой, завтра в десять часов утра.

— Как вам будет угодно, сэр, — сказал Оливер. Он ответил с некоторым замешательством, потому что его смутил пристальный взгляд мистера Гримуига.

— Вот что я вам скажу, — шепнул сей джентльмен мистеру Браунлоу, — завтра утром он к вам не придет. Я видел, как он смутился. Он вас обманывает, добрый мой друг.

— Готов поклясться, что не обманывает! — с жаром воскликнул мистер Браунлоу.

— Если не обманывает, — сказал мистер Гримуиг, — то я готов... — и трость стукнула об пол.

— Я ручаюсь своей жизнью, что этот мальчик не лжет! — сказал мистер Браунлоу, стукнув кулаком по столу.

— А я — своей головой за то, что он лжет! — отвечивал мистер Гримуиг, также стукнув по столу.

— Увидим! — сказал мистер Браунлоу, сдерживая нарастающий гнев.

— Совершенно верно! — отозвался мистер Гримуиг с раздражающей улыбкой. — Посмотрим!

Судьбе угодно было, чтобы в эту минуту миссис Бэдуин принесла небольшую пачку книг, купленных утром мистером Браунлоу у того самого владельца книжного ларька, который уже появлялся в этом повествовании. Положив их на стол, она хотела выйти из комнаты.

— Задержите мальчика, миссис Бэдуин, — сказал мистер Браунлоу, — я хочу кое-что отослать с ним обратно.

— Он ушел, сэр, — ответила миссис Бэдуин.

— Верните его, — сказал мистер Браунлоу. — Это дело важное. Книгопродавец — человек бедный, а за книги не уплачено. И несколько книг нужно отнести назад.

Парадная дверь была открыта. Оливер бросился в одну сторону, служанка — в другую, а миссис Бэдуин стояла на пороге и пронзительным голосом звала посланца, но никакого мальчика не было видно. Оливер и служанка вернулись, запыхавшись, и доложили, что того и след простыл.

— Ах, боже мой, какая досада! — воскликнул мистер Браунлоу. — Мне так хотелось отослать сегодня вечером эти книги!

— Отошлите их с Оливером, — с иронической улыбкой сказал мистер Гримуиг. — Он несомненно доставит их в полной сохранности.

— Да, пожалуйста, позвольте мне отнести их, сэр, — сказал Оливер. — Я буду бежать всю дорогу, сэр.

Старый джентльмен хотел было сказать, что ни в коем случае не пустит Оливера, но злорадное покашливание мистера Гримуига заставило его принять другое решение: быстрым исполнением поручения Оливер докажет мистеру Гримуигу несправедливость его подозрений хотя бы по этому пункту, и докажет немедленно.

— Хорошо! Ты пойдешь, мой милый, — сказал старый джентльмен. — Книги лежат на стуле у моего стола. Принеси их.

Радуюсь случаю быть полезным, Оливер быстро схватил книги подмышку и с шапкой в руке ждал, что ему поручено будет передать.

— Ты ему передашь, — продолжал мистер Браунлоу, — пристально глядя на Гримуига, — ты передашь, что принес эти книги обратно, и уплатишь четыре фунта десять шиллингов, которые я ему должен. Вот билет в пять фунтов. Стало — быть, ты принесешь мне сдачи десять шиллингов.

— Десяти минут не пройдет, как я уже вернусь, сэр! — с жаром отвечал Оливер.

Спрятав банковый билет в карман куртки, застегивавшийся на пуговицу, и старательно придерживая книги под мышкой, он отвесил учтивый поклон и вышел из комнаты. Миссис Бэдуин проводила его до парадной двери, дала многочисленные указания, как пройти кратчайшим путем, сообщила фамилию книгопродавца и название улицы; все это, по словам Оливера, он прекрасно понял. Добавив сверх того еще ряд наставлений, чтобы он не простудился, старая леди, наконец, позволила ему уйти.

— Да благословит Бог его милое личико! — сказала старая леди, глядя ему вслед. — Почему-то мне трудно отпускать его от себя.

Как раз в эту минуту Оливер весело оглянулся и кивнул ей, прежде чем свернуть за угол. Старая леди с улыбкой ответила на его приветствие и, заперев дверь, пошла к себе в комнату.

— Ну-ка, посмотрим: он вернется не позже чем через двадцать минут, — сказал мистер Браунлоу, вынимая часы и кладя их на стол. — К тому времени стемнеет.

— О! Вы всерьез думаете, что он вернется? — осведомился мистер Гримуиг.

— А вы этого не думаете? — с улыбкой спросил мистер Браунлоу.

В тот момент дух противоречия целиком овладел мистером Гримуигом, а самоуверенная

улыбка друга еще сильнее его подстрекнула.

— Не думаю! — сказал он, ударив кулаком по столу. — На мальчишке новый костюм, под мышкой пачка дорогих книг, а в кармане билет в пять фунтов. Он пойдет к своим приятелям-ворам и посмеется над вами. Если этот мальчишка когда-нибудь вернется сюда, сэр, я готов съесть свою голову.

С этими словами он придвинул стул к столу. Два друга сидели в молчаливом ожидании, а между ними лежали часы.

Следует отметить, чтобы подчеркнуть то значение, какое мы приписываем нашим суждениям, и ту гордыню, с какой мы делаем самые опрометчивые и торопливые заключения, — следует отметить, что мистер Гримуиг был отнюдь не жестокосердным человеком и непритворно огорчился бы, если бы его почтенного друга обманули и одурачили, но при всем том он искренне и от всей души надеялся в ту минуту, что Оливер Твист никогда не вернется.

Сумерки сгустились так, что едва можно было разглядеть цифры на циферблате, но два старых джентльмена по-прежнему сидели молча, а между ними лежали часы.

Глава XV, показывающая, сколь нежно любил Оливера Твиста веселый старый еврей и мисс Нэнси

В темной комнате дрянного трактира, в самой грязной части Малого Сафрен-Хилла, в хмурой и мрачной берлоге, пропитанной запахом спирта, где зимой целый день горит газовый рожок и куда летом не проникает ни один луч солнца, сидел над оловянным кувшинчиком и рюмкой человек в вельветовом сюртуке, коротких темных штанах, башмаках и чулках, которого даже при этом тусклом свете самый неопытный агент полиции не преминул бы признать за мистера Уильяма Сайкса. У ног его сидела белая красноглазая собака, которая то моргала, глядя на хозяина, то зализывала широкую свежую рану на морде, появившуюся, очевидно, в результате недавней драки.

— Смирно, гадина! Смирно! — приказал мистер Сайкс, внезапно нарушив молчание.

Были ли мысли его столь напряжены, что им помешало моргание собаки, или нервы столь натянуты в результате его собственных размышлений, что для их успокоения требовалось угостить пинком безобидное животное, — остается невыясненным. Какова бы ни была причина, но на долю собаки достались одновременно и пинок и проклятье.

Собаки обычно не склонны мстить за обиды, нанесенные их хозяевами, по собака мистера Сайкса, отличаясь таким же скверным нравом, как и ее владелец, и, быть может, находясь в тот момент под впечатлением пережитого оскорбления, без всяких церемоний вцепилась зубами в его башмак. Хорошенько встряхнув его, она с ворчанием спряталась под скамью — как раз вовремя, чтобы ускользнуть от оловянного кувшина, который мистер Сайкс занес над ее головой.

— Вот оно что! — произнес Сайкс, одной рукой схватив кочергу, а другой неторопливо открывая большой складной нож, который вытащил из кармана. — Сюда, дьявол! Сюда! Слышишь?

Собака несомненно слышала, так как мистер Сайкс говорил грубейшим тоном и очень грубым голосом, но, испытывая, по-видимому, какое-то странное нежелание оказаться с перерезанной глоткой, она не покинула своего места и зарычала еще громче; она вцепилась зубами в конец

кочерги и принялась грызть ее, как дикий зверь.

Такое сопротивление только усилило бешенство мистера Сайкса, который, опустившись на колени, злобно атаковал животное. Собака металась из стороны в сторону, огрызаясь, рыча и лая, а человек ругался, наносил удары и изрыгал проклятья; борьба достигла критического момента, как вдруг дверь распахнулась, и собака вырвалась из комнаты, оставив Билла Сайкса с кочергой и складным ножом в руках.

Для ссоры всегда нужны две стороны — гласит старая поговорка. Мистер Сайкс, лишившись собаки как участника в ссоре, немедленно перенес свой гнев на вновь прибывшего.

— Черт вас побери, зачем вы влезаете между мной и моей собакой? — злобно жестикулируя, крикнул Сайкс.

— Я не знал, мой милый, не знал, — смиренно ответил Феджин (появился именно он).

— Не знали, трусливый вор? — проворчал Сайкс. — Не слышали шума?

— Ни звука не слышал, Билл, умереть мне на этом месте, — ответил еврей.

— Ну да! Конечно, вы ничего не слышите, — злобно усмехнувшись, сказал Сайкс. — Крадетесь так, что никто не слышит, как вы вошли и вышли! Жаль Феджин, что полминуты тому назад вы не были этой собакой!

— Почему? — с натянутой улыбкой осведомился еврей.

— Потому что правительство заботится о жизни таких людей, как вы, которые подлее всякой дворняжки, но разрешает убивать собак, когда б человек ни пожелал, — ответил Сайкс, с многозначительным видом закрывая свой нож. — Вот почему.

Еврей потер руки и, присев к столу, принужденно засмеялся в ответ на шутку своего друга. Впрочем, ему было явно не по себе.

— Ладно, ухмыляйтесь! — продолжал Сайкс, кладя на место кочергу и созерцая его со злобным презрением. — Никогда не случится вам посмеяться надо мной, разве что на виселице. Вы в моих руках, Феджин, и будь я проклят, если вас выпущу. Да! Попадусь я — попадетесь и вы. Стало быть, будьте со мной осторожны.

— Да, да, мой милый, — сказал еврей, — все это мне известно. У нас... у нас общие интересы, Билл, общие интересы.

— Гм... — пробурчал Сайкс, словно он полагал, что не все интересы у них общие. — Ну, что же вы хотели мне сказать?

— Все благополучно пропущено через тигель, — отвечал Феджин, — и я принес вашу долю. Она больше, чем полагается вам, мой милый, но так как я знаю, что в следующий раз мы меня не обидите, и...

— Довольно болтать! — нетерпеливо перебил грабитель. — Где она? Подавайте!

— Хорошо, Билл, не торопите меня, не торопите, — успокоительным гоном отозвался еврей. — Вот она! Все в сохранности!

С этими словами он вынул из-за пазухи старый бумажный платок и, развязав большой узел в

одном из его уголков, достал маленький пакет в оберточной бумаге. Сайкс, выхватив его из рук еврея, торопливо развернул и начал считать находившиеся в нем союзы ^[26].

— Это все? — спросил Сайкс.

— Все, — ответил еврей.

— А вы по дороге не разворачивали сверток и не проглотили одну-две монеты? — подозрительно спросил Сайкс. — Нечего корчить обиженную физиономию. Вы это уже не раз проделывали. Звякните!

В переводе на обычный английский язык это означало приказание позвонить. На звонок явился другой еврей, моложе Феджина, но с почти такой же отталкивающей внешностью.

Билл Сайкс указал на пустой кувшинчик. Еврей, превосходно поняв намек, взял кувшин и ушел, чтобы его наполнить, предварительно обменявшись многозначительным взглядом с Феджином, который, как бы ожидая его взгляда, на минутку поднял глаза и в ответ кивнул головой — слегка, так что это с трудом мог бы подметить наблюдательный зритель. Этого не видел Сайкс, который наклонился, чтобы завязать шнурок на башмаке, порванный собакой. Быть может, если бы он заметил быстрый обмен знаками, у него мелькнула бы мысль, что это не предвещает ему добра.

— Есть здесь кто-нибудь, Барни? — спросил Феджин; теперь, когда Сайкс поднял голову, он говорил, не отрывая глаз от пола.

— Ни души, — ответил Барни, чьи слова — исходили ли они из сердца или нет — проходили через нос.

— Никого? — спросил Феджин удивленным тоном, тем самым давая понять, что Барни должен говорить правду.

— Никого нет, кроме мисс Нэнси, — ответил Барни.

— Нэнси! — воскликнул Сайкс. — Где? Лопни мои глаза, если я не почитаю эту девушку за ее природные таланты.

— Она заказала себе вареной говядины в буфетной, — ответил Барни.

— Пошлите ее сюда, — сказал Сайкс, наливая водку в стакан. — Пошлите ее сюда.

Барни робко глянул на Феджина, словно спрашивая разрешения; так как еврей молчал и не поднимал глаз, Барни вышел и вскоре вернулся с Нэнси, которая была в полном наряде — в чепце, переднике, с корзинкой и ключом.

— Напала на след, Нэнси? — спросил Сайкс, предлагая ей рюмку водки.

— Напала, Билл, — ответила молодая леди, осушив рюмку, — и здорово устала. Мальчишка был болен, не вставал с постели и...

— Ах, Нэнси, милая! — сказал Феджин, подняв глаза.

Быть может, странно нахмурившиеся рыжие брови еврея и его полузакрытые глубоко запавшие глаза возвестили мисс Нэнси о том, что она расположена к излишней откровенности,

но это не имеет большого значения. В данном случае нам надлежит интересоваться только фактом. А факт тот, что мисс Нэнси вдруг оборвала свою речь и, даря любезные улыбки мистеру Сайксу, перевела разговор на другие темы.

Минут через десять у мистера Феджина начался приступ кашля; тогда Нэнси набросила на плечи шаль и объявила, что ей пора идти. Мистер Сайкс, узнав, что часть дороги ему с ней по пути, изъявил желание сопровождать ее; они отправились вместе, а за ними на некотором расстоянии следовала собака, которая крадучись выбежала с заднего двора, как только удалился ее хозяин.

Сайкс вышел из комнаты, а еврей выглянул из двери и, посмотрев ему вслед, когда тот шел по темному коридору, погрозил кулаком, пробормотал какое-то проклятье, а затем с отвратительной усмешкой снова присел к столу и вскоре погрузился в чтение небезынтересной газеты «Лови! Держи!»^[27]

Тем временем Оливер Твист, не ведая того, что такое небольшое расстояние отделяет его от веселого старого джентльмена, направлялся к книжному ларьку. Дойдя до Клеркенуэла, он по ошибке свернул в переулок, который мог бы и миновать; но он прошел уже полпути, когда обнаружил свою ошибку; зная, что и этот переулок приведет его к цели, он решил не возвращаться и быстро продолжал путь, держа под мышкой книги.

Он шел, размышляя о том, каким счастливым и довольным должен он себя чувствовать и как много дал бы он за то, чтобы хоть разок взглянуть на бедного маленького Дика, измученного голодом и побоями, который, быть может, в эту самую минуту горько плачет. Вдруг он вздрогнул, испуганный громким воплем какой-то молодой женщины: «О милый мой братец!» И не успел он осмотреться и понять, что случилось, как чьи-то руки крепко обхватили его за шею.

— Оставьте! — отбиваясь, крикнул Оливер. — Пустите меня! Кто это? Зачем вы меня остановили?

Единственным ответом на это были громкие причитания обнимавшей его молодой женщины, которая держала в руке корзиночку и ключ от двери.

— Ах, боже мой! — кричала молодая женщина. — Я нашла его! Ох, Оливер! Ах ты, дрянной мальчишка, заставил меня столько горя вынести из-за тебя. Идем домой, дорогой мой, идем! Ах, я нашла его! Боже милостивый, благодарю тебя, я нашла его!

После этих бессвязных восклицаний молодая особа снова разразилась рыданиями и пришла в такое истерическое состояние, что две подошедшие в это время женщины спросили служившего в мясной лавке мальчика с лоснящимися волосами, смазанными говяжьим салом, не считает ли он нужным сбегать за доктором. На это мальчик из мясной лавки, который, по видимому, был расположен к отдыху, чтобы не сказать — к лени, ответил, что он этого не считает.

— Ах, не обращайтесь внимания! — сказала молодая женщина, сжимая руку Оливера. — Мне теперь лучше. Сейчас же пойдем домой, бессердечный мальчишка! Идем!

— Что случилось, сударыня? — спросила одна из женщин.

— Ах, сударыня! — воскликнула молодая женщина. — Около месяца назад он убежал от своих родителей, работающих, почтенных людей, связался с шайкой воров и негодяев и разбил сердце

своей матери.

— Ну и дрянной мальчишка! — сказала первая.

— Ступай домой, звереныш! — подхватила другая.

— Нет, нет! — воскликнул Оливер в страшной тревоге. — Я ее не знаю! У меня нет сестры, нет ни отца, ни матери. Я сирота. Я живу в Пентонвиле.

— Вы только послушайте, как он храбро ото всех отрекается! — вскричала молодая женщина.

— Как, да ведь это Нэнси! — воскликнул Оливер, который только что увидел ее лицо, и в изумлении отшатнулся.

— Видите, он меня знает! — крикнула Нэнси, взывая к присутствующим. — Тут уж он не может отвертеться. Помилосердствуйте, заставьте его вернуться домой, а то он убьет свою добрую мать и отца и разобьет мне сердце!

— Черт побери, что тут такое? — крикнул, выбежав из пивной, какой-то человек, за которым следовала по пятам белая собака. — Маленький Оливер! Щенок, иди к своей бедной матери! Немедленно отправляйся домой!

— Они мне не родня! Я их не знаю! Помогите! Помогите! — крикнул Оливер, вырываясь из могучих рук этого человека.

— Помогите? — повторил человек. — Да, я тебе помогу, маленький мошенник! Что это за книги? Ты их украл? Дай-ка их сюда!

С этими словами он вырвал у мальчика из рук книги и ударил его ими по голове.

— Правильно! — крикнул из окна на чердаке какой-то ротозей. — Только таким путем и можно его образумить.

— Совершенно верно? — отозвался плотник с заспанным лицом, бросив одобрителный взгляд на чердачное окно.

— Это пойдет ему на пользу! — решили обе женщины.

— Да, польза ему от этого будет! — подхватил человек, снова нанеся удар и хватая Оливера за шиворот. — Ступай, мерзавец!.. Эй, Фонарик, сюда! Запомни его! Запомни!

Ослабевший после недавно перенесенной болезни, ошеломленный ударами и внезапным нападением, уstraшенный грозным рычанием собаки и зверским обращением человека, угнетенный тем, что присутствующие убеждены, будто он и в самом деле закоsnелый маленький негодяй, каким его изобразили, — что он мог сделать, бедный ребенок? Спустились сумерки; в этих краях жил темный люд; не было поблизости никого, кто бы мог помочь. Сопpотивление было бесполезно. Минуту спустя его увлекли в лабиринт темных узких дворов, а если он и осмеливался изредка кричать, его заставляли идти так быстро, что слов нельзя было разобрать. В сущности какое имело значение, можно ли их разобрать, раз не было никого, кто обратил бы на них внимание, даже если бы они звучали внятно?

Зажгли свет; миссис Бэдуин в тревоге ждала у открытой двери; служанка раз двадцать выбегала на улицу посмотреть, не видно ли Оливера. А два старых джентльмена по-прежнему

сидели в темной гостиной и между ними лежали часы.

Глава XVI, повествует о том, что случилось с Оливером Твистом после того, как на него предъявила права Нэнси

Узкие улицы и дворы вывели, наконец, к широкой открытой площади, где расположены были загоны и все, что необходимо для торговли рогатым скотом. Дойдя до этого места. Сайкс замедлил шаги: девушка больше не в силах была идти так быстро. Повернувшись к Оливеру, он грубо приказал ему взять за руку Нэнси.

— Ты что, не слышишь? — заворчал Сайкс, так как Оливер мешкал и озирался вокруг.

Они находились в темном закоулке, в стороне от людных улиц. Оливер прекрасно понимал, что сопротивление ни к чему не приведет. Он протянул руку, которую Нэнси крепко сжала в своей.

— Другую руку дай мне, — сказал Сайкс, завладев свободной рукой Оливера. — Сюда, Фонарик!

Собака подняла голову и зарычала.

— Смотри! — сказал он, другой рукой касаясь шеи Оливера. — Если он промолвит хоть словечко, хватай его! Помни это!

Собака снова зарычала и, облизываясь, посмотрела на Оливера так, словно ей не терпелось вцепиться ему в горло.

— Пес его схватит не хуже, чем любой христианин, лопни мои глаза, если это не так!.. — сказал Сайкс, с каким-то мрачным и злобным одобрением посматривая на животное. — Теперь, мистер, вам известно, что вас ожидает, а значит, можете кричать сколько угодно: собака скоро положит конец этой забаве... Ступай вперед, песик!

Фонарик завилял хвостом в благодарность за это непривычно ласковое обращение, еще раз, в виде предупреждения, зарычал на Оливера и побежал вперед.

Они пересекли Смитфилд, но Оливер все равно не узнал бы дороги, даже если бы они шли через Гровенор-сквер. Вечер был темный и туманный. Огни в лавках едва мерцали сквозь тяжелую завесу тумана, который с каждой минутой сгущался, окутывая мглой улицы и дома, и незнакомые места казались Оливеру еще более незнакомыми, а его растерянность становилась еще более гнетущей и безнадежной.

Они сделали еще несколько шагов, когда раздался глухой бой церковных часов. При — первом же ударе оба спутника Оливера остановились и повернулись в ту сторону, откуда доносились звуки.

— Восемь часов, Билл, — сказала Нэнси, когда замер бой.

— Что толку говорить? Разве я сам не слышу? — отозвался Сайкс.

— Хотела бы я знать, слышат ли *они*? — произнесла Нэнси.

— Конечно, слышат, — ответил Сайкс. — Меня сцапали в Варфоломеев день ^[28], и не было на ярмарке такой грошовой трубы, писка которой я бы не расслышал. От шума и грохота снаружи

тишина в проклятой старой тюрьме была такая, что я чуть было не размозжил себе голову о железную дверь.

— Бедные! — сказала Нэнси, которая все еще смотрела в ту сторону, где били часы. — Ах, Билл, такие славные молодые парни!

— Да, вам, женщинам, только об этом и думать, — отозвался Сайкс. — Славные молодые парни! Сейчас они все равно что мертвецы. Значит, не чем и толковать.

Произнеся эти утешительные слова, мистер Сайкс, казалось, заглушил проснувшуюся ревность и, крепче сжав руку Оливера, приказал ему идти дальше.

— Подожди минутку! — воскликнула девушка. — Я бы не стала спешить, если бы это тебе, Билл, предстояло болтаться на виселице, когда в следующий раз пробьет восемь часов. Я бы ходила вокруг да около того места, пока бы не свалилась, даже если бы на земле лежал снег, а у меня не было шали, чтобы прикрыться.

— А какой был бы от этого толк? — спросил чуждый сентиментальности мистер Сайкс. — Раз ты не можешь передать напильник и двадцать ярдов прочной веревки, то бродила бы ты за пятьдесят миль или стояла бы на месте, все равно никакой пользы мне это не принесло бы. Идем, нечего стоять здесь и читать проповеди!

Девушка расхохоталась, запахнула шаль, и они пошли дальше. Но Оливер почувствовал, как дрожит ее рука, а когда они проходили мимо газового фонаря, он заглянул ей в лицо и увидел, что оно стало мертвенно бледным.

Не меньше получаса они шли глухими и грязными улицами, встречая редких прохожих, да и те занимали, судя по их виду, такое же положение в обществе, как и мистер Сайкс. Наконец, они вышли на очень узкую, грязную улицу, почти сплошь занятую лавками старьевщиков; собака бежала впереди, словно понимая, что больше не понадобится ей быть начеку, и остановилась у дверей лавки, запертой и, по-видимому, пустой. Дом полуразвалился, и к двери была прибита табличка, что он сдается внаем; казалось, она висит здесь уже много лет.

— Все в порядке! — крикнул Сайкс, осторожно посматривая вокруг.

Нэнси наклонилась к ставням, и Оливер услышал звон колокольчика. Они перешли на другую сторону улицы и несколько минут стояли под фонарем. Послышался шум, словно кто-то осторожно поднимал оконную раму; а вскоре после этого потихоньку открыли дверь. Затем мистер Сайкс без всяких церемоний схватил испуганного мальчика за шиворот, и все трое быстро вошли в дом.

В коридоре было совсем темно. Они ждали, пока человек, впустивший их, запирает дверь на засов и цепочку.

— Кто-нибудь есть? — спросил Сайкс.

— Никого, — ответил голос.

Оливеру показалось, что он его слышал раньше.

— А старик здесь? — спросил грабитель.

— Здесь, — отозвался голос. — Он здорово струхнул. Вы думаете, он вам не обрадуется? Как бы

не так!

Форма ответа, как и голос говорившего, показались Оливеру знакомыми, но в темноте невозможно было разглядеть даже фигуру говорившего.

— Посвети, — сказал Сайкс, — не то мы свернем себе шею или наступим на собаку. Береги ноги, — если тебе случится на нее наступить.

— Подождите минутку, я вам посвечу, — отозвался голос.

Послышались удаляющиеся шаги, и минуту спустя появился мистер Джек Даукинс, иначе — Ловкий Плут. В правой руке у него была сальная свеча, вставленная в расщепленный конец палки.

Молодой джентльмен ограничился насмешливой улыбкой в знак того, что узнал Оливера, и, повернувшись, предложил посетителям спуститься вслед за ним по лестнице. Они прошли через пустую кухню и, войдя в низкую комнату, где пахло землей, были встречены взрывом смеха.

— Ох, не могу, не могу! — завопил юный Чарльз Бейтс, заливаясь во все горло. — Вот он! Ох, вот и он! Ах, Феджин, посмотрите на него. Да посмотрите же на него, Феджин! У меня сил больше нет. Вот так потеха! Эй, кто-нибудь подержите меня, пока я нахохочусь вволю!

В порыве неудержимой веселости юный Бейтс повалился на пол и в течение пяти минут судорожно дрыгал ногами, выражая этим свой восторг. Затем, вскочив, он выхватил из рук Плута палку со свечой и, подойдя к Оливеру, принялся осматривать его со всех сторон, в то время как еврей, сняв ночной колпак, отвешивал низкие поклоны перед ошеломленным мальчиком. Между тем Плут, отличавшийся довольно мрачным нравом и редко позволявший себе веселиться, если это мешало делу, с великим прилежанием обшаривал карманы Оливера.

— Посмотрите на его костюм, Феджин! — сказал Чарли, так близко поднося свечу к новой курточке Оливера, что чуть было ее не подпалил. — Посмотрите на его костюм! Тончайшее сукно и самый щегольской покрой! Вот так потеха! Да еще книги в придачу! Да он настоящий джентльмен, Феджин!

— Очень рад видеть тебя таким молодцом, мой милый — сказал еврей, с притворным смирением отвешивая поклон. — Плут даст тебе другой костюм, мой милый, чтобы ты не запачкал своего воскресного платья. Почему, же ты нам не написал, мой милый, и не предупредил о своем приходе! Мы бы тебе приготовили что-нибудь горячее на ужин.

Тут юный Бейтс снова захохотал так громко, что сам Феджин развеселился, и даже Плут улыбнулся, но так как в этот момент Плут извлек пятифунтовый билет, то трудно сказать, чем вызвана была его улыбка — шуткой или находкой.

— Эй, это еще что такое? — спросил Сайкс, шагнув вперед, когда еврей схватил билет. — Это моя добыча, Феджин.

— Нет, нет, мой милый! — воскликнул еврей. — Это моя, Билл, моя. Вы получите книги.

— Как бы не так! — сказал Билл Сайкс, с решительным видом надевая шляпу. — Это принадлежит мне и Нэнси, а не то я отведу мальчишку обратно.

Еврей вздрогнул. Вздрогнул и Оливер, но совсем по другой причине: у него появилась надежда,

что его отведут обратно.

— Отдайте! Слышите! — сказал Сайкс.

— Это несправедливо, Билл. Ведь правда же, Нэнси? — спросил еврей.

— Справедливо или несправедливо, — возразил Сайкс, — говорят вам, отдайте. Неужели вы думаете, что нам с Нэнси только и дела, что рыскать по улицам и похищать мальчишек, которых сцапали по вашей вине? Отдай деньги, скупой, старый скелет! Слышишь!

После такого увещания мистер Сайкс выхватил билет, зажатый между большим и указательным пальцами еврея, и, хладнокровно глядя в лицо старику, старательно сложил билет и завязал в свой платок.

— Это нам за труды, — сказал Сайкс, — а следовало бы вдвое больше. Книги можете оставить себе, если вы любитель чтения. Или продайте их.

— Какие они красивые! — сказал Чарли Бейтс, корча гримасы и делая вид, будто читает одну из книг. — Интересное чтение, правда, Оливер?

Видя, с какой тоской Оливер смотрит на своих мучителей, юный Бейтс, наделенный способностью подмечать во всем смешную сторону, пришел в еще более исступленный восторг.

— Это книги старого джентльмена! — ломая руки, воскликнул Оливер. — Доброго, славного старого джентльмена, который приютил меня и ухаживал за мной, когда я чуть не умер от горячки! О, прошу вас, отошлите их назад, отошлите ему книги и деньги! Держите меня здесь до конца жизни, но отошлите их назад. Он подумает, что я их украл. И старая леди и все, кто был так добр ко мне, подумают, что я их украл! О, сжальтесь надо мной, отошлите их!

Произнеся эти слова с безграничной тоской, Оливер упал на колени к ногам еврея и в полном отчаянии ломал руки.

— Мальчик прав, — заметил Феджин, украдкой осмотревшись вокруг и сдвинув косматые брови. — Ты прав, Оливер, ты прав: они, конечно, подумают, что ты их украл. Ха-ха! — усмехнулся еврей, потирая руки. — Большой удачи быть не могло, как бы мы ни старались.

— Конечно, не могло, — отозвался Сайкс. — Я это понял, как только увидел его в Клеркенуэле с книгами под мышкой. Все в порядке. Эти люди — мягкосердечные святоши, иначе они не взяли бы его к себе в дом. И они не будут наводить о нем справки, опасаясь, как бы не пришлось обратиться в суд, а стало быть, отправить его на каторгу. Сейчас он в безопасности.

Пока шел этот разговор, Оливер переводил взгляд с одного на другого, словно хорошенько не мог понять, что происходит; но когда Билл Сайкс умолк, он вдруг вскочил и вне себя бросился вон из комнаты, испуская пронзительные вопли, призывающие на помощь и гулко разносившиеся по пустынному старому дому.

— Придержи собаку, Билл! — крикнула Нэнси, рванувшись к двери и захлопнув ее, когда еврей и его два питомца бросились в погоню. — Придержи собаку. Она разорвет мальчика в клочья!

— Поделом ему! — крикнул Сайкс, стараясь вырваться из рук девушки. — Убирайся, иначе я разможу тебе голову об стену!

— Мне все равно, Билл, все равно! — завопила девушка, изо всех сил вцепившись в мужчину. —

Эта собака не растерзает ребенка, разве что ты раньше убьешь меня!

— Не растерзает! — стиснув зубы, произнес Сайкс. — Скорее я это сделаю, если ты не отстанешь! Грабитель отшвырнул от себя девушку в другой конец комнаты, и как раз в этот момент вернулся еврей с двумя мальчиками, волоча за собой Оливера.

— Что случилось? — спросил Феджин, озираясь вокруг.

— Похоже на то, что девчонка с ума спятила, — с бешенством ответил Сайкс.

— Нет, она не спятила с ума, — сказала Нэнси, бледная, задыхающаяся после борьбы. — Нет, она не спятила с ума, Феджин, не думайте!

— Ну, так успокойся, слышишь? — сказал еврей, бросая на нее грозный взгляд.

— Нет, я этого не сделаю, — возразила Нэнси, повысив голос. — Ну, что вы на это скажете?

Мистер Феджин был в достаточной мере знаком с нравами и обычаями тех людей, к породе которых принадлежала Нэнси, и знал, что поддерживать с нею разговор сейчас не совсем безопасно. С целью отвлечь внимание присутствующих, он повернулся к Оливеру.

— Значит, ты хотел улизнуть, мой милый, не так ли? — сказал еврей, беря сучковатую дубинку, лежавшую у очага. — Не так ли?

Оливер ничего не ответил. Он следил за каждым движением еврея и порывисто дышал.

— Хотел позвать на помощь, звал полицию, да? — насмехался еврей, хватая мальчика за руку. — Мы тебя от этого излечим, молодой джентльмен!

Еврей больно ударил Оливера дубинкой по спине и замахнулся снова, но девушка, рванувшись вперед, выхватила ее. Она швырнула дубинку в огонь с такой силой, что раскаленные угли посыпались на пол.

— Не желаю я стоять и смотреть на это, Феджин! — крикнула девушка. — Мальчик у вас, чего же вам еще нужно? Не троньте его, не троньте, не то я припечатаю кого-нибудь из вас так, что попаду на виселицу раньше времени.

Произнося эту угрозу, девушка неистово топнула ногой и, сжав губы, стиснув кулаки, перевела взгляд с еврея на другого грабителя; лицо ее стало мертвенно бледным от бешенства, до которого она постепенно довела себя.

— Ах, Нэнси! — умиротворяющим тоном сказал еврей, переглянувшись в смущении с мистером Сайксом. — Сегодня ты смышленнее, чем когда бы то ни было. Ха-ха! Милая моя, ты прекрасно разыгрываешь свою роль.

— Вот как! — сказала девушка. — Берегитесь, как бы я не переиграла. Вам только хуже будет, если это случится, Феджин, и я вас заранее предупреждаю, чтобы вы держались от меня подальше.

В женщине взбешенной, в особенности если к другим ее неукротимым страстям присоединяются безрассудство и отчаяние, есть нечто такое, с чем мало кто из мужчин захотел бы столкнуться. Еврей понял, что безнадежно притворяться, будто он не верит в ярость Нэнси, и, невольно попятившись, бросил умоляющий и трусливый взгляд на Сайкса, как бы

говоря, что теперь тому надлежит продолжать диалог.

Мистер Сайкс, угадав эту немую мольбу и чувствуя, быть может, что гордость его и авторитет могут пострадать, если он сразу же не образумит мисс Нэнси, изрыгнул несколько десятков проклятий и угроз, быстрое извержение которых делало честь его изобретательности. Но так как они не произвели никакого впечатления на ту, против которой были направлены, он прибег к более веским аргументам.

— Это еще что значит? — сказал Сайкс, подкрепляя свой вопрос весьма распространенным проклятьем, обращенным к прекраснейшему украшению человеческого лица; если бы этому проклятью внимали наверху хотя бы один раз на пятьдесят тысяч, когда оно произносится, слепота сделалась бы такой же обыкновенной болезнью, как корь. — Это еще что значит? Провалиться мне в пекло! Да знаешь ли ты, кто ты и что ты?

— Да, все это я знаю, — ответила девушка, истерически смеясь, покачивая головой и тщетно притворяясь равнодушной.

— А если так, то перестань шуметь, — сказал Сайкс тем ворчливым голосом, которым привык говорить, обращаясь к своей собаке, — а не то я тебя утихомирю на долгие времена.

Девушка засмеялась еще более истерическим смехом и, бросив быстрый взгляд на Сайкса, отвернулась и прикусила губу так, что выступила кровь.

— Нечего сказать, молодчина! — добавил Сайкс, окидывая ее презрительным взглядом. — Как раз тебе-то и подобает стать на сторону человеколюбцев и людей благородных. Самая подходящая особа для того, чтобы ребенок, как ты его называешь, подружился с тобой!

— Это правда, да поможет мне всемогущий Бог! — с жаром воскликнула девушка. — И лучше бы я упала замертво на улице или поменялась местами с теми, мимо которых мы сегодня проходили, прежде чем я помогла вам привести его сюда! Начиная с этого вечера он становится вором, лжецом, чертом, всем, чем угодно. Неужели старому негодю этого мало и нужны еще побои?

— Полно, полно, — увещевал еврей Сайкса, указывая на мальчиков, которые с любопытством следили за всем происходящим. — Мы должны выражаться учтиво, учтиво, Билл.

— Выражаться учтиво! — вскричала взбешенная девушка, на которую страшно было смотреть. — Выражаться учтиво, негодяй! Да, вы от меня заслужили учтивые речи! Я для вас воровала, когда была вдвое моложе, чем он! — Она указала на Оливера. — Я занималась этим ремеслом и служила вам двенадцать лет. Вы этого не знаете? Да говорите же! Не знаете?

— Ну-ну! — пытался успокоить ее еврей. — А коли так, то ведь ты зарабатываешь этим себе на жизнь.

— О да! — подхватила девушка; она не говорила, а визжала — слова лились каким-то неистовым потоком: — Я этим живу... Холодные, сырые, грязные улицы — мой дом! А вы — тот негодяй, который много лет назад выгнал меня на эти улицы и будет держать меня там день за днем, ночь за ночью, пока я не умру...

— Я еще не то с тобой сделаю! — перебил еврей, раздраженный этими упреками. — Я с тобой расправлюсь, если ты еще хоть слово скажешь!

Девушка больше ничего не сказала; она в исступлении рвала на себе волосы и так

стремительно набросилась на еврея, что оставила бы на нем следы своей мести, если бы Сайкс в надлежащий момент не схватил ее за руки, после чего она сделала несколько тщетных попыток освободиться и лишилась чувств.

— Теперь все в порядке, — сказал Сайкс, укладывая ее в углу комнаты. — Когда она вот так бесится, у нее удивительная сила в руках.

Еврей вытер лоб и улыбнулся, видимо почувствовав облегчение, когда тревога улеглась, но и он, и Сайкс, и собака, и мальчики, казалось, считали это повседневным происшествием, связанным с их профессией.

— Вот почему плохо иметь дело с женщинами, — сказал еврей, кладя на место дубинку, — но они хитры, и нам, с нашим ремеслом, без них не обойтись... Чарли, покажи-ка Оливеру его постель.

— Я думаю, Феджин, лучше ему не надевать завтра самый парадный свой костюм? — сказал Чарли Бейтс.

— Конечно, — ответил еврей, ухмыляясь так же, как ухмыльнулся Чарли, задавая этот вопрос.

Юный Бейтс, явно обрадованный данным ему поручением, взял палку с расщепленным концом и повел Оливера в смежную комнату-кухню, где лежали два-три тюфяка, на одном из которых он спал раньше. Здесь, заливаясь неудержимым смехом, он извлек то самое старое платье, от которого Оливер с такой радостью избавился в доме мистера Браунлоу; это платье, случайно показанное Феджину евреем, купившим его, послужило первой нитью, которая привела к открытию местопребывания Оливера.

— Снимай свой парадный костюмчик, — сказал Чарли, — я отдам его Феджину, у него он будет целее. Ну и потеха!

Бедный Оливер неохотно повиновался. Юный Бейтс, свернув новый костюм, сунул его под мышку, вышел из комнаты и, оставив Оливера в темноте, запер за собой дверь.

Оглушительный смех Чарли и голос Бетси, явившейся как раз вовремя, чтобы побрызгать водой на свою подругу и оказать ей прочие услуги для приведения ее в чувство, быть может, заставили бы бодрствовать многих и многих людей, находящихся в более счастливом положении, чем Оливер. Но силы его иссякли, он был совершенно измучен и заснул крепким сном.

Глава XVII. Судьба продолжает преследовать Оливера и, чтобы опорочить его, приводит в Лондон великого человека

На театре существует обычай во всех порядочных кровавых мелодрамах перемежать в строгом порядке трагические сцены с комическими, подобно тому как в свиной грудинке чередуются слои красные и белые. Герой опускается на соломенное свое ложе, отягощенный цепями и несчастьями; в следующей сцене его верный, но ничего не подозревающий оруженосец угощает слушателей комической песенкой. С трепещущим сердцем мы видим героиню во власти надменного и беспощадного барона; честь ее и жизнь равно подвергаются опасности; она извлекает кинжал, чтобы сохранить честь, пожертвовав жизнью; а в тот самый момент, когда наше волнение достигает высшей степени, раздается свисток, и мы сразу переносимся в

огромный зал замка, где седобородый сенешаль ^[29] распевает забавную песню вместе с еще более забавными вассалами, которые могут появляться в любом месте — и под церковными сводами и во дворцах — и толпами скитаются по стране, вечно распевая песни.

Такие перемены как будто нелепы, но они более натуральны, чем может показаться с первого взгляда. В жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу и от траурных одежд к праздничному наряду отнюдь не менее поразителен; только в жизни мы — актеры, а не пассивные зрители, в этом-то и заключается существенная разница. Актеры в подражательной жизни театра не видят резких переходов и неистовых побуждений страсти или чувства, которые глазам простого зрителя сразу представляются достойными осуждения как неумеренные и нелепые.

Так как внезапные чередования сцен и быстрая смена времени и места не только освящены в книгах многолетним обычаем, но и почитаются доказательством великого мастерства писателя — такого рода критики расценивают искусство писателя в зависимости от тех затруднительных положений, в какие он ставит своих героев в конце каждой главы, — это краткое вступление к настоящей главе, быть может, будет сочтено ненужным. В таком случае пусть оно будет принято как деликатный намек историка, оповещающего о том, что он возвращается в город, где родился Оливер Твист; и пусть читатель примет на веру, что есть существенные и основательные причины отправиться в путь, иначе ему не предложили бы совершить такое путешествие.

Ранним утром мистер Бамбл вышел из ворот рабочего дома и с торжественным видом зашагал величественной поступью по Хай-стрит. Он весь так и сиял, упоенный своим званием бидла; галуны на его треуголке и на шинели сверкали в лучах утреннего солнца; он сжимал свою трость энергически и крепко, отличаясь отменным здоровьем и исполненный сознания своего могущества. Мистер Бамбл всегда высоко держал голову, но в это утро он держал ее выше, чем обычно. Рассеянный его взор, горделивый вид могли бы оповестить наблюдательного зрителя о том, что голова бидла полна мыслями слишком глубокими, чтобы можно было выразить их словами.

Мистер Бамбл не останавливался побеседовать с мелкими лавочниками и теми, кто почтительно обращался к нему, когда он проходил мимо. На их приветствия он отвечал только мановением руки и не замедлял величественного своего шага, пока не прибыл на ферму, где миссис Манн с приходской заботливостью выхаживала нищих младенцев.

— Черт бы побрал этого бидла! — сказала миссис Манн, услышав хорошо ей знакомый стук в садовую калитку. — Кто, кроме него, придет в такой ранний час... Ах, мистер Бамбл, подумать только, что это вы пришли! Боже мой, какое счастье! Пожалуйте в гостиную, сэр, прошу вас!

Первая часть речи была адресована к Сьюзен, а восторженные восклицания относились к мистеру Бамблу; славная леди отперла садовую калитку и с большим почтением и услужливостью ввела его в дом.

— Миссис Манн, — начал мистер Бамбл, не садясь и не падая в кресло, как сделал бы какой-нибудь нахал, но опускаясь медленно и постепенно, — миссис Манн, с добрым утром.

— И вам желаю доброго утра, сэр, — сияя улыбками, ответила миссис Манн. — Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

— Так себе, миссис Манн, — ответил бидл. — Приходская жизнь — не ложе из роз, миссис Манн.

— Ах, это правда, мистер Бамбл! — подхватила леди.

И если бы бедные младенцы слышали эти слова, они могли бы весьма кстати повторить их хором.

— Приходская жизнь, сударыня, — продолжал мистер Бамбл, ударив тростью по столу, — полна забот, неприятностей и тяжких трудов, но могу сказать, что все общественные деятели обречены терпеть от преследований.

Миссис Манн, не совсем понимая, что хочет сказать бидл, сочувственно воздела руки и вздохнула.

— Ах, и в самом деле можно вздохнуть, миссис Манн! — сказал бидл.

Убедившись, что она поступила правильно, миссис Манн еще раз вздохнула, к явному удовлетворению общественного деятеля, который, бросив суровый взгляд на свою треуголку и тем самым скрыв самодовольную улыбку, сказал:

— Миссис Манн, я еду в Лондон.

— Ах, боже мой, мистер Бамбл! — попятившись, воскликнула миссис Манн.

— В Лондон, сударыня, — повторил непреклонный бидл, — в почтовой карете. Я и двое бедняков, миссис Манн. Предстоит судебный процесс касательно оседлости^[30], и совет поручил мне — мне, миссис Манн, — дать показания по этому делу на квартальной сессии в Клеркенуэле. И я не на шутку опасаюсь, — добавил, приосанившись, мистер Бамбл, — как бы судьи на клеркенуэлской сессии^[31] не попали впросак, прежде чем покончить со мной.

— Ах, не будьте слишком строги к ним, сэр! — вкрадчиво сказала миссис Манн.

— Судьи на клеркенуэлской сессии сами довели себя до этого, сударыня, — ответил мистер Бамбл. — И если дело обернется для них хуже, чем они предполагали, пусть благодарят самих себя!

Столько решимости и сознания долга слышалось в угрожающем тоне, каким мистер Бамбл изрек эти слова, что миссис Манн, казалось, совершенно была уstraшена. Наконец, она промолвила:

— Вы едете в карете, сэр? А я думала, что этих нищих принято отправлять в повозках.

— Если они больны, миссис Манн, — сказал бидл. — В дождливую погоду мы отправляем больных в открытых повозках, чтобы они не простудились.

— О! — сказала миссис Манн.

— Обратная карета берется довезти этих двоих да к тому же по сходной цене, — сказал мистер Бамбл. — Обоим очень худо, и мы считаем, что увезти их обойдется на два фунта дешевле, чем похоронить, — в том случае, если нам удастся спихнуть их на руки другому приходу, а это я считаю вполне возможным, только бы они назло нам не умерли посреди дороги. Ха-ха-ха!

Мистер Бамбл посмеялся немного, затем взгляд его снова упал на треуголку, и он принял серьезный вид.

— Мы забыли о делах, сударыня, — сказал бидл. — Вот вам жалованье от прихода за месяц.

Мистер Бамбл извлек из бумажника завернутые в бумагу серебряные монеты и потребовал, расписку, которую ему и написала миссис Манн.

— Замарала я ее, сэр, — сказала воспитательница младенцев, — но, кажется, все написано по форме. Благодарю вас, мистер Бамбл, сэр, право же, я вам очень признательна.

Мистер Бамбл благосклонно кивнул в ответ на реверанс миссис Манн и осведомился, как поживают дети.

— Да благословит их Бог! — с волнением сказала миссис Манн. — Они, миленькие, здоровы, лучшего и пожелать им нельзя! Конечно, за исключением тех двух, что умерли на прошлой неделе, и маленького Дика.

— А этому мальчику все не лучше? — спросил мистер Бамбл.

Миссис Манн покачала головой.

— Это зловредный, испорченный, порочный приходский ребенок, — сердито сказал мистер Бамбл. — Где он?

— Я сию же минуту приведу его к вам, сэр, — ответила миссис Манн. — Иди сюда. Дик!

Дика окликнули несколько раз, и он, наконец, отыскался. Его лицо подставили под насос и вытерли подолом миссис Манн, после чего он предстал пред грозным мистером Бамблом, бидлом.

Мальчик был бледен и худ; щеки у него ввалились, глаза были большие и блестящие. Жалкое приходское платье — ливрея его нищеты — висело на его слабом теле, а руки и ноги ребенка высохли, как у старца.

Таково было это маленькое создание, которое, трепеща, стояло перед мистером Бамблом, не смея отвести глаз от пола и пугаясь даже голоса бидла.

— Не можешь ты, что ли, посмотреть в лицо джентльмену, упрямый мальчишка? — сказала миссис Манн.

Мальчик робко поднял глаза и встретил взгляд мистера Бамбла.

— Что случилось с тобой, приходский Дик? — осведомился мистер Бамбл — весьма уместно — шутливым тоном.

— Ничего, сэр, — тихо ответил мальчик.

— Разумеется, ничего! — сказала миссис Манн, которая не преминула — посмеяться от души над шуткой мистера Бамбла. — Я уверена, что ты ни в чем не нуждаешься.

— Мне бы хотелось... — заикаясь, начал ребенок.

— Вот так-так! — перебила миссис Манн. — Ты, кажется, хочешь сказать, что тебе чего-то не хватает? Ах ты маленький негодяй!

— Тише, тише, миссис Манн! — сказал бидл, властно поднимая руку. — Чего бы вам хотелось,

сэр?

— Мне бы хотелось, — заикаясь, продолжал мальчик, — чтобы кто-нибудь написал за меня несколько слов на клочке бумаги, сложил ее, запечатал и спрятал, когда меня зароют в землю.

— О чем говорит этот мальчик! — воскликнул мистер Бамбл, на которого серьезный тон и истощенный вид ребенка произвели некоторое впечатление, хотя он и был привычен к таким вещам. — О чем вы говорите, сэр?

— Мне бы хотелось, — сказал ребенок, — передать бедному Оливеру Твисту мой горячий привет, и пусть он узнает, как часто я сидел и плакал, думая о том, что он скитается в темную ночь и нет никого, кто бы ему помог. И мне бы хотелось сказать ему, — продолжал ребенок, сжимая ручонки и говоря с большим жаром, — что я рад умереть совсем маленьким, если бы я вырос, стал взрослым и состарился, моя сестренка на небе забыла бы меня или была бы на меня не похожа, а гораздо лучше будет, если мы оба встретимся там детьми.

Мистер — Бамбл с неописуемым изумлением смерил взглядом маленького оратора с головы до ног и, повернувшись к своей собеседнице, сказал:

— Все они на один лад, миссис Манн. Этот дерзкий Оливер всех их перепортил.

— Никогда бы я этому не поверила, сэр! — сказала миссис Манн, воздевая руки и злобно поглядывая на Дика. — Я никогда еще не видывала такого закоренелого маленького негодяя!

— Уведите его, сударыня! — повелительно сказал мистер Бамбл. — Об этом следует доложить совету, миссис Манн.

— Надеюсь, джентльмены поймут, что это не моя вина, сэр? — жалобно хныча, сказала миссис Манн.

— Они это поймут, сударыня; они будут осведомлены об истинном положении дел, — сказал мистер Бамбл. — А теперь уведите его, мне противно на него смотреть.

Дика немедленно увели и заперли в погреб для угля. Вскоре вслед за этим мистер Бамбл удалился, чтобы снарядиться в путь.

На следующий день, в шесть часов утра, мистер Бамбл, заменив треуголку круглой шляпой и укутав свою особу в синий плащ с капюшоном, занял наружное место в почтовой карете, сопровождаемый двумя преступниками, чье право на оседлость оспаривалось. И вместе с ними он в надлежащее время прибыл в Лондон. В пути у него не было никаких неприятностей, кроме тех, что причиняли ему своим гнусным поведением бедняки, которые упрямо не переставали дрожать и жаловаться на стужу так, что, по словам мистера Бамбла, у него у самого застучали зубы и он озяб, хотя и был закутан в плащ.

Избавившись на ночь от этих злонамеренных лиц, мистер Бамбл расположился в доме, перед которым остановилась карета, и заказал скромный обед — жареное мясо, соус из устриц и портер. Поставив на каминную полку стакан горячего джина с водой, он придвинул кресло к огню и после высоконравственных размышлений о слишком распространенном пороке — недовольстве и неблагодарности, — приготовился к чтению газеты.

Первыми же строками, на которые упал взор мистера Бамбла, были следующие:

ПЯТЬ ГИНЕЙ НАГРАДЫ

«В четверг вечером, на прошлой неделе, убежал или был уведен из дома в Пентонвиле мальчик, по имени Оливер Твист, и с тех пор о нем нет никаких известий. Вышеуказанная награда будет уплачена любому, кто поможет обнаружить местопребывание упомянутого Оливера Твиста, или прольет свет на прежнюю его жизнь, которой по многим причинам горячо интересуется лицо, давшее это объявление».

Далее следовало подробное описание одежды и особы Оливера, его появления и исчезновения, а также имя и адрес мистера Браунлоу.

Мистер Бамбл широко раскрыл глаза, прочел объявление медленно и старательно три раза подряд и минут через пять уже ехал в Пентонвил, в волнении оставив нетронутым стакан горячего джина с водой.

— Дома мистер Браунлоу? — спросил мистер Бамбл у девушки, которая открыла дверь.

На этот вопрос девушка дала обычный, но довольно уклончивый ответ:

— Не знаю... Откуда вы?

Как только мистер Бамбл, объясняя причину своего появления, произнес имя Оливера, миссис Бэдуин, которая прислушивалась у двери в гостиную, выбежала, задыхаясь, в коридор.

— Войдите, войдите! — воскликнула старая леди. — Я знала, что мы о нем услышим. Бедняжка! Я знала, что услышим о нем! Я была в этом уверена. Да благословит его Бог! Я все время это говорила.

С этими словами почтенная старая леди поспешила назад в гостиную, села на диван и залилась слезами. Тем временем служанка, не отличавшаяся такой впечатлительностью, побежала наверх и, вернувшись, предложила мистеру Бамблу немедленно следовать за ней, что тот и сделал.

Его ввели в маленький кабинет, где перед графинами и стаканами сидели мистер Браунлоу и его друг мистер Гримуиг. Сей последний джентльмен сразу разразился восклицаниями:

— Бидл! Я готов съесть свою голову, если это не приходский бидл.

— Пожалуйста, помолчите, — сказал мистер Браунлоу. — Не угодно ли сесть?

Мистер Бамбл сел, совершенно сбитый с толку странными манерами мистера Гримуига.

Мистер Браунлоу подвинул лампу так, чтобы лучше видеть лицо бидла, и сказал несколько нетерпеливо:

— Ну-с, сэр, вы пришли потому, что вам попало на глаза объявление?

— Да, сэр, — сказал мистер Бамбл.

— И вы бидл, не так ли? — спросил мистер Гримуиг.

— Я — приходский бидл, джентльмены, — с гордостью ответил мистер Бамбл.

— Ну, конечно, — заметил мистер Гримуиг, обращаясь к своему другу. — Так я и думал. Бидл с головы до пят!

Мистер Браунлоу слегка покачал головой, предлагая приятелю помолчать, и продолжал:

— Вам известно, где сейчас находится этот бедный мальчик?

— Не больше, чем всякому другому, — ответил мистер Бамбл.

— Ну, так что же вы о нем знаете? — спросил старый джентльмен. — Говорите, друг мой, если у вас есть что сказать. Что вы о нем знаете?

— Вряд ли что-нибудь хорошее, не так — ли? — язвительно сказал мистер Гримуиг, внимательно всматриваясь в лицо мистера Бамбла.

Мистер Бамбл, быстро уловив тон вопроса, зловеще и величественно покачал головой.

— Видите! — сказал мистер Гримуиг, с торжеством взглянув на мистера Браунлоу.

Мистер Браунлоу опасливо посмотрел на насупленную физиономию мистера Бамбла и попросил его рассказать как можно короче все, что ему известно об Оливере.

Мистер Бамбл положил шляпу, расстегнул сюртук; скрестив руки, глубокомысленно наклонил голову и, после недолгого раздумья, начал свой рассказ.

Скучно было бы передавать его словами бидла, которому потребовалось на это минут двадцать, но суть его заключалась в том, что Оливер — питомец, рожденный от порочных родителей низкого происхождения; что со дня рождения он обнаружил такие качества, как вероломство, неблагодарность и злость; что свое недолгое пребывание в родном городе он закончил кроважидным и мерзким нападением на безобидного мальчика и бежал ночной порой из дома своего хозяина. В доказательство того, что он действительно то лицо, за которое себя выдает, мистер Бамбл положил на стол бумаги, привезенные им в город. Сложив руки, он ждал, пока мистер Браунлоу ознакомится с ними.

— Боюсь, что все это правда, — грустно сказал старый джентльмен, просмотрев бумаги. — Награда за доставленные вами сведения невелика, но я бы с радостью дал вам вдвое больше, если бы они оказались благоприятными для мальчика.

Знай мистер Бамбл об этом обстоятельстве раньше, весьма возможно, что он придал бы совсем иную окраску своему краткому рассказу. Однако теперь поздно было это делать, а потому он степенно покачал головой и, спрятав в карман пять гиней, удалился.

В течение нескольких минут мистер Браунлоу шагал взад и вперед по комнате, видимо столь огорченный рассказом бидла, что даже мистер Гримуиг не стал больше ему досаждать.

Наконец, он остановился и резко позвонил в колокольчик.

— Миссис Бэдуин, — сказал мистер Браунлоу, когда вошла экономка, — этот мальчик, Оливер, оказался негодяем.

— Не может этого быть, сэр, не может быть! — с жаром сказала старая леди.

— Говорю вам — он негодяй! — возразил старый джентльмен. — Какие у вас основания говорить, что «не может этого быть»? Мы только что выслушали подробный рассказ о нем со дня его рождения. Он всю свою жизнь был ловким маленьким негодяем.

— Никогда не поверю этому, сэр, — твердо заявила старая леди. — Никогда!

— Вы, старухи, верите только шарлатанам да нелепым сказкам, — проворчал мистер Гримуиг. — Я это знал с самого начала. Почему вы сразу не обратились ко мне за советом? Вероятно, вы бы это сделали, не заболел он горячкой? Он казался интересным, да? Интересным! Вот еще! — И мистер Гримуиг, взмахнув кочергой, ожесточенно ткнул ею в камин.

— Это было милое, благодарное, кроткое дитя, сэр! — с негодованием возразила миссис Бэдуин. — Я детей знаю, сэр. Я их знаю уже сорок лет; а те, кто не может сказать того же о себе, пусть лучше помолчат! Вот мое мнение.

Это был резкий выпад против мистера Гримуига, который был холостяком. Так как у этого джентльмена он вызвал только улыбку, старая леди тряхнула головой и расправила свой передник, готовясь к новому выступлению, но ее остановил мистер Браунлоу.

— Довольно! — сказал старый джентльмен, притворяясь рассерженным, чего на самом деле отнюдь не было. — Больше я не желаю слышать имени этого мальчика! Я вас позвал, чтобы сообщить вам об этом. Никогда! Никогда, ни под каким видом! Запомните! Можете идти, миссис Бэдуин. Помните! Я не шучу.

В эту ночь тяжело было на сердце у обитателей дома мистера Браунлоу.

У Оливера сердце сжималось, когда он думал о своих добрых, любящих друзьях; хорошо, что он не знал, какие сведения получены ими, иначе сердце его могло бы разорваться.

Глава XVIII. Как Оливер проводил время в душеспасительном обществе своих почтенных друзей

На следующий день, около полудня, когда Плут и юный Бейтс ушли из дому на обычную свою работу, мистер Феджин воспользовался случаем, чтобы прочесть Оливеру длинную лекцию о вопиющем грехе неблагодарности, в котором, как доказал он ясно, Оливер был повинен в немалой степени, умышленно избегая общества своих встревоженных друзей и вдобавок пытаясь убежать от них после того, как столько хлопот и издержек стоило найти его. Мистер Феджин в особенности подчеркивал тот факт, что он дал приют Оливеру и пригрел его в то время, когда — не будь этой своевременной помощи — он мог умереть с голоду; и мистер Феджин рассказал печальную и трогательную историю одного мальчика, которому он из человеколюбия помог при таких же обстоятельствах, но этот мальчик, оказавшись недостойным его доверия и обнаружив желание связаться с полицией, был, к сожалению, повешен однажды утром в Олд-Бейли ^[32]. Мистер Феджин не пытался скрыть свою долю участия в катастрофе, но со слезами на глазах сокрушался о гнусном и предательском поведении упомянутого юнца, каковое привело к необходимости сделать его жертвой некоторых показаний, данных на суде, которые, если и не вполне соответствовали истине, были насущно необходимы для безопасности его (мистера Феджина) и немногих избранных друзей. В заключение мистер Феджин дал довольно неприятное описание неудобств, сопутствующих повешению, и очень дружелюбно и вежливо выразил горячую надежду, что ему никогда не придется подвергнуть Оливера Твиста этой неприятной операции.

У маленького Оливера кровь стыла в жилах, когда он слушал речь еврея и смутно догадывался о мрачных угрозах, таившихся в ней. Ему уже было известно, что даже правосудие может принять невинного за виновного, если тот и другой случайно очутились вместе. Вполне вероятным казалось ему также, что старый еврей уж не раз придумывал и приводил в исполнение таинственные планы с целью погубить слишком осведомленных или болтливых

людей, так как Оливер вспомнил о пререканиях между этим джентльменом и мистером Сайксом, которые как будто относились к заговору, имевшему место в прошлом. Робко подняв глаза и встретив испытующий взгляд еврея, он почувствовал, что его бледность и трепет не остались незамеченными и доставили удовольствие этому бдительному старому джентльмену.

Еврей, отвратительно улыбаясь, погладил Оливера по голове и сказал, что они еще станут друзьями, если он будет вести себя хорошо и начнет работать. Затем, взяв шляпу и надев старое, заплатанное пальто, он вышел из комнаты и запер за собой дверь.

Весь этот день и в последующие дни Оливер не видел никого с раннего утра до полуночи и в течение долгих часов был предоставлен своим собственным мыслям. А эти мысли, неизменно обращаясь к его добрым друзьям и к тому мнению, какое у них сложилось о нем, были очень грустны.

По прошествии недели еврей перестал запира́ть дверь, и теперь Оливер получил возможность бродить по всему дому.

Здесь было очень грязно. В комнатах верхнего этажа были огромные, высокие деревянные камины, большие двери, обшитые панелью стены и карнизы у потолка, почерневшие от времени и грязи, но украшенные всевозможными орнаментами. Все это позволяло Оливеру заключить, что много лет назад, еще до рождения старого еврея, дом принадлежал людям более достойным и, быть может, был веселым и красивым, хотя и стал теперь унылым и мрачным.

Пауки затянули паутиной углы комнаты, а иной раз, когда Оливер потихоньку входил в комнату, мыши разбегались во все стороны и в испуге пря — тались в свои норки. За исключением мышей, здесь не видно и не слышно было ни единого живого существа; и часто, когда наступали сумерки и Оливер уставал бродить по комнатам, он забивался в уголок у входной двери, чтобы быть поближе к живым людям, и сидел здесь, прислушиваясь и считая часы, пока не возвращался еврей или мальчики.

Во всех комнатах ветхие ставни были закрыты, укреплявшие их болты плотно привинчены к дереву; свет пробивался только в круглые отверстия наверху, что делало комнаты еще более мрачными и наполняло их причудливыми тенями. Выходившее во двор чердачное окно с заржавленной решеткой, приделанной снаружи, не было закрыто ставнями, и в это окно грустивший Оливер часто смотрел часами; за окном в беспорядке громоздились крыши, видны были почерневшие трубы, коньки — и только. Правда, иной раз можно было увидеть седую голову, выглядывавшую из-за парапета какого-нибудь далекого дома, но она быстро исчезала; а так как окно в обсерватории Оливера было забито и за долгие годы потускнело от дождя и дыма, то ему оставалось только всматриваться в очертания различных предметов, не надеясь, что его увидят или услышат, — на это у него было не больше шансов, чем если бы он жил внутри купола собора св. Павла.

Как-то после полудня, когда Плут и юный Бейтс готовились к вечерней работе, первому из упомянутых молодых джентльменов пришла в голову мысль позаботиться об украшении собственной особы (нужно отдать ему справедливость — обычно он не был подвержен этой слабости), и с этой целью он снисходительно приказал Оливеру немедленно помочь ему при совершении туалета.

Оливер был рад случаю оказать услугу, счастлив, что видит подле себя людей, хотя бы и дурных, страстно желал снискать расположение тех, кто его окружал, если этого можно было достигнуть, не совершая бесчестных поступков, — вот почему он и не подумал возражать

против такого предложения. Он поспешил изъявить свою готовность и, опустившись на пол, чтобы поставить себе на колено ногу Плута, сидевшего на столе, приступил к процедуре, которую мистер Даукинс назвал «полированием своих скакунов». Эти слова в переводе на обычный английский язык означали чистку сапог.

Сознание ли свободы и независимости, которое, по-видимому, должно испытывать разумное животное, когда оно сидит в удобной позе на столе, курит трубку и небрежно болтает одной ногой, пока ему чистят сапоги, хотя оно не потрудилось их снять, и неприятная перспектива снова их натягивать не тревожит его мыслей, или же хороший табак смягчил сердце Плута, а может быть, на него подействовало успокоительно слабое пиво, — как бы там ни было, но Плут в тот момент находился в расположении духа романтическом и восторженном, обычно чуждом его природе. Сначала он с задумчивым видом смотрел вниз на Оливера, а затем, подняв голову и тихонько вздохнув, сказал не то самому себе, не то юному Бейтсу:

— Какая жалость, что он не мазурик!

— Да, — сказал юный Чарльз Бейтс, — он своей выгоды не понимает.

Плут снова вздохнул и снова взялся за трубку; так же поступил и Чарли Бейтс. Несколько секунд оба курили молча.

— Ты, наверно, даже не знаешь, что такое мазурик? — задумчиво спросил Плут.

— Мне кажется, знаю, — отозвался Оливер, поднимая голову. — Это во... вы один из них, правда? — запнувшись, спросил он.

— Совершенно верно, — ответил Плут. — Я бы не унизился до какого-нибудь другого занятия.

Сообщив о таком решении, мистер Даукинс сердито сдвинул шляпу набекрень и посмотрел на юного Бейтса, как будто вызывая его на возражения.

— Совершенно верно, — повторил Плут. — А также и Чарли, и Феджин, и Сайкс, и Нэнси, и Бет. Все мы мазурики, не исключая и собаки. А она будет половчее нас всех!

— И уж она-то не донесет! — добавил Чарли Бейтс.

— Она бы и не тявкнула на суде из боязни проболтаться... э, нет, даже если бы ее там привязали и две недели не давали жрать, — сказал Плут.

— Ни за что бы не тявкнула, — подтвердил Чарли.

— Чудная собака, — продолжал Плут. — Как свирепо она смотрит на чужого, который вздумает смеяться или петь при ней! А как ворчит, когда играют на скрипке! И ненавидит всех собак другой породы! О!

— Настоящая христианка! — сказал Чарли.

Он хотел только похвалить собаку за ее качества, но его замечание было уместно и в ином смысле, хотя юный Бейтс этого не знал: много есть леди и джентльменов, претендующих на то, чтобы их считали истинными христианами, которые обнаруживают поразительное сходство с собакой мистера Сайкса.

— Ну ладно, — сказал Плут, возвращаясь к теме, от которой они отвлеклись, ибо он всегда

помнил о своей профессии. — Это не имеет никакого отношения к нашему простаку.

— Правильно, — согласился Чарли. — Оливер, почему ты не хочешь поступить в обучение к Феджину?

— И сразу сколотить себе состояние? — усмехаясь, добавил Плут.

— А потом уйти от дел и зажить по-благородному? Я и сам так поступлю, скажем, через четыре високосных года, в следующий же високосный, в сорок второй вторник на троичной неделе, — сказал Чарли Бейтс.

— Мне это не нравится, — робко ответил Оливер. — Я бы хотел, чтобы меня отпустили. Мне... мне хотелось бы уйти.

— А вот Феджин этого не хочет! — возразил Чарли.

Оливер знал это слишком хорошо, но, считая, что опасно выражать открыто свои чувства, только вздохнул и продолжал чистить сапоги.

— Уйти! — воскликнул Плут. — Стыда у тебя нет, что ли? И гордости никакой нет! Ты бы хотел уйти и жить за счет своих друзей?

— Черт подери! — воскликнул юный Бейтс, вытаскивая из кармана два-три шелковых платка и швыряя их в шкаф. — Это подло, вот оно что!

— Я бы на это не пошел, — сказал Плут тоном высокомерно-презрительным.

— А друзей своих бросать вы можете, — с бледной улыбкой сказал Оливер, — и допускать, чтобы их наказывали за вас?

— Ну, знаешь ли, — отозвался Плут, размахивая трубкой, — это было сделано из внимания к Феджину, ведь ищейки-то знают, что мы работаем вместе, а он мог попасть в беду, если бы мы не улизинули... Вот в чем тут дело, правда, Чарли?

Юный Бейтс кивнул в знак согласия и хотел что-то добавить, но, внезапно вспомнив о бегстве Оливера, захохотал, и дым, которым он затянулся, попал не в то горло, вследствие чего он минут пять кашлял и топал ногами.

— Смотри! — сказал Плут, доставая из кармана целую пригоршню шиллингов и полупенсовиков. — Вот это развеселая жизнь! Не все ли равно, откуда они взялись? Ну, бери! Там, откуда их взяли, еще много осталось. Что, не хочешь? Эх ты, простофиля!

— Это очень дурно, правда, Оливер? — сказал Чарли Бейтс. — Кончится тем, что его за это вздернут, да?

— Я не понимаю, что это значит, — отозвался Оливер.

— А вот что, дружище! — сказал Чарли.

С этими словами юный Бейтс схватил конец своего галстука, дернул его кверху и, склонив голову набок, издал сквозь зубы какой-то странный звук, поясняя с помощью этой веселенькой пантомимы, что вздергивание и повешение — одно и то же.

— Вот что это значит, — сказал Чарли. — Смотри, Джек, как он таращит глаза! Никогда еще я

не видывал такого простофилю, как этот мальчишка. Когда-нибудь он меня окончательно уморит, знаю, что уморит.

Юный Чарльз Бейтс, снова расхохотавшись так, что слезы выступили у него на глазах, взялся за свою трубку.

— Тебя плохо воспитали, — сказал Плут, с большим удовольствием созерцая свои сапоги, вычищенные Оливером. Впрочем, Феджин что-нибудь из тебя сделает, или ты окажешься первым, от которого он ничего не мог добиться. Начинай-ка лучше сразу, потому что все равно придется тебе заняться этим ремеслом, и ты только время теряешь, Оливер.

Юный Бейтс подкрепил этот совет всевозможными увещаниями морального порядка; когда же они были исчерпаны, он и его приятель мистер Даукинс принялись описывать в ярких красках многочисленные удовольствия, связанные с той жизнью, какую они вели, и намекали Оливеру, что для него лучше безотлагательно снискать расположение мистера Феджина с помощью тех средств, которыми пользовались они сами.

— И вбей себе в башку. Ноли, — сказал Плут, услышав, что еврей отпирает дверь наверху, — если ты не будешь таскать утиралки и тикалки...

— Что толку в этих словах? — вмешался юный Бейтс. — Он не понимает, о чем ты говоришь.

— Если ты не будешь таскать носовые платки и часы, — сказал Плут, приспособляя свою речь к уровню развития Оливера, — все равно их стащит кто-нибудь другой. От этого плохо будет тем, у кого их стащат, и плохо будет тебе, и никто на этом деле не выгадает, кроме того парня, который эти вещи прикарманит, а ты имеешь на них точь-в-точь такое же право, как и он.

— Верно! — сказал еврей, который вошел в комнату, не замеченный Оливером. — Все это очень просто, мой милый; очень просто, можешь поверить на слово Плуту. Ха-ха-ха! Он знает азбуку своего ремесла.

Старик весело потирал руки, подтверждая рассуждения Плута, и посмеивался, восхищенный способностями своего ученика.

На этот раз беседа оборвалась, так как еврей вернулся домой в сопровождении мисс Бетси и джентльмена, которого Оливер ни разу еще не видел; Плут называл его Томом Читлингом; он замешкался на лестнице, обмениваясь любезностями с леди, и только что вошел в комнату.

Мистер Читлинг был старше Плута — быть может, видал на своем веку восемнадцать зим, — но обращение его с этим молодым джентльменом отличалось некоторой почтительностью, казалось свидетельствующей о том, что он признавал себя, пожалуй, ниже Плута, поскольку речь шла о хитроумии и профессиональных способностях. У него были маленькие, блестящие глазки и лицо, взрытое оспой; на нем была меховая шапка, темная, из рубчатого плиса куртка, засаленные бумазейные штаны и фартук. Правду сказать, его костюм был в незавидном состоянии; но он принес извинения компании, заявив, что его «выпустили» всего час назад, а так как он в течение последних шести недель носил мундир, то и не имел возможности уделить внимания своему штатскому платью. С величайшим раздражением мистер Читлинг добавил, что новый способ окуривать одежду чертовски противоречит конституции, так как прожигается материя; но нет никакой возможности бороться с властями графства. Подобное же замечание он сделал по поводу распоряжения стричь волосы, которое считал решительно противозаконным. Свою речь мистер Читлинг закончил заявлением, что вот уже сорок два бесконечных трудовых дня у него ни капли не было во рту и «пусть его прихлопнут, если он не усох».

— Как ты думаешь, Оливер, откуда пришел этот джентльмен? — ухмыляясь, спросил еврей, когда два других мальчика поставили на стол бутылку виски.

— Н-не знаю, сэр, — сказал Оливер.

— Это кто такой? — спросил Том Читлинг, бросив презрительный взгляд на Оливера.

— Это, милый мой, один из моих юных друзей, — ответил еврей.

— Значит, ему повезло... — сказал молодой человек, многозначительно посмотрев на Феджина. — Не все ли равно, откуда я пришел, мальчуган? Бьюсь об заклад на крону, что ты скоро отыщешь туда дорогу!

Эта шутка вызвала смех у мальчиков. Побалагурив еще немного на ту же тему, они шепотом обменялись несколькими словами с Феджином и ушли.

Новый гость потолковал в сторонке с Феджином, после чего оба придвинули свои стулья к очагу, и еврей, подозвав к себе Оливера и приказав ему сесть возле, завел речь о том, что должно было больше всего интересоваться его слушателей. Разговор шел о великих выгодах их профессии, о сноровке Плута, о добродушном нраве Чарльза Бейтса и о щедрости самого еврея. Наконец, эти темы истощились, истощен был и мистер Читлинг, ибо пребывание в исправительном доме становится утомительным по истечении одной-двух недель. Поэтому мисс Бетси ушла, предоставив компании расположиться на отдых.

Начиная с этого дня Оливера редко оставляли одного; почти всегда он находился в обществе обоих мальчиков, которые ежедневно играли с евреем в старую игру — то ли для собственного усовершенствования, то ли для Оливера, — об этом лучше всех знал мистер Феджин. Иногда старик рассказывал им истории о грабежах, которые совершал в дни молодости, и столько было в них смешного и любопытного, что Оливер невольно смеялся от души и, несмотря на все свои прекрасные качества, не мог скрыть, что эти истории его забавляют.

Короче говоря, хитрый старый еврей опутал мальчика своими сетями. Подготовив его душу одиночеством и унынием к тому, чтобы мальчик предпочел любое общество своим печальным мыслям, старик теперь вливал в нее по капле яд, который, как он надеялся, загрязнит ее, навеки изменив ее цвет.

Глава XIX, в которой обсуждают, и принимают замечательный план

Была серая, промозглая, ветреная ночь, когда еврей, застегнув на все пуговицы пальто, плотно облежавшее его иссохшее тело, и подняв воротник до ушей, чтобы скрыть нижнюю часть лица, вышел из своей берлоги. Он приостановился на ступени, пока запирали за ним дверь и закладывали цепочку, и, убедившись, что мальчики заперли все как следует и шаги их замерли вдали, побежал по улице так быстро, как только мог.

Дом, куда привели Оливера, был расположен по соседству с Уайтчеплом^[33]. Еврей на минутку приостановился на углу и, подозрительно осмотревшись по сторонам, перешел через улицу по направлению к Спителфилдс.

Грязь толстым слоем лежала на мостовой, и черная мгла нависла над улицами; моросил дождь, все было холодным и — липким на ощупь. Казалось, именно в эту ночь и подобает бродить по

улицам таким существам, как этот еврей. Пробираясь крадучись вперед, скользя под прикрытием стен и подъездов, отвратительный старик походил на какое-то омерзительное пресмыкающееся, рожденное в грязи и во тьме, сквозь которые он шел: он полз в ночи в поисках жирной падали себе на обед.

Он шел извилистыми и узкими улицами, пока не достиг Бетнел-Гряна; затем, круто свернув влево, он очутился в лабиринте грязных улиц, которых так много в этом густонаселенном районе.

По-видимому, еврей был очень хорошо знаком с той местностью, где находился, и его отнюдь не пугали темная ночь и трудная дорога. Он быстро миновал несколько переулков и улиц и, наконец, свернул в улицу, освещенную только одним фонарем в дальнем ее конце. Он постучал в дверь одного из домов и, обменявшись вполголоса несколькими невнятными словами с человеком, открывшим ее, поднялся по лестнице.

Когда он коснулся ручки двери, зарычала собака, и голос мужчины спросил, кто там.

— Это я, Билл, это только я, мой милый, — сказал еврей, заглядывая в комнату.

— Ну, так вваливайтесь сюда, — сказал Сайкс. — Лежи смирно, глупая скотина! Не можешь ты, что ли, узнать черта, если он в пальто?

Очевидно, собаку ввело в заблуждение верхнее одеяние мистера Феджина, ибо, как только еврей расстегнул пальто и бросил его на спинку стула, она удалилась в свой угол и при этом завияла хвостом, как бы давая понять, что теперь она удовлетворена, насколько это чувство свойственно ее природе.

— Ну! — сказал Сайкс.

— Ну что ж, милый мой!.. — отозвался еврей. — А, Нэнси! В этом обращении слышалось некоторое замешательство, свидетельствовавшее о неуверенности в том, как оно будет принято: мистер Феджин и его юная приятельница не виделись с того дня, как она заступилась за Оливера. Поведение молодой леди быстро рассеяло все сомнения на этот счет, если таковые у него были. Она спустила ноги с каминной решетки, отодвинула стул и без лишних слов предложила Феджину подсесть к очагу, так как ночь — что и говорить — холодная.

— Да, моя милая Нэнси, очень холодно, — сказал еврей, грея свои костлявые руки над огнем. — Пронизывает насквозь, — добавил старик, потирая себе бок.

— Лютый должен быть холод, чтобы пробрать вас до самого сердца, — сказал мистер Сайкс. — Дай ему выпить чего-нибудь, Нэнси. Да пошевеливайся, черт подери! Тут и самому недолго заболеть, когда посмотришь, как трясется этот мерзкий старый скелет, словно гнусный призрак, только что вставший из могилы.

Нэнси проворно достала бутылку из шкафа, где стояло еще много бутылок, наполненных, судя по их виду, всевозможными спиртными напитками.

Сайкс, налив стакан бренди, предложил его еврею.

— Довольно, довольно... Спасибо, Билл, — сказал еврей, едва пригубив и поставив стакан на стол.

— Бойтесь, как бы вас не обошли? — сказал Сайкс, пристально посмотрев на еврея. — Уф!

С хриплым, презрительным ворчанием мистер Сайкс схватил стакан и выплеснул остатки бренди в золу — эта церемония предшествовала тому, чтобы затем наполнить его для себя, что он и сделал.

Пока он опрокидывал в глотку второй стакан, еврей окинул взглядом комнату — не из любопытства, так как не раз уже видел ее, но по свойственной ему подозрительности и вследствие беспокойной своей натуры. Это была нищенски обставленная комната, и только содержимое шкафа наводило на мысль, что здесь живет человек, не занимающийся трудом; на виду не было никаких подозрительных предметов, кроме нескольких тяжелых дубинок, стоявших в углу, и дубинки со свинцовым наконечником, висевшей над очагом.

— Ну вот, — сказал Сайкс, облизывая губы, — теперь я готов.

— Поговорим о делах? — осведомился еврей.

— Ладно, пусть о делах, — согласился Сайкс. — Выкладывайте, что хотели сказать.

— О делишках в Чертей, Билл? — спросил еврей, придвинув свой стул и понизив голос.

— Ладно. Что вы об этом скажете? — спросил Сайкс.

— Ах, милый мой, ведь вы знаете, что у меня на уме... — сказал еврей. — Ведь он это знает, Нэнси, правда?

— Нет, не знает, — ухмыльнулся мистер Сайкс. — Или не хочет знать, а это одно и то же. Говорите начистоту и называйте вещи своими именами! Нечего сидеть здесь, моргать да подмигивать и объясняться со мной намеками, как будто не вам первому пришла в голову мысль о грабеже! Что у вас на уме?

— Тише, Билл, тише! — сказал еврей, тщетно пытавшийся положить конец этому взрыву негодования. — Нас могут услышать.

— Пусть слушают! — сказал Сайкс. — Не все ли мне равно?

Но так как мистеру Сайксу было не все равно, то, поразмыслив, он заговорил тише и стал заметно спокойнее.

— Ну-ну, — сказал еврей, улещивая его. — Я просто осторожен, вот и все. А теперь, мой милый, поговорим об этом дельце в Чертей. Когда мы его обделаем, Билл? Когда? Какое там столовое серебро, мой милый, какое серебро! — сказал еврей, потирая руки и поднимая брови в предвкушении удовольствия.

— Ничего не выйдет, — холодно отозвался Сайкс.

— Ничего из этого дела не выйдет?.. — воскликнул еврей, откинувшись на спинку стула.

— Да, ничего не выйдет, — сказал Сайкс. — Во всяком случае, это не такое простое дело, как мы думали.

— Значит, за него взялись плохо, — сказал еврей, побледнев от злости. — Можете ничего мне не говорить!

— Нет, я вам все расскажу, — возразил Сайкс, — Кто вы такой, что вам ничего нельзя сказать? Я вам говорю, что Тоби Крекит две недели слонялся вокруг этого места и ему не удалось

связаться ни с одним из слуг!

— Неужели вы хотите сказать, Билл, — спросил еврей, успокаиваясь по мере того, как его собеседник начинал горячиться, — что хоть одного из этих двух слуг не удалось переманить?

— Да, это самое я и хочу вам сказать, — ответил Сайкс. — Вот уже двадцать лет, как они служат у старой леди, и если бы вы им дали пятьсот фунтов, они все равно не клюнули бы.

— Неужели вы хотите сказать, мой милый, что никому не удастся даже женщин переманить? — спросил еврей.

— Совершенно верно, не удастся, — ответил Сайкс.

— Как, даже такому ловкачу, как Тоби Крекит? — недоверчиво сказал еврей. — Вспомните, Билл, что за народ эти женщины!

— Да, даже ловкачу Тоби Крекиту, — ответил Сайкс. — Он говорит, что приклеивал фальшивые бакенбарды, надевал канареечного цвета жилет, когда слонялся в тех краях, и все ни к чему.

— Лучше было бы ему, мой милый, испробовать усы и военные штаны, — возразил еврей.

— Он и это пробовал, — сказал Сайкс, — а пользы от них было столько же.

Это известие смутило еврея. Уткнувшись подбородком в грудь, он несколько минут размышлял, а потом поднял голову и сказал с глубоким вздохом, что если ловкач Тоби Крекит рассказал все правильно, то игра, он опасается, проиграна.

— А все-таки, — сказал старик, опуская руки на колени, — грустно, милый мой, столько терять, когда на это были направлены все наши помыслы.

— Верно, — согласился мистер Сайкс. — Не повезло.

Наступило длительное молчание; еврей погрузился в глубокие размышления, и сморщенное его лицо поистине стало дьявольски мерзким. Время от времени Сайкс украдкой посматривал на него. Нэнси, явно боясь раздражать взломщика, сидела, не спуская глаз с огня, будто оставалась глухой ко всему происходившему.

— Феджин, — спросил Сайкс, резко нарушая наступившую тишину, стоит это дело лишних пятидесяти золотых?

— Да, — сказал еврей, также внезапно оживившись.

— Значит, по рукам? — осведомился Сайкс.

— Да, мой милый, — ответил еврей; глаза у него засверкали, и каждый мускул на лице его дрожал от волнения, вызванного этим вопросом.

— Ну, так вот, — сказал Сайкс, с некоторым пренебрежением отстраняя руку еврея, — это можно сделать когда угодно. Позапрошлой ночью мы с Тоби перелезли через ограду сада и ощупали дверь и ставни. На ночь дом запирают, как тюрьму, но есть одно местечко, куда мы можем пробраться потихоньку и ничем не рискуя.

— Где же это, Билл? — нетерпеливо спросил еврей.

— Нужно, знаете ли, пересечь лужайку... — шепотом заговорил Сайкс.

— Да? — подхватил еврей, вытянув шею и выпучив глаза так, что они едва не выскочили из орбит.

— Уф! — воскликнул Сайкс и запнулся, так как девушка вдруг оглянулась и чуть заметным кивком головы указала на еврея. — Не все ли равно, где это? Знаю, что без меня вам все равно не обойтись... Но лучше быть начеку, когда имеешь дело с таким, как вы.

— Как хотите, мой милый, как хотите, — отозвался еврей. — Помощи вам никакой не надо, вы справитесь вдвоем с Тоби?

— Никакой, — сказал Сайкс. — Нам нужны только коловорот и мальчишка. Первый у нас есть, а второго должны достать нам вы.

— Мальчишка! — воскликнул еврей. — О, так, стало быть, речь идет о филенке?

— Вам до этого нет никакого дела! — ответил Сайкс. — Мне нужен мальчишка, и мальчишка должен быть не жирный. О Господи! — раздумчиво сказал мистер Сайкс. — Если бы я мог заполучить сынишку трубочиста Нэда! Он нарочно держал его в черном теле и отпускал на работу. Но отца послали на каторгу, и тогда вмешалось Общество попечения о малолетних преступниках, забрало мальчишку, лишило его ремесла, которое давало заработок, обучает грамоте и со временем сделает из него подмастерье. Вечно они суются! — сказал мистер Сайкс, припоминая все обиды и раздражаясь все больше и больше. — Вечно суются! И будь у них достаточно денег (слава Богу, их нет!), у нас через годик-другой не осталось бы и пяти мальчишек для нашего ремесла.

— Правильно, — согласился еврей, который в продолжение этой речи был погружен в размышления и расслышал только последнюю фразу. — Билл!

— Ну, что еще? — сказал Сайкс.

Еврей кивнул головой в сторону Нэнси, которая по-прежнему смотрела на огонь, и этим дал понять, что лучше было бы удалить ее из комнаты. Сайкс нетерпеливо пожал плечами, как будто считал такую меру предосторожности излишней, но тем не менее подчинился и потребовал, чтобы мисс Нэнси принесла ему кружку пива.

— Никакого пива ты не хочешь, — сказала Нэнси, складывая руки и преспокойно оставаясь на своем месте.

— А я говорю тебе, что хочу! — крикнул Сайкс.

— Вздор! — хладнокровно ответила девушка. — Продолжайте, Феджин. Я знаю, что он хочет сказать, Билл. На меня он может не обращать никакого внимания.

Еврей все еще колебался. Сайкс удивленно переводил взгляд с него на нее.

— Да неужели девушка мешает вам, Феджин? — сказал он, наконец. — Что за чертовщина! Вы давно ее знаете и можете ей доверять. Она не из болтливых. Верно, Нэнси?

— Ну еще бы! — ответила эта молодая леди, придвинув стул к столу и облокотившись на него.

— Да, да, моя милая, я это знаю, — сказал еврей, — но... — И старик снова запнулся.

— Но — что? — спросил Сайкс.

— Я думал, что она, знаете ли, опять выйдет из себя, как в тот вечер, — ответил еврей.

Услыхав такое признание, мисс Нэнси громко расхохоталась и, залпом выпив стаканчик бренди, вызываяще покачала головой и разразилась восклицаниями, вроде: «Валяйте смелее», «Никогда не унывайте» и тому подобными. По-видимому, они подействовали успокоительно на обоих джентльменов, так как еврей с удовлетворенным видом кивнул головой и снова занял свое место; так же поступил и мистер Сайкс.

— Ну, Феджин, — со смехом сказала Нэнси, — поскорее расскажите Биллу об Оливере!

— Ха! Какая ты умница, моя милая! Никогда еще не видывал такой смышленной девушки! — сказал еврей, поглаживая ее по шее. — Верно, я хотел поговорить об Оливере. Ха-ха-ха!

— Что же вы хотели сказать о нем! — спросил Сайкс.

— Для вас это самый подходящий мальчик, мой милый, — хриплым шепотом ответил еврей, прикладывая палец к носу и отвратительно ухмыляясь.

— Он?! — воскликнул Сайкс.

— Возьми его, Билл, — сказала Нэнси. — Я бы взяла, будь я на твоём месте. Может, он не так проворен, как другие, но ведь тебе нужно только, чтобы он отпер дверь. Будь уверен, Билл, на него можно положиться.

— Я в этом не сомневаюсь, — подтвердил Феджин. — Эти последние недели мы его здорово дрессировали, и пора ему зарабатывать себе на хлеб. К тому же все остальные слишком велики.

— Да, он как раз подходит по росту, — задумчиво сказал мистер Сайкс.

— И он исполнит все, чего вы от него потребуете, Билл, милый мой, — присовокупил еврей. — У него другого выхода нет. Конечно, если вы его хорошенько припугнете.

— Припугнуть! — подхватил Сайкс. — Запомните, я его припугну не на шутку. Если он вздумает увиливать, когда мы примемся за работу, я ему не спущу ни на пенни, ни на фунт. Живым вы его не увидите, Феджин. Подумайте об этом, прежде чем посылать его. Запомните мои слова! — сказал грабитель, показывая лом, который он достал из-под кровати.

— Обо всем этом я подумал, — с жаром ответил еврей. — Я... к нему присматривался, мой милый, очень внимательно. Нужно только дать ему понять, что он из нашей компании, вбить ему в голову, что он стал вором, — и тогда он наш! Наш на всю жизнь. Ого! Как это все кстати случилось!

Старик скрестил руки на груди; опустив голову и сгорбившись, он как будто обнимал самого себя от радости.

— Наш! — повторил Сайкс. — Вы хотите сказать — ваш!

— Может быть, мой, милый, — сказал еврей, пронзительно захихикав. — Мой, если хотите, Билл!

— А почему, — спросил Сайкс, нахмурившись и злобно взглянув на своего милого дружка, —

почему вы столько труда положили на какого-то чахлого младенца, когда вам известно, что в Коммон-Гарден каждый вечер слоняются пятьдесят мальчишек, из которых — вы можете выбрать любого?

— Потому что от них мне никакой пользы, мой милый, — с некоторым смущением ответил еврей. — Не стоит и говорить. Если случится им попасть в беду, их выдаст сама их физиономия, и тогда для меня они потеряны. А если этого мальчика хорошенько вымуштровать, мои милые, с ним я больше сделаю, чем с двумя десятками других. И к тому же, — добавил еврей, оправившись от смущения, — он нас теперь предаст, если только ему удастся удрать, а потому он должен разделить нашу судьбу. Не все ли равно, как это случится? В моей власти заставить его принять участие в грабеже — вот все, что мне нужно. И к тому же это куда лучше, чем смести с дороги бедного маленького мальчика. Это было бы опасно, и вдобавок мы потеряли бы на этом деле.

— На какой день назначено? — спросила Нэнси, помешав мистеру Сайксу разразиться негодовыми возгласами в ответ на человеколюбивые замечания Феджина.

— Да, в самом деле, — подхватил еврей, — на какой день назначено, Билл?

— Я сговорился с Тоби на послезавтра, ночью, — угрюмо ответил Сайкс. — В случае чего я его предупрежу.

— Прекрасно, — сказал еврей, — луны не будет.

— Не будет, — подтвердил Сайкс.

— Значит, все приготовлено, чтобы завладеть добычей? — спросил еврей.

Сайкс кивнул.

— И насчет того, чтобы...

— Обо всем договорились, — перебил его Сайкс. — Нечего толковать о подробностях. Приведите-ка лучше мальчишку завтра вечером. Я тронусь в путь через час после рассвета. А вы держите язык за зубами и тигель наготове, больше ничего от вас не требуется.

После недолгой беседы, в которой все трое принимали живое участие, было решено, что завтра, в сумерках, Нэнси отправится к еврею и уведет с собой Оливера; при этом Феджин хитро заметил, что, если Оливер вздумает оказать сопротивление, он, Феджин, с большей готовностью, чем кто-нибудь другой, согласен сопровождать девушку, которая недавно заступалась за Оливера. Торжественно условились также, что бедный Оливер, ввиду задуманной экспедиции, будет всецело поручен заботам и попечению мистера Уильяма Сайкса и что упомянутый Сайкс будет обходиться с ним так, как сочтет нужным, и еврей не призовет его к ответу в случае, если Оливера постигнет какая-нибудь беда или окажется необходимым подвергнуть его наказанию; относительно этого пункта договорились, что любое заявление мистера Сайкса по возвращении домой будет во всех важных деталях подтверждено и засвидетельствовано ловкачом Тоби Крекитом.

Когда с предварительными переговорами было покончено, мистер Сайкс с ожесточением принялся за бренди, устрашающе размахивал ломом, во все горло, весьма немзыкально распевал какую-то песню и выкрикивая отвратительные ругательства. Наконец, в порыве профессионального энтузиазма он пожелал показать свой ящик с набором воровских инструментов; не успел он ввалиться с ним в комнату и открыть его с целью объяснить

свойства и качества различных находящихся в нем инструментов и своеобразную прелесть их конструкции, как растянулся вместе с ящиком на полу и заснул, где упал.

— Спокойной ночи, Нэнси, — сказал еврей, снова закутываясь до ушей.

— Спокойной ночи.

Взгляды их встретились, и еврей зорко посмотрел на нее. Девушка и глазом не моргнула. Она так же не помышляла об обмане и так же серьезно относилась к делу, как и сам Тоби Крекит.

Еврей снова пожелал ей спокойной ночи, украдкой лягнул за ее спиной распростертое тело мистера Сайкса и ощупью спустился по лестнице.

— Вечно одно и то же, — бормотал себе под нос еврей, возвращаясь домой. — Хуже всего в этих женщинах то, что малейший пустяк пробуждает в них какое-то давно забытое чувство, а лучше всего то, что это скоро проходит. Ха-ха! Мужчина против ребенка, — за мешок золота!

Коротая время за такими приятными размышлениями, мистер Феджин добрался по грязи и слякоти — до своего мрачного жилища, где бодрствовал Плут, нетерпеливо ожидавший его возвращения.

— Оливер спит? Я хочу с ним поговорить, — были первые слова Феджина, когда они спустились вниз.

— Давным-давно, — ответил Плут, распахнув дверь. — Вот он!

Мальчик крепко спал на жесткой постели, постланной на полу; от тревоги, печали и затхлого воздуха своей темницы он был бледен как смерть — не мертвец в саване и гробу, но тот, кого только что покинула жизнь и чей кроткий юный дух секунду назад вознесся к небу, а грубый воздух земного мира еще не успел изменить тленную оболочку...

— Не сейчас, — сказал еврей, потихоньку отходя от него. — Завтра. Завтра.

Глава XX, в которой Оливер поступает в распоряжение мистера Уильяма Сайкса

Проснувшись утром, Оливер с большим удивлением увидел, что у его постели стоит пара новых башмаков на прочной толстой подошве, а старые его башмаки исчезли. Сначала он обрадовался этому открытию, надеясь, что оно предвещает ему освобождение, но надежда быстро рассеялась, когда он уселся завтракать вместе с евреем и тот сообщил ему, что сегодня вечером его отведут в резиденцию Билла Сайкса, причем тон и вид еврея еще более усилили его тревогу.

— И... и оставят там совсем, сэр? — с беспокойством спросил Оливер.

— Нет, нет, мой милый, не оставят, — ответил еврей. — Нам бы не хотелось расставаться с тобой. Не бойся, Оливер, ты к нам вернешься! Ха-ха-ха! Мы не так жестоки и не отпустим тебя, мой милый. О нет!

Старик, склонившийся над очагом и поджаривавший кусок хлеба, оглянулся, подшучивая над Оливером, и захихикал, давая понять, что прекрасно знает, как рад был бы Оливер уйти, будь это возможно.

— Я думаю, мой милый, — сказал еврей, устремив взгляд на Оливера, — тебе хочется знать, зачем тебя посылают к Биллу?

Оливер невольно покраснел, видя, что старый вор отгадал его мысли, но храбро сказал: да, ему хотелось бы это знать.

— А как ты думаешь, зачем? — спросил Феджин, уклоняясь от ответа.

— Право, не знаю, сэр, — отозвался Оливер.

— Эх, ты! — воскликнул еврей и, пристально всмотревшись в лицо мальчика, с неудовольствием отвернулся. — Подожди, пусть Билл сам тебе скажет.

Еврею как будто досадно было, что Оливер не проявил большого любопытства. Между тем дело объяснилось так: хотя Оливер и был очень встревожен, но его слишком смутили серьезные и лукавые взгляды Феджина и его собственные мысли, чтобы он мог в тот момент задавать какие-нибудь вопросы. Но другого случая ему уже не представилось, потому что вплоть до самого вечера еврей хмурился и молчал, а потом собрался уйти из дому.

— Ты можешь зажечь свечу, — сказал он, поставив ее — на стол. — А вот тебе книга, читай, пока не зайдут за тобой. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, — тихо отозвался Оливер.

Еврей направился к двери, посмотрел через плечо на мальчика. Вдруг он остановился и окликнул его по имени.

Оливер поднял голову; еврей знаком приказал ему зажечь свечу. Он повиновался и, поставив подсвечник на стол, увидел, что еврей, нахмурившись и сдвинув брови, пристально смотрит на него из темного угла комнаты.

— Берегись, Оливер, берегись! — сказал старик, предостерегающе погрозив ему правой рукой. — Он человек грубый. Что ему стоит пролить кровь, если у него самого кровь закипит в жилах! Что бы ни случилось — молчи. И делай все, что он тебе прикажет. Помни!

Сделав ударение на последнем слове, он отвратительно улыбнулся и, кивнув головой, вышел из комнаты.

Когда старик ушел, Оливер подпер голову рукой и с трепещущим сердцем задумался о словах Феджина. Чем больше он размышлял о предостережении еврея, тем труднее было ему угадать подлинный его смысл. Он не мог придумать, для какого недоброго дела хотят отослать его к Сайксу и почему нельзя достигнуть той же цели, оставив его у Феджина, и после долгих размышлений решил, что его выбрали прислуживать взломщику и исполнять повседневную черную работу, пока тот не подыщет другого, более подходящего мальчика.

Он слишком привык к страданиям и слишком много выстрадал здесь, чтобы с горечью сетовать на предстоящую перемену. Несколько минут он сидел погруженный в свои думы, потом с тяжелым вздохом снял нагар со свечи и, взяв книгу, которую оставил ему еврей, стал читать.

Он перелистывал страницы. Сначала читал рассеянно, но, заинтересовавшись отрывком, который привлек его внимание, он вскоре погрузился в чтение. Это были биографии и судебные процессы знаменитых преступников; страницы были запачканы, замусолены грязными пальцами. В этой книге он читал об ужасных преступлениях, от которых кровь

стынет в жилах; об убийствах из-за угла, совершенных на безлюдных проселочных дорогах; о трупах, сокрытых от глаз людских в глубоких ямах и колодцах, которые — как ни были они глубоки — не сохранили их на дне, но по истечении многих лет выбросили их в конце концов на поверхность, и это зрелище столь устрало убийц, что в ужасе они покалялись и молили о виселице, чтобы избавиться от душевной муки. Здесь читал он также о людях, которые, лежа глухой ночью в постели, предавались (по их словам) греховным своим мыслям и потом совершали убийства столь ужасные, что при одной мысли о них мороз пробегал по коже и руки и ноги дрожали. Страшные описания были так реальны и ярки, что пожелтевшие страницы, казалось, краснели от запекшейся крови, а слова звучали в ушах Оливера, как будто их глухо нашептывали ему призраки умерших.

В ужасе мальчик захлопнул книгу и отшвырнул ее от себя. Потом, упав на колени, он стал молиться и просил Бога избавить его от таких деяний и лучше ниспослать сейчас же смерть, чем сохранить ему жизнь для того, чтобы он совершил преступления столь страшные и отвратительные. Мало-помалу он успокоился и тихим, прерывающимся голосом молил спасти его от угрожающей ему опасности и, если можно, прийти на помощь бедному, всеми отвергнутому мальчику, никогда не знавшему любви друзей и родных, помочь ему сейчас, когда он, одинокий и всеми покинутый, находится в самой гуще пороков и преступлений.

Он кончил молиться, но все еще закрывал лицо руками, как вдруг какой-то шорох заставил его встрепенуться.

— Что это? — воскликнул он и вздрогнул, заметив какую-то фигуру, стоящую у двери. — Кто там?

— Я... это я, — раздался дрожащий голос.

Оливер поднял над головой свечу и посмотрел в сторону двери. Там стояла Нэнси.

— Поставь свечку, — отворачиваясь, сказала девушка. — Свет режет мне глаза.

Оливер заметил, как она бледна, и ласково спросил, не больна ли она. Девушка бросилась на стул спиной к нему и стала ломать руки, но ничего не ответила.

— Помилуй меня, Боже! — воскликнула она немного погодя. — Я об этом не подумала.

— Что-то случилось? — спросил Оливер. — Не могу ли я вам помочь? Я все сделаю, что в моих силах. Право же, все!

Она раскачивалась взад и вперед, схватив себя за горло, и, всхлипывая, ловила воздух ртом.

— Нэнси, — крикнул Оливер, — что с вами?

Девушка заколотила руками по коленям, затопала ногами, потом, вдруг затихнув, задрожала от холода и плотнее закуталась в шаль.

Оливер размешал угли в очаге. Придвинув стул к огню, она сначала сидела молча; наконец, она подняла голову и осмотрелась вокруг.

— Не понимаю, что это иной раз на меня находит, — сказала она, делая вид, будто оправляет платье, — Должно быть, виновата эта сырая, грязная комната... Ну, Ноли, дорогой мой, ты готов?

— Я должен идти с вами? — спросил Оливер.

— Да, меня прислал Билл, — ответила девушка. — Ты пойдешь со мной?

— Зачем? — отшатнувшись, спросил Оливер.

— Зачем? — повторила девушка и подняла глаза, но, взглянув на мальчика, тотчас же отвернулась. — Нет, не для худого дела.

— Не верю, — сказал Оливер, пристально следивший за ней.

— Пусть будет по-твоему, — отозвалась девушка с деланным смехом. — Пожалуй, не для доброго.

Оливер видел, что может в какой-то мере пробудить в девушке лучшие чувства, и, нигде не находя помощи, подумал воззвать к ее состраданию. Но потом у него мелькнула мысль, что сейчас только одиннадцать часов и на улице еще много прохожих; конечно, среди них найдется кто-нибудь, кто поверит его рассказу. Придя к такому заключению, он шагнул вперед и торопливо заявил, что готов идти.

Недолгое его раздумье было подмечено Нэнси. Она следила за ним, пока он говорил, и бросила на него зоркий взгляд, который ясно показывал, что она угадала, какие мысли пронеслись у него в голове.

— Тсс!.. — зашептала девушка, наклонившись к нему, и, осторожно озираясь, указала на дверь. — Ты ничего не можешь поделать. Я изо всех сил старалась тебе помочь, но это ни к чему не привело. Ты связан по рукам и по ногам. Если удастся тебе когда-нибудь вырваться отсюда, то во всяком случае не сейчас.

Пораженный ее выразительным тоном, Оливер удивленно смотрел на нее. Казалось, она говорит правду; лицо у нее было бледное и встревоженное, и она дрожала от волнения.

— Один раз я тебя уже спасла от побоев, и еще раз спасу, да я и сейчас это делаю, — повысив голос, продолжала девушка. — Ведь если бы вместо меня послали кого-нибудь другого, он обошелся бы с тобой гораздо грубее, чем я. Я поручилась, что ты будешь вести себя тихо и смирно. Если ты не слушаешь, то повредишь и себе и мне и, может быть, принесешь мне смерть. Смотри! Клянусь богом, который меня видит сейчас, вот что я уже перенесла из-за тебя!

Она торопливо указала на синяки на шее и на руках и заговорила скороговоркой:

— Помни это! И сейчас не заставляй меня сильнее страдать из-за тебя. Если бы я могла тебе помочь, я бы тебе помогла, но я не могу. Они не хотят причинить тебе зло. Что бы они не заставили тебя сделать — вина не твоя. Молчи! Каждое твое слово может погубить меня. Дай мне руку! Скорей! Дай руку!

Она схватила Оливера за руку, которую он машинально подал ей, и, задув свечу, увлекла его за собой на лестницу. Кто-то невидимый в темноте быстро распахнул дверь и так же быстро ее запер, когда они вышли. Их ждал наемный кабриолет; с той же стремительностью, с какой она говорила с Оливером, девушка втащила его в кэб и плотно задернула занавески. Кучер не нуждался ни в каких указаниях — он хлестнул лошадь и погнал ее во всю прыть.

Девушка все еще сжимала руку Оливера и продолжала нашептывать ему предостережения и

увещания, которые он уже раньше от нее слышал. Все произошло так быстро и внезапно, что не успел он сообразить, где он и почему сюда попал, как экипаж уже остановился перед домом, к которому накануне вечером направил свои стопы еврей.

Была минута, когда Оливер быстро окинул взглядом безлюдную улицу и призыв на помощь едва не сорвался с его губ. Но в ушах его еще звучал голос девушки, с такой тоской заклинаясь помнить о ней, что у него не хватило духу крикнуть. Пока он колебался, благоприятный момент был упущен: его уже ввели в дом, и дверь захлопнулась.

— Сюда! — сказала девушка, только сейчас разжав руку. — Билл!

— Ну, что там! — отозвался Сайкс, появляясь со свечой на площадке лестницы. — О! Вот здорово! Пожалуйте!

Со стороны особы такого темперамента, как мистер Сайкс, эти слова выражали весьма решительное одобрение, необычайно сердечный прием. Нэнси, по-видимому очень этим довольная, приветствовала его с жаром.

— Фонарик отправился домой с Томом, — сказал Сайкс, освещая дорогу. — Он бы здесь помешал.

— Верно, — отозвалась Нэнси.

— Значит, привела мальчишку? — заметил Сайкс, когда все трое вошли в комнату, и с этими словами запер дверь.

— Да, вот он, — ответила Нэнси.

— Послушно шел? — осведомился Сайкс.

— Как ягненок, — отозвалась Нэнси.

— Рад это слышать, — сказал Сайкс, хмуро посмотрев на Оливера, — рад за его шкуру, иначе ей пришлось бы худо. Пожалуйте сюда, молодой человек, и выслушайте мое поучение; лучше с этим покончить сразу.

Обратившись с такими словами к своему новому ученику, мистер Сайкс сорвал с Оливера шапку и швырнул ее в угол; потом, придерживая его за плечо, уселся на стул и поставил мальчика перед собой.

— Ну-с, прежде всего, известно ли тебе, что это такое? — спросил Сайкс, беря карманный пистолет, лежавший на столе.

Оливер отвечал утвердительно.

— А теперь посмотри-ка сюда, — продолжал Сайкс, — Вот порох, вот пуля, а вот кусочек старой шляпы для лыжа...

Оливер прошептал, что ему известно назначение указанных предметов, а мистер Сайкс принялся очень старательно заряжать пистолет.

— Теперь он заряжен, — сказал мистер Сайкс, покончив с этим делом.

— Вижу, сэр, — ответил Оливер.

— Слушай, — продолжал грабитель, крепко схватив Оливера за руку и приставив вплотную к его виску дуло пистолета, отчего мальчик невольно вздрогнул, — если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому — разве что, я сам с тобой заговорю, — пуля сразу будет у тебя в голове. Стало быть, если ты вздумаешь говорить без разрешения, прочти раньше свои молитвы.

Для большего эффекта мистер Сайкс сопровождал это предостережение грозным взглядом и продолжал:

— Насколько мне известно, нет никого, кто бы стал беспокоиться о твоей судьбе, если бы тебя прикончили. Стало быть, мне незачем столько трудиться и объяснять тебе суть дела, не желай я тебе добра. Слышишь?

— Короче говоря, — решительно вмешалась Нэнси, хмуро посматривая на Оливера, чтобы тот обратил внимание на ее слова, — если Оливер тебя рассердит, когда ты примешься за работу, на которую ты идешь, ты прострелишь ему голову, чтобы он потом не болтал языком, хотя бы ты рисковал качаться из-за этого на виселице, ведь ремесло у тебя такое, что ты на этот риск идешь изза всякого пустяка каждый месяц в году.

— Правильно! — одобрил мистер Сайкс. — Женщины умеют объяснить все в двух словах, если только не начинают кипятиться, а уж тогда заводят волынку. Ну, теперь он ко всему подготовлен... Давай ужинать, а потом всхрапнем перед уходом.

Исполняя его приказание, Нэнси — быстро накрыла на стол; исчезнув на несколько минут, она вернулась с кувшином пива и блюдом с фаршированной бараньей головой, что дало возможность мистеру Сайксу отпустить несколько острот, основанных на странном совпадении слов: «джемми» ^[34] называлось и это кушанье и хитрый инструмент, весьма распространенный среди лиц его профессии. Достойный джентльмен, возбужденный, может быть, перспективой незамедлительно приступить к действию, был очень весел и находился в превосходном расположении духа; в доказательство этого можно здесь отметить, что он с удовольствием выпил залпом свое пиво и за ужином изрыгнул по приблизительному подсчету не больше восьмидесяти проклятий.

После ужина — нетрудно угадать, что у Оливера не было аппетита, — мистер Сайкс осушил два стакана виски с водой, бросился на кровать и приказал Нэнси разбудить его ровно в пять часов, изругав ее заранее в случае, если она этого не сделает. По команде того же авторитетного лица, Оливер улегся, не раздеваясь, на тюфяке, лежавшем на полу; а девушка, подбрасывая топливо, осталась у очага, готовая разбудить их в назначенный час.

Оливер долго не спал, надеясь, что Нэнси воспользуется этим случаем и шепотом даст еще какой-нибудь совет, но девушка в мрачном раздумье сидела у очага, не двигаясь и только время от времени снимала нагар со свечи. Измученный бдением и тревогой, он в конце концов заснул.

Когда он проснулся, стол был накрыт к чаю, а Сайкс рассовывал какие-то вещи по карманам своего пальто, висевшего на спинке стула. Нэнси суетилась, готовя завтрак. Еще не рассвело; горела свеча, и за окном было темно. Вдобавок колючие струи дождя ударяли в оконные стекла, и небо было черным и облачным.

— Ну! — проворчал Сайкс, когда Оливер вскочил. — Половина шестого! Поторапливайся, не то останешься без завтрака. Мы и так уже опаздываем.

Оливер быстро покончил со своим туалетом; позавтракав наспех, он на сердитый вопрос

Сайкса ответил, что совсем готов.

Нэнси, стараясь не смотреть на мальчика, бросила ему платок, чтобы он обвязал его вокруг шеи; Сайкс дал ему большой плащ из грубой материи и велел накинуть на себя и застегнуть. Одевшись, Оливер протянул руку грабителю, который приостановился, чтобы показать ему пистолет, хранившийся в боковом кармине пальто, зажал его руку в своей и затем, распрощавшись с Нэнси, увел его.

Когда они подошли к двери, Оливер оглянулся, надеясь встретиться глазами с девушкой. Но она снова уселась на прежнее место у очага и сидела не шевелясь.

Глава XXI. Экспедиция

Унылое было утро, когда они вышли на улицу: дул ветер, шел дождь, нависли хмурые грозовые тучи. Дождь шел всю ночь — на мостовой стояли большие лужи, из желобов хлестала вода. Слабый свет загоравшегося дня только омрачал унылую картину; при бледном свете тускнели уличные фонари, и этот свет не окрашивал в более теплые и яркие тона мокрые крыши и темные улицы. В этой части города, казалось, никто еще не просыпался: во всех домах окна были закрыты ставнями, а улицы, по которым они проходили, были тихи и безлюдны.

Когда они свернули на Бетнел-Грин-роуд, уже совсем рассвело. Многие фонари были погашены. По направлению к Лондону медленно тащилось несколько деревенских повозок; изредка проносилась с грохотом почтовая карета, покрытая грязью, и кучер в виде предостережения угощал бичом неторопливого возчика, который ехал по той стороной дороги, вследствие чего кучеру грозила опасность подъехать к конторе на четверть минуты позже. Уже открылись трактиры, и в них горел газ. Начали открывать и лавки, и навстречу изредка попадались люди. Затем появились отдельными группами мастеровые, шедшие на работу. Потом мужчины и женщины с нагруженными рыбой корзинками на голове; повозки с овощами, запряженные ослами; повозки с живым скотом и тушами; молочницы с ведрами — нескончаемая вереница людей, несущих съестные припасы к восточным предместьям города. По мере приближения к Сити грохот экипажей усиливался; когда они проходили по улицам между Шордитч и Смитфилд, шум перешел в гул, началась сутолока. Стало совсем светло — светлее уже не будет, — и для половины населения Лондона настало деловое утро.

Миновав Сан-стрит и Краун-стрит, пройдя Финсбери-сквер, мистер Сайкс вышел по Чизуел-стрит на Барбикен, потом на Лонг-лейн и затем в Смитфилд, откуда неслись такие оглушительные нестройные звуки, что Оливер Твист пришел в изумление.

Был базарный день. Ноги чуть ли не по самую щиколотку увязали в грязи; над дымящимися крупами быков и коров поднимался густой пар и, смешиваясь с туманом, казалось отдыхавшим на дымовых трубах, тяжелым облаком нависал над головой. Все загоны для скота в центре большой площади, а также временные загоны, которые уместились на свободном пространстве, были битком набиты овцами; вдоль желобов стояли привязанные к столбам в три-четыре длинных ряда быки и другой рогатый скот. Крестьяне, мясники, погонщики, разносчики, мальчишки, воры, зеваки и всякого рода бродяги смешались в толпу; свист погонщиков, лай собак, мычанье быков, блеянье овец, хрюканье и визг свиней, крики разносчиков, вопли, проклятья и ругательства со всех сторон; звон колокольчиков, гул голосов, вырывающийся из каждого трактира, толкотня, давка, драки, гиканье и вопли, визг, отвратительный вой, то и дело доносящийся со всех концов рынка, и немытые, небритые, жалкие и грязные люди, мечущиеся туда и сюда, — все это производило ошеломляющее, одуряющее впечатление.

Мистер Сайкс, тащивший за собой Оливера, прокладывал себе локтями путь сквозь толпу и

очень мало внимания обращал на все то, что поражало слух и зрение мальчика. Раза два или три он кивал проходившим мимо приятелям и, отклоняя предложение пропустить утреннюю рюмочку, упорно пробивался вперед, пока они не выбрались из толпы и не направились по Хоузер-лейн к Холборну.

— Ну, малый, — сказал Сайкс, бросив взгляд на часы Церкви Сент Эндрью, — скоро семь часов! Шагай быстрее! Еле ноги волочит, лентяй!

Произнеся эту речь, мистер Сайкс дернул за руку своего маленького спутника; Оливер по мере сил приноравливался к быстрым шагам взломщика; он пустился рысцой — это было нечто среднее между быстрой ходьбой и бегом.

Они не замедляли шага, пока не миновали угол Гайд-парка и не свернули к Кенсингтону; здесь Сайкс шел медленнее, пока их не нагнала пустая повозка, ехавшая некоторое время позади. Увидев на ней надпись «Хаунсло», он со всей вежливостью, на какую только был способен, спросил возницу, не согласится ли тот подвезти их до Айлуорта.

— Полезайте, — сказал возница. — Это ваш мальчуган?

— Мой, — отвечал Сайкс, пристально посмотрев на Оливера и небрежно сунув руку в карман, где лежал пистолет.

— Твой отец шагает, пожалуй, слишком быстро для тебя! Верно говорю, парнишка? — сказал возница, видя, что Оливер запыхался.

— Ничуть не бывало, — вмешался Сайкс. — Он к этому привык. Держись за мою руку, Нэд. Ну, полезай!

Обратившись с такими словами к Оливеру, он помог ему влезть в повозку, а возница, указав на груды мешков, предложил прилечь на них и отдохнуть.

Когда они проезжали мимо придорожных столбов, Оливер все больше и больше недоумевал, куда же спутник везет его. Кенсингтон, Хамерсмит, Чизуик, Кью-Бридж, Brentford остались позади, и тем не менее они подвигались вперед с таким упорством, как будто только что тронулись в путь. Наконец, они подъехали к трактиру, носившему название «Карета и Кони»; неподалеку от него начиналась другая дорога. Здесь повозка остановилась.

Сайкс поспешил выйти, не выпуская из своей руки руку Оливера; подняв его и опустив на землю, он бросил на него злобный взгляд и многозначительно похлопал кулаком по боковому карману.

— Прощай, мальчуган, — сказал возница.

— Он дуется, — отозвался Сайкс, встряхивая Оливера. — Дуется! Вот щенок! Не обращайтесь на него внимание.

— Стану я обращать на него внимание! — воскликнул тот, залезая в свою повозку. — А погода нынче славная.

И он уехал. Сайкс подождал, пока он не отъехал на порядочное расстояние, потом, сказав Оливеру, что он может, если хочет, глазеть по сторонам, потащил его вперед.

Миновав трактир, он свернул налево, потом направо. Шли они долго — позади остались

большие усадьбы с садами; задерживались они только для того, чтобы выпить пива, и, наконец, добрались до города, здесь на стене какого-то дома Оливер увидел надпись крупными буквами: «Хэмптон».

Несколько часов они слонялись по окрестным полям. Наконец, вернулись в город и, зайдя в старый трактир со стертой вывеской, заказали себе обед в кухне у очага.

Кухней служила затхлая комната с низким потолком, поперек которого тянулась толстая балка, а перед очагом стояли скамьи с высокими спинками, и на них сидели грубоватые на вид люди в рабочих блузах. Они не обратили никакого внимания на Оливера и очень мало — на Сайкса; а так как Сайкс очень мало внимания обратил на них, то он со своим юным спутником сидел в углу, нисколько не стесняемый их присутствием.

На обед они получили холодное мясо, а после обеда сидели очень долго, пока мистер Сайкс улаживал себя тремя-четырьмя трубками. И теперь Оливер почти не сомневался в том, что дальше они не пойдут. Очень устав от ходьбы, после раннего пробуждения, он начал дремать; потом от усталости и табачного дыма заснул.

Было совсем темно, когда его разбудил толчок Сайкса. Он преодолел сонливость, сел, осмотрелся и обнаружил, что сей достойный джентльмен завязал за пинтой пива приятельские отношения с каким-то рабочим.

— Значит, вы едете в Лоуэр-Халифорд? — спросил Сайкс.

— Да, — подтвердил парень, который как будто чувствовал себя немного хуже, а быть может, и лучше — после выпивки, — и поеду очень скоро. Моя лошадь дойдет порожняком — не то что сегодня утром, и пойдет она быстро. Выпьем за ее здоровье! Ура! Это славная лошадка!

— Не подвезете ли вы меня и моего мальчика? — спросил Сайкс, придвигая пиво своему новому приятелю.

— Ну что ж, подвезу, если вы готовы сейчас же тронуться с места, — отозвался парень, выглядывая из-за кружки. — Вы едете в Халифорд?

— В Шепертон, — ответил Сайкс.

— Подвезу... — повторил тот. — Все уплачено, Беки?

— Да, вот этот джентльмен заплатил, — сказала девушка.

— Э, нет! — воскликнул парень с важностью захмелевшего человека. — Так, знаете ли, не годится.

— Почему? — возразил Сайкс. — Вы нам оказываете услугу, вот я и хочу угостить вас пинтой-другой.

Новый знакомый с весьма глубокомысленным видом призадумался над этим доводом, потом схватил руку Сайкса и заявил, что он славный малый. На это мистер Сайкс ответил, что тот шутит; и, будь парень трезв, у него были бы серьезные основания для такого предположения.

Обменявшись еще несколькими любезностями, они пожелали доброй ночи остальной компании и вышли; служанка забрала кувшины и стаканы и, держа их в руках, подошла к двери посмотреть на отъезжающих.

Лошадь, за чье здоровье пили в ее отсутствие, стояла перед домом, уже запряженная в повозку. Оливер и Сайкс уселись без дальнейших церемоний, а владелец лошади на минутку замешкался, чтобы подбодрить ее и объявить конюху и всему миру, что нет ей равной. Затем конюху было приказано отпустить лошадь, и, когда это было сделано, лошадь повела себя весьма глупо: мотала головой с величайшим презрением, сунула ее в окно домика на другой стороне улицы и, совершив эти подвиги, поднялась на дыбы, после чего ретиво пустилась во всю прыть и с грохотом вылетела из города.

Вечер был очень темный. Промозглый туман поднимался от реки и от ближних болот, клубился над печальными полями. Холод пронизывал. Все было мрачно и черно. Никто не проронил ни слова: возницу клонило в сон, а Сайкс не был расположен заводить с ним разговор. Оливер, съездившись, забился в угол повозки, испуганный и терзаемый недобрыми предчувствиями: ему чудились странные существа вместо чахлах деревьев, ветки которых угрюмо покачивались, словно в упоении от унылого пейзажа.

Когда они проезжали мимо церкви Санбери, пробило семь часов. Напротив, в доме перевозчика, одно окно было освещено, и луч света падал на дорогу, отчего тисовое дерево, осенявшее могилы, казалось, окутывал более густой мрак. Где-то неподалеку слышался глухой шум низвергающейся воды, а листья старого дерева тихо шелестели на ветру. Это походило на тихую музыку, дарующую покой умершим.

Санбери остался позади, и снова они выехали на безлюдную дорогу. Еще две-три мили — и повозка остановилась. Сайкс вылез, взял за руку Оливера, и они опять побрели дальше.

В Шепертоне они ни в один дом не заходили, вопреки надежде усталого мальчика, и по-прежнему шли по грязи и в темноте унылыми проселочными дорогами и пересекали холодные, открытые ветрам пустоши, пока не вдалеке не показались огни города. Пристально всматриваясь, Оливер увидел у своих ног воду и понял, что они подходят к мосту.

Сайкс шел, не сворачивая в сторону, до самого моста, Затем внезапно повернул налево, к берегу. «Там вода! — подумал Оливер, замирая от страха. — Он привел меня в это безлюдное место, чтобы убить».

Он хотел упасть на землю, пытаясь спасти свою юную жизнь, как вдруг увидел, что они подошли к какому-то полуразрушенному, заброшенному дому. По обе стороны подгнившего крыльца было по окну; выше — еще один этаж, но нигде не видно было света.

Дом был темный, обветшалый и, по-видимому, необитаемый.

Сайкс, все еще не выпуская руку Оливера из своей, подошел потихоньку к невысокому крыльцу и поднял щеколду. Дверь поддалась его толчку, и они вошли.

Глава XXII. Кража со взломом

— Эй! — раздался громкий, хриплый голос, как только они вошли в коридор.

— Нечего орать, — отозвался Сайкс, запирая дверь. — Посветите нам, Тоби.

— Эге! Да это мой приятель! — крикнул тот же голос. — Свету, Барни, свету! Впусти джентльмена... А прежде всего не угодно ли вам будет проснуться?

По-видимому, оратор швырнул сначала рожок для надевания башмаков или что-нибудь в этом

роде в особу, к которой обращался, чтобы пробудить ее ото сна, потому что слышно было, как с грохотом упала какая-то деревянная вещь, а затем послышалось невнятное бормотанье человека, находящегося между сном и бодрствованием.

— Слышишь ты или нет? — продолжал тот же голос. — В коридоре Билл Сайкс, и никто его не встречает, а ты дрыхнешь, как будто принял опиум за обедом. Ну что, очухался, или, может быть, запустить в тебя железным подсвечником, чтобы ты окончательно проснулся?

Как только был задан этот вопрос, по голому полу быстро зашлепали стоптанные туфли, и из двери направо появились — сначала тускло горевшая свеча, а затем фигура того самого субъекта, который уже был описан, — гнусавого слуги из трактира на Сафрен-Хилле.

— Мистер Сайкс! — воскликнул Барни с искренней или притворной радостью. — Пожалуйста, сэр, пожалуйста!

— Ну,ходи первым, — сказал Сайкс, подталкивая Оливера. — Живее, не то наступлю тебе на пятки.

Ругая его за медлительность. Сайкс толкнул Оливера, и они очутились в низкой темной комнате, где был закопченный камин, два-три поломанных стула, стол и очень старый диван, на котором, задрав ноги выше головы, лежал, растянувшись во весь рост, мужчина, куривший длинную глиняную трубку. На нем был модного покроя сюртук табачного цвета с большими бронзовыми пуговицами, оранжевый галстук, грубый, бросающийся в глаза пестрый жилет и короткие темные штаны. Мистер Крекит (ибо это был он) не имел чрезмерного количества волос ни на голове, ни на лице, а те, какие у него были, отличались красноватым оттенком и были закручены в длинные локоны наподобие пробочника, в которые он то и дело засовывал свои грязные пальцы, украшенные большими дешевыми перстнями. Он был немного выше среднего роста и, по-видимому, слаб на ноги, но это обстоятельство ничуть не мешало ему восхищаться собственными, задранными вверх, высокими сапогами, которые он созерцал с живейшим удовольствием.

— Билл, приятель! — сказал субъект, повернув голову к двери. — Рад вас видеть. Я уже начал побаиваться, не отказались ли вы от нашего дельца, тогда бы я пошел на свой страх и риск. Ох!

Испустив этот возглас, выражавший величайшее изумление при виде Оливера, мистер Тоби Крекит принял сидячее положение и пожелал узнать, что это такое.

— Мальчишка, всего-навсего мальчишка, — ответил Сайкс, придвигая стул к камину.

— Один из питомцев мистера Феджина, — ухмыляясь, подхватил Барни.

— Ах, Феджина! — воскликнул Тоби, разглядывая Оливера. — Ну и редкостный мальчишка — такому ничего не стоит очистить карманы у всех старых леди в церкви! Этот тихоня составит Феджину целое состояние!

— Ну-ну, довольно! — нетерпеливо перебил Сайкс и, наклонившись к своему приятелю, шепнул ему на ухо несколько слов, после чего мистер Крекит неудержимо расхохотался и удостоил Оливера пристальным и изумленным взглядом.

— А теперь, — сказал Сайкс, усевшись на прежнее место, — дайте нам, пока мы тут ждем, чего-нибудь поесть и выпить, это нас подбодрит — меня во всяком случае. Подсаживайся к камину, малыш, и отдыхай — ночью тебе еще придется пройти, хоть не так уж далеко.

Оливер посмотрел на Сайкса робко и с немym изумлением; потом, придвинув табурет к огню, сел, опустив голову на руки — она у него болела, — вряд ли сознавая, где он находится и что вокруг него творится.

— Ну, — сказал Тоби, когда молодой еврей принес еду и поставил на стол бутылку. — За успех дельца!

Провозгласив этот тост, он встал, заботливо положил в угол пустую трубку и, подойдя к столу, наполнил стаканчик водкой и выпил. Мистер Сайкс последовал его примеру.

— Нужно дать капельку мальчишке, — сказал Тоби, налив рюмку до половины. — Выпей залпом, невинное создание.

— Право же, — начал Оливер, жалобно подняв на него глаза, — право же, я...

— Выпей залпом, — повторил Тоби. — Думаешь, я не знаю, что пойдет тебе на пользу?.. Прикажете ему пить, Билл.

— Пусть лучше выпьет! — сказал Сайкс, похлопывая рукой по карману. — Провалиться мне в пекло, с ним больше хлопот, чем с целым семейством Плутон! Пей, чертенок, пей!

Испуганный угрожающими жестами обоих мужчин, Оливер поспешил залпом выпить рюмку и тотчас же сильно закашлялся, что привело в восхищение Тоби Крекита и Барии и даже вызвало улыбку у мрачного мистера Сайкса.

Когда с этим было покончено, а Сайкс утолил голод (Оливера с трудом заставили проглотить корочку хлеба), двое мужчин улеглись на стульях, чтобы немножко вздремнуть. Оливер остался на своем табурете у камина; Барни, завернувшись в одеяло, растянулся на полу, перед самой каминной решеткой.

Некоторое время они спали или казались спящими; никто не шевельнулся, кроме Барни, который раза два вставал, чтобы подбросить углей в камин. Оливер погрузился в тяжелую дремоту; ему чудилось, будто он бредет по мрачным проселочным дорогам, блуждает по темному кладбищу, вновь видит картины, мелькавшие перед ним в течение дня, как вдруг его разбудил Тоби Крекит, который вскочил и объявил, что уже половина второго.

Через секунду другие двое были на ногах, и все деятельно занялись приготовлениями. Сайкс и его приятель закутали шеи и подбородки широкими темными шарфами и надели пальто; Барни, открыв шкаф, достал оттуда различные инструменты и торопливо рассовал их по карманам.

— Подай мне собак, Барни, — сказал Тоби Крекит.

— Вот они, — отозвался Барни, протягивая пару пистолетов. — Вы сами их зарядили.

— Ладно! — пряча их, сказал Тоби. — А где напильники?

— У меня, — ответил Сайкс.

— Клещи, отмычки, коловороты, фонари — ничего не забыли? — спрашивал Тоби, прикрепляя небольшой лом к петле под полый своего пальто.

— Все в порядке, — ответил его товарищ. — Тащи дубинки, Барни. Пора идти.

С этими словами он взял толстую палку из рук Барни, который, вручив другую палку Тоби, принялся застегивать плащ Оливера.

— Ну-ка, — сказал Сайкс, протягивая руку.

Оливер, совершенно одурманенный непривычной прогулкой, свежим воздухом и водкой, которую его заставили выпить, машинально вложил руку в протянутую руку Сайкса.

— Бери его за другую, Тоби, — сказал Сайкс. — Выгляни-ка наружу, Барни.

Тот направился к двери и, вернувшись, доложил, что все спокойно. Двое грабителей вышли вместе с Оливером. Барни, хорошенько заперевав дверь, снова завернулся в одеяло и заснул.

Была непроглядная тьма. Туман стал еще гуще, чем в начале ночи, а воздух был до такой степени насыщен влагой, что, хотя дождя и не было, спустя несколько минут после выхода из дома у Оливера волосы и брови стали влажными. Они прошли мостом и двинулись по направлению к огонькам, которые Оливер уже видел раньше. Расстояние было небольшое, а так как они шли быстро, то вскоре и достигли Чертей.

— Махнем через город, — прошептал Сайкс. — Ночью нам никто не попадется на пути.

Тоби согласился, и они быстро зашагали по главной улице маленького городка, совершенно безлюдной в этот поздний час. Кое-где в окне какой-нибудь спальни мерцал тусклый свет; изредка хриплый лай собаки нарушал тишину ночи. Но на улице не было никого. Они вышли за город, когда церковные часы пробили два.

Ускорив шаги, они свернули влево, на дорогу. Пройдя примерно четверть мили, они подошли к одиноко стоявшему дому, обнесенному стеной, на которую Тоби Крекит, даже не успев отдышаться, вскарабкался в одно мгновение.

— Теперь давайте мальчишку, — сказал Тоби. — Поднимите его; я его подхвачу.

Оливер оглянуться не успел, как Сайкс подхватил его под мышки, и через три-четыре секунды он и Тоби лежали на траве по ту сторону стены. Сайкс не замедлил присоединиться к ним. И они крадучись направились к дому.

И тут только Оливер, едва не лишившийся рассудка от страха и отчаяния, понял, что целью этой экспедиции был грабеж, если не убийство. Он сжал руки и, не удержавшись, глухо вскрикнул от ужаса. В глазах у него потемнело, холодный пот выступил на побледневшем лице, ноги отказались служить, и он упал на колени.

— Вставай! — прошипел Сайкс, дрожа от бешенства и вытаскивая из кармана пистолет. — Вставай, не то я тебе размозжу башку.

— Ох, ради Бога, отпустите меня! — воскликнул Оливер. — Я убегу и умру где-нибудь там, в полях. Я никогда не подойду близко к Лондону, никогда, никогда! О, пожалейте меня, не заставляйте воровать! Ради всех светлых ангелов небесных, сжальтесь надо мной!

Человек, к которому он обращался с этой мольбой, изрыгнул отвратительное ругательство и взвел курок пистолета, но Тоби, выбив у него из рук пистолет, зажал мальчику рот рукой и потащил его к дому.

— Тише! — зашептал он. — Здесь это ничему не поможет. Еще словечко, и я сам с тобой

расправлюсь — хлопну тебя по голове. Шуму никакого не будет, а дело надежное, и все по-благородному. Ну-ка, Билл, взломайте этот ставень. Ручаюсь, что мальчик теперь подбодрился. В такую холодную ночь людям и постарше его в первую минуту случалось сплеховать — сам видел.

Сайкс, призывая грозные проклятья на голову Феджина, пославшего на такое дело Оливера, решительно, но стараясь не шуметь, пустил в ход лом. Спустя немного ему удалось с помощью Тоби открыть ставень, державшийся на петлях.

Это было маленькое оконце с частым переплетом, находившееся в пяти с половиной футах от земли, в задней половине дома, — оконце в комнате для мытья посуды или для варки пива, и конце коридора. Отверстие было такое маленькое, что обитатели дома, должно быть, не считали нужным закрыть его ненадежней; однако оно было достаточно велико, чтобы в него мог пролезть мальчик ростом с Оливера. Повозившись еще немного, мистер Сайкс справился с задвижками; вскоре окно распахнулось настежь.

— Слушай теперь, чертенок! — прошипел Сайкс, вытаскивая из кармана потайной фонарь и направляя луч света прямо в лицо Оливера. — Я тебя просуну в это окно. Ты возьмешь этот фонарь, поднимешься тихонько по лестнице — она как раз перед тобой, — пройдешь через маленькую переднюю к входной двери, отопрешь ее ипустишь нас.

— Там наверху есть засов, тебе до него не дотянуться, — вмешался Тоби. — Влезь на стул в передней... Там три стула, Билл, а на спинках большущий синий единорог и золотые вилы, это герб старой леди.

— Помалкивай! — перебил Сайкс, бросив на него грозный взгляд. — Дверь в комнаты открыта?

— Настежь, — ответил Тоби, предварительно заглянув в окно. — Потеха! Они всегда оставляют ее открытой, чтобы собака, у которой здесь подстилка, могла прогуляться по коридору, когда ей не спится. Ха-ха-ха! А Барни сманил ее сегодня вечером. Вот здорово!

Хотя мистер Крекит говорил чуть слышным шепотом и смеялся беззвучно, однако Сайкс властно приказал ему замолчать и приступить к делу. Тоби повиновался: сначала достал из кармана фонарь и поставил его на землю, затем крепко уперся головой в стену под окном, а руками в колени, так, чтобы спина его служила ступенькой. Когда Это было сделано. Сайкс, взобравшись на него, осторожно просунул Оливера в окно, ногами вперед, и, придерживая его за шиворот, благополучно опустил на пол.

— Бери этот фонарь, — сказал Сайкс, заглядывая в комнату. — Видишь перед собой лестницу?

Оливер, ни жив ни мертв, прошептал: «Да». Сайкс указывая пистолетом на входную дверь, лаконически посоветовал ему принять к сведению, что он все время будет находиться под прицелом и если замешкается, то в ту же секунду будет убит.

— Все должно быть сделано в одну минуту, — продолжал Сайкс чуть слышно. — Как только я тебя отпущу, принимайся за дело. Эй, что это?

— Что там такое? — прошептал его товарищ.

Оба напряженно прислушались.

— Ничего! — сказал Сайкс, отпуская Оливера. — Ну!

В тот короткий промежуток времени, когда мальчик мог собраться с мыслями, он твердо решил — хотя бы эта попытка и стоила ему жизни — взбежать по лестнице, ведущей из передней, и поднять тревогу в доме. Приняв такое решение, он тотчас же крадучись двинулся к двери.

— Назад! — закричал вдруг Сайкс. — Назад! Назад!

Когда мертвая тишина, царившая в доме, была нарушена громким криком, Оливер в испуге уронил фонарь и не знал, идти ли ему вперед, или бежать!

Снова раздался крик — блеснул свет; перед его глазами появились на верхней ступеньке лестницы два перепуганных полуодетых человека. Яркая вспышка, оглушительный шум, дым, треск неизвестно откуда, — и Оливер отшатнулся назад.

Сайкс на мгновение исчез, но затем показался снова и схватил его за шиворот, прежде чем рассеялся дым. Он выстрелил из своего пистолета вслед людям, которые уже кинулись назад, и потащил мальчика вверх.

— Держись, крепче, — прошептал Сайкс, протаскивая его в окно. — Эй, дай мне шарф. Они попали в него. Живее! Мальчишка истекает кровью.

Потом Оливер услышал звон колокольчика, выстрелы, крики и почувствовал, что кто-то уносит его, быстро шагая по неровной почве. А потом шум замер вдалеке, смертельный холод сковал ему сердце. И больше он ничего не видел и не слышал.

Глава XXIII, которая рассказывает о приятной беседе между мистером Бамблом и некоей леди и убеждает в том, что в иных случаях даже бидл бывает не лишен чувствительности

Вечером был лютый холод. Снег, лежавший на земле, покрылся твердой ледяной коркой, и только на сугробы по проселкам и закоулкам налетал резкий, воющий ветер, который словно удваивал бешенство при виде добычи, какая ему попадалась, взметал снег мгlistым облаком, кружил его и рассыпал в воздухе. Суровый, темный, холодный был вечер, заставивший тех, кто сыт и у кого есть теплый у гол, собраться у камина и благодарить Бога за то, что они у себя дома, а бездомных, умирающих с голоду бедняков — лечь на землю и умереть. В такой вечер многие измученные голодом отщепенцы смыкают глаза на наших безлюдных улицах, и — каковы бы ни были их преступления — вряд ли они откроют их в более жестком мире.

Так обстояло дело под открытым небом, когда миссис Корни, надзирательница работного дома, с которым наши читатели уже знакомы как с местом рождения Оливера Твиста, уселась перед веселым огоньком в своей собственной маленькой комнатке и не без самодовольства бросила взгляд на небольшой круглый столик, на котором стоял соответствующих размеров поднос со всеми принадлежностями, необходимыми для наилучшего ужина, какой только может пожелать надзирательница. Миссис Корни хотела побаловать себя чашкой чая. Когда она перевела взгляд со стола на камин, где самый маленький из всех существующих чайников затянул тихим голоском тихую песенку, чувство внутреннего удовлетворения у миссис Корни до того усилилось, что она улыбнулась.

— Ну что ж! — сказала надзирательница, облокотившись на стол и задумчиво глядя на

огонь, — Право же, каждому из нас дано очень много, и нам есть за что быть благодарными. Очень много, только мы этого не понимаем. Увы!

Миссис Корни скорбно покачала головой, словно оплакивая духовную слепоту тех бедняков, которые этого не понимают, и, погрузив серебряную ложечку (личная собственность) в недра металлической чайницы, вмещающей две-три унции, принялась заваривать чай.

Как мало нужно, чтобы нарушить спокойствие нашего слабого духа. Пока миссис Корни занималась рассуждениями, вода в черном чайнике, который был очень маленьким, так что ничего не стоило наполнить его доверху, перелилась через край и слегка ошпарила руку миссис Корни.

— Ах, будь ты проклят! — воскликнула почтенная надзирательница, с большой поспешностью поставив чайник на камин. — Дурацкая штука! Вмещает всего-навсего две чашки! Ну кому от нее может быть прок?.. Разве что, — призадумавшись, добавила миссис Корни, — разве что такому бедному, одинокому созданию, как я! Ах, боже мой!

С этими словами надзирательница упала в кресло и, снова облокотившись на стол, задумалась об одинокой своей судьбе. Маленький чайник и одна-единственная чашка пробудили печальные воспоминания о мистере Корни (который умер всего-навсего двадцать пять лет назад), и это подействовало на нее угнетающе.

— Больше никогда не будет у меня такого! — досадливо сказала миссис Корни. — Больше никогда не будет у меня такого, как он!

Неизвестно, к кому относилось это замечание: к мужу или к чайнику. Быть может, к последнему, ибо, произнося эти слова, миссис Корни смотрела на него, а затем сняла его с огня. Она только отведала первую чашку, как вдруг ее потревожил тихий стук в дверь.

— Ну, входите! — резко сказала миссис Корни. — Должно быть, какая-нибудь старуха собралась помирать. Они всегда умирают, когда я вздумаю закусить. Не стойте там, не напускайте холодного воздуха. Ну, что там еще случилось?

— Ничего, сударыня, ничего, — ответил мужской голос.

— Ах, боже мой! — воскликнула надзирательница значительно более мягким голосом. — Неужели это мистер Бамбл?

— К вашим услугам, сударыня, — произнес мистер Бамбл, который задержался было в дверях, чтобы соскоблить грязь с башмаков и отряхнуть снег с пальто, а затем вошел, держа в одной руке шляпу, а в другой узелок. — Не прикажете ли, сударыня, закрыть дверь?

Леди из целомудрия не решалась дать ответ, опасаясь, пристойно ли будет иметь свидание с мистером Бамблом при закрытых дверях. Мистер Бамбл, воспользовавшись ее замешательством, а к тому же и озябнув, закрыл дверь, не дожидаясь разрешения.

— Ненастная погода, мистер Бамбл, — сказала надзирательница.

— Да, сударыня, ненастье, — отозвался бидл. — Такая погода во вред приходу, сударыня. Сегодня после полудня, миссис Корни, мы раздали двадцать четырехфунтовых хлебов и полторы головки сыра, а эти бедняки все еще недовольны.

— Ну конечно. Когда же они бывают довольны, мистер Бамбл? — сказала надзирательница,

попивая чай.

— Совершенно верно, сударыня, когда? — подхватил мистер Бамбл. — Тут одному человеку, ради его жены и большого семейства, дали четырехфунтовый хлеб и добрый фунт сыру, без обвеса. А как вы думаете, почувствовал он благодарность, сударыня, настоящую благодарность? Ни на один медный фартинг! Как вы думаете, что он сделал, сударыня? Стал просить угля — хотя бы немножко, в носовой платок, сказал он! Угля! А что ему с ним делать? Поджаривать сыр, а потом прийти и просить еще. Вот какие навыки у этих людей, сударыня: навали ему сегодня угля полон передник, он, бессовестный, послезавтра опять придет выпрашивать.

Надзирательница выразила полное одобрение этому образному суждению, и бидл продолжал свою речь.

— Я и не представлял себе, до чего это может дойти, — сказал мистер Бамбл. — Третьего дня — вы были замужем, сударыня, и я могу это рассказать вам, — третьего дня какой-то субъект, у которого спина едва прикрыта лохмотьями (тут миссис Корни потупилась), приходит к дверям нашего зрителя, когда у того гостя собрались на обед, и говорит, что нуждается в помощи, миссис Корни. Так как он не хотел уходить и произвел на гостей ужасающее впечатление, то зритель выслал ему фунт картофеля и полпинты овсяной муки. «Ах, бог мой! — говорит неблагодарный негодяй. — Что толку мне от этого? С таким же успехом вы могли бы дать мне очки в железной оправе!» — «Отлично, — говорит наш зритель, отбирая у него подавание, — больше ничего вы здесь не получите». — «Ну, значит, я умру где-нибудь на улице!» — говорит бродяга. «Нет, не умрешь», — говорит наш зритель...

— Ха-ха-ха! Чудесно! Как это похоже на мистера Граната, правда? — перебила надзирательница. — Дальше, мистер Бамбл!

— Так вот, сударыня, — продолжал бидл, — он ушел и так-таки и умер на улице. Вот упрямый нищий!

— Никогда бы я этому не поверила! — решительно заметила надзирательница. — Но не думаете ли вы, мистер Бамбл, что оказывать помощь людям с улицы — дурное дело? Вы — джентльмен, умудренный опытом, и должны это знать. Как вы полагаете?

— Миссис Корни, — сказал бидл, улыбаясь, как улыбаются люди, сознающие, что они хорошо осведомлены, — оказывать помощь таким людям — при соблюдении надлежащего порядка, надлежащего порядка, сударыня! — Это спасение для прихода. Первое правило, когда оказываешь помощь, заключается в том, чтобы давать беднякам как раз то, что им не нужно... А тогда им скоро надоест приходить.

— Ах, боже мой! — воскликнула миссис Корни. — Как это умно придумано!

— Еще бы! Между нами говоря, сударыня, — отозвался мистер Бамбл, — это правило весьма важное: если вы заинтересуетесь теми случаями, какие попадают в эти дерзкие газеты, вы не преминете заметить, что нуждающиеся семейства получают вспомоществование в виде кусочков сыру. Такой порядок, миссис Корни, установлен ныне по всей стране. Впрочем, — добавил бидл, развязывая свой узелок, — это служебные тайны, сударыня, — о них толковать не полагается никому, за исключением, сказал бы я, приходских чиновников, вроде нас с вами... А вот портвейн, сударыня, который приходский совет заказал для больницы: свежий, настоящий портвейн, без обмана, только сегодня из бочки; чистый, как стеклышко, и никакого осадка!

Посмотрев одну из бутылок на свет и хорошенько взболтав ее, чтобы убедиться в превосходном качестве вина, мистер Бамбл поставил обе бутылки на комод, сложил носовой платок, в который они были завернуты, заботливо сунул его в карман и взялся за шляпу с таким видом, будто собирался уйти.

— Придется вам идти по морозу, мистер Бамбл, — заметила надзирательница.

— Жестокий ветер, сударыня, — отозвался мистер Бамбл, поднимая воротник шинели. — Того гляди, оторвет уши.

Надзирательница перевела взгляд с маленького чайника на бидла, направившегося к двери, и, когда бидл кашлянул, собираясь пожелать ей спокойной ночи, она застенчиво осведомилась, не угодно ли... не угодно ли ему выпить чашку чаю?

Мистер Бамбл немедленно опустил воротник, положил шляпу и трость на стул, а другой стул придвинул к столу. Медленно усаживаясь на свое место, он бросил взгляд на леди. Та устремила взор на маленький чайник. Мистер Бамбл снова кашлянул и слегка улыбнулся.

Миссис Корни встала, чтобы достать из шкафа вторую чашку и блюдце. Когда она уселась, глаза ее снова встретились с глазами галантного бидла; она покраснела и принялась наливать ему чай. Снова мистер Бамбл кашлянул — на этот раз громче, чем раньше.

— Послаще, мистер Бамбл? — спросила надзирательница, взяв сахарницу.

— Если позволите, послаще, сударыня, — ответил мистер Бамбл. При этом он устремил взгляд на миссис Корни; и если бидл может быть нежен, то таким бидлом был в тот момент мистер Бамбл.

Чай был налит и подан молча. Мистер Бамбл, расстелив на коленях носовой платок, чтобы крошки не запачкали его великолепных коротких штанов, приступил к еде и питью, время от времени прерывая это приятное занятие глубокими вздохами, которые, однако, отнюдь не служили в ущерб его аппетиту, а напротив, помогали ему управляться с чаем и гренками.

— Вижу, сударыня, что у вас есть кошка, — сказал мистер Бамбл, глядя на кошку, которая грелась у камина, окруженная своим семейством. — Да вдобавок еще котят!

— Ах, как я их люблю, мистер Бамбл, вы и представить себе не можете! — отозвалась надзирательница. — Такие веселые, такие шаловливые, такие беззаботные, право же, они составляют мне компанию!

— Славные животные, сударыня, — одобрительно заметил мистер Бамбл. — Такие домашние...

— О да! — восторженно воскликнула надзирательница. — Они так привязаны к своему дому. Право же, это истинное наслаждение.

— Миссис Корни, — медленно произнес мистер Бамбл, отбивая такт чайной ложкой, — вот что, сударыня, намерен я вам сказать: если кошки или котят живут с вами, сударыня, и не привязаны к своему дому, то, стало быть, они ослы, сударыня.

— Ах, мистер Бамбл! — воскликнула миссис Корни.

— Зачем скрывать истину, сударыня! — продолжал мистер Бамбл, медленно помахивая чайной ложкой с видом влюбленным и внушительным, что производило особенно сильное

впечатление. — Я бы с удовольствием собственными руками утопил такую кошку.

— Значит, вы злой человек! — с живостью подхватила надзирательница, протягивая руку за чашкой бидла. — И вдобавок жестокосердный!

— Жестокосердный, сударыня? — повторил мистер Бамбл. — Жестокосердный?

Мистер Бамбл без лишних слов отдал свою чашку миссис Корни, сжал при этом ее мизинец и, дважды хлопнув себя ладонью по обшиту галуном жилету, испустил глубокий вздох и чуть-чуть отодвинул свой стул от камина.

Стол был круглый; а так как миссис Корни и мистер Бамбл сидели друг против друга на небольшом расстоянии, лицом к огню, то ясно, что мистер Бамбл, отодвигаясь от огня, но по-прежнему сидя за столом, увеличивал расстояние, отделявшее его от миссис Корни; к такому поступку иные благоразумные читатели несомненно отнесутся с восторгом и будут почитать его актом величайшего героизма со стороны мистера Бамбла; время, место и благоприятные обстоятельства до известной степени побуждали его произнести те нежные и любезные словечки, которые — как бы ни приличествовали они устам людей легкомысленных и беззаботных — кажутся ниже достоинства судей сей страны, членов парламента, министров, лорд-мэров и прочих великих общественных деятелей, а тем более не подобает столь великому и солидному человеку, как бидл, который (как хорошо известно) долженствует быть самым суровым и самым непоколебимым из всех этих людей.

Однако, каковы бы ни были намерения мистера Бамбла (а они несомненно были наилучшими), к несчастью, случилось так, что стол — о чем уже упомянуто дважды — был круглый, вследствие этого мистер Бамбл, помаленьку передвигая свой стул, вскоре начал уменьшать расстояние, отделявшее его от надзирательницы, и, продолжая путешествие по кругу, придвинул, наконец, свой стул к тому, на котором сидела надзирательница. В самом деле, оба стула соприкоснулись, а когда это произошло, Мистер Бамбл остановился.

Если бы надзирательница подвинула теперь свой стул вправо, ее неминуемо опалило бы огнем, а если бы подвинула влево, то упала бы в объятия мистера Бамбла; итак (будучи скромной надзирательницей и несомненно предусмотрев сразу эти последствия), она осталась сидеть на своем месте и протянула мистеру Бамблу вторую чашку чаю.

— Жестокосердный, миссис Корни? — повторил мистер Бамбл, помешивая чай и заглядывая в лицо надзирательнице. — А вы не жестокосердны, миссис Корни?

— Ах, боже мой! — воскликнула надзирательница. — Странно слышать такой вопрос от холостяка! Зачем вам это понадобилось знать, мистер Бамбл?

Бидл выпил чай до последней капли, доел гренки, смахнул крошки с колен, вытер губы и преспокойно поцеловал надзирательницу.

— Мистер Бамбл! — шепотом воскликнула сия целомудренная леди, ибо испуг был так велик, что она лишилась голоса. — Мистер Бамбл, я закричу!

Вместо ответа мистер Бамбл не спеша, с достоинством обвил рукой талию надзирательницы.

Раз сия леди выразила намерение закричать, то, конечно, она бы и закричала при этом новом дерзком поступке, если бы торопливый стук в дверь не сделал это излишним: как только раздался стук, мистер Бамбл с большим проворством ринулся к винным бутылкам и с рвением принялся смахивать с них пыль, а надзирательница суровым тоном спросила, кто стучит.

Следует отметить любопытный факт: удивление оказало такое действие на крайний ее испуг, что голос вновь обрел всю свою официальную жесткость.

— Простите, миссис, — сказала высохшая старая нищенка, на редкость безобразная, просовывая голову в дверь, — старуха Салли отходит.

— Ну, а мне какое до этого дело? — сердито спросила надзирательница. — Ведь я же не могу ее оживить.

— Конечно, конечно, миссис, — ответила старуха, — Это никому не под силу; ей уже нельзя помочь. Много раз я видела, как умирают люди — и младенцы и крепкие, сильные люди, — и уж мне ли не знать, когда приходит смерть! Но у нее что-то тяжелое на душе, и, когда боли ее отпускают — а это бывает редко, потому что умирает она в муках, — она говорит, что ей нужно что-то вам сказать. Она не помрет спокойно, пока вы не придете, миссис.

Выслушав это сообщение, достойная миссис Корни вполголоса осыпала всевозможными ругательствами тех старух, которые даже и умереть не могут, чтобы умышленно не досадить лицам, выше их стоящим. Быстро схватив теплую шаль и завернувшись в нее, она, не тратя лишних слов, попросила мистера Бамбла подождать ее возвращения на тот случай, если произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее. Приказав посланной за ней старухе идти быстро, а не карабкаться всю ночь по лестнице, она вышла вслед за ней из комнаты с очень суровым видом и всю дорогу ругалась.

Поведение мистера Бамбла, предоставленного самому себе, в сущности не поддается объяснению. Он открыл шкаф, пересчитал чайные ложки, взвесил на руке щипцы для сахара, внимательно осмотрел серебряный молочник и, удовлетворив этим свое любопытство, надел треуголку набекрень и весьма солидно пустился в пляс, четыре раза обойдя вокруг стола. Покончив с этим изумительным занятием, он снова снял треуголку и, расположившись перед камином, спиной к огню, казалось, принялся мысленно составлять точную опись обстановки.

Глава XXIV, трактует о весьма ничтожном предмете. Но это короткая глава, и она может оказаться не лишней в этом повествовании

Особа, нарушившая покой в комнате надзирательницы, была подобающей вестницей смерти. Преклонные годы согнули ее тело, руки и ноги дрожали, лицо, искаженное бессмысленной гримасой, скорее походило на чудовищную маску, начертанную карандашом сумасшедшего, чем на создание Природы.

Увы! Как мало остается лиц, сотворенных Природой, которые не меняются и радуют нас своей красотой! Мирские заботы, скорби и лишения изменяют их так же, как изменяют сердца; и только тогда, когда страсти засыпают и навеки теряют свою власть, рассеиваются взбаламученные облака и проясняется небесная твердь. Нередко бывает так, что лица умерших, даже напряженные и окоченевшие, принимают давно забытое выражение, словно у спящего ребенка, напоминая младенческий лик; такими мирными, такими безмятежными становятся снова эти люди, что те, кто знал их в пору счастливого детства, преклоняют колени у гроба и видят ангела, сошедшего на Землю.

Старая карга ковыляла по коридорам и поднималась по лестницам, невнятно бормоча что-то в ответ на ругань своей спутницы; наконец, приостановившись, чтобы отдышаться, она передала ей в руки свечу и последовала за ней, стараясь не отставать от своей куда более проворной

начальницы, направлявшейся в комнату больной.

Это была жалкая каморка на чердаке. В дальнем ее углу горел тусклый свет. У постели сидела другая старуха; у камина стоял ученик аптекаря и делал себе зубочистку из гусиного пера.

— Вечер морозный, миссис Корни, — сказал этот молодой джентльмен вошедшей надзирательнице.

— В самом деле, очень морозный, сэр, — приседая, ответила та самым учтивым тоном.

— Вам следовало бы получать лучший уголь от ваших поставщиков, — заявил помощник аптекаря, разбивая заржавленной кочергой кусок угля в камине, — такой уголь не годится для морозной ночи.

— Совет выбирал его, сэр, — ответила надзирательница. — А совет мог бы позаботиться, по крайней мере о том, чтобы мы не мерзли, потому что работа у нас тяжелая.

Тут разговор был прерван стоном больной.

— О! — сказал молодой человек, поворачиваясь к кровати с таким видом, будто совсем забыл о пациентке. — Ее песенка спета, миссис Корни.

— Неужели, сэр? — спросила надзирательница.

— Я буду очень удивлен, если она протянет еще часа два, — сказал помощник аптекаря, сосредоточив внимание на острие зубочистки. — Организм совершенно разрушен. Посмотрите-ка, старушка, она дремлет?

Сиделка наклонилась к кровати и утвердительно кивнула головой.

— Быть может, она так и умрет, если вы не будете шуметь, — сказал, молодой человек. — Поставьте свечу на пол. Там она ей не мешает.

Сиделка исполнила приказание и в то же время покачала головой, как бы давая понять, что женщина так легко не умрет; затем она снова заняла свое место рядом с другой старухой, которая к тому времени возвратилась. Надзирательница с раздражением завернулась в шаль и присела в ногах кровати.

Помощник аптекаря, покончив с отделкой зубочистки, расположился перед камином и в течение десяти минут грелся у огня; наконец, по-видимому соскучившись, он пожелал миссис Корни успешного завершения ее трудов и на цыпочках удалился.

Посидев несколько минут молча, обе старухи отошли от кровати и, присев на корточки у огня, стали греть иссохшие руки. Приняв такую позу, они вели тихим голосом разговор, и, когда пламя отбрасывало призрачный отблеск на их сморщенные лица, их безобразие казалось ужасающим.

— Больше она ничего не говорила, Энни, милая, пока меня не было? — спросила та, что ходила за надзирательницей.

— Ни слова, — ответила вторая сиделка. — Сначала она щипала и ломала себе руки, но я их придержала, и она скоро утихомирилась. Сил у нее мало осталось, так что мне легко было ее успокоить. Для старухи я не так уж слаба, хотя и сижу на приходском пайке!

— Она выпила подогретое вино, которое ей прописал доктор? — спросила первая.

— Я пробовала влить ей в рот, — отозвалась вторая, — но зубы у нее были стиснуты, а за кружку она уцепилась так, что мне едва удалось ее вырвать; тогда я сама выпила вино, и оно пошло мне на пользу.

Осторожно оглянувшись и убедившись, что их не подслушивают, обе старые карги ближе придвинулись к огню в весело захихикали.

— Было время, — снова заговорила первая, — когда она сама сделала бы то же самое и как бы еще потом потешалась!

— Ну конечно! — подхватила другая. — Она была развеселая. Много, много славных покойничков она обрядила, и были они такие милые и аккуратные, как восковые куклы. Мои старые глаза их видели, эти старые руки их трогали, потому что я десятки раз ей помогала.

Вытянув дрожащие пальцы, старуха с восторгом помахала ими перед носом собеседницы, потом, пошарив в кармане, вытащила старую, выцветшую от времени жестяную табакерку, из которой насыпала немножко табаку на протянутую ладонь своей приятельницы и чуть-чуть побольше себе на ладонь. Пока они так развлекались, надзирательница, нетерпеливо ожидавшая, когда же, наконец, умирающая очнется, подошла к камину и резко спросила, долго ли ей еще ждать.

— Недолго, миссис, — ответила вторая старуха, подняв на нее глаза. — Всем нам недолго ждать смерти. Потерпите, потерпите! Скоро она заберет всех нас.

— Придержите язык, старая идиотка! — строго приказала надзирательница. — Отвечайте мне вы, Марта: впадала ли она и раньше в такое состояние?

— Много раз, — отозвалась первая старуха.

— Но больше это уже не повторится — добавила вторая, — то есть еще один разок она очнется, но ненадолго, попомните мое слово, миссис!

— Надолго или ненадолго, — с раздражением сказала надзирательница, — но когда она очнется, меня здесь уже не будет! И чтобы вы не смели меня больше беспокоить из-за пустяков! В мои обязанности не входит смотреть, как умирают здесь старухи, и я этого делать не стану. Запомните это, бесстыжие старые ведьмы! Если вы опять вздумаете меня дурачить, предупреждаю — я с вами быстро расправлюсь!

Разозлившись, она бросилась к двери, но крик обеих старух, повернувшихся к кровати, заставил ее оглянуться. Больная приподнялась в постели и простирала к ним руки.

— Кто это? — глухо кричала она.

— Тише, тише! — зашипела одна из старух, наклоняясь к ней. — Ложитесь, ложитесь!

— Живой я никогда уже больше не лягу!.. — отбиваясь, воскликнула женщина. — Я хочу что-то сказать ей. Подойдите ко мне! Ближе! Я буду шептать вам на ухо.

Она вцепилась в руку надзирательницы и, заставив ее сесть на стул у кровати, хотела заговорить, но, оглянувшись, заметила двух старух, которые, вытянув шею, приготовились с жадностью слушать.

— Прогоните их, — слабеющим голосом сказала больная. — Скорее, скорее!

Старые карги, завопив в один голос, принялись жалобно сетовать на то, что бедняжке очень худо и она не узнает лучших своих друзей, твердили, что ни за что ее не покинут, но надзирательница вытолкала их из комнаты, заперла дверь и вернулась к кровати. Очутившись за дверью, старые леди переменили тон и стали кричать в замочную скважину, что старуха Салли пьяна; это было довольно правдоподобно, так как в дополнение к умеренной дозе опиума, прописанного аптекарем, на нее подействовала последняя порция джина с водой, которым, по доброте сердечной, тайком угостили ее достойные старые леди.

— Теперь слушайте меня! — громко сказала умирающая, напрягая все силы, чтобы раздуть последнюю искру жизни. — Когда-то в этой самой комнате я ухаживала за молодой красоткой, лежавшей на этой самой кровати. Сюда ее принесли с израненными от ходьбы ногами, покрытыми грязью и кровью. Она родила мальчика и умерла. Сейчас я припомню... в каком году это было?..

— Неважно, в каком году, — перебила нетерпеливая слушательница. — Ну, дальше, что скажете о ней?

— Дальше... — пробормотала больная, впадая в прежнее полудремотное состояние, — что еще сказать о ней, что еще... Знаю! — воскликнула она, быстро выпрямившись; лицо ее было багровым, глаза были выпучены. — Я ее ограбила. Да, вот что я сделала! Она еще не окоченела, говорю вам — она еще не окоченела, когда я это украла!

— Что вы украли, да говорите же, ради бога? — вскричала надзирательница, сделав движение, словно хотела позвать на помощь.

— Одну вещь, — ответила женщина, прикрыв ей рот рукой. — Единственную вещь, какая у нее была. Ей нужна была одежда, чтобы не мерзнуть, нужна была пища, но эту вещь она сохраняла и прятала у себя на груди. Говорю вам — вещь была золотая! Чистое золото, которое могло спасти ей жизнь!

— Золото! — повторила надзирательница, наклонившись к упавшей на подушку женщине. — Говорите же, говорите... что дальше? Кто была мать? Когда это было?

— Она поручила мне сохранить ее, — со стоном продолжала больная, — и доверилась мне, единственной женщине, которая была при ней. Как только она мне показала эту вещь, висевшую у нее на шее, я сразу порешила ее украсть. Может быть, на моей душе лежит еще и смерть ребенка! Они бы лучше с ним обращались, если бы им все было известно.

— Что известно? — спросила надзирательница. — Да говорите же!

— Мальчик подрос и так походил на мать, — бессвязно продолжала больная, не обращая внимания на вопрос, — что я никогда не могла об этом забыть, стоило мне увидеть его лицо. Бедная женщина! Бедная женщина! И такая молоденькая! Такая кроткая овечка! Подождите. Я должна еще что-то сказать. Ведь я вам еще не все рассказала?

— Нет, нет, — ответила надзирательница, наклоняясь, чтобы лучше расслышать слабеющий голос умирающей. — Скорее, не то будет поздно!

— Мать, — сказала женщина, делая еще более отчаянное усилие, — мать, когда настали смертные муки, зашептала мне на ухо, что если ее ребенок родится живым и вырастет, то, может быть, придет день, когда он, услышав о своей бедной молодой матери, не будет считать

себя опозоренным. «О Боже милостивый! — сказала она. — Будет ли это мальчик или девочка, пошли ему друзей в этом мире, полном невзгод, и сжался над бедным, одиноким ребенком, брошенным на произвол судьбы!»

— Имя мальчика? — спросила надзирательница.

— Его называли Оливером, — слабым голосом ответила женщина. — Золотая вещь, которую я украла...

— Да, да... говорите! — крикнула надзирательница.

Она нетерпеливо наклонилась к женщине, чтобы услышать ответ, но невольно отшатнулась, когда та медленно, не сгибаясь, снова приподнялась и села, потом, вцепившись обеими руками в одеяло, пробормотала что-то невнятное и упала на подушки.

— Умерла! — сказала одна из старух, врываясь в комнату, как только открылась дверь.

— И в конце концов ничего не сказала, — отозвалась надзирательница и спокойно ушла.

Обе старухи, готовясь к исполнению своей ужасной обязанности, были, по-видимому, слишком заняты, чтобы отвечать, и, оставшись одни, закопошились около тела.

Глава XXV, которая вновь повествует о мистере Феджине и компании

Пока происходили эти события в провинциальном работном доме, мистер Феджин сидел в старой своей берлоге — той самой, откуда девушка увела Оливера, — и размышлял о чем-то у тусклого огня в дымящем очаге. На коленях у него лежали раздувательные мехи, с помощью которых он, видимо, старался раздуть веселый огонек, но, задумавшись, он положил на них руки, подпер подбородок большими пальцами и рассеянно устремил взгляд на заржавленные прутья.

У стола за его спиной сидели Ловкий Плут, юный Чарльз Бейтс и мистер Читлинг; все трое с увлечением играли в вист; Плут с «болваном» играл против юного Бейтса и мистера Читлинга. Физиономия первого из упомянутых джентльменов, всегда удивительно смышленная, казалась теперь особенно интересной вследствие вдумчивого его отношения к игре и внимательного изучения карт мистера Читлинга, на которые, как только представлялся удобный случай, он бросал зоркий взгляд, мудро сообразуя свою игру с результатами наблюдений над картами соседа. Так как ночь была холодная. Плут не снимал шляпы, что, впрочем, являлось одной из его привычек. Он сжимал зубами мундштук глиняной трубки, которую вынимал изо рта на короткое время, когда считал нужным подкрепиться джином с водой из кувшина, вместимостью в кварту, поставленного на стол для угощения всей компании.

Юный Бейтс также уделял большое внимание игре, но так как у него натура была более впечатлительная, чем у его талантливого друга, то можно было заметить, что он чаще угощался джином с водой и вдобавок увеселял себя всевозможными шутками и непристойными замечаниями, в высшей степени неуместными при серьезной игре. Плут, на правах тесной дружбы, несколько раз принимался торжественно журить его за такое неприличное поведение, но все эти наставления юный Бейтс выслушивал с величайшим добродушием и предлагал своему другу отправиться к черту либо засунуть голову в мешок или же отвечал другими изящными остротами в том же духе, удачное пользование которыми приводило в восторг мистера Читлинга. Примечательно, что сей последний джентльмен и его

партнер неизменно проигрывали, и это обстоятельство не только не раздражало юного Бейтса, но, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие, так как после каждой партии он оглушительно хохотал и уверял, что отроду не видывал такой веселой игры.

— Два двойных и роббер, — с вытянувшейся физиономией сказал мистер Читлинг, доставая из жилетного кармана полкроны. — В первый раз вижу такого парня, как ты, Джек. Ты всегда выигрываешь. Даже когда у нас с Чарли хорошие карты, все равно ии ничего не можем поделать.

Самый ли факт, или очень печальный тон, каким юили сказаны эти слова, привели в такое восхищение Чарли Бейтса, что очередной его взрыв смеха заставили еврея очнуться от раздумья и спросить, в чем дело.

— В чем дело, Феджин!? — закричал Чарли. — Жаль, что вы не следили за игрой. Томми Читлинг ни разу не выиграл, мы с ним играли против Плута с «болваном».

— Так, так, — сказал еврей с улыбкой свидетельствовавшей о том, что причина ему ясна. — Попробуй еще разок, Том, попробуй еще разок.

— Хватит с меня, благодарю вас, Феджин, — ответил мистер Читлинг. — Хватит! Этому Плуту так везет, что против него не устоишь.

— Ха-ха-ха, милый мой! — рассмеялся еврей. — Встань утром пораньше, тогда выиграешь у Плута.

— Утром! — повторил Чарли Бейтс. — Если хотите его обыграть, нужно с вечера надеть башмаки, приставить к обоим глазам по подзорной трубе, а за спину повесить бинокль.

Мистер Даукинс с философическим спокойствием выслушал эти любезные комплименты и предложил любому из присутствующих джентельменов открыть фигуру, ставка — шиллинг. Так как никто не принял вызова, а трубку он к тому времени выкурил, то и начал для развлечения чертить на столе общий план Ньюгетской тюрьмы тем куском мела, который заменял ему фишки; при этом он долго и пронзительно свистел.

— Ну и скукотища же с тобой, Томми!.. — после долгого молчания сказал Плут, перестав свистеть и повернувшись к мистеру Читлингу. — Как вы полагаете, о чем он думает, Феджин?

— Откуда мне знать, мой милый? — оглядываясь, отозвался еврей, раздувавший огонь мехами. — Может быть, о своем проигрыше или о том уединенном местечке в провинции, которое он недавно покинул. Ха-ха!.. Верно, мой милый?

— Ничуть не бывало, — возразил Плут, перебивая мистера Читлинга, собиравшегося ответить. — А ты что скажешь, Чарли?

— Скажу, — ухмыляясь, отвечал юный Бейтс, — что он без ума от Бетси. Смотрите, как он краснеет. Боже ты мой! Ну и умора! Томми Читлинг влюблен!.. Ох, Феджин, Феджин, вот так потеха!

Потрясенный образом мистера Читлинга — жертвы нежной страсти, — юный Бейтс столь энергически откинулся на спинку стула, что потерял равновесие и полетел на пол, где и остался лежать, вытянувшись во весь рост (это происшествие отнюдь не уменьшило его веселости), пока не нахохотался вдоволь, после чего занял прежнее место и снова захохотал.

— Не обращайтесь на него внимания, мой милый, — сказал еврей, подмигнув мистеру Даукинсу и в виде наказания ударив юного Бейтса рыльцем раздувальных мехов. — Бетси — славная девушка. Держитесь за нее, Том. Держитесь за нее.

— Я хочу только сказать, Феджин, — отозвался мистер Читлинг, густо покраснев, — что это решительно никого не касается.

— Разумеется, — подтвердил еврей. — Чарли так себе болтает. Не обращайтесь на него внимания, мой милый, не обращайтесь внимания. Бетси — славная девушка. Делайте то, что она вам скажет, Том, — и вы разбогатеете.

— Да я так и поступаю, как она велит, — ответил мистер Читлинг. — Меня бы не зацапали, если бы я не послушался ее совета. Вам-то это оказалось на руку, правда, Феджин? Ну, да ведь шесть недель ничего не стоят. Рано или поздно, это должно было случиться, так уж лучше зимой, когда нет охоты болтаться по улицам. Правда, Феджин?

— Совершенно верно, мой милый, — ответил еврей.

— Ты бы согласился еще разок посидеть, Том, — спросил Плут, подмигивая Чарли и еврею, — раз Бет дала тебе хороший совет?

— Я хочу сказать, что я бы не отказался! — сердито ответил Том. — Ну, хватит! Хотел бы я знать, кто, кроме меня, мог бы это сказать, Феджин?

— Никто, мой милый, — ответил еврей, — ни один человек, Том. Я не знаю никого, кроме вас, кто бы мог это сказать. Никого, мой милый.

— Меня бы отпустили, если бы я ее выдал. Верно, Феджин? — с раздражением продолжал бедный, одураченный, слабоумный парень. — Для этого мне нужно было сказать только слово. Верно, Феджин?

— Разумеется, отпустили бы, мой милый, — ответил еврей.

— Но я ничего не выболтал. Правда, Феджин? — сказал Том, стремительно задавая один вопрос за другим.

— Нет, нет, разумеется, ничего, — ответил еврей, — вы слишком мужественны для этого. Слишком мужественны, мой милый!

— Может быть, это и верно, — отозвался Том, озираясь. — Но коли так, то что тут смешного, а, Феджин?

Еврей, видя, что мистер Читлинг не на шутку раздражен, поспешил уверить его, что никто не смеется; желая добиться серьезного отношения собравшихся, он воззвал к юному Бейтсу, первому обидчику. Но, к несчастью, Чарли, уже раскрыв рот и собравшись ответить, что еще ни разу в жизни он не был так серьезен, не смог удержаться и разразился таким неистовым хохотом, что оскорбленный мистер Читлинг без дальнейших церемоний кинулся в другой конец комнаты и замахнулся на обидчика, но тот, наловчившись избегать преследователей, шмыгнул в сторону, дабы ускользнуть от него, и столь удачно выбрал момент, что удар попал в грудь веселого старого джентльмена и заставил его пошатнуться и отступить к стене, где он и остановился, тяжело дыша, а мистер Читлинг взирал на него с ужасом.

— Тише! — крикнул в эту минуту Плут. — Что-то тренькает.

Взяв свечу, он крадучись стал подниматься по лестнице.

Снова раздался нетерпеливый звон колокольчика. Все остальные сидели в темноте. Вскоре вернулся Плут и с таинственным видом шепнул что-то Феджину.

— Как? — вскричал еврей. — Один?

Плут утвердительно кивнул головой и, заслонив рукой пламя свечи, украдкой дал понять Чарли Бейтсу с помощью пантомимы, что лучше бы ему теперь не смеяться. Оказав эту дружескую услугу, он устремил взгляд на еврея и ждал его распоряжений.

В течение нескольких секунд старик кусал свои желтые пальцы и пребывал в раздумье; лицо его подергивалось от волнения, словно он чего-то опасался и страшился узнать наихудшее. Наконец, он поднял голову.

— Где он? — спросил еврей.

Плут указал на потолок и сделал движение, будто намеревался выйти из комнаты.

— Да, — сказал еврей, отвечая на безмолвный вопрос. — Приведи его сюда, вниз. Тес!.. Тише, Чарли! Успокойтесь, Том! Смойтесь!

Это лаконическое приказание Чарли Бейтс и его недавний противник исполнили покорно и незамедлительно. Ни один звук не выдавал их присутствия, когда Плут со свечой в руке спустился по лестнице, а вслед за ним пошел человек в грубой рабочей блузе, который, быстро окинув взглядом комнату, снял широкий шарф, скрывавший нижнюю часть лица, и показал усталую, немывую и небритую физиономию ловкача Тоби Крекита.

— Как поживаете, Феги? — сказал сей достойный джентльмен, кивая еврею. — Сунь этот шарф в мою кастановую шляпу, Плут, чтобы я знал, где его найти, когда буду удирать. Вот какие времена настали! А из тебя выйдет прекрасный взломщик, лучше этого старому мошенника.

С этими словами он вытянул из штанов подол блузы, обмотал ее вокруг талии и, придвинув стул к огню, положил ноги на решетку.

— Посмотрите-ка, Феги, — сказал он, печально показывая на свои сапоги с отворотами. — Сами знаете, с какого дня они не нюхали ваксы Дэй и Мартин^[35], ей-богу ни разу не чищены!.. Нечего таращить на меня глаза, старик. Все в свое время. Я не могу говорить о делах, пока не поем и не выпью. Тащите сюда еду и дайте мне спокойно поесть в первый раз за эти три дня!

Еврей жестом приказал Плуту подать на стол съестные припасы и, усевшись против взломщика, стал ждать.

Суда по всему, Тоби отнюдь не спешил начать разговор. Сначала еврей довольствовался тем, что терпеливо изучал его физиономию, словно надеясь по выражению ее угадать, какие вести он принес, но это ни к чему не привело. Тоби казался усталым и изнуренным, но лицо его оставалось благодушно спокойным, как всегда, и, невзирая на грязь, небритую бороду и бакенбарды, на нем сияла все та же самодовольная, глупая улыбка ловкача Крекита. Тогда еврей, вне себя от нетерпения, стал следить за каждым куском, который тот отправлял себе в рот, и, не скрывая волнения, зашагал взад и вперед по комнате. Но от всего этого не было никакого толку. Тоби продолжал есть с величайшим хладнокровием, пока не наелся до отвала; затем, приказав Плуту выйти из комнаты, он запер дверь, налил в стакан виски с водой и приступил к беседе.

— Прежде всего, Феги... — начал Тоби.

— Ну, ну?... — перебил еврей, придвигая стул.

Мистер Крекит приостановился, чтобы хлебнуть джина с водой, и объявил, что он превосходен; затем, упершись ногами в полку над низким очагом так, чтобы сапоги находились на уровне его глаз, он спокойно продолжал.

— Прежде всего, Феги, — сказал взломщик, — как поживает Билл?

— Что! — взвизгнул еврей, вскакивая со стула.

— Как, неужели вы хотите сказать?... — бледнея, начал Тоби.

— Хочу сказать! — завопил еврей, в бешенстве топая ногами. — Где они? Сайкс и мальчик! Где они? Где они были? Где они скрываются? Почему не пришли сюда?

— Кража со взломом провалилась, — тихо сказал Тоби.

— Я это знаю, — сказал еврей, выхватив из кармана газету и указывая на нее. — Что дальше?

— Они стреляли, попали в мальчика. Мы пустились наутек вместе с ним через поля позади дома, бежали вперед быстрее, чем ворона летит... перескакивали через изгороди и канавы. За нами погнались. Черт подери! Все окрестные жители проснулись, на нас напустили собак...

— А мальчик?

— Билл тащил его на спине и мчался как вихрь. Мы остановились, чтобы нести его вдвоем; голова у него свесилась, и он весь похолодел. Они гнались за нами по пятам. Тут уж каждый за себя и подальше от виселицы! Мы расстались, а мальчишку положили в канаву. Живого или мертвого — не знаю.

Еврей не стал больше слушать. Громко завопив и вцепившись себе в волосы, он бросился вон из дому.

Глава XXVI, в которой появляется таинственная особа, и происходят многие события, неразрывно связанные с этим повествованием

Старик добежал до угла улицы, прежде чем успел прийти в себя от впечатления, произведенного на него сообщением Тоби Крекита. Он по-прежнему мчался с необычайной быстротой, растерянный и обезумевший, как вдруг пролетевший мимо экипаж и громкий крик прохожих, заметивших, какая грозила ему опасность, заставили его отступить на тротуар. Избегая по возможности людных улиц и крадучись пробираясь окольными путями и закоулками, он вышел, наконец, на Сноу-Хилл. Здесь он зашагал еще быстрее и не останавливался до той поры, пока не вошел в какой-то двор, где, словно почувствовав себя в родной стихии, поплелся, по своему обыкновению волоча ноги, и, казалось, вздохнул свободнее.

Неподалеку от того места, где Сноу-Хилл сливается с Холборн-Хиллом, начинается справа, если идти от Сити, узкий и мрачный переулок, ведущий к Сафрен-Хиллу. В грязных его лавках выставлены на продажу огромные связки подержанных шелковых носовых платков

всевозможных размеров и расцветок, ибо здесь проживают торговцы, скупающие эти платки у карманных воришек. Сотни носовых платков висят на гвоздях за окнами или развеваются у дверных косяков, а в лавке ими завалены все полки. Как ни узки границы Филд-лейна, однако здесь есть свой цирюльник, своя кофейня, своя пивная и своя лавка с жареной рыбой. Это нечто вроде коммерческой колонии, рынок мелких воров, посещаемый ранним утром и в сумерках молчаливыми торговцами, которые обделывают свои делишки в темных задних комнатах и уходят так же таинственно, как и приходят. Здесь продавец платья, сапожник и старьевщик выставляют свой товар, который для мелких воришек заменяет вывеску; здесь кучи заржавленного железа и костей, заплесневевшие куски шерстяной материи и полотна гниют и тлеют в мрачных подвалах.

Вот в этот-то переулочек и свернул еврей. Он был хорошо знаком чахлам его обитателям, и те из них, которые оставались на своем посту, чтобы продать что-нибудь или купить, кивали ему, как старому приятелю, когда он проходил мимо. На их приветствия он отвечал кивком, но ни с кем не вступал в разговор, пока не дошел до конца переулочка; здесь он остановился и заговорил с одним торговцем, очень маленького роста, который, втиснув кое-как свою особу в детское креслице, курил трубку у двери своей лавки.

— Стоит на вас посмотреть, мистер Феджин, — и слепоту как рукой снимет! — сказал сей почтенный торговец, отвечая на вопрос еврея о его здоровье.

— Слишком уж жарко было здесь по соседству, Лайвли, — откликнулся Феджин, приподняв брови и скрестив руки.

— Да, мне уже два раза приходилось выслушивать такие жалобы, — ответил торговец. — Но ведь огонь очень скоро остывает, не правда ли?

Феджин в знак согласия кивнул головой. Указав в сторону Сафрен-Хилла, он спросил, заглядывал ли туда кто-нибудь сегодня вечером.

— Навестить «Калек»? — спросил торговец.

Еврей снова кивнул головой.

— Подождите-ка, — призадумавшись, сказал человек. — Да, человек пять-шесть пошли туда. Думаю, что вашего друга там нет.

— Сайкса там нет? — спросил еврей; вид у него был очень встревоженный.

— Non istventus^[36], как говорят законники, — отозвался человечек, покачав головой и скроив на редкость хитрую мину. — Нет ли у вас сегодня чего-нибудь по моей части?

— Сегодня ничего нет, — сказал еврей, отходя от него.

— Вы идете к «Калекам», Феджин? — крикнул ему вслед человечек. — Пойдите! Я не прочь пропустить с вами рюмочку!

Но так как еврей, оглянувшись, махнул рукой, давая понять, что предпочитает остаться в одиночестве, и к тому же человечку не очень-то легко было вылезти из креслица, то на этот раз трактир под вывеской «Калек» не удостоился посещения мистера Лайвли. К тому времени, когда он поднялся на ноги, еврей уже скрылся из виду, и мистер Лайвли, постояв на цыпочках и обманувшись в надежде его увидеть, снова втиснул свою особу в креслице и, обменявшись кивком с леди из лавки напротив и выразив этим свои сомнения и недоверие,

вновь взялся с торжественной миной за трубку.

«Трое калек», или, вернее, «Калеки» — ибо под этой вывеской учреждение было известно его завсегдатаям, — был тем самым трактиром, в котором появлялся мистер Сайкс со своей собакой. Сделав знак человеку, стоявшему за стойкой, Феджин поднялся по лестнице, открыл дверь и, незаметно проскользнув в комнату, с беспокойством стал озираться, прикрывая глаза рукой и словно кого-то разыскивая.

Комнату освещали две газовые лампы; с улицы не видно было света благодаря закрытым ставням и плотно задернутым вылинявшим красным занавескам. Потолок был выкрашен в черный цвет, чтобы окраска его не пострадала от коптящих ламп, и в комнате стоял такой густой табачный дым, что сначала ничего нельзя было разглядеть. Но когда мало-помалу дым ушел через раскрытую дверь, обнаружилось скопище людей, такое же беспорядочное, как и гул, наполнявший комнату, и, по мере того как глаз привыкал к этому зрелищу, наблюдатель убеждался, что за длинным столом собралось многочисленное общество, состоявшее из мужчин и женщин; во главе стола помещался председатель с молоточком в руке, а в дальнем углу сидел за разбитым фортепьяно джентльмен-профессионал с багровым носом и подвязанной — по случаю зубной боли — щекой.

Когда Феджин прошмыгнул в комнату, джентльмен-профессионал пробежал пальцами по клавишам, взамен прелюдии, после чего все громогласно потребовали песни; как только крики затихли, молодая леди принялась улаживать общество балладой из четырех строф, в промежутках между которыми аккомпаниатор играл как можно громче всю мелодию с начала до конца. Когда с этим было покончено, председатель произнес свое суждение, после чего профессионалы, сидевшие по правую и левую руку от него, выразили желание спеть дуэт и спели его с большим успехом.

Любопытно было всматриваться в иные лица, выделявшиеся из толпы. Прежде всего-сам председатель (хозяин заведения), грубый, неотесанный, тяжеловесный мужчина, который шнырял глазами во все стороны, пока продолжалось пение, и делая вид, что принимает участие в общем веселье, видел все, что происходит, слышал все, что говорится, а зрение у него было острое и слух чуткий. С ним рядом сидели певцы, с профессиональным равнодушием слушавшие похвалы всей компании и по очереди прикладывавшиеся к дюжине стаканчиков виски с водой, поднесенных им пылкими поклонниками, чьи физиономии, носившие печать чуть ли не всех пороков во всех стадиях их развития, неумолимо привлекали внимание именно своей омерзительностью. Хитрость, жестокость, опьянение были ярко запечатлены на них, а что касается женщин, то иные еще сохранили какую-то свежесть юности, блекнувшую, казалось, у вас на глазах; другие же окончательно утратили все признаки своего пола и олицетворяли лишь гнусное распутство и преступность; эти девушки, эти молодые женщины — ни одна из них не перешагнула порога юности — являли собой, пожалуй, самое печальное зрелище в этом омерзительном вертепе.

Тем временем Феджин, отнюдь не тревожимый серьезными размышлениями, жадно всматривался в лица, по-видимому не находя того, кого искал. Когда ему удалось, наконец, поймать взгляд человека, занимавшего председательское место, он осторожно поманил его и вышел из комнаты так же тихо, как и вошел.

— Чем могу служить вам, мистер Феджин? — осведомился председатель, выйдя вслед за ним на площадку. — Не угодно ли присоединиться к нам? Все будут рады, все до единого.

Еврей нетерпеливо покачал головой и шепотом спросил:

— Он здесь?

— Нет, — ответил тот.

— И никаких известий о Барни?

— Никаких, — ответил хозяин «Калек», ибо это был он. — Барни не шелохнется, пока все не утихнет. Будьте уверены, они там напали на след, и, если бы он вздумал двинуться с места, их сразу бы накрыли. С Барни ничего плохого не случилось, не то я бы о нем услышал. Бьюсь об заклад, что Барни ведет себя молодцом. О нем можете не беспокоиться.

— А *тот* будет здесь сегодня? — спросил еврей, снова выразительно подчеркивая местоимение.

— Вы говорите о Монксе? — нерешительно спросил хозяин.

— Тес!.. — зашептал еврей. — Да.

— Конечно, — ответил хозяин, вытаскивая из кармана золотые часы. — Я ждал его раньше. Если вы подождете минут десять, он...

— Нет, нет! — быстро сказал еврей, который как будто и хотел видеть того, о ком шла речь, и был рад, что его нет. — Передайте ему, что я заходил сюда повидаться с ним; пусть он придет ко мне сегодня вечером. Нет, лучше завтра. Раз его здесь нет, то не поздно будет и завтра.

— Ладно! — отозвался хозяин. — Еще что-нибудь?

— Ни слова больше, — сказал еврей, спускаясь по лестнице.

— Послушайте, — заговорил хриплым шепотом хозяин, перевешиваясь через перила, — сейчас самое время обделать дело! У меня здесь Фил Баркер; так пьян, что любой мальчишка может его сцапать.

— А! Впрочем, для Филадельфии Баркера время еще не пришло, — ответил еврей, подняв голову. — Фил должен еще поработать, прежде чем мы позволим себе расстаться с ним. Возвращайтесь-ка, мой милый, к своей компании и скажите им, чтобы они веселились... пока живы! Ха-ха-ха!

Трактирщик ответил ему смехом и вернулся к своим гостям. Как только еврей остался один, на лице его снова появилось тревожное и озабоченное выражение. После недолгого раздумья он нанял кабриолет и приказал извозчику ехать в Бетнел-Грин-роуд. За четверть мили до резиденции мистера Сайкса он отпустил извозчика и прошел это короткое расстояние пешком.

— Ну, — пробормотал еврей, стуча в дверь, — если тут ведут какую-то темную игру, то, как вы ни хитры, моя милая, а я у вас все выпытаю.

Женщина, которую он имел в виду, находилась у себя в комнате. Феджин потихоньку поднялся по лестнице и без дальнейших церемоний вошел. Девушка была одна; она положила на стол голову с распущенными, сбившимися волосами.

«Напилась, — хладнокровно подумал еврей, — или, может быть, просто горюет о чем-нибудь».

С этой мыслью он повернулся, чтобы закрыть дверь; шум заставил девушку встрепенуться. Зорко всматриваясь в его хитрое лицо, она спросила, нет ли новостей, и выслушала от него сообщение Тоби Крекита. Когда рассказ был закончен, она снова приняла прежнее положение,

но не проронила ни слова. Она терпеливо отодвинула свечу, раза два лихорадочно меняла позу, шаркала ногами по полу, но не более того.

Пока длилось молчание, еврей с беспокойством озирался, словно желая удостовериться, что нет никаких признаков, указывающих на тайное возвращение Сайкса. По-видимому, удовлетворенный осмотром, он раза два-три кашлянул и столько же раз пытался завязать разговор, но девушка не обращала на него никакого внимания, словно перед ней был камень. Наконец, он сделал еще одну попытку и, потирая руки, спросил самым заискивающим тоном:

— Как вы думаете, моя милая, где теперь Билл?

Девушка невнятно простонала в ответ, что этого она не знает, и по приглушенному всхлипыванию можно было угадать, что она плачет.

— А мальчик? — продолжал еврей, стараясь заглянуть ей в лицо. — Бедный ребенок! Его оставили в канаве! Нэнси, подумай только!

— Ребенку лучше там, чем у нас, — сказала девушка, неожиданно подняв голову. — И если только Билл не попадет из-за этого в беду, я надеюсь, что мальчик лежит мертвый в канаве, и пусть там сгниют его кости.

— Что такое?! — с изумлением воскликнул еврей.

— Да, надеюсь! — ответила девушка, глядя ему в глаза. — Я буду рада, если узнаю, что он убрался с моих глаз и худшее осталось позади. Я не могу выносить его около себя. Стоит мне посмотреть на него — и я сама себе ненавишна, и вы все мне ненавистны.

— Вздор! — презрительно сказал еврей. — Ты пьяна...

— Вот как! — с горечью воскликнула девушка. — Не ваша вина, если я не пьяная! Будь ваша воля, вы бы всегда меня спаивали — но только не сегодня. Сейчас эта привычка вам не по нутру, да?

— Совершенно верно! — злобно ответил еврей. — Не по нутру.

— Ну, так измените ее! — со смехом сказала девушка.

— Изменить! — крикнул еврей, окончательно выведенный из терпения неожиданным упорством собеседницы и досадными происшествиями этой ночи. — Да, я ее изменю! Слушай меня, девка! Слушай меня — мне достаточно сказать пять слов, чтобы задушить Сайкса, вот так, как если бы я сдавил сейчас пальцами его бычью шею. Если он вернется, а мальчишку бросит там, если он выкрутится и не доставит мне мальчишки, живого или мертвого, убей его сама, если не хочешь, чтобы он попал в руки Джека Кетча!^[37] Убей его, как только он войдет в эту комнату, не то — попомни мои слова — будет поздно.

— Что это значит? — невольно воскликнула девушка.

— Что это значит? — повторил Феджин, потеряв голову от бешенства. — Этот мальчик стоит сотни фунтов, так неужели я должен терять то, что случай позволяет мне подобрать без всякого риска, — терять из-за глупых причуд пьяной шайки, которую я могу придушить! И вдобавок я связан с самим дьяволом во плоти, которому нужно только завещание, и он может... может...

Задыхаясь, старик запнулся, подыскивая слова, но тут же сдержал приступ гнева, и поведение его совершенно изменилось. За секунду до этого он ловил скрюченными пальцами воздух, глаза были расширены, лицо посинело от ярости, а сейчас он опустил на стул, съежился и дрожал, боясь, что сам выдал какую-то мерзкую тайну. После короткого молчания он решился взглянуть на свою собеседницу. Казалось, он немного успокоился, видя, что та по-прежнему сидит безучастная, в той позе, в какой он ее застал.

— Нэнси, милая! — прохрипел еврей обычным своим тоном. — Ты меня слушала, милая?

— Не приставайте ко мне сейчас, Феджин, — отозвалась девушка, лениво поднимая голову. — Если Билл теперь этого не сделал, так в другой раз сделает. Немало он хороших дел для вас обделал и еще немало обделает, если сможет. А не сможет, так, значит, нечего больше об этом толковать.

— А как насчет мальчика, моя милая?.. — спросил еврей, нервно потирая руки.

— Мальчику приходится рисковать, как и всем остальным, — быстро перебила Нэнси. — И говорю вам: я надеюсь, что он помер и избавился от всяких бед и от вас, — надеюсь, если только с Биллом ничего плохого не приключится. А если Тоби выпутался, то, конечно, и Билл в безопасности, потому что Билл стоит двух таких, как Тоби.

— Ну, а как насчет того, что я говорил, моя милая? — спросил еврей, не спуская с нее сверкающих глаз.

— Если вы хотите, чтобы я для вас что-то сделала, так повторите все сначала, — ответила Нэнси. — А лучше бы вы подождали до завтра. Вы меня на минутку растормошили, но теперь я опять отупела.

Феджин задал еще несколько вопросов все с той же целью установить, обратила ли девушка внимание на его неосторожные намеки; но она отвечала ему с такой готовностью и так равнодушно встречала его пронизательные взгляды, что его первое впечатление, будто она под хмельком, окончательно укрепилось.

Нэнси и в самом деле была подвержена этой слабости, весьма распространенной среди учениц еврея, которых с раннего детства не только не отучали, но, скорее, поощряли к этому. Ее неопрятный вид и резкий запах джина, стоявший в комнате, в достаточной мере подтверждали правильность его догадки. Когда же она после описанной вспышки сначала впала в какое-то отупение, а затем пришла в возбужденное состояние, под влиянием которого то пролиwała слезы, то восклицала на все лады: «Не унывать!» — и рассуждала о том, что хоть милые бранятся, только тешатся, — мистер Феджин, имевший солидный опыт в такого рода делах, убедился, к большому своему удовлетворению, что она очень пьяна.

Успокоенный этим открытием, мистер Феджин, достигнув двух целей, то есть сообщив девушке все, что слышал в тот вечер, и собственными глазами удостоверившись в отсутствии Сайкса, отправился домой. Молодая его приятельница заснула, положив голову на стол.

До полуночи оставалось около часу. Вечер был темный, пронизывающе холодный, так что Феджин не имел желания мешкать. Резкий ветер, рыскавший по улицам, как будто смел с них пешеходов, словно пыль и грязь, — прохожих было мало, и они, по-видимому, спешили домой. Впрочем, для еврея ветер был попутный, и Феджин шел все вперед и вперед, дрожа и сутулясь, когда его грубо подгонял налетавший вихрь.

Он дошел до угла своей улицы и уже нащупывал в кармане ключ от двери, как вдруг из

окутанного густой тенью подъезда вынырнула какая-то темная фигура и, перейдя через улицу, незаметно приблизилась к нему.

— Феджин! — прошептал у самого его уха чей-то голос.

— Ах! — вскрикнул еврей, быстро обернувшись. — Вы...

— Да! — перебил незнакомец. — Вот уже два часа, как я здесь слоняюсь. Черт подери, где вы были?

— Ходил по вашим делам, мой милый, — ответил еврей, с беспокойством посматривая на своего собеседника и замедляя шаги. — Весь вечер по вашим делам.

— Да, конечно! — с усмешкой сказал незнакомец. — Ну, а что же из этого вышло?

— Ничего хорошего, — ответил еврей.

— Надеюсь, и ничего плохого? — спросил незнакомец, неожиданно остановившись и бросив испуганный взгляд на своего спутника.

Еврей покачал головой и хотел было ответить, но незнакомец, перебив его, указал на дом, к которому они тем временем подошли, и заметил, что лучше поговорить под крышей, так как кровь у него застыла от долгого ожидания и ветер пронизывает насквозь.

Феджин, казалось, не прочь был отговориться тем, что не может ввести в дом посетителя в такой поздний час, и даже пробормотал, что камин не затоплен, но, когда его спутник повелительным тоном повторил свое требование, он отпер дверь и попросил его закрыть ее потихоньку, пока он принесет свечу.

— Здесь темно, как в могиле, — сказал незнакомец, ощупью сделав несколько шагов. — Поторапливайтесь.

— Закройте дверь, — шепнул Феджин с другого конца коридора.

В эту минуту дверь с шумом захлопнулась.

— Это не моя вина, — сказал незнакомец, пощупывая дорогу. — Ветер закрыл ее или она сама захлопнулась — одно из двух. Скорее дайте свет, не то я наткнусь на что-нибудь в этой проклятой дыре и разможжу себе голову.

Феджин крадучись спустился по лестнице в кухню. После недолгого отсутствия он вернулся с зажженной свечой и сообщил, что Тоби Крекит спит в задней комнате внизу, а мальчики — в передней. Знаком предложив незнакомцу следовать за ним, он стал подниматься по лестнице.

— Здесь мы можем обо всем переговорить, мой милый, — сказал еврей, открывая дверь комнаты во втором этаже. — Но так как в ставнях есть дыры, а мы не хотим, чтобы соседи видели у нас свет, то свечу мы оставим на лестнице. Вот так!

С этими словами еврей, наклонившись, поставил подсвечник на верхнюю площадку лестницы как раз против двери. Затем он первый вошел в комнату, где не было никакой мебели, кроме сломанного кресла и старой кушетки или дивана без обивки, стоявшего за дверью. На этот диван устало опустился незнакомец, а еврей подвинул кресло так, что они сидели друг против друга. Здесь было не совсем темно: дверь была приотворена, а свеча на площадке отбрасывала

слабый отблеск света на противоположную стену.

Сначала они разговаривали шепотом. Хотя из этого разговора нельзя было разобрать ничего, кроме отдельных несвязных слов, однако слушатель мог бы легко угадать, что Феджин как будто защищается, отвечая на замечания незнакомца, а этот последний крайне раздражен. Так толковали они с четверть часа, если не больше, а затем Монкс — этим именем еврей несколько раз на протяжении их беседы называл незнакомца — сказал, слегка повысив голос:

— Повторяю, этот план ни к черту не годился. Почему было не оставить его здесь, вместе с остальными, и не сделать из него этакого паршивого, сопливого карманника?

— Вы только послушайте, что он говорит! — воскликнул еврей, пожимая плечами.

— Да неужели же вы хотите сказать, что не могли бы этого сделать, если бы захотели? — сердито спросил Монкс. — Разве вы этого не делали десятки раз с другими мальчишками? Если бы у вас хватило терпения на год, неужели вы не добились бы, чтобы его засудили и выслали из Англии, быть может на всю жизнь?

— Кому бы это пошло на пользу, мой милый? — униженно спросил еврей.

— Мне, — ответил Монкс.

— Но не мне, — смиренно сказал еврей? — Мальчик мог оказаться мне полезен. Когда в договоре участвуют две стороны, благоразумие требует считаться с интересами обеих, не так ли, милый друг?

— Что же дальше? — спросил Монкс.

— Я понял, что нелегко будет приучить его к делу, — ответил еврей. — Он не похож на других мальчишек, очутившихся в таком же положении.

— Да, не похож, будь он проклят! — пробормотал Монкс. — Иначе он бы давным-давно стал вором.

— Чтобы испортить его, мне надо было сперва забрать его хорошенько в руки, — продолжал еврей, с тревогой всматриваясь в лицо собеседника. — Но я ничего не мог с ним поделать. Я ничем не мог его запугать, а с этого мы всегда должны начинать, иначе наши труды пропадут; даром. Что мне было делать? Посылать его с Плутом и Чарли? Довольно с меня и одного раза, мой милый; тогда я трепетал за всех нас.

— Уж в этом-то я не виноват, — заметил Монкс.

— Конечно, конечно, мой милый? — подхватил еврей. — Да я и не жалею теперь: ведь не случись этого, вы, может быть, никогда бы не увидели мальчишки, а значит, и не узнали бы, что как раз его-то и разыскиваете. Ну что ж! Я его вернул вам с помощью этой девки, а потом она вздумала жалеть его.

— Задушить девку! — нетерпеливо сказал Монкс.

— Сейчас мы не можем себе это позволить, мой милый, — улыбаясь, ответил еврей. — И к тому же мы такими делами не занимаемся, иначе я бы с радостью это сделал в один из ближайших дней. Я этих девок хорошо знаю, Монкс. Как только мальчишка закалится, она будет интересоваться им не больше, чем бревном. Вы хотите, чтобы мальчишка стал вором. Если он

жив, я могу это сделать, а если... если... — сказал еврей, придвигаясь к своему собеседнику, — помните, это маловероятно... но если случилась беда и он умер...

— Не моя вина, если он умер! — с ужасом перебил Монкс, дрожащими руками схватив руку еврея. — Запомните, Феджин! Я в этом не участвовал. С самого начала я вам сказал — все, только не его смерть. Я не хотел проливать кровь: в конце концов это всегда обнаруживается, и, вдобавок человек не находит себе покоя. Если его застрелили, я тут ни при чем, слышите?.. Черт бы побрал это логовище!.. Что это такое?

— Что? — вскричал еврей, обеими руками обхватив труса, когда тот вскочил с места. — Где?

— Вон там! — ответил Монкс, пристально глядя на противоположную стену. — Тень! Я видел тень женщины в накидке и шляпе, она быстро скользнула вдоль стены!

Еврей разжал руки, и оба стремительно выбежали из комнаты. Свеча, оплывшая от сквозняка, стояла там, где ее поставили. При свете ее видна была только лестница и их побелевшие лица. Оба напряженно прислушивались: глубокая тишина царила во всем доме.

— Вам почудилось, — сказал еврей, беря свечу и поворачиваясь к своему собеседнику.

— Клянусь, что я ее видел! — дрожа, возразил Монкс. — Она стояла, наклонившись, когда я ее увидел, а когда я заговорил, она метнулась прочь.

Еврей с презрением посмотрел на бледное лицо своего собеседника и, предложив ему, если он хочет, следовать за ним, стал подниматься по лестнице. Они заглянули во все комнаты; в них было холодно, голо и пусто. Они спустились в коридор и дальше, в подвал. Зеленая плесень покрывала низкие стены; следы, оставленные улитками и слизняками, блестели при свете свечи, но кругом было тихо, как в могиле.

— Ну, что вы теперь скажете? — спросил еврей, когда они вернулись в коридор. — Не считая нас с вами, в доме нет никого — только Тоби и мальчишки, а их можно не опасаться. Смотрите!

В подтверждение этого факта еврей вынул из кармана два ключа и объяснил, что, спустившись в первый раз вниз, он запер их в комнате, чтобы никто не помешал беседе.

Это новое доказательство значительно поколебало уверенность мистера Монкса. Его возражения становились все менее и менее бурными по мере того, как оба продолжали поиски и ничего не обнаружили; наконец, он начал мрачно хохотать и признался, что всему виной только его расстроенное воображение. Однако он отказался возобновить в тот вечер разговор, вспомнив внезапно, что уже второй час. И любезная парочка рассталась.

Глава XXVII, заглаживает неучтивость одной из предыдущих глав, в которой весьма, бесцеремонно покинута некая леди

Скромному автору не подобает, конечно, заставлять столь важную особу, как бидл, ждать, повернувшись спиной к камину и подобрав полы шинели, до той поры, пока автор не соблаговолит отпустить его; и еще менее подходит автору, принимая во внимание его положение и галантность, относиться с тем же пренебрежением к леди, на которую сей бидл бросил взор нежный и любовный, нашептывая ласковые слова, которые, исходя от такого лица, заставили бы затрепетать сердце любой девицы или матроны. Историк, чье перо пишет эти

слова, — полагая, что знает свое место и относится с подобающим уважением к тем смертным, кому дарована высшая, непререкаемая власть, — спешит засвидетельствовать им почтение, коего они вправе ждать по своему положению, и соблюсти все необходимые церемонии, которых требуют от него их высокое звание, а следовательно, и великие добродетели.

С этой целью автор намеревался даже привести здесь доводы касательно божественного происхождения прав бидла и его непогрешимости. Такие доводы не преминули бы доставить удовольствие и пользу здравомыслящему читателю, но, к сожалению, за недостатком времени и места автор принужден отложить это до более удобного и благоприятного случая; когда же таковой представится, автор готов разъяснить, что бидл в точном смысле этого слова — а именно: приходский бидл, состоящий при приходском работном доме и прислуживающий в качестве официального лица в приходской церкви, — наделен по своей должности всеми добродетелями и наилучшими качествами, и ни на одну из этих добродетелей не имеют ни малейшего права притязать бидлы, состоящие при торговых, компаниях, судейский бидлы и даже бидлы в часовнях (впрочем, последние все-таки имеют на это некоторое право, хоть и самое ничтожное).

Мистер Бамбл еще раз пересчитал чайные ложки, взвесил на руке шипчики для сахара, внимательно осмотрел молочник, в точности установил, в каком состоянии находится мебель и даже конский волос в сиденьях кресел, и, проделав каждую из этих операций не менее пяти-шести раз, начал подумывать о том, что пора бы уже миссис Корни вернуться. Одна мысль порождает другую: так как ничто не указывало на приближение миссис Корни, мистеру Бамблу пришло в голову, что он проведет время невинно и добродетельно, если удовлетворит свое любопытство беглым осмотром комода миссис Корни.

Прислушавшись у замочной скважины с целью удостовериться, что никто не идет, мистер Бамбл начал знакомиться с содержимым трех длинных ящиков, начиная с нижнего; эти ящики, наполненные всевозможными принадлежностями туалета прекрасного качества, которые были заботливо уложены между двумя листами старой газеты и посыпаны сухой лавандой, по-видимому, доставили ему чрезвычайное удовольствие. Добравшись до ящика в правом углу (где торчал ключ) и узрев в нем шкатулочку с висячим замком, откуда, когда он ее встряхнул, донесся приятный звук, напоминающий звон монет, мистер Бамбл величественной поступью вернулся к камину и, приняв прежнюю позу, произнес с видом серьезным и решительным: «Я это сделаю». После сего примечательного заявления он минут десять игриво покачивал головой, как будто рассуждал сам с собой о том, какой он славный парень, а затем с явным удовольствием и интересом стал рассматривать свои ноги сбоку.

Он все еще мирно предавался этому созерцанию, как вдруг в комнату ворвалась миссис Корни, задыхаясь, упала в кресло у камина и, прикрыв глаза одной рукой, другую прижала к сердцу, стараясь отдышаться.

— Миссис Корни, — сказал мистер Бамбл, наклоняясь к надзирательнице, — в чем дело, сударыня? Что случилось, сударыня? Прошу вас, отвечайте, я как на... на...

Мистер Бамбл от волнения не мог припомнить выражения «как на иголках» и вместо этого сказал: «как на осколках».

— Ах, мистер Бамбл! — воскликнула леди. — Меня так ужасно расстроили.

— Расстроили, сударыня? — повторил мистер Бамбл. — Кто посмел?.. Я знаю, — произнес мистер Бамбл с присущим ему величием, сдерживая свои чувства, — эти дрянные бедняки.

— Страшно и подумать, — содрогаясь, сказала леди.

— В таком случае не думайте, сударыня, — отвечал мистер Бамбл.

— Не могу, — захныкала леди.

— Тогда выпейте чего-нибудь, сударыня, — успокоительным тоном сказал мистер Бамбл. — Рюмочку вина?

— Ни за что на свете, — ответила миссис Корни. — Не могу... Ох! На верхней полке, в правом углу... Ох!

Произнеся эти слова, добрая леди указала в умопомрачении на буфет и начала корчиться от спазм. Мистер Бамбл устремился к шкафу и, схватив с полки, столь туманно ему указанной, зеленую бутылку, вмещающую пинту, наполнил ее содержимым чайную чашку и поднес к губам леди.

— Теперь мне лучше, — сказала миссис Корни, выпив полчашки и откинувшись на спинку стула.

В знак благодарности мистер Бамбл благоговейно возвел очи к потолку, потом опустил их на чашку и поднес ее к носу.

— Пепперминт ^[38], — слабым голосом промолвила миссис Корни, нежно улыбаясь бидлу. — Попробуйте. Там есть еще... еще кое-что.

Мистер Бамбл с недоверчивым видом отведал лекарство, причмокнув губами, отведал еще раз и осушил чашку.

— Это очень успокаивает, — сказала миссис Корни.

— Чрезвычайно успокаивает, сударыня, — сказал бидл.

С этими словами он придвинул стул к креслу надзирательницы и ласковым голосом осведомился, что ее расстроило.

— Ничего, — ответила миссис Корни. — Я такое глупое, слабое создание, меня так легко взволновать...

— Ничуть не слабое, сударыня, — возразил мистер Бамбл, придвинув ближе свой стул. — Разве вы слабое создание, миссис Корни?

— Все мы слабые создания, — сказала миссис Корни, констатируя общеизвестную истину.

— Да, правда, — согласился бидл.

Затем оба молчали минуты две. По истечении этого времени мистер Бамбл, поясняя высказанную мысль, снял руку со спинки кресла миссис Корни, где эта рука раньше покоилась, и положил ее на пояс передника миссис Корни, вокруг которого она постепенно обвилась.

— Все мы слабые создания, — сказал мистер Бамбл.

Миссис Корни вздохнула.

— Не вздыхайте, миссис Корни, — сказал мистер Бамбл.

— Не могу удержаться, — сказала миссис Корни. И снова вздохнула...

— У вас очень уютная комната, сударыня, — осматриваясь вокруг, сказал мистер Бамбл. — Прибавить к ней еще одну, сударыня, и будет прекрасна.

— Слишком много для одного человека, — прошептала леди.

— Но не для двух, сударыня, — нежным голосом возразил мистер Бамбл. — Не так ли, миссис Корни?

Когда бидл произнес эти слова, миссис Корни опустила голову; бидл тоже опустил голову, чтобы заглянуть в лицо миссис Корни. Миссис Корни весьма пристойно отвернулась и высвободила руку, чтобы достать носовой платок, но, сама того не сознавая, вложила ее в руку мистера Бамбла.

— Совет, отпускает вам уголь, не правда ли, миссис Корни? — спросил бидл, нежно пожимая ей руку.

— И свечи, — ответила миссис Корни, в свою очередь пожимая слегка его руку.

— Уголь, свечи и даровая квартира, — сказал мистер Бамбл. — О миссис Корни, вы — ангел!

Леди не устояла перед таким взрывом чувств. Она упала в объятия мистера Бамбла, и сей джентльмен в волнении запечатлел страстный поцелуй на ее целомудренном носу.

— Превосходнейшее творение прихода! — восторженно воскликнул мистер Бамбл. — Известно ли вам, моя очаровательница, что сегодня мистеру Скауту стало хуже?

— Да, — застенчиво отвечала миссис Корни.

— Доктор говорит, что он и недели не протянет, — продолжал мистер Бамбл. — Он стоит во главе этого учреждения; после его смерти освободится вакансия, эту вакансию кто-нибудь должен занять. О миссис Корни, какая перспектива! Какой благоприятный случай, чтобы соединить сердца и завести общее хозяйство!

Миссис Корни всхлипнула.

— Одно словечко, — промолвил мистер Бамбл, склоняясь к застенчивой красавице. — Одно маленькое, маленькое словечко, ненаглядная моя Корни?

— Д... д... да, — прошептала надзирательница.

— Еще одно, дорогая, — настаивал мистер Бамбл. — Соберитесь с силами и произнесите еще одно словечко. Когда это совершится?

Миссис Корни дважды пыталась заговорить и дважды потерпела неудачу. Наконец, собравшись с духом, она обвила руками шею мистера Бамбла и сказала, что это произойдет, когда он пожелает, и что он «ненаглядный ее птенчик».

Когда дело было таким образом улажено, дружески и к полному удовлетворению, договор

скрепили еще одной чашкой пепперминта, которая оказалась весьма необходимой вследствие трепета и волнения, овладевших леди. Осушив чашку, она сообщила мистеру Бамблу о смерти старухи.

— Прекрасно! — сказал сей джентльмен, попивая пепперминт. — По дороге домой я загляну к Саурбери и скажу, чтобы он прислал, что нужно, завтра утром. Так, значит, это вас и испугало, моя дорогая?

— Ничего особенного не случилось, мой милый, — уклончиво отвечала леди.

— Но все-таки что-то случилось, дорогая моя, — настаивал мистер Бамбл. — Неужели вы не расскажете об этом вашему Бамблу?

— Не сейчас... — ответила леди, — в один из ближайших дней, когда мы сочетаемся браком, дорогой мой.

— Когда мы сочетаемся браком! — воскликнул мистер Бамбл. — Неужели у кого-нибудь из этих нищих хватило наглости...

— Нет, нет, дорогой мой! — быстро перебила леди.

— Если бы я считал это возможным, — продолжал мистер Бамбл, — если бы я считал возможным, что они осмелятся взирать своими гнусными глазами на это прелестное лицо...

— Они бы не осмелились, дорогой мой, — ответствовала леди.

— Тем лучше для них, — сказал мистер Бамбл, сжимая руку в кулак. — Покажите мне такого человека, приходского или сверхприходского, который посмел бы это сделать, и я докажу ему, что второй раз он не осмелится.

Не будь это заявление подкреплено энергической жестикуляцией, оно могло бы показаться весьма нелестным для прелестей сей леди, но так как мистер Бамбл сопровождал свою угрозу воинственными жестами, леди была чрезвычайно растрогана этим доказательством его преданности и с величайшим восхищением объявила, что он и в самом деле ее птенчик.

После этого птенчик поднял воротник шинели, надел треуголку и, обменявшись долгим и нежным поцелуем с будущей своей подругой жизни, снова храбро зашагал навстречу холодному ночному ветру, задержавшись лишь на несколько минут в палате для бедняков мужского пола, чтобы осыпать их бранью и тем самым удостовериться, что может с надлежащей суровостью исполнять обязанности начальника работного дома. Убедившись в своих способностях, мистер Бамбл покинул заведение с легким сердцем и радужными мечтами о грядущем повышении, которые занимали его, пока он не дошел до лавки гробовщика.

Мистер и миссис Саурбери пили чай и ужинали в гостях, а Ноэ Клейпол никогда не склонен был утруждать себя физическими упражнениями, за исключением тех, какие необходимы для принятия пищи и питья, — вот почему лавка оказалась незапертой, хотя уже миновал час, когда ее обычно закрывали. Мистер Бамбл несколько раз ударил тростью по прилавок, но не привлек к себе внимания и, видя свет за стеклянной дверью маленькой гостиной позади лавки, решил заглянуть туда, чтобы узнать, что там происходит. Узнав же, что там происходит, он был немало удивлен.

Стол был покрыт скатертью; на нем красовались хлеб и масло, тарелки и стаканы, кружка портера и бутылка вина. Во главе стола, небрежно развалившись в кресле и перебросив ноги

через ручку, сидел мистер Ноэ Клейпол; в одной руке у него был раскрытый складной нож, а в другой — огромный кусок хлеба с маслом. Подле него стояла Шарлотт и раскрывала вынутые из бочонка устрицы, которые мистер Клейпол достаивал проглатывать с удивительной жадностью. Нос молодого джентльмена, более красный, чем обычно, и какое-то напряженное подмигивание правым глазом свидетельствовали, что он под хмельком; эти симптомы подтверждало и величайшее наслаждение, с каким он поедал устрицы и которое можно было объяснить лишь тем, что он весьма ценил их свойство охлаждать сжигающий его внутренний жар.

— Вот чудесная жирная устрица, милый Ноэ, — сказала Шарлотт. — Скушайте ее, одну только эту.

— Чудесная вещь — устрица, — заметил мистер Клейпол, проглотив ее. — Какая досада, что начинаешь плохо себя чувствовать, если съешь слишком много! Правда, Шарлотт?

— Это прямо-таки жестоко, — сказала Шарлотт.

— Совершенно верно, — согласился мистер Клейпол. — А вы любите устрицы?

— Не очень, — отвечала Шарлотт. — Мне приятнее смотреть, как вы их едите, милый Ноэ, чем самой их есть.

— Ах, боже мой... — раздумчиво сказал Ноэ. — Как странно!

— Еще одну! — предложила Шарлотт. — Вот эту, с такими красивыми, нежными ресничками.

— Больше не могу ни одной, — сказала Ноэ. — Очень печально... Подойдите ко мне, Шарлотт, я вас поцелую.

— Что такое? — вскричал мистер Бамбл, врываясь в комнату. — Повторите-ка это, сэр.

Шарлотт взвизгнула и закрыла лицо передником. Мистер Клейпол, оставаясь в прежней позе и только спустив ноги на пол, с пьяным ужасом взирал на бидла.

— Повторите-ка это, дерзкий, дрянной мальчишка, — продолжал Бамбл. — Как вы смее заикаться о таких вещах, сэр?.. А вы как смее подстрекать его, бесстыдная вертушка?.. Поцеловать ее! — воскликнул мистер Бамбл в сильнейшем негодовании. — Тьфу!

— Я вовсе этого не хотел, — захныкал Ноэ. — Она вечно сама меня целует, нравится мне это или не нравится.

— О Ноэ! — с упреком воскликнула Шарлотт.

— Да, целуешь. Сама знаешь, что целуешь, — возразил Ноэ. — Она всегда это делает, мистер Бамбл, сэр; она меня треплет по подбородку, сэр, и всячески ухаживает.

— Молчать!.. — строго прикрикнул мистер Бамбл. — Ступайте вниз, сударыня... Ноэ, закройте лавку. Вам не поздоровится, если вы еще хоть словечко пророните, пока не вернется ваш хозяин. А когда он придет домой, передайте ему, что мистер Бамбл приказал прислать завтра утром, после завтрака, гроб для старухи. Слышите, сэр?.. Целоваться! — воскликнул мистер Бамбл, вздев руки. — Поистине ужасна развращенность и греховность низших классов в этом приходе. Если парламент не обратит внимания на их гнусное поведение, погибла эта страна, а вместе с нею и нравственность крестьян!

С этими словами бидл величественно и мрачно покинул владения гробовщика.

А теперь, проводив домой бидла и покончив со всеми необходимыми приготовлениями для похорон старухи, справимся о юном Оливере Твисте и удостоверимся, лежит ли он еще в канаве, где его оставил Тоби Крекит.

Глава XXVIII, занимается Оливером Твистом и повествует о его приключениях

— Чтобы вам волки перегрызли глотку! — скрежеща зубами, бормотал Сайкс. — Попадись вы мне — вы бы у меня завыли.

Бормоча эти проклятия с самой безудержной злобой, на какую только способна была его натура. Сайкс опустил раненого мальчика на колени и на секунду повернул голову, чтобы разглядеть своих преследователей.

В темноте и тумане почти ничего нельзя было увидеть, но он слышал громкие крики, и со всех сторон доносился лай собак, разбуженных набатом.

— Стой, трусливая тварь! — крикнул разбойник вслед Тоби Крекиту, который, не щадя своих длинных ног, далеко опередил его. — Стой!

После второго окрика Тоби Крекит остановился как вкопанный. Он был не совсем уверен в том, что находится за пределами пистолетного выстрела, а Сайкс пребывал не в таком расположении духа, чтобы с ним шутить.

— Помоги нести мальчика! — крикнул Сайкс, злобно подзывая своего сообщника. — Вернись!

Тоби сделал вид, будто возвращается, но шел медленно и тихим голосом, прерывавшимся от одышки, осмелился выразить крайнее свое нежелание идти.

— Поторапливайся! — крикнул Сайкс, положив мальчика в сухую канаву у своих ног и вытаскивая из кармана пистолет. — Меня не проведешь.

В эту минуту шум усилился. Сайкс, снова оглянувшись, увидел, что гнавшиеся за ним люди уже перелезают через ворота в конце поля, а две собаки опередили их на несколько шагов.

— Все кончено, Билл! — крикнул Тоби. — Брось мальчишку и улепетывай!

Дав на прощание этот совет, мистер Крекит, предпочитая возможность умереть от руки своего друга уверенности в том, что он попадет в руки врагов, пустился наутек и помчался во всю прыть. Сайкс стиснул зубы, еще раз оглянулся, накрыл распростертого Оливера плащом, в который его второпях завернули, побежал вдоль изгороди, чтобы отвлечь внимание преследователей от того места, где лежал мальчик, на момент приостановился перед другой изгородью, пересекавшей первую под прямым углом, и, выстрелив из пистолета в воздух, перемахнул через нее и скрылся.

— Хо, хо, сюда! — раздался сзади неуверенный голос. — Пинчер! Нептун! Сюда! Сюда!

Собаки, казалось, испытывали от забавы, которой предавались, не больше удовольствия, чем их хозяева, и с готовностью вернулись на зов. Трое мужчин, вышедшие к тому времени в поле, остановились и стали совещаться.

— Мой совет, или, пожалуй, следовало бы сказать — мой приказ: немедленно возвращаться домой, — произнес самый толстый из всех трех.

— Мне по вкусу все, что по вкусу мистеру Джайлсу, — сказал другой, пониже ростом, отнюдь не худощавый, но очень бледный и очень вежливый, каким часто бывает струсивший человек.

— Я бы не хотел оказаться невежей, джентльмены, — сказал третий, тот, что отозвал собак. — Мистеру Джайлсу лучше знать.

— Разумеется, — ответил низкорослый. — И что бы ни сказал мистер Джайлс, не нам ему перечить. Нет, нет, я свое место знаю. Слава Богу, я свое место знаю.

Сказать по правде, маленький человечек как будто и в самом деле знал свое место, и знал прекрасно, что оно отнюдь не завидно, ибо, когда он говорил, зубы у него стучали.

— Вы боитесь, Бритлс! — сказал мистер Джайлс.

— Я не боюсь, — сказал Бритлс.

— Вы боитесь! — сказал Джайлс.

— Вы лжец, мистер Джайлс! — сказал Бритлс.

— Вы лгун, Бритлс! — сказал мистер Джайлс.

Эти четыре реплики были вызваны попреком мистера Джайлса, а попрек мистера Джайлса был вызван его негодованием, ибо под видом комплимента на него возложили ответственность за возвращение домой. Третий мужчина рассудительно положил конец пререканиям.

— Вот что я вам скажу, джентльмены, — заявил он, — мы все боимся.

— Говорите о себе, сэр, — сказал мистер Джайлс, самый бледный из всей компании.

— Я о себе и говорю, — ответил сей джентльмен. — Бояться при таких обстоятельствах вполне натурально и уместно. Я боюсь.

— Я тоже, — сказал Бритлс. — Только зачем же так грубо попрекать этим человека!

Эти откровенные признания смягчили мистера Джайлса, который немедленно сознался, что и он боится, после чего все трое повернули назад и бежали с полным единодушием, пока мистер Джайлс (который был обременен вилами и начал задыхаться раньше всех) весьма любезно не предложил остановиться, так как он хочет принести извинение за свои необдуманные слова.

— Но вот что удивительно, — сказал мистер Джайлс, покончив с объяснениями, — чего только не сделает человек, когда кровь у него закипает! Я мог бы совершить убийство — знаю, что мог бы, если бы мы поймали одного из этих негодяев.

Так как другие двое чувствовали то же самое и так как кровь у них тоже совсем остыла, то они принялись рассуждать о причине этой внезапной перемены в их темпераменте.

— Я знаю причину, — сказал мистер Джайлс. — Ворота!

— Я бы не удивился, если б так оно и было! — воскликнул Бритлс, ухватившись за эту мысль.

— Можете не сомневаться, — сказал Джайлс, — это ворота охладили пыл. Перелезая через них, я почувствовал, как весь мой пыл внезапно улетучился.

По удивительному стечению обстоятельств другие двое испытали такое же неприятное ощущение в тот же самый момент. Итак, было совершенно очевидно, что всему причиной ворота; к тому же не оставалось никаких сомнений относительно момента, когда наступила перемена, ибо все трое припомнили, что как раз в эту минуту они увидели разбойников.

Этот разговор вели двое мужчин, спугнувшие взломщиков, и спавший в сарае странствующий лудильщик, которого разбудили, чтобы он со своими двумя дворнягами тоже принял участие в погоне. Мистер Джайлс исполнял обязанности дворецкого и управляющего в доме старой леди; Бритлс был на побегушках; поступив к ней на службу совсем ребенком, он все еще считался многообещающим юнцом, хотя ему уже шел четвертый десяток.

Подбодряя себя такими разговорами, но тем не менее держась поближе друг к другу и пугливо озираясь, когда ветви трещали под порывами ветра, трое мужчин бегом вернулись к дереву, позади которого оставили свой фонарь, чтобы свет его не надоумил грабителей, куда стрелять. Подхватив фонарь, они бодрой рысцой пустились к дому; и, когда уже нельзя было различить в темноте их фигуры, фонарь долго еще мерцал и плясал вдали, словно какой-то болотный огонек в сыром и нездоровом воздухе.

По мере того как приближался день, становилось все свежее, и туман клубился над землею, подобно густым облакам дыма. Трава была мокрая, тропинка и низины покрыты жидкой грязью; с глухим воем лениво налетали порывы сырого, тлетворного ветра. Оливер по-прежнему лежал неподвижный, без чувств, там, где его оставил Сайкс.

Загоралось утро. Ветер стал более резким и пронизывающим, когда первые тусклые проблески рассвета, — скорее смерть ночи, чем рождение дня, — слабо забрезжили в небе. Предметы, казавшиеся расплывчатыми и страшными в темноте, постепенно вырисовывались все яснее и яснее и принимали свой обычный вид. Полил дождь, частый и сильный, и застучал по голым кустам. Но Оливер не чувствовал, как хлестал его дождь, потому что все еще лежал без сознания, беспомощный, распростертый на своем глинистом ложе.

Наконец, болезненный стон нарушил тишину, и с этим стоном мальчик очнулся. Левая его рука, кое-как обмотанная шарфом, повисла тяжелая и бессильная; повязка была пропитана кровью. Он так ослабел, что ему едва удалось приподняться и сесть; усевшись, он с трудом огляделся кругом в надежде на помощь и застонал от боли. Дрожа всем телом от холода и слабости, он сделал попытку встать, но, содрогнувшись с головы до ног, как подкошенный упал на землю.

Когда он очнулся от короткого обморока, подобного тому, в который он был так долго погружен, Оливер, побуждаемый дурнотой, подползавшей к сердцу и словно предупреждавшей его, что он умрет, если останется здесь лежать, поднялся на ноги и попытался идти. Голова у него кружилась, и он шатался, как пьяный. Однако он удержался на ногах и, устало свесив голову на грудь, побрел, спотыкаясь, вперед, сам не зная куда.

И тогда в его сознании возникли какие-то сбивчивые, неясные образы. Ему чудилось, будто он все еще шагает между Сайксом и Крекитом, которые сердито переругиваются, — даже те слова, какими они обменивались, звучали у него в ушах; а когда он, сделав невероятное усилие, чтобы не упасть, пришел в себя, то обнаружил, что он сам разговаривал с ними. Потом он остался один с Сайксом и брел вперед, как накануне; а когда мимо проходили призрачные люди, он чувствовал, как Сайкс сжимает ему руку. Вдруг он отшатнулся, услышав выстрелы;

раздались громкие вопли и крики; перед глазами замелькали огни; вокруг был шум и грохот; чья-то невидимая рука увлекла его прочь. В то время как быстро сменялись эти видения, его не покидало смутное ощущение какой-то боли, которая не давала ему покоя.

Так плелся он, шатаясь, вперед, пролезал, чуть ли не машинально, между перекладами ворот и в проломы изгородей, попадавших ему на пути, пока не вышел на дорогу. Тут начался такой ливень, что мальчик пришел в себя.

Он осмотрелся по сторонам и неподалеку увидел дом, до которого, пожалуй, мог бы добраться. Быть может, там, видя печальное его состояние, сжалятся над ним, а если и не сжалятся, подумал он, то все-таки лучше умереть близ людей, чем в пустынном открытом поле. Он собрал все свои силы для этого последнего испытания и нетвердыми шагами направился к дому.

Когда он подошел ближе, ему показалось, что он уже видел его раньше. Деталей он не помнил, но дом был ему как будто знаком.

Стена сада! На траве, за стеной, он упал прошлой ночью на колени и молил тех, двоих, о сострадании. Это был тот самый дом, который они хотели ограбить.

Узнав его, Оливер так испугался, что на секунду забыл о мучительной ране и думал только о бегстве. Бежать! Но он едва держался на ногах, и если бы даже силы не покинули его хрупкого детского тела, куда было ему бежать? Он толкнул калитку: она была не заперта и распахнулась. Спотыкаясь, он пересек лужайку, поднялся по ступеням, слабой рукой постучал в дверь, но тут силы ему изменили, и он опустился на ступеньку, прислонившись спиной к одной из колонн маленького портика.

Случилось так, что в это время мистер Джайлс, Бритлс и лудильщик после трудов и ужасов этой ночи подкреплялись в кухне чаем и всякой снедью. Нельзя сказать, чтобы мистер Джайлс привык терпеть излишнюю фамильярность со стороны простых слуг, по отношению к которым держал себя с величественной приветливостью, каковая была им приятна, но все же не могла не напомнить о его более высоком положении в обществе. Но смерть, пожар и грабеж делают всех равными; вот почему мистер Джайлс сидел, вытянув ноги перед решеткой очага и облокотившись левой рукой на стол, правой пояснял детальный и обстоятельный рассказ о грабеже, которому его слушатели (в особенности же кухарка и горничная, находившиеся в этой компании) внимали с безграничным интересом.

— Было это около половины третьего... — начал мистер Джайлс, — поклясться не могу, быть может около трех... когда я проснулся и повернулся на кровати, скажем, вот так (тут мистер Джайлс повернулся на стуле и натянул на себя край скатерти, долженствующей изображать одеяло), как вдруг мне послышался шум...

Когда рассказчик дошел до этого места в своем повествовании, кухарка побледнела и попросила горничную закрыть дверь; та попросила Бритлса, тот попросил лудильщика, а тот сделал вид, что не слышит.

— ...послышался шум, — продолжал мистер Джайлс. — Сначала я сказал себе: «Мне почудилось», — и приготовился уже опять заснуть, как вдруг снова, на этот раз ясно, услышал шум.

— Какой это был шум? — спросила кухарка.

— Как будто что-то затрещало, — ответил мистер Джайлс, поглядывая по сторонам.

— Нет, вернее, будто кто-то водил железом по терке для мускатных орехов, — подсказал Бритлс.

— Так оно и было, когда вы, сэр, слышали шум, — возразил мистер Джайлс, — но в ту минуту это был какой-то треск. Я откинул одеяло, — продолжал Джайлс, отвернув край скатерти, — уселся в постели и прислушался.

Кухарка и горничная в один голос воскликнули: «Ах, боже мой!» — и ближе придвинулись друг к другу.

— Теперь я совершенно отчетливо слышал шум, — повествовал мистер Джайлс. — «Кто-то, говорю я себе, взламывает дверь или окно. Что делать? Разбужу-ка я этого бедного парнишку Бритлса, спасу его, чтобы его не убили в кровати, а не то, говорю я, он и не услышит, как ему перережут горло от правого уха до левого».

Тут все взоры обратились на Бритлса, который воззрился на рассказчика и таращил на него глаза, широко разинув рот и всей своей физиономией выражая беспредельный ужас.

— Я отшвырнул одеяло, — продолжал Джайлс, отбрасывая край скатерти и очень сурово глядя на кухарку и горничную, — потихоньку спустился с кровати, натянул пару...

— Мистер Джайлс, здесь дамы, — прошептал лудильщик.

— ...башмаков, сэр, — сказал Джайлс, поворачиваясь к — нему и особо подчеркивая это слово, — схватил заряженный пистолет, который всегда относят наверх вместе с корзиной со столовым серебром, и на цыпочках вышел к нему в комнату. «Бритлс, говорю я, разбудив его, не пугайся!..»

— Да, вы это сказали, — тихим голосом вставил Бритлс.

— «Мне кажется, твоя песенка спета, Бритлс, говорю я, — продолжал Джайлс, — но ты не пугайся».

— А он испугался? — спросила кухарка.

— Ничуть, — ответил мистер Джайлс. — Он был так же тверд... да, почти так же тверд, как и я.

— Право же, будь я на его месте, я бы тут же умерла, — заметила горничная.

— Вы — женщина, — возразил Бритлс, слегка приободрившись.

— Бритлс прав, — сказал мистер Джайлс, одобрительно кивая головой, — ничего другого и ждать нельзя от женщины. Но мы, мужчины, взяли потайной фонарь, стоявший на камине у Бритлса, и ощупью, в непроглядной тьме, спустились по лестнице — скажем, вот так...

Сопровождая свой рассказ соответствующими жестами, мистер Джайлс встал и сделал два шага с закрытыми глазами, но вдруг сильно вздрогнул, так же как и все остальные, и бросился назад к своему стулу. Кухарка и горничная взвизгнули.

— Кто-то постучал, — сказал мистер Джайлс, притворяясь безмятежно спокойным. — Пусть кто-нибудь откроет дверь.

Никто не шевельнулся.

— Довольно странно — стук в такой ранний час, — сказал мистер Джайлс, окинув взглядом бледные лица окружающих, да и сам он очень побледнел, — но дверь открыть нужно. Кто-нибудь, слышите?

При этом мистер Джайлс посмотрел на Бритлса, но сей молодой человек, будучи от природы скромным, должно быть почитал себя никем и, следовательно, полагал, что этот вопрос не имеет к нему ни малейшего отношения: во всяком случае он ничего не ответил. Мистер Джайлс перевел умоляющий взгляд на лудильщика, но тот внезапно заснул. О женщинах не могло быть и речи.

— Если Бритлс согласится отпереть дверь в присутствии свидетелей, — сказал после короткого молчания мистер Джайлс, — я готов быть одним из них.

— Я также, — сказал лудильщик, проснувшись так же внезапно, как и заснул.

На этих условиях Бритлс сдался, и вся компания, слегка успокоенная открытием (сделанным, когда распахнули ставни), что уже совсем рассвело, стала подниматься по лестнице — впереди шли собаки. Обе женщины, боясь оставаться внизу, замыкали шествие. По совету мистера Джайлса, все говорили очень громко, предупреждая любого находящегося снаружи злоумышленника, что их очень много; а в прихожей, приводя в исполнение гениальный план, родившийся в голове того же изобретательного джентльмена, собак больно дергали за хвост, чтобы они подняли отчаянный лай.

Когда эти меры предосторожности были приняты, мистер Джайлс крепко уцепился за руку лудильщика (чтобы тот не убежал, как любезно пояснил он) и дал приказ открыть дверь. Бритлс повиновался; остальные, боязливо выглядывая друг из-за друга, не увидели ничего устрашающего, кроме бедного, маленького Оливера Твиста. От слабости он не мог говорить, только поднял отяжелевшие веки и безмолвно молил о сострадании.

— Мальчик! — воскликнул мистер Джайлс, храбро оттесняя на задний план лудильщика. — Что с ним такое... а?... Что? Бритлс... Взгляни-ка... Ты узнаешь?

Не успел Бритлс — он отступил за дверь (чтобы открыть ее) — увидеть Оливера, как у него вырвался громкий крик. Мистер Джайлс, схватив Оливера за ногу и за руку (к счастью, за здоровую руку), втащил его прямо в холл и положил на пол.

— Вот он! — заорал Джайлс, в сильнейшем возбуждении поворачиваясь лицом к лестнице. — Вот один из грабителей, сударыня! Вот он, грабитель, мисс! Он ранен, мисс! Я его подстрелил, а Бритлс мне светил.

— Держал фонарь, мисс! — крикнул Бритлс, приложив руку ко рту так, чтобы голос его звучал громче.

Обе служанки бросились наверх сообщить о том, что мистер Джайлс поймал грабителя, а лудильщик старался привести в чувство Оливера, чтобы тот не умер раньше, чем его можно будет повесить. Среди этого шума и суматохи послышался нежный женский голос, сразу водворивший тишину.

— Джайлс! — прошептал голос с верхней площадки лестницы.

— Я здесь, мисс, — отозвался мистер Джайлс. — Не пугайтесь, мисс, я не очень пострадал. Он не оказывал отчаянного сопротивления, мисс! Я быстро с ним справился.

— Тише! — сказала молодая леди. — Вы пугаете мою тетю не меньше, чем напугали ее воры... Бедняжка, он тяжело ранен?

— Ужасно, мисс! — ответил Джайлс с неописуемым самодовольством.

— Похоже на то, что он сейчас помрет, мисс, — заорал Бритлс тем же голосом. — Не угодно ли вам спуститься вниз и поглядеть на него, мисс, на случай если он помрет?

— Будьте добры, пожалуйста, потише! — сказала леди. — Подождите тихонько одну минутку, пока я переговорю с тетей.

И она вышла из комнаты, — поступь у нее была такая же мягкая, как и голос. Вскоре она вернулась и отдала распоряжение, чтобы раненого осторожно перенесли наверх, в комнату мистера Джайлса, а Бритлс пусть оседлает пони и немедленно отправляется в Чертей, откуда должен как можно скорее прислать констебля и доктора.

— Не хотите ли взглянуть на него сначала, мисс? — спросил мистер Джайлс с такой гордостью, как будто Оливер был птицей с диковинным оперением, которую он ловко подстрелил. — Один разочек, мисс?

— Нет, не сейчас, ни за что на свете, — ответила молодая леди. — Бедняжка! О Джайлс, обращайтесь с ним ласково, ради меня!

Старый слуга посмотрел на говорившую, когда она повернулась, чтобы уйти, с такой гордостью и восхищением, словно она была его детищем. Потом, наклонившись к Оливеру, он заботливо и осторожно, как женщина, помог перенести его наверх.

Глава XXIX, сообщает предварительные сведения об обитателях дома, в котором нашел пристанище Оливер

В уютной комнате, хотя обстановка ее свидетельствовала скорее о старомодном комфорте, чем о современной роскоши, сидели за изысканно сервированным завтраком две леди. Им прислуживал мистер Джайлс, одетый в благопристойную черную пару. Он занимал позицию на полпути между буфетом и столом; выпрямившись во весь рост, откинув голову и слегка склонив ее набок, левую ногу выставив вперед, а правую руку заложив за борт жилета, тогда как в опущенной левой руке у него был поднос, он имел вид человека, который с большой приятностью сознает собственные свои заслуги и значение.

Что касается двух леди, то одна была уже пожилой, но держалась так же прямо, как высокая спинка дубового кресла, в котором она сидела. Одета очень изысканно и строго в старомодное платье, причудливо допускающее некоторые уступки последней моде, которые не только не вредили общему впечатлению, но скорее изящно подчеркивали старый стиль, она сидела с величественным видом, сложив перед собой руки на столе. Глаза ее (а годы почти не затуманили их блеска) смотрели пристально на молодую ее собеседницу.

Для младшей леди наступил очаровательный расцвет, весенняя пора женственности — тот возраст, когда, не впадая в кощунство, можно предположить, что в подобные создания вселяются ангелы, если Бог, во имя благих своих целей, когда-нибудь заключает их в смертную оболочку.

Ей было не больше семнадцати лет. Облик ее был так хрупок и безупречен, так нежен и кроток, так чист и прекрасен, что казалось, земля — не ее стихия, а грубые земные существа —

не подходящие для нее спутники. Даже ум, светившийся в ее глубоких синих глазах и запечатленный на благородном челе, казалось, не соответствовал ни возрасту ее, ни этому миру; но мягкость и добросердечие, тысячи отблесков света, озарявших ее лицо и не оставлявших на нем тени, а главное, улыбка, прелестная, радостная улыбка, были созданы для семьи, для мира и счастья у домашнего очага.

Она усердно хозяйничала за столом. Случайно подняв глаза в ту минуту, когда старая леди смотрела на нее, она весело откинула со лба волосы, скромно причесанные, и ее сияющий взор выразил столько любви и подлинной нежности, что духи небесные улыбнулись бы, на нее глядя.

— Уже больше часу прошло, как уехал Бритлс, не правда ли? — помолчав, спросила старая леди.

— Час двадцать минут, сударыня, — ответил мистер Джайлс, справившись по часам, которые вытаскил за черную ленту.

— Он всегда медлит, — сказала старая леди.

— Бритлс всегда был медлительным парнишкой, сударыня, — отозвался слуга.

Кстати, если принять во внимание, что Бритлс был неповоротливым парнишкой вот уже тридцать лет, казалось маловероятным, чтобы он когда-нибудь сделался проворным.

— Мне кажется, что он становится не лучше, а хуже, — заметила пожилая леди.

— Совершенно непростительно, если он мешкает, играя с другими мальчиками, — улыбаясь, сказала молодая леди.

Мистер Джайлс, по-видимому, раздумывал, уместно ли ему позволить себе почтительную улыбку, но в эту минуту к калитке сада подъехала двуколка, откуда выпрыгнул толстый джентльмен, который побежал прямо к двери и, каким-то таинственным способом мгновенно проникнув в дом, ворвался в комнату и чуть не опрокинул и мистера Джайлса и стол, накрытый для завтрака.

— Никогда еще я не слыхивал о такой штуке! — воскликнул толстый джентльмен. — Дорогая моя миссис Мэйли... ах, боже мой!.. и вдобавок под покровом ночи... никогда еще я не слыхивал о такой штуке!

Выразив таким образом свое соболезнование, толстый джентльмен пожал руку обеим леди и, придвинув стул, осведомился, как они себя чувствуют.

— Вы могли умереть, буквально умереть от испуга, — сказал толстый джентльмен. — Почему вы не послали за мной? Честное слово, мой слуга явился бы через минуту, а также и я, да и мой помощник рад был бы помочь, как и всякий при таких обстоятельствах. Боже мой, боже мой! Так неожиданно! И вдобавок под покровом ночи.

Казалось, доктор был особенно встревожен тем, что попытка ограбления была предпринята неожиданно и в ночную пору, словно у джентльменов-взломщиков установился обычай обделывать свои дела в полдень и предупреждать по почте за день — за два.

— А вы, мисс Роз, — сказал доктор, обращаясь к молодой леди, — я...

— Да, конечно, — перебила его Роз, — но тетя хочет, чтобы вы осмотрели этого беднягу, который лежит наверху.

— Да, да, разумеется, — ответил доктор. — Совершенно верно! Насколько я понял, это ваших рук дело, Джайлс.

Мистер Джайлс, лихорадочно убравший чашки, густо покраснел и сказал, что эта честь принадлежит ему.

— Честь, а? — переспросил доктор. — Ну, не знаю, быть может, подстрелить вора в кухне так же почетно, как и застрелить человека на расстоянии двенадцати шагов. Вообразите, что он выстрелил в воздух, а вы дрались на дуэли, Джайлс.

Мистер Джайлс, считавший такое легкомысленное отношение к делу несправедливой попыткой умалить его славу, почтительно отвечал, что не ему судить об этом, однако, по его мнению, противной стороне было не до шуток.

— Да, правда! — воскликнул доктор. — Где он? Проводите меня. Я еще загляну сюда, когда спущусь вниз, миссис Мэйли. Это то самое оконце, в которое он влез, да? Ну, ни за что бы я этому не поверил!

Болтая без умолку, он последовал за мистером Джайлсом наверх. А пока он поднимается по лестнице, можно поведать читателю, что мистер Лосберн, местный лекарь, которого знали на десять миль вокруг просто как «доктора», растолстел скорее от добродушия, чем от хорошей жизни, и был таким милым, сердечным и к тому же чудаковатым старым холостяком, какого ни один исследователь не сыскал бы в округе и в пять раз большей.

Доктор отсутствовал гораздо дольше, чем предполагал он сам и обе леди. Из двуколки принесли большой плоский ящик; в спальне очень часто звонили в колокольчик, а слуги все время сновали вверх и вниз по лестнице; на основании этих признаков было сделано справедливое заключение, что наверху происходит нечто очень серьезное. Наконец, доктор вернулся и в ответ на тревожный вопрос о своем пациенте принял весьма таинственный вид и старательно притворил дверь.

— Это из ряда вон выходящий случай, миссис Мэйли, — сказал доктор, прислонившись спиной к двери, словно для того, чтобы ее не могли открыть.

— Неужели он в опасности? — спросила старая леди.

— Принимая во внимание все обстоятельства, в этом не было бы ничего из ряда вон выходящего, — ответил доктор, — впрочем, полагаю, что опасности нет. Вы видели этого вора?

— Нет, — ответила старая леди.

— И ничего о нем не слышали?

— Ничего.

— Прошу прощения, сударыня, — вмешался мистер Джайлс, — я как раз собирался рассказать вам о нем, когда вошел доктор Лосберн.

Дело в том, что сначала мистер Джайлс не в силах был признаться, что подстрелил он всего-навсего мальчика. Таких похвал удостоилась его доблесть, что он решительно не мог не

отложить объяснения хотя бы на несколько восхитительных минут, в течение коих пребывал на самой вершине мимолетной славы, которую стяжал непоколебимым мужеством.

— Роз не прочь была посмотреть на него, — сказала миссис Мэйли, — но я и слышать об этом не хотела.

— Гм! — отозвался доктор. — На вид он совсем не страшный. Вы не возражаете против того, чтобы взглянуть на него в моем присутствии?

— Конечно, если это необходимо, — ответила старая леди.

— Я считаю это необходимым, — сказал доктор. — Во всяком случае, я совершенно уверен, что вы очень пожалеете, если будете откладывать и не сделаете этого. Сейчас он лежит тихо и спокойно. Разрешите мне... мисс Роз, вы позволите? Клянусь честью, нет никаких оснований бояться!

Глава XXX, повествует о том, что подумали об Оливере новые лица, посетившие его

Твердя о том, что они будут приятно изумлены видом преступника, доктор продел руку молодой леди под свою и, предложив другую, свободную руку миссис Мэйли, повел их церемонно и торжественно вверх.

— А теперь, — прошептал доктор, тихонько поворачивая ручку двери в спальню, — послушаем, что вы о нем скажете. Он давненько не брился, но тем не менее вид у него совсем не свирепый. А впрочем, постойте! Сначала я посмотрю, готов ли он к приему гостей.

Опередив их, он заглянул в комнату. Потом, дав знак следовать за ним, впустил их, закрыл за ними дверь и осторожно откинул полог кровати. На ней вместо закоснелого, мрачного злодея, которого ожидали они увидеть, лежал худой, измученный болью ребенок, погруженный в глубокий сон. Раненая его рука в лубке лежала на груди; голова покоилась на другой руке, полускрытой длинными волосами, разметавшимися по подушке.

Достойный джентльмен придерживал полог рукой и с минуту смотрел на мальчика молча. Пока он наблюдал пациента, молодая леди тихонько проскользнула мимо него и, опустившись на стул у кровати, откинула волосы с лица Оливера. Когда она наклонилась к нему, ее слезы упали ему на лоб.

Мальчик зашевелился и улыбнулся во сне, словно эти знаки жалости и сострадания пробудили какую-то приятную мечту о любви и ласке, которых он никогда не знал. Так же точно нежная мелодия, журчание воды в тишине, запах цветка или знакомое слово иной раз внезапно вызывают смутное воспоминание о том, чего никогда не было в этой жизни, — воспоминание, которое исчезает, как вздох, которое пробуждено какой-то мимолетной мыслью о более счастливом существовании, давно минувшем, — воспоминание, которое нельзя вызвать, сознательным напряжением памяти.

— Что же это значит? — воскликнула пожилая леди. — Этот бедный ребенок не мог быть подручным грабителей.

— Порок находит себе пристанище во многих храмах, — со вздохом сказал врач, опуская полог, — и кто может сказать, что ему не служит обителью прекрасная оболочка?

— Но в таком юном возрасте? — возразила Роз.

— Милая моя молодая леди, — произнес врач, горестно покачивая головой, — преступление, как и смерть, простирает свою власть не только на старых и дряхлых. Самые юные и прекрасные слишком часто бывают повинны в нем.

— Но неужели... о, неужели вы можете допустить, что этот хрупкий мальчик был добровольным сообщником самых отвратительных отщепенцев? — сказала Роз.

Доктор покачал головой, давая понять, что это весьма возможно; предупредив, чтоб они не потревожили больного, он повел их в соседнюю комнату.

— Но даже если он развращен, — продолжала Роз, — подумайте, как он молод. Подумайте, что, быть может, он никогда не знал ни материнской любви, ни домашнего уюта. Может быть, дурное обращение, побои или голод заставили его сойтись с людьми, которые принудили его пойти на преступление... Тетя, милая тетя, ради бога, подумайте об этом, прежде чем позволите бросить этого больного ребенка в тюрьму, где, конечно, будет погребена последняя надежда на его исправление! О, вы меня любите, вы знаете, что благодаря вашей ласке и доброте я никогда не чувствовала своего сиротства, но я могла бы его почувствовать, могла быть такой же беспомощной и беззащитной, как это бедное дитя! Так сжальтесь же над ним, пока еще не поздно!

— Дорогая моя, — сказала пожилая леди, прижимая к груди плачущую девушку, — неужели ты думаешь, что я трону хоть один волосок на его голове?

— О нет! — с жаром воскликнула Роз.

— Конечно, нет, — подтвердила старая леди. — Жизнь моя клонится к закату, и я в надежде на милосердие ко мне стараюсь быть милосердной к людям... Что мне делать, чтобы спасти его, сэр?

— Дайте подумать, сударыня, — сказал доктор, — дайте подумать...

Мистер Лосберн засунул руки в карманы и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, часто останавливаясь, приподнимаясь на цыпочки и грозно хмурясь. Многократно восклицая: «придумал!» и «нет, не то!» — он снова принимался ходить с нахмуренными бровями и, наконец, остановился и произнес:

— Мне кажется, если вы мне позволите как следует припугнуть Джайлса и мальчугана Бритлса, я с этим делом справлюсь. Знаю, что Джайлс — преданный человек и старый слуга, но у вас есть тысяча способов поладить с ним и вдобавок наградить за меткую стрельбу. Вы против этого не возражаете?

— Если нет другого способа спасти ребенка, — ответила миссис Мэйли.

— Никакого другого способа нет, — сказал доктор. — Никакого! Можете поверить мне на слово.

— В таком случае тетя облакает вас неограниченной властью, — улыбаясь сквозь слезы, сказала Роз. — Но, прошу вас, не будьте с этими бедняками строже, чем это необходимо.

— Вы как будто считаете, мисс Роз, — возразил доктор, — что сегодня все, кроме вас, склонны к жестокосердию. Могу лишь надеяться, ради блага подрастающих представителей мужского

пола, что первый же достойный юноша, который будет взывать к вашему состраданию, найдет вас в таком же чувствительном и мягкосердечном расположении духа. И хотел бы я быть юношей, чтобы тут же воспользоваться таким благоприятным случаем, какой представляется сегодня.

— Вы такой же взрослый ребенок, как и бедняга Бритлс, — зардевшись, сказала Роз.

— Ну что же, — от души рассмеялся доктор, — это не так уж трудно. Но вернемся к мальчику. Нам еще предстоит обсудить основной пункт нашего соглашения. Полагаю, он проснется через час. И хотя я сказал этому тупоголовому констеблю там, внизу, что мальчика нельзя беспокоить и нельзя разговаривать с ним без риска для его жизни, я думаю, мы можем с ним побеседовать, не подвергая его опасности. Я ставлю такое условие: я его спрошу в вашем присутствии, и, если на основании его слов мы заключим, к полному удовлетворению трезвых умов, что он окончательно испорчен (а это более чем вероятно), мальчик будет предоставлен своей судьбе, — я, во всяком случае, больше вмешиваться не стану.

— О нет, тетя! — взмолилась Роз.

— О да, тетя! — перебил доктор. — Решено?

— Он не может быть закоснелым негодяем! — сказала Роз. — Это немыслимо.

— Прекрасно! — заявил доктор. — Значит, тем больше оснований принять мое предложение.

В конце концов договор был заключен, и обе стороны с некоторым нетерпением стали ждать, когда проснется Оливер.

Терпению обеих леди предстояло более длительное испытание, чем предсказал им мистер Лосберн, ибо час проходил за часом, а Оливер все еще спал тяжелым сном. Был уже вечер, когда сердобольный доктор принес им весть, что Оливер достаточно оправился, чтобы можно было с ним говорить. Мальчик, по словам доктора, был очень болен и ослабел от потери крови, но ему так мучительно хотелось о чем-то сообщить, что доктор предпочел дать ему эту возможность и не настаивал, чтобы его не беспокоили до утра; иначе он не преминул бы настоять на этом.

Долго тянулась беседа. Несложную историю своей жизни Оливер рассказал им со всеми подробностями, а боль и упадок сил часто заставляли его умолкать. Печально звучал в затемненной комнате слабый голос больного ребенка, развертывавшего длинный список обид и бед, навлеченных на него жестокими людьми. О, если бы мы, угнетая и притесняя своих ближних, задумались хоть однажды над ужасными уликами человеческих заблуждений, — уликами, которые, подобно густым и тяжелым облакам, поднимаются медленно, но неуклонно к небу, чтобы обрушить отмщение на наши головы! О, если бы мы хоть на миг услышали в воображении своем глухие, обличающие голоса мертвецов, которые никакая сила не может заглушить и никакая гордыня не заставит молчать! Что осталось бы тогда от оскорблений и несправедливости, от страданий, нищеты, жестокости и обид, какие приносит каждый день жизни!

В тот вечер подушку Оливера оправили ласковые руки, и красота и добродетель бодрствовали над ним, пока он спал. Он был спокоен и счастлив и мог бы умереть безропотно.

Как только закончилась знаменательная беседа и Оливер снова начал засыпать, доктор, вытерев глаза и в то же время попрекнув их за слабость, спустился вниз, чтобы открыть действия против мистера Джайлса.

Не найдя никого в парадных комнатах, он подумал, что, может быть, достигнет больших успехов, если начнет кампанию в кухне; итак, он отправился в кухню.

Здесь, в нижней палате домашнего парламента, собрались служанки, мистер Бритлс, мистер Джайлс, лудильщик (который, в награду за оказанные услуги, получил специальное приглашение угощаться до конца дня) и констебль. У сего последнего джентльмена был большой жезл, большая голова, крупные черты лица и огромные башмаки, и он имел вид человека, который выпивает соответствующее количество эля, как оно и было в действительности.

Предметом обсуждения все еще служили приключения прошлой ночи, ибо, когда доктор вошел, мистер Джайлс разглагольствовал о своем присутствии духа; мистер Бритлс с кружкой эля в руке подтверждал каждое слово, прежде чем его успевал выговорить его начальник.

— Не вставайте, — сказал доктор, махнув им рукой.

— Благодарю вас, сэр, — отозвался мистер Джайлс. — Хозяйка распорядилась выдать нам эля, сэр, а так как я не чувствовал ни малейшего расположения идти к себе в комнату, сэр, и хотел побыть в компании, то вот и распиваю здесь с ними.

Бритлс первый, а за ним все леди и джентльмены тихим шепотом выразили то удовлетворение, какое им доставила снисходительность мистера Джайлса. Мистер Джайлс с покровительственным видом осмотрелся вокруг, как бы говоря, что пока они будут держать себя пристойно, он их не покинет.

— Как себя чувствует сейчас больной, сэр? — спросил Джайлс.

— Неважно, — ответил доктор. — Боюсь, что вы попали в затруднительное положение, мистер Джайлс.

— Надеюсь, сэр, — задрожав, начал мистер Джайлс, — вы не хотите этим сказать, что он умрет? Если бы я так думал, я бы навсегда потерял покой. Ни одного мальчика я бы не согласился погубить — даже вот этого Бритлса, — не согласился бы за все столовое серебро в графстве, сэр.

— Не в этом дело... — таинственно сказал доктор. — Мистер Джайлс, вы протестант?

— Да, сэр, надеюсь, — заикаясь, проговорил мистер Джайлс.

— А вы кто, молодой человек? — спросил доктор, резко поворачиваясь к Бритлсу.

— Господи помилуй, сэр, — вздрогнув, сказал Бритлс. — Я... я то же самое, что и мистер Джайлс, сэр.

— В таком случае, — продолжал доктор, — отвечайте вы оба, да, оба: готовы ли вы показать под присягой, что этот мальчик, там наверху, — тот самый, которого просунули прошлой ночью в окошко? Отвечайте! Ну? Мы вас слушаем.

Доктор, которого все считали одним из благодушнейших людей в мире, задал этот вопрос таким разгневанным тоном, что Джайлс и Бритлс, в достаточной мере возбужденные и одурманенные элем, остолбенев, посмотрели друг на друга.

— Слушайте внимательно, констебль, — сказал доктор, весьма торжественно погрозив

указательным пальцем и постучав им по переносице, чтобы вызвать к жизни всю пронизательность сего достойного человека. — Сейчас кое-что должно обнаружиться.

Констебль принял самый глубокомысленный вид, какой только мог, и взял свой служебный жезл, который стоял без дела в углу у камина.

— Как видите, это вопрос об установлении личности, — сказал доктор.

— Совершенно верно, сэр, — ответил констебль, жестоко закашлявшись, так как с излишней поспешностью допил свой эль, который и попал ему не в то горло.

— В дом вламываются воры, — продолжал — доктор, — и два человека видят мельком в темноте, в самый разгар тревоги и сквозь пороховой дым какого-то мальчика. Наутро к этому самому дому подходит мальчик, и только потому, что рука у него завязана, эти люди грубо хватают его — чем подвергают серьезной опасности его жизнь — и клянутся, что он вор. Возникает вопрос: оправдано ли поведение этих людей, а если не оправдано, то в какое же положение они себя ставят?

Констебль глубокомысленно кивнул головой. Он сказал, что если это не законный поступок, то хотелось бы ему знать, что же это такое?

— Я вас спрашиваю еще раз, — громовым голосом произнес доктор, — можете ли вы торжественно поклясться, что это тот самый мальчик?

Бритлс нерешительно посмотрел на мистера Джайлса, мистер Джайлс нерешительно посмотрел на Бритлса; констебль поднял руку к уху, чтоб уловить ответ; обе женщины и лудильщик наклонились вперед, чтобы лучше слышать; доктор зорко осматривался кругом, как вдруг у ворот раздался звонок и в то же время послышался стук колес.

— Это полицейские сыщики! — воскликнул Бритлс, по-видимому почувствовав большое облегчение.

— Что такое? — вскричал доктор, который теперь, в свою очередь, пришел в ужас.

— Агенты с Боу-стрит, сэр, — ответил Бритлс, беря свечу. — Мы с мистером Джайлсом послали за ними сегодня утром.

— Послали, вот как! Так будь же прокляты ваши... ваши здешние кареты — они еле тащатся! — сказал доктор, выходя из кухни.

Глава XXXI, повествует о критическом положении

— Кто там? — спросил Бритлс, приоткрыл дверь и, не сняв цепочки, выглянул, заслоня рукой свечу.

— Откройте дверь, — отозвался человек, стоявший снаружи. — Это агенты с Боу-стрит, за которыми посылали сегодня.

Совершенно успокоенный этим ответом, Бритлс широко распахнул дверь и увидел перед собой осанистого человека в пальто, который вошел, не говоря больше ни слова, и вытер ноги о циновку с такой невозмутимостью, как будто здесь жил.

— Ну-ка, молодой человек, пошлите кого-нибудь сменить моего приятеля, — сказал агент. —

Он остался в двуколке, присматривает за лошадей. Есть у вас тут каретный сарай, куда бы можно было ее поставить минут на пять — десять?

Когда Бритлс дал утвердительный ответ и указал им строение, осанистый человек вернулся к воротам и помог своему спутнику поставить в сарай двуколку, в то время как Бритлс в полном восторге светил им. Покончив с этим, они направились в дом и, когда их ввели в гостиную, сняли пальто и шляпы и предстали во всей красе.

Тот, что стучал в дверь, был человеком крепкого сложения, лет пятидесяти, среднего роста, с лоснящимися черными волосами, довольно коротко остриженными, с бакенами, круглой физиономией и зоркими глазами. Второй был рыжий, костлявый, в сапогах с отворотами; у него было некрасивое лицо и вздернутый, зловещего вида нос.

— Доложите вашему хозяину, что приехали Блетерс и Дафф, слышите? — сказал человек крепкого сложения, приглаживая волосы и кладя на стол пару наручников. — А, добрый вечер, сударь! Разрешите сказать вам словечко наедине.

Эти слова были обращены к мистеру Лосберну, входившему в комнату; сей джентльмен, знаком приказав Бритлсу удалиться, ввел обеих леди и закрыл дверь.

— Вот хозяйка дома, — сказал мистер Лосберн, указывая на миссис Мэйли.

Мистер Блетерс поклонился. Получив приглашение сесть, он положил шляпу на пол и, усевшись, дал знак Даффу последовать его примеру. Сей джентльмен, который либо был менее привычен к хорошему обществу, либо чувствовал себя в нем менее свободно, уселся после ряда судорожных движений и в замешательстве засунул в рот набалдашник своей трости.

— Теперь займемся этим грабежом, сударь, — сказал Блетерс. — Каковы обстоятельства дела?

Мистер Лосберн, хотевший, казалось, выиграть время, рассказал о них чрезвычайно подробно и с многочисленными отклонениями. Господа Блетерс и Дафф имели весьма проницательный вид и изредка обменивались кивками.

— Конечно, я ничего не могу утверждать, пока не увижу место происшествия, — сказал Блетерс, — но сейчас мое мнение, — и в этих пределах я готов раскрыть свои карты, — мое мнение, что это сработано не какой-нибудь деревенщиной. А, Дафф?

— Разумеется, — отозвался Дафф.

— Если перевести этим дамам слово «деревенщина», вы, насколько я понимаю, считаете, что это было совершено не деревенским жителем? — с улыбкой спросил мистер Лосберн.

— Именно, сударь, — ответил Блетерс. — Больше никаких подробностей о грабеже?

— Никаких, — сказал доктор.

— А что это толкуют слуги о каком-то мальчике? — спросил Блетерс.

— Пустяки, — сказал доктор. — Один из слуг с перепугу вбил себе в голову, что мальчик имеет какое-то отношение к этим разбойникам. Но это вздор, сушая чепуха.

— А если так, то очень легко с этим разделаться, — заметил доктор.

— Он правильно говорит, — подтвердил Блетерс, одобрительно кивнув головой и небрежно

играя наручниками, словно парой кастаньет. — Кто этот мальчик? Что он о себе рассказывает? Откуда он пришел? Ведь не с неба же он свалился, сударь?

— Конечно, нет, — отозвался доктор, бросив беспокойный взгляд на обеих леди. — Вся его история мне известна, но об этом мы можем потолковать позднее. Полагаю, вам сначала хотелось бы увидеть, где воры пытались пробраться в дом?

— Разумеется, — подхватил мистер Блетерс. — Лучше мы сначала осмотрим место, а потом допросим слуг. Так принято расследовать дело.

Принесли свет, и господа Блетерс и Дафф в сопровождении местного констебля, Бритлса, Джайлса и, короче говоря, всех остальных вошли в маленькую комнатку в конце коридора и выглянули из окна, а после этого обошли вокруг дома по лужайке и заглянули в окно; затем им подали свечу для осмотра ставня; затем — фонарь, чтобы освидетельствовать следы; а затем вилы, чтобы обшарить кусты. Когда при напряженном внимании всех зрителей с этим делом было покончено, они снова вошли в дом, и тут Джайлс и Бритлс должны были изложить свою мелодраматическую историю о приключениях минувшей ночи, которую они повторили раз пять-шесть, противореча друг другу не более чем в одном важном пункте в первый раз и не более чем в десяти — в последний. Достигнув таких успехов, Блетерс и Дафф выдворили всех из комнаты и вдвоем долго держали совет, столь секретно и торжественно, что по сравнению с ним консилиум великих врачей, разбирающих труднейший в медицине случай, показался бы детской забавой.

Тем временем доктор, крайне озабоченный, шагал взад и вперед в соседней комнате, а миссис Мэйли и Роз с беспокойством смотрели на него.

— Честное слово, — сказал он, пробежав по комнате великое множество раз и, наконец, останавливаясь, — я не знаю, что делать.

— Право же, — сказала Роз, — если правдиво рассказать этим людям историю бедного мальчика, этого будет вполне достаточно, чтобы оправдать его.

— Сомневаюсь, милая моя молодая леди, — покачивая головой, возразил доктор. — Полагаю, что это не оправдает его ни в их глазах, ни в глазах служителей правосудия, занимающих более высокое положение. В конце концов кто он такой? — скажут они. — Беглец! Если руководствоваться только доводами и соображениями здравого смысла, его история в высшей степени неправдоподобна...

— Но вы-то ей верите? — перебила Роз.

— Как ни странно, но верю, и, может быть, я старый дурак, — ответил доктор. — Но тем не менее я считаю, что такой рассказ не годится для опытного полицейского чиновника.

— Почему? — спросила Роз.

— А потому, прелестная моя допросчица, — ответил доктор, — что с их точки зрения в этой истории много неприглядного: мальчик может доказать только те факты, которые производят плохое впечатление, и не докажет ни одного, выгодного для себя. Будь прокляты эти субъекты! Они пожелают знать, зачем да почему, и не поверят на слово. Видите ли, на основании его собственных показаний, он в течение какого-то времени находился в компании воров; его отправили в полицейское управление, обвиняя в том, что он обчистил карман некоего джентльмена; из дома этого джентльмена его увели насильно в какое-то место, которое он не может описать или указать и ни малейшего представления не имеет о том, где оно находится.

Его привозят в Чертей люди, которые как будто крепко связаны с ним, хочет он того или не хочет, и его пропихивают в окно, чтобы ограбить дом, а затем, как раз в тот момент, когда он собрался поднять на ноги обитателей дома и, стало быть, совершить поступок, который бы снял с него всякие обвинения, появляется эта бестолковая тварь, этот болван дворецкий, и стреляет в него. Словно умышленно хотел ему помешать сделать то, что пошло бы ему на пользу. Теперь вам все понятно?

— Разумеется, понятно, — ответила Роз, улыбаясь в ответ на взволнованную речь доктора, — но все-таки я не вижу в этом ничего, что могло бы повредить бедному мальчику.

— Да, конечно, ничего! — отозвался доктор. — Да благословит Бог зоркие очи представительниц вашего пола. Они видят только одну сторону дела — хорошую или дурную, — и всегда ту, которую заметят первой.

Изложив таким образом результаты своего жизненного опыта, доктор засунул руки в карманы и еще проворнее зашагал по комнате.

— Чем больше я об этом думаю, — продолжал доктор, — тем больше убеждаюсь, что мы не оберемся хлопот, если расскажем этим людям подлинную историю мальчика. Конечно, ей не поверят. А если даже они в конце концов не могут ему повредить, то все же оглашение его истории, а также и сомнения, какие она вызывает, существенно отразятся на вашем благом намерении избавить его от страданий.

— Ах, что же делать?! — вскричала Роз. — Боже мой, боже мой! Зачем они послали за этими людьми?

— Совершенно верно, зачем? — воскликнула миссис Мэйли. — Я бы ни за что на свете не пустила их сюда.

— Я знаю только одно, — сказал, наконец, мистер Лосберн, усаживаясь с видом человека, который на все решился, — надо сделать все, что можно, и действовать надо смело. Цель благая, и пусть это послужит нам оправданием. У мальчика все симптомы сильной лихорадки, и он не в таком состоянии, чтобы с ним можно было разговаривать; а нам это на руку. Мы должны извлечь из этого все выгоды. Если же получится худо, вина не наша... Войдите!

— Ну, сударь, — начал Блетерс, войдя вместе со своим товарищем и плотно притворив дверь, — дело это не состряпанное.

— Черт подери! Что значит состряпанное дело? — нетерпеливо спросил доктор.

— Состряпанным грабежом, миледи, — сказал Блетерс, обращаясь к обеим леди и как бы соболезнуя их невежеству, но презирая невежество доктора, — мы называем грабеж с участием слуг.

— В данном случае никто их не подозревал, — сказала миссис Мэйли.

— Весьма возможно, сударыня, — отвечал Блетерс, — но тем не менее они могли быть замешаны.

— Это тем более вероятно, что на них не падало подозрение, — добавил Дафф.

— Мы обнаружили, что работали городские, — сказал Блетерс, продолжая доклад. — Чистая работа.

— Да, ловко сделано, — вполголоса заметил Дафф.

— Их было двое, — продолжал Блетерс, — и с ними мальчишка. Это ясно, судя по величине окна. Вот все, что мы можем сейчас сказать. Теперь, с вашего разрешения, мы, не откладывая, посмотрим на мальчишку, который лежит у вас наверху.

— А не предложить ли им сначала выпить чего-нибудь, миссис Мэйли? — сказал доктор; лицо его прояснилось, словно его осенила какая-то новая мысль.

— Да, конечно! — с жаром подхватила Роз. — Если хотите, вас сейчас же угостят.

— Благодарю вас, мисс, — сказал Блетерс, проводя рукавом по губам. — Должность у нас такая, что в глотке пересыхает. Что найдется под рукой, мисс. Не хлопчите из-за нас.

— Чего бы вам хотелось? — спросил доктор, подходя вместе с молодой леди к буфету.

— Капельку спиртного, сударь, если вас не затруднит, — ответил Блетерс. — По дороге из Лондона мы промерзли, сударыня, а я всегда замечал, что спирт лучше всего согревает.

Это интересное сообщение было обращено к миссис Мэйли, которая выслушала его очень милостиво. Пока оно излагалось, доктор незаметно выскользнул из комнаты.

— Ах! — произнес мистер Блетерс, беря рюмку не за ножку, а ежидом доньшко большим и указательным пальцами и держа ее на уровне груди. — Мне, сударыня, довелось на своем веку видеть много таких дел.

— Взять хотя бы эту кражу со взломом на проселочной дороге у Эдмонта, Блетерс, — подсказал мистер Дафф своему коллеге.

— Она напоминает здешнее дельце, правда? — подхватил мистер Блетерс. — Это была работа Проныры Чикуида.

— Вы всегда приписываете это ему, — возразил Дафф. — А я вам говорю, что это сделал Семейный Пет. Проныра имел к этому такое же отношение, как и я.

— Бросьте! — перебил мистер Блетерс. — Мне лучше знать. А помните, как ограбили самого Проныру? Вот была потеха. Лучше всякого романа.

— Как же это случилось? — спросила Роз, желая поддержать доброе расположение духа неприятных гостей.

— Такую кражу, мисс, вряд ли кто мог бы строго осудить, — сказал Блетерс. — Этот самый Проныра Чикуид...

— Проныра значит хитрец, сударыня, — пояснил Дафф.

— Дамам, конечно, это слово понятно, не так ли?.. — сказал Блетерс. — Вечно вы меня перебиваете, приятель... Так вот этот самый Проныра Чикуид держал трактир на Бэтлбриджской дороге, и был у него погреб, куда заходили молодые джентльмены посмотреть бой петухов, травлю барсуков собаками и прочее. Очень ловко велись эти игры — я их частенько видел. В ту пору он еще не входил в шайку. И как-то ночью у него украли триста двадцать семь гиней в парусиновом мешке; их стащил среди ночи, у него из спальни, какой-то высокий мужчина с черным пластырем на глазу; мужчина прятался под кроватью, а совершив кражу,

выскочил из окна во втором этаже. Очень он это быстро проделал. Но и Проньера не мешкал: проснувшись от шума, он вскочил с кровати и выстрелил ему вслед из ружья и разбудил всех по соседству. Тотчас же бросились в погоню, а когда стали осматриваться, то убедились, что Проньера задел-таки вора: следы крови были видны на довольно большом расстоянии, они вели к изгороди и здесь терялись. Как бы там ни было, вор удрал с добычей, а фамилия мистера Чикуида, владельца трактира, имевшего патент на продажу спиртного, появилась в «Газете»^[39] среди других банкротов. И тогда затеяли всевозможные подписки и сбор пожертвований для бедняги, который был очень угнетен своей потерей: дня три-четыре бродил по улицам и с таким отчаянием рвал на себе волосы, что многие боялись, как бы он не покончил с собой. Однажды он впопыхах прибегает в полицейский суд, уединяется для частной беседы с судьей, а тот после долгого разговора звонит в колокольчик, требует к себе Джема Спайерса (Джем был агент расторопный) и приказывает, чтобы он пошел с мистером Чикуидом и помог ему арестовать человека, обокравшего дом. «Спайерс, — говорит Чикуид, — вчера утром я видел, как он прошел мимо моего дома». — «Так почему же вы не схватили его за шиворот?» — говорит Спайерс. «Я был так ошарашен, что мне можно было проломить череп зубочисткой, — отвечает бедняга, — но уж теперь-то мы его поймаем. Между десятью и одиннадцатью вечера он опять прошел мимо дома». Услыхав это, Спайерс сейчас же сует в карман смену белья и гребень на случай, если придется задержаться дня на два, отправляется в путь и, явившись в трактир, усаживается у окна за маленькой красной занавеской, не снимая шляпы, чтобы в любой момент можно было выбежать. Здесь он курит трубку до позднего вечера, как вдруг Чикуид ревет: «Вот он! Держите вора! Убивают!» Спайерс выскакивает на улицу и видит Чикуида, который мчится во всю прыть и кричит. Спайерс за ним; Чикуид летит вперед; люди оборачиваются; все кричат: «Воры!» — и сам Чикуид не перестает орать как сумасшедший. На минутку Спайерс теряет его из виду, когда тот заворачивает за угол, бежит за ним, видит небольшую толпу, ныряет в нее: «Который из них?» — «Черт побери, — говорит Чикуид, — опять я его упустил». Как это ни странно, но его нигде не было видно, — и пришлось им вернуться в трактир. Наутро Спайерс занял прежнее место и высматривал из-за занавески рослого человека с черным пластырем на глазу, пока у него самого не заболели глаза. Наконец, ему пришлось закрыть их, чтобы немного передохнуть, и в этот самый момент слышит, Чикуид орет: «Вот он!» Снова он пустился в погоню, а Чикуид уже опередил его на пол-улицы. Когда они пробежали вдвое большее расстояние, чем накануне, этот человек опять скрылся. Так повторялось еще два раза, и, наконец, большинство соседей заявило, что мистера Чикуида обокрал сам черт, который теперь и водит его за нос, а другие — что бедный мистер Чикуид рехнулся с горя.

— А что сказал Джем Спайерс? — спросил доктор, который вернулся в начале повествования.

— Долгое время, — продолжал агент, — Джем Спайерс решительно ничего не говорил и ко всему прислушивался, однако и виду не подавал; отсюда следует, что свое дело он разумел. Но вот однажды утром он вошел в бар, достал табакерку и говорит: «Чикуид, я узнал, кто совершил эту кражу». — «Да неужели! — воскликнул Чикуид. — Ах, дорогой мой Спайерс, дайте мне только отомстить, и я умру спокойно. Ах, дорогой мой Спайерс, где он, этот негодяй?» — «Полно! — сказал Спайерс, предлагая ему понюшку табаку. — Довольно вздор болтать. Вы сами это сделали». Так оно и было, и немало денег он на этом заработал, и ничего никогда бы и не открылось, если бы Чикуид поменьше заботился о правдоподобии, — закончил мистер Блетерс, поставив рюмку и позвякивая наручниками.

— Действительно, очень любопытная история, — заметил доктор. — А теперь, если вам угодно, можете пойти наверх.

— Если вам угодно, сэр, — ответил мистер Блетерс.

Следуя по пятам за мистером Лосберном, оба агента поднялись наверх, в спальню Оливера; шествие возглавлял мистер Джайлс с зажженной свечой.

Оливер дремал, но вид у него был хуже, и его лихорадило сильнее, чем раньше. С помощью доктора он сел в постели и посмотрел на незнакомцев, совершенно не понимая, что происходит, — он, видимо, не припоминал, где он находится и что случилось.

— Вот этот мальчик, — сказал мистер Лосберн шепотом, но тем не менее с большим жаром, — тот самый, который, озорничая, был случайно ранен из самострела [40], когда забрался во владения мистера, как его там зовут, расположенные позади этого дома. Сегодня утром он приходит сюда за помощью, а его немедленно задерживает и грубо обходится с ним вот этот; сообразительный джентльмен со свечой в руке, который подвергает его жизнь серьезной опасности, что я как врач могу удостоверить.

Господа Блетерс и Дафф посмотрели на мистера Джайлса, отрекомендованного таким образом. Ошеломленный — дворецкий с лицом, выражающим и страх, и замешательство, переводил взгляд с них на Оливера и с Оливера на мистера Лосберна.

— Полагаю, вы не намерены это отрицать? — спросил доктор, осторожно опуская Оливера на подушки.

— Я... хотел, чтобы было... чтобы было как можно лучше, сэр, — ответил Джайлс. — Право же, я думал, что это тот самый мальчишка, сэр, иначе я бы его не тронул. Я ведь не бесчувственный, сэр.

— Какой мальчишка? — спросил старший агент.

— Мальчишка грабителей, сэр, — ответил Джайлс. — С ними, конечно, был мальчишка.

— Ну? Вы и теперь так думаете? — спросил Блетерс.

— Что думаю теперь? — отозвался Джайлс, тупо глядя на допрашивающего.

— Думаете, что это тот самый мальчик, глупая вы голова! — нетерпеливо пояснил Блетерс.

— Не знаю. Право, не знаю, — с горестным видом сказал Джайлс. — Я бы не мог показать под присягой.

— Что же вы думаете? — спросил мистер Блетерс.

— Не знаю, что и думать, — ответил бедный Джайлс. — Думаю, что это не тот мальчик. Да я почти уверен, что это не он. Вы ведь знаете, что это не может быть он.

— Этот человек пьян, сэр? — осведомился Блетерс, повернувшись к доктору.

— Ну и тупоголовый же вы парень! — сказал Дафф с величайшим презрением, обращаясь к мистеру Джайлсу.

Во время этого короткого диалога мистер Лосберн щупал больному пульс; теперь он поднялся со стула, стоявшего у кровати, и заметил, что если у агентов еще осталось какое-нибудь сомнение, то не желают ли они выйти в соседнюю комнату и потолковать с Бритлсом.

Приняв это предложение, они отправились в смежную комнату, куда был призван мистер

Бритлс, опутавший и себя и своего почтенного начальника такой изумительной паутиной новых противоречий и нелепостей, что ни одного факта не удалось выяснить, за исключением факта полной его, Бритлса, растерянности; впрочем, он заявил, что не узнал бы мальчишку, если бы его поставили сейчас перед ним, что он принял за него Оливера только благодаря утверждению Джайлса и что пять минут назад мистер Джайлс признался на кухне в своих опасениях, не слишком ли он поторопился.

Затем среди других остроумных предположений появилось и такое — действительно ли мистер Джайлс кого-то подстрелил; когда же был осмотрен пистолет, парный с тем, из которого стрелял Джайлс, в нем не обнаружилось заряда более разрушительного, чем порох и пыж. Это открытие произвело чрезвычайное впечатление на всех, кроме доктора, который минут десять тому назад вынул пулю. Но наибольшее впечатление произвело оно на самого мистера Джайлса, который в течение нескольких часов, терзаясь опасениями, не ранил ли он смертельно своего ближнего, с восторгом ухватился за эту новую идею и всеми силами ее поддерживал.

В конце концов агенты, не слишком утруждая себя мыслями об Оливере, оставили в доме его и констебля из Чертей и отправились ночевать в город, обещав вернуться утром.

А наутро распространился слух, что в Кингстонскую тюрьму посадили двух мужчин и мальчика, арестованных прошлой ночью при подозрительных обстоятельствах, и господ Блетерс и Дафф отправились в Кингстон. Впрочем, при расследовании подозрительные обстоятельства свелись к тому, что этих людей обнаружили спящими под стогом сена, каковой факт, хотя и является тягчайшим преступлением, наказуется только заключением в тюрьму и, с точки зрения милостивого английского закона с его всеобъемлющей любовью к королевским подданным, почитается при отсутствии других улик недостаточным доказательством того, что спящий или спящие совершили кражу со взломом и, стало быть, заслуживают смертной казни. Господа Блетерс и Дафф вернулись не умнее, чем уехали.

Короче говоря, после новых допросов и бесконечных разговоров местный мировой судья охотно принял поручительство миссис Мэйли и мистера Лосберна в том, что Оливер явится, если когда-нибудь его вызовут, а Блетерс и Дафф, награжденные двумя гинейми, вернулись в город, не сходясь во мнении о предмете своей экспедиции: сей последний джентльмен, по зрелом обсуждении всех обстоятельств, склонялся к уверенности, что покушение на кражу со взломом было совершено Семейным Петом, а первый готов был в равной мере приписать всю заслугу великому Проныре Чикииду.

Между тем Оливер помаленьку поправлялся и благоденствовал, окруженный заботами миссис Мэйли, Роз и мягкосердечного мистера Лосберна. Если пламенные молитвы, изливающиеся из сердца, исполненного благодарности, бывают услышаны на небе — что тогда молитва, если она не может быть услышана! — то те благословения, которые призывал на них сирота, проникли им в душу, даруя покой и счастье.

Глава XXXII, о счастливой жизни, которая началась для Оливера среди его добрых друзей

Болезнь Оливера была затяжной и тяжелой. Не говоря уже о медленном заживлении простреленной руки и боли в ней, долгое пребывание Оливера под дождем и на холоде вызвало лихорадку, которая не покидала его много недель и очень истощила. Но, наконец, он начал понемногу поправляться и уже в состоянии был произнести несколько слов о том, как глубоко он чувствует доброту двух ласковых леди и как горячо надеется, что, окрепнув и выздоровев,

сделает для них что-нибудь в доказательство своей благодарности, чтоб они увидели, какой любовью и преданностью полно его сердце, и окажет им хотя бы какую-нибудь пустячную услугу, которая убедит их в том, что бедный мальчик, спасенный благодаря их доброте от страданий или смерти, достоин их милосердия и от всего сердца желает им служить.

— Бедняжка! — сказала однажды Роз, когда Оливер с трудом пытался выговорить бледными губами слова благодарности. — Тебе представится много случаев нам услужить, если ты этого захочешь. Мы поедем за город, и тетя намерена взять тебя. Тишина, чистый воздух и все радости и красоты весны помогут тебе в несколько дней окрепнуть. Мы будем давать тебе сотни поручений, если тебе это окажется по силам.

— Поручений! — воскликнул Оливер. — О дорогая леди, если бы я мог работать для вас, если бы я мог доставить вам удовольствие, поливая ваши цветы, ухаживая за вашими птичками или весь день бегая на посылках, чтобы только вы были счастливы, — чего бы я не отдал за это!

— Тебе ничего не нужно отдавать, — улыбаясь, сказала Роз Мэйли, — ведь я уже сказала, что мы будем давать тебе сотню поручений, и если ты будешь хоть наполовину трудиться так, как сейчас обещаешь, чтобы угодить нам, я буду очень счастлива.

— Счастливы, сударыня! — воскликнул Оливер. — Как вы добры, что говорите так!

— Ты сделаешь меня такой счастливой, что и сказать нельзя, — ответила молодая леди. — Мысль о том, что моя милая, добрая тетя спасла кого-то от той печальной участи, какую ты нам описал, доставляет мне невыразимое удовольствие, но сознание, что тот, к кому она отнеслась с лаской и состраданием, чувствует искреннюю благодарность и преданность, радует меня больше, чем ты можешь себе представить... Ты меня понимаешь? — спросила она, вглядываясь в задумчивое лицо Оливера.

— О да, сударыня, понимаю! — с жаром ответил Оливер. — Но сейчас я думал о том, какой я неблагодарный.

— К кому? — спросила молодая леди.

— К доброму джентльмену и милой старой няне, которые так заботились обо мне, — сказал Оливер. — Они были бы, наверно, довольны, если бы знали, как я счастлив.

— Наверно, — отозвалась благодетельница Оливера. — И мистер Лосберн по доброте своей уже обещал, что повезет тебя повидаться с ними, как только ты в состоянии будешь перенести путешествие.

— Обещал, сударыня? — вскричал Оливер, просяив от удовольствия. — Не знаю, что со мной будет от радости, когда я снова увижу их добрые лица.

Вскоре Оливер достаточно оправился, чтобы перенести утомление, связанное с этой поездкой. Однажды утром он и мистер Лосберн двинулись в путь в — маленьком экипаже, принадлежащем миссис Мэйли. Когда они доехали до моста через Чертей, Оливер вдруг сильно побледнел и громко вскрикнул.

— Что случилось с мальчиком? — засуетился, по своему обыкновению, доктор. — Ты что-нибудь увидел... услышал... почувствовал, а?

— Вот, сэр, — крикнул Оливер, указывая в окно кареты. — Этот дом!

— Да? Ну так что же? Эй, кучер! Остановитесь здесь, — крикнул доктор. — Что это за дом, мой мальчик? А?

— Воры... Они приводили меня сюда, — прошептал Оливер.

— Ах, черт побери! — воскликнул доктор. — Эй, вы там! Помогите мне выйти!

Но не успел кучер слезть с козел, как доктор уже каким-то образом выкарабкался из кареты и, подбежав к заброшенному дому, начал как сумасшедший стучать ногой в дверь.

— Кто там? — отозвался маленький, безобразный горбун, так внезапно раскрыв дверь, что доктор, энергически наносивший последний удар, чуть не влетел прямо в коридор. — Что случилось?

— Случилось! — воскликнул доктор, ни секунды не размышляя и хватая его за шиворот. — Многое случилось. Грабеж — вот что случилось!

— Случится еще и убийство, если вы не отпустите меня, — хладнокровно отозвался горбун. — Слышите?

— Слышу, — сказал доктор, основательно встряхивая своего пленника. — Где этот, черт бы его подрал, как его, проклятого, зовут... Да, Сайкс. Где Сайкс, отвечайте, вор?

Горбун вытаращил глаза, как бы вне себя от изумления и негодования, затем, ловко высвободившись из рук доктора, изрыгнул залп омерзительных проклятий и вернулся в дом. Но не успел он закрыть дверь, как доктор, не вступая ни в какие переговоры, вошел в комнату. Он с беспокойством осмотрелся кругом: и мебель, и предметы, и даже расположение шкафов не соответствовали описанию Оливера.

— Ну? — сказал горбун, зорко следивший за ним. — Что это значит, почему вы насильно врываетесь в мой дом? Хотите меня ограбить или убить?

— Случалось вам, глупый вы старый кровопийца, видеть когда-нибудь, чтобы человек приезжал с этой целью в карете? — сказал вспыльчивый доктор.

— Так что же вам нужно? — крикнул горбун. — Убирайтесь, пока не поздно! Будь вы прокляты!

— Уйду, когда сочту нужным, — сказал мистер Лосберн, заглядывая в другую комнату, которая, как и первая, не имела ни малейшего сходства с описанной Оливером. — Я еще до вас доберусь, приятель.

— Вот как! — огрызнулся отвратительный урод. — Если я вам буду нужен, вы найдете меня здесь. Я здесь один-одинешенек двадцать пять лет сижу, совсем рехнулся, а вы еще меня запугиваете! Вы за это заплатите, да, заплатите!

И уродливый маленький демон поднял вой и в ярости стал плясать по комнате.

— Выходит довольно глупо, — пробормотал себе под нос доктор, — должно быть, мальчик ошибся. Вот, суньте это в карман и заткните глотку!

С этими словами он бросил горбуну монету и вернулся к экипажу.

Горбун следовал за ним до дверцы кареты, все время осыпая его гнусными ругательствами; когда же мистер Лосберн заговорил с кучером, он заглянул в карету и бросил на Оливера

взгляд такой зоркий и пронизывающий и в то же время такой злобный и мстительный, что в течение нескольких месяцев мальчик вспоминал его и во сне и наяву. Горбун продолжал омерзительно ругаться, пока кучер не занял своего места; а когда карета тронулась в путь, можно было издали видеть, как он топает ногами и рвет на себе волосы в припадке подлинного или притворного бешенства.

— Я — осел... — сказал доктор после долгого молчания. — Ты это знал раньше, Оливер?

— Нет, сэр.

— Ну, так не забывай этого в следующий раз. Осел! — повторил доктор, снова помолчав несколько минут. — Даже если бы это было то самое место и там оказались те самые люди, что бы я мог поделаться один? А будь у меня помощники, я все же не знаю, какой вышел бы толк. Пожалуй, это привело бы к тому, что я сам попался бы, и обнаружилось бы неизбежно, каким образом я замолчал эту историю. Впрочем, поделом бы мне было. Вечно я попадаю в беду, действуя под влиянием импульса. Может быть, это пойдет мне на пользу.

Добрейший доктор и в самом деле всю свою жизнь действовал только под влиянием импульсов, и к немалой чести руководивших им импульсов служил тот факт, что он не только избег сколько-нибудь серьезных затруднений или неудач, но и пользовался глубоким уважением и привязанностью всех, кто его знал. Если же говорить правду, доктор одну-две минутки чувствовал некоторую досаду, ибо ему не удалось раздобыть доказательства, подтверждающие рассказ Оливера, когда впервые представился случай их получить. Впрочем, он скоро успокоился; убедившись, что Оливер отвечает на его вопросы так же непринужденно и последовательно и говорит, по-видимому, так же искренне и правдиво, как и раньше, он решил отныне относиться с полным доверием к его словам.

Так как Оливер знал название улицы, где проживал мистер Браунлоу, они поехали прямо туда. Когда карета свернула за угол, сердце Оливера забилося так сильно, что у него перехватило дыхание.

— Ну, мой мальчик, где же этот дом? — спросил мистер Лосберн.

— Вот он, вот! — воскликнул Оливер, нетерпеливо показывая в окно. — Белый дом. Ох, поезжайте быстрее! Пожалуйста, быстрее! Мне кажется, я вот-вот умру. Я весь дрожу.

— Ну-ну, — сказал добряк-доктор, похлопав его по плечу. — Сейчас ты их увидишь, и они придут в восторг, узнав, что ты цел и невредим.

— О да, я надеюсь на это! — вскричал Оливер. — Они были так добры ко мне, очень, очень добры.

Карета мчалась дальше. Потом она остановилась. Нет, Это не тот дом; следующая дверь. Еще несколько шагов, карета снова остановилась. Оливер посмотрел на окна. Слезы, вызванные радостным ожиданием, струились по его щекам.

Увы, в белом доме не было жильцов, и в окне виднелась табличка: «Сдается внаем».

— Постучите в следующую дверь! — крикнул мистер Лосберн, взяв за руку Оливера. — Не знаете ли вы, что случилось с мистером Браунлоу, который жил в соседнем доме?

Служанка не знала, но не прочь была навести справки. Вскоре она вернулась и сказала, что мистер Браунлоу распродавал свое имущество и вот уже полтора месяца как уехал в Вест-Индию.

Оливер сжал руки и без сил откинулся на спинку сиденья.

— А экономка его тоже уехала? — помолчав, спросил мистер Лосберн.

— Да, сэр, — ответила служанка. — Старый джентльмен, экономка и еще один джентльмен, приятель мистера Браунлоу, уехали все вместе.

— В таком случае поезжайте домой, — сказал мистер Лосберн кучеру, — и не останавливайтесь кормить лошадей, пока мы не выберемся из этого проклятого Лондона.

— А книготорговец, сэр? — спросил Оливер. — Дорогу к нему я знаю. Пожалуйста, повидайтесь с ним. Повидайтесь с ним.

— Бедный мой мальчик, хватит с нас разочарований на сегодня, — сказал мистер Лосберн. — Совершенно достаточно для нас обоих. Если мы поедem к книготорговцу, то, разумеется, узнаем, что он умер, или поджег свой дом, или удрал. Нет, едем прямо домой.

И, повинувшись внезапному требованию доктора, они отправились домой.

Это горькое разочарование принесло Оливеру, даже в пору его счастья, много скорби и печали. Не раз в течение своей болезни он тешил себя мечтой о том, что скажут ему мистер Браунлоу и миссис Бэдуин и какая это будет радость, — мечтал рассказать им, сколько долгих дней и ночей провел он, размышляя об их благодеяниях и оплакивая жестокую разлуку с ними. Надежда оправдаться и рассказать им о своем насильственном уходе воодушевляла и поддерживала его во время недавних испытаний; мысль, что они уехали так далеко и увезли с собой уверенность в том, что он — обманщик и вор, — уверенность, которая, быть может, останется неопровергнутой до конца жизни, — этой мысли он не мог вынести.

Впрочем, все это нисколько не изменило отношения к нему его благодетелей. Еще через две недели, когда установилась прекрасная теплая погода, деревья покрылись новой листвой, а цветы раскрыли свои бутоны, начались приготовления к отъезду на несколько месяцев из Чертей. Отправив в банк столовое серебро, столь воспламенившее жадность Феджина, и оставив дом на попечении Джайлса и еще одного слуги, они переехали в коттедж, находившийся довольно далеко от города. Оливера они взяли с собой.

Кто может описать радость и восторг, спокойствие духа и тихую умиротворенность, которые почувствовал болезненный мальчик в благовонном воздухе, среди зеленых холмов и густых лесов, окружавших отдаленную деревню? Кто может рассказать, как запечатлеваются в душе измученных обитателей тесных и шумных городов картины мира и тишины и как глубоко проникает их свежесть в истерзанные сердца? Те, кто всю свою трудовую жизнь прожил в густо населенных, узких улицах и никогда не жаждал перемены, те, для кого привычка стала второй натурой и кто чуть ли не полюбил каждый кирпич и камень, служившие границей их повседневных прогулок, — эти люди, даже они, когда нависала над ними рука смерти, начинали, наконец, томиться желанием взглянуть хотя бы мельком в лицо Природе; удалившись от тех мест, где прежде страдали и радовались, они как будто сразу вступали в новую стадию бытия. Когда они изо дня в день выползали на какую-нибудь зеленую, залитую солнцем лужайку, у них при виде неба, холмов, долины, сверкающей воды пробуждались такие воспоминания, что даже предощущение загробной жизни действовало умиротворяюще на быстрое их увядание, и они сходили в могилу так же безмятежно, как угасало перед их слабыми, тускнеющими глазами солнце, закат которого наблюдали они всего несколько часов назад из окна своей уединенной спальни. Воспоминания, вызываемые мирными деревенскими пейзажами, чужды миру сему, его помыслам и надеждам. Умиротворяя, они могут научить нас

сплестать свежие гирлянды на могилы тех, кого мы любили, могут очистить наши мысли и сломить прежнюю вражду и ненависть; но под ними дремлет в каждой хоть сколько-нибудь созерцательной душе смутное, неопределенное сознание, что такие чувства были уже испытаны когда-то, в далекие, давно прошедшие времена, — сознание, пробуждающее торжественные мысли о далеких, грядущих временах и смиряющее суетность и гордыню.

Прелестным было местечко, куда они переехали. Для Оливера, всегда жившего в грязной толпе, среди шума и ругани, казалось, началась здесь новая жизнь. Розы и жимолость лънули к стенам коттеджа, плющ обвивал стволы деревьев, а цветы в саду наполняли воздух чудесным ароматом. Совсем поблизости находилось маленькое кладбище, где не было высоких безобразных надгробий, а только скромные холмики, покрытые свежим дерном и мхом, под которыми покоились старики из деревни. Часто Оливер бродил здесь и, вспоминая о жалкой могиле, где лежала его мать, садился иной раз и плакал, не видимый никем; но, поднимая глаза к глубокому небу над головой, он уже не представлял ее себе лежащей в земле и оплакивал ее грустно, но без горечи.

Счастливая была пора. Дни проходили безмятежные и ясные, ночи не приносили с собой ни страха, ни забот — ни прозябания в отвратительной тюрьме, ни общения с отвратительными людьми, — радостны и светлы были его мысли.

Каждое утро Оливер ходил к седому, старому джентльмену, жившему неподалеку от маленькой церкви, который помогал ему совершенствоваться в грамоте; старый джентльмен говорил так ласково и так много уделял ему внимания, что Оливер всеми силами старался угодить ему. Потом он шел гулять с миссис Мэйли и Роз и прислушивался к их разговорам о книгах или усаживался рядом с ними в каком-нибудь тенистом местечке и слушал, как читает молодая леди; слушать он готов был до самых сумерек, пока можно было различать буквы. Потом он готовил уроки к следующему дню и в своей маленькой комнатке, которая выходила в сад, усердно работал, пока не приближался постепенно вечер, и тогда обе леди снова отправлялись на прогулку, а с ними и он, с удовольствием прислушиваясь ко всем их разговорам. Если им нравился какой-нибудь цветок и он мог добраться до него и сорвать или если они забыли какую-нибудь вещь, за которой он мог сбегать, он был так счастлив, что со всех ног бросался оказать им услугу. Когда же совсем темнело, они возвращались домой, и молодая леди, садилась за фортепьяно и играла прекрасные мелодии или же пела тихим и нежным голосом какую-нибудь старую песню, правившуюся ее тете. В таких случаях свечей не зажигали, и Оливер, сидя у окна, в полном восторге слушал чудную музыку.

А воскресенье! Совсем по-иному проводили здесь этот день по сравнению с тем, как проводил он его раньше. И какой счастливый был день — как и все дни в эту счастливую пору! Утром — служба в маленькой церкви; там за окном шелестели зеленые листья, пели птицы, а благовонный воздух прокрадывался в низкую дверь и наполнял ароматом скромное здание. Бедняки были одеты так чисто и опрятно, так благоговейно преклоняли колени, как будто для удовольствия, а не во имя тягостного долга собрались они здесь вместе; а пение, быть может и неискusstvenное, звучало искреннее и казалось (во всяком случае Оливеру) более музыкальным, чем слышанное им прежде. Затем, как всегда — прогулки и посещение чистеньких домиков рабочего люда, а вечером Оливер прочитывал одну-две главы из библии, которую изучал всю неделю, и чувствовал себя более гордым и счастливым, чем если бы он сам был священником.

В шесть часов утра Оливер был уже на ногах; он блуждал по полям и обшаривал живые изгороди в поисках полевых цветов; нагруженный ими, он возвращался домой, и тогда нужно было заботливо и внимательно составить букеты для украшения стола к первому завтраку. Был и крестовник для птиц мисс Мэйли; Оливер с большим вкусом убирал им клетки, научившись этому искусству у многоопытного приходского клерка. Когда с этим бывало покончено, его

обычно отправляли в деревню для оказания кому-нибудь помощи или устраивали иной раз игру в крикет на лугу, а бывало и так, что находилось какое-нибудь дело в саду, которым Оливер (изучавший эту науку под руководством того же наставника, садовника по профессии) занимался весело и охотно, пока не появлялась мисс Роз. А тогда его осыпали тысячью похвал за все, что он сделал.

Так промелькнули три месяца — три месяца, которые в жизни самого благополучного и благоденствующего из смертных могли почитаться безграничным счастьем, а в жизни Оливера были поистине блаженством. Самое чистое и нежное великодушие — с одной стороны; самая искренняя, горячая и глубокая благодарность — с другой. Не чудо, что по истечении этого короткого срока Оливер Твист тесно сблизился со старой леди и ее племянницей, и пламенная любовь его юного и чуткого сердца была вознаграждена тем, что они привязались к мальчику и стали им гордиться.

Глава XXXIII, в которой счастью Оливера и его друзей неожиданно угрожает опасность

Быстро пролетела весна, и настало лето. Если деревня была прекрасна раньше, то теперь она предстала в полном блеске и пышности своих богатств. Огромные деревья, которые раньше казались съежившимися и нагими, преисполнились жизнью и здоровьем и, простирая зеленые свои руки над жаждущей землей, превратили открытые и оголенные места в чудесные уголки, окутанные густой и приятной тенью, откуда можно было смотреть на раскинувшееся вдали широкое и залитое солнцем пространство. Земля облачилась в самую яркую свою зеленую мантию и источала самое пряное благоухание. Наступила лучшая пора года — вся природа ликovala.

По-прежнему тихо и мирно шла жизнь в маленьком коттедже, и то же беззаботное спокойствие осеняло его обитателей. Оливер давно уже выздоровел и окреп, но был ли он болен или здоров, горячее чувство его к окружающим ничуть не менялось, хотя такая перемена происходит весьма часто в чувствах людей. Он оставался все тем же кротким, признательным, любящим мальчиком, как и в ту пору, когда боль и страдания истощили его силы и он всецело зависел от внимания и забот тех, кто за ним ухаживал.

Однажды, чудесным вечером, они предприняли более длительную прогулку, чем обычно, потому что день выдался жаркий; ярко светила луна, и вместе с легким ветерком повеяло необычной прохладой. Да и Роз была в превосходном расположении духа, и, весело беседуя, они шли все дальше и оставили далеко позади места своих повседневных прогулок. Так как миссис Мили почувствовала усталость, они медленным шагом вернулись домой.

Молодая леди, сняв простенькую шляпу, села, по обыкновению, за фортепьяно. В течение нескольких минут она рассеянно пробегала пальцами по клавишам, потом заиграла медленную и торжественную мелодию; и пока она играла, им показалось, будто она плачет.

— Роз, дорогая моя! — воскликнула пожилая леди.

Роз ничего не ответила, но заиграла немного быстрее, словно эти слова отвлекли ее от каких-то тягостных мыслей.

— Роз, милочка! — вскричала миссис Мэйли, торопливо вставая и наклоняясь к ней. — Что это значит? Слезы? Дорогое мое дитя, что огорчает тебя?

— Ничего, тетя, ничего! — ответила молодая леди. — Я не знаю, что это... не могу рассказать... но чувствую...

— Чувствуешь, что больна, милочка? — перебила миссис Мэйли.

— Нет, нет! О нет, не больна! — ответила Роз, содрогаясь, однако, при этих словах так, будто на нее повеяло смертным холодом. — Сейчас мне будет лучше. Пожалуйста, закройте окно!

Оливер поспешил исполнить ее просьбу. Молодая леди, делая усилие, чтобы вернуть прежнюю жизнерадостность, заиграла более веселую мелодию, но пальцы ее беспомощно застыли на клавишах. Закрыв лицо руками, она опустила на диван и дала волю слезам, которых больше уже не могла удержать.

— Дитя мое! — обняв ее, воскликнула старая леди. — Такою я тебя никогда еще не видела.

— Я бы не стала тревожить вас, если бы могла, — отозвалась Роз. — Право же, я очень старалась, но ничего не могла поделать. Боюсь, что я и в самом деле больна, тетя.

Она действительно была больна: когда принесли свечи, они увидели, что за короткий промежуток времени, истекший после их возвращения, лицо ее стало белым как мрамор. Выражение ее по-прежнему прекрасного лица было какое-то иное. Что-то тревожное и безумное появилось в кротких его чертах, чего не было раньше. Еще минута — и щеки ее залились ярким румянцем, и диким блеском сверкнули нежные голубые глаза. Затем все это исчезло, как тень, отброшенная мимолетным облаком, и она снова стала мертвенно-бледной.

Оливер, с беспокойством следивший за старой леди, заметил, что она встревожена этими симптомами; по правде говоря, встревожен был и он, но, заметив, что она старается не придавать этому значения, он попытался поступить также, и они добились того, что Роз, уходя, по совету тети, спать, была в лучшем расположении духа, казалась даже не такой больной и уверяла их, будто не сомневается в том, что утром проснется совсем здоровой.

— Надеюсь, — сказал Оливер, когда миссис Мэйли вернулась, — ничего серьезного нет? Вид у нее сегодня болезненный, но...

Старая леди знаком попросила его не разговаривать и, сев в темном углу комнаты, долго молчала. Наконец, она дрожащим голосом сказала:

— И я надеюсь, Оливер. Несколько лет я была очень счастлива с нею, может быть слишком счастлива. Может прийти время, когда меня постигнет какое-нибудь горе, но я надеюсь, что не это.

— Что? — спросил Оливер.

— Тяжкий удар, — сказала старая леди, — утрата дорогой девушки, которая так долго была моим утешением и счастьем.

— О, Боже сохрани! — быстро воскликнул Оливер.

— Аминь, дитя мое! — сжимая руки, отозвалась старая леди.

— Но ведь никакой опасности нет, ничего страшного не случилось? — воскликнул Оливер. — Два часа назад она была совсем здорова.

— Сейчас она очень больна, — сказала миссис Мэйли. — И ей будет хуже, я уверена в этом. Милая, милая моя Роз! О, что бы я стала без нее делать?

Печаль ее была так велика, что Оливер, скрывая свою тревогу, стал уговаривать и настойчиво упрашивать, чтобы она успокоилась ради молодой леди.

— Вы подумайте, сударыня, — говорил Оливер, а слезы, несмотря на все его усилия, навертывались ему на глаза, — подумайте о том, какая она молодая и добрая и какую радость и утешение дает она всем окружающим! Я знаю... я уверен... твердо уверен в том, что ради вас, такой же доброй, ради себя самой и ради всех, кого она делает такими счастливыми, она не умрет! Бог не допустит, чтобы она умерла такой молодой.

— Тише! — сказала миссис Мэйли, кладя руку на голову Оливера. — Бедный мой мальчик, ты рассуждаешь как дитя. Но все-таки ты учишь меня моему долгу. Я на минуту забыла о нем, Оливер, но, надеюсь, мне можно простить, потому что я стара и видела достаточно болезней и смертей, чтобы знать, как мучительна разлука с теми, кого любишь. Видела я достаточно и убедилась, что не всегда самые юные и добрые бывают сохранены для тех, кто их любит. Но пусть это служит нам утешением в нашей скорби, ибо небеса справедливы, и это свидетельствует о том, что есть иной мир, лучший, чем этот... а переход туда совершается быстро. Да будет воля Божия! Я люблю ее, и он знает, как я ее люблю!

Оливер с удивлением увидел, что, произнося эти слова, миссис Мэйли, с усилием прервав сетования, выпрямилась и стала спокойной и сдержанной. Еще более изумился он, убедившись, что эта сдержанность оказалась длительной и, несмотря на все последующие хлопоты и уход за больной, миссис Мэйли всегда оставалась энергичной, спокойной, исполняя свои обязанности неуклонно и, по-видимому, даже бодро. Но он был молод и не знал, на что способны сильные духом при тяжелых испытаниях. Да и как мог он знать, если даже люди, сильные духом, так редко сами об этом догадываются.

Настала тревожная ночь. Наутро предсказания миссис Мэйли, к сожалению, сбылись. У Роз началась жестокая, опасная горячка.

— Мы не должны сидеть сложа руки, Оливер, и поддаваться бесполезной скорби, — сказала миссис Мэйли, приложив палец к губам и пристально всматриваясь в его лицо. — Это письмо следует как можно скорее отправить мистеру Лосберну. Нужно отнести его в городок, где рынок, — отсюда не больше четырех миль, если идти по тропинке полем, а из города его отошлют с верховым прямо в Чертей. В гостинице возьмутся это исполнить, а я могу положиться на тебя, что все будет сделано. Я это знаю.

Оливер не ответил ничего, но видно было, что он рвется немедленно отправиться в путь.

— Вот еще одно письмо, — сказала миссис Мэйли и задумалась. — Право, не знаю, посылать ли его сейчас, или подождать, пока увижу, как развивается болезнь Роз. Мне бы не хотелось его отправлять, пока я не опасаясь худшего.

— Это тоже в Чертей, сударыня? — спросил Оливер, которому не терпелось поскорее исполнить поручение, и он протянул дрожащую руку за письмом.

— Нет, — ответила старая леди, машинально отдавая письмо.

Оливер бросил на него взгляд и увидел, что оно адресовано Гарри Мэйли, эсквайру^[41], проживающему в поместье знатного лорда — где именно, он не мог разобрать.

— Послать его, сударыня? — с нетерпением спросил Оливер, поднимая глаза.

— Нет, пожалуй, не надо, — ответила миссис Мэйли, беря назад письмо. — Подожду до завтра.

С этими словами она вручила Оливеру свой кошелек, и он, не медля больше, зашагал так быстро, как только мог.

Он бежал по полям и тропинкам, кое-где разделявшим их; то почти скрывался в высоких хлебах, то выходил на открытый луг, где косили и складывали в копны сено; лишь изредка задерживался он на несколько секунд, чтобы передохнуть, и, наконец, вышел, разгоряченный и покрытый пылью, на рыночную площадь маленького городка.

Здесь он остановился и осмотрелся, отыскивая гостиницу. На площади находились белое здание банка, красная пивоварня и желтая ратуша, а на углу стоял большой деревянный дом, окрашенный в зеленый цвет, на фасаде которого виднелась вывеска Джорджа. К этому дому и бросился Оливер, как только его заметил.

Он заговорил с фореитором, дремавшим в подворотне, который, выслушав, направил его к конюху, а тот к хозяину гостиницы, высокому джентльмену в синем галстуке, белой шляпе, темных штанах и сапогах с отворотами, который, прислонясь к насосу у ворот конюшни, ковырял в зубах серебряной зубочисткой.

Сей джентльмен неторопливо пошел в буфетную выписать счет, что отняло много времени; когда счет был готов и оплачен, нужно было оседлать лошадь, а человеку одеться, и на это ушло еще добрых десять минут. Оливер был в таком нетерпении и тревоге, что не прочь был сам вскочить в седло и мчаться галопом до следующей станции. Наконец, все было готово; и когда маленький пакет был вручен вместе с предписаниями и мольбами как можно скорее его доставить, человек прищипорил лошадь и поскакал по неровной мостовой рыночной площади; минуты через две он был уже за городом и мчался по дороге к заставе.

Так как было нечто успокоительное в сознании, что за помощью послано и ни минуты не потеряно, Оливер, у которого немножко отлегло от сердца, побежал через двор гостиницы. В воротах он неожиданно налетел на высокого, закутанного в плащ человека, выходившего в тот момент из гостиницы.

— Ого! — вскричал этот человек, взглянув на Оливера и внезапно попятившись. — Черт возьми, что это значит?

— Простите, сэр, — сказал Оливер, — я очень спешил домой и не заметил, как вы вышли.

— Проклятье! — пробормотал человек, впиваясь в мальчика своими большими темными глазами. — Кто бы подумал! Разотрите его в порошок — он все равно выскочит из каменного гроба, чтобы встать на моем пути!

— Простите, — заикаясь, сказал Оливер, смущенный безумным взглядом странного человека. — Надеюсь, я вас не ушиб?

— Черт бы тебя побрал! — проскрежетал тот, вне себя от бешенства. — Если бы только хватило у меня храбрости сказать слово, я бы от тебя отделался в одну ночь. Проклятье на твою голову, чуму тебе в сердце, чертенок! Что ты тут делаешь?

Бессвязно произнес эти слова, человек потряс кулаком. Он шагнул к Оливеру, словно намереваясь его ударить, но вдруг упал на землю с пеной у рта, корчась в припадке.

Одно мгновение Оливер смотрел на судороги сумасшедшего (он принял его за сумасшедшего), потом бросился в дом звать на помощь. Убедившись, что того благополучно перенесли в гостиницу, Оливер побежал домой как можно быстрее, чтобы наверстать потерянное время, и с великим изумлением и не без страха размышлял о странном поведении человека, с которым только что расстался.

Впрочем, это происшествие недолго его занимало, ибо когда он вернулся в коттедж, событий там было достаточно, чтобы дать пищу для размышлений и стереть из памяти все мысли о самом себе.

Роз Мэйли стало хуже; еще до полуночи она начала бредить. Врач, проживавший в этом местечке, не отходил от ее постели; осмотрев больную, он отвел в сторону миссис Мэйли и объявил, что болезнь опасна.

— Чудо, если она выздоровеет, — сказал он.

Сколько раз Оливер вставал в ту ночь с постели и, крадучись выйдя на лестницу, прислушивался к малейшему звуку, доносившемуся из комнаты больной! Сколько раз начинал он дрожать всем телом, и от ужаса на лбу у него выступал холодный пот, когда внезапно раздавшиеся торопливые шаги заставляли его опасаться, что уже совершилось то, о чем слишком страшно было думать! И можно ли было сравнить прежние пламенные его молитвы с теми, какие возносил он теперь, молясь в тоске и отчаянии о жизни и здоровье кроткого существа, стоявшего у самого края могилы!

О, какое это жестокое мучение — быть беспомощным в то время, когда жизнь того, кого мы горячо любим, колеблется на чаше весов! О, эти мучительные мысли, которые теснятся в мозгу и силой образов, вызванных ими, заставляют неистово биться сердце и тяжело дышать! О, это страстное желание хоть что-нибудь делать, чтобы облегчить страдания или уменьшить опасность, которую мы не в силах устранить; уныние души, вызванное печальным воспоминанием о нашей беспомощности, — какие пытки могут сравниться с этими, какие думы или усилия могут в самую трудную и горячую минуту их ослабить!

Настало утро, а в маленьком коттедже было тихо. Говорили шепотом. Время от времени у ворот появлялись встревоженные лица; женщины и дети уходили в слезах. Весь этот бесконечный день до самой ночи Оливер ходил по саду и поминутно поглядывал с дрожью на окно комнаты больной, и ему казалось, что над ним простерлась смерть. Поздно вечером приехал мистер Лосберн...

— Как это тяжело! — сказал добряк-доктор, отворачиваясь при этом в сторону. — Такая молодая, всеми любимая! Но надежды очень мало.

Снова утро. Ярко светило солнце — так ярко, словно не видело ни горя, ни забот; вокруг была пышная листва и цветы, жизнь, здоровье — звуки и картины, вещавшие о радости, а прекрасное юное создание быстро угасало. Оливер прокрался на старое кладбище и, присев на зеленый холмик, плакал и молился о ней в тишине.

Такой был покой и так прекрасно вокруг, таким радостным казался озаренный солнцем пейзаж, такая веселая музыка слышалась в песнях летних птиц, так вольно над самой головой проносился грач, столько было жизни и радости, что мальчик, подняв болевшие от слез глаза и осмотревшись вокруг, невольно подумал о том, что сейчас не время для смерти, что Роз, конечно, не может умереть, когда так веселы и беззаботны все эти бесхитростные создания, что время рыть могилы в холодную и унылую зимнюю пору, а не теперь, когда все залито

солнцем и благоухает. Он невольно подумал, что и саваны предназначены для морщинистых стариков и никогда не облекали своими страшными складками молодое и прекрасное тело.

Похоронный звон церковного колокола грубо оборвал Эти детские размышления. Еще один удар! Еще! Они возвещали о погребальной службе. В ворота вошла скромная группа провожающих; на них были белые банты, потому что покойник был молод. С обнаженной головой они стояли у могилы, и среди плачущих была мать — мать, потерявшая ребенка. Но ярко светило солнце и птицы пели.

Оливер побрел домой, размышляя о том, сколько добра видел он от молодой леди, и мечтая, чтобы вновь вернулось то время и он мог бы неустанно доказывать ей свою благодарность и привязанность. У него не было никаких оснований упрекать себя в небрежности или невнимании — он служил ей преданно, и тем не менее припоминались сотни мелких случаев, когда, казалось ему, он мог бы проявить больше усердия и рвения, и он сожалел, что этого не сделал. Мы должны быть осторожны в своих отношениях с теми, кто нас окружает, ибо каждая смерть приносит маленькому кружку оставшихся в живых мысль о том, как много было упущено и как мало сделано, сколько позабытого и еще больше непоправимого! Нет раскаяния более жестокого, чем раскаяние бесполезное; если мы хотим избавить себя от его мук, вспомним об этом, пока не поздно.

Когда он вернулся домой, миссис Мэйли сидела в маленькой гостиной. При виде ее у Оливера замерло сердце: она ни разу не отходила от постели своей племянницы, и он страшился подумать, какая перемена заставила ее уйти. Он узнал, что Роз погрузилась в глубокий сон и, очнувшись ото сна, либо выздоровеет и будет жить, либо простится с ними и умрет.

В течение нескольких часов они сидели, прислушиваясь и боясь заговорить. Обед унесли нетронутым; видно было, что мысли их витают где-то в другом месте, когда они следили, как солнце опускалось все ниже и ниже и, наконец, окрасило небо и землю в те радужные тона, которые возвещают закат. Их чуткий слух уловил шум приближающихся шагов. Они невольно бросились к двери; вошел мистер Лосберн.

— Что Роз? — вскричала старая леди. — Скажите сразу! Я могу это вынести, я вынесу все, кроме неизвестности! Говорите же, ради бога!

— Вы должны успокоиться! — поддерживая ее, сказал доктор. — Прошу вас, сударыня, успокойтесь, дорогая моя!

— Пустите меня, ради бога! Дорогое мое дитя! Она умерла! Умирает!

— Нет! — с жаром воскликнул доктор. — Бог милостив, она будет жить еще много лет на радость всем нам!

Леди упала на колени и попыталась сложить руки, но силы, так долго ее поддерживавшие, унеслись к небесам вместе с первой благодарственной молитвой, и она опустилась на руки друга.

Глава XXXIV, содержит некоторые предварительные сведения о молодом джентльмене, который появляется на сцене, а также новое приключение Оливера

Это счастье было почти непосильно. Оливер был ошеломлен и оглушен неожиданной вестью.

Он не мог плакать, разговаривать, отдыхать. Он с трудом понимал происходившее, долго бродил, вдыхая вечерний воздух, и, наконец, хлынувшие слезы принесли ему облегчение, и он словно очнулся вдруг и осознал вполне ту радостную перемену, какая произошла, и как безгранично тяжело было бремя тревоги, которое сняли с его плеч.

Быстро сгущались сумерки, когда он возвращался домой, нагруженный цветами, которые собирал с особенной заботливостью, чтобы украсить комнату больной. Бодро шагая по дороге, он слышал за спиной шум бешено мчавшегося экипажа. Оглянувшись, он увидел быстро приближавшуюся почтовую карету и, так как лошади неслись галопом, а дорога была узкая, прислонился к каким-то воротам, чтобы ее пропустить.

Когда карета поравнялась с ним, Оливер мельком увидел человека в белом ночном колпаке, лицо которого показалось ему знакомым, хотя за это короткое мгновение он не мог его узнать. Секунды через две ночной колпак высунулся из окна кареты, а зычный голос приказал кучеру остановиться, что тот и исполнил, как только ему удалось справиться с лошадьми.

— Сюда! — крикнул голос. — Оливер, что нового? Мисс Роз? О-ли-вер!

— Это вы, Джайлс? — закричал Оливер, подбегая к дверце кареты.

Джайлс снова высунул свой ночной колпак, собираясь ответить, как вдруг его оттолкнул назад молодой джентльмен, занимавший другой угол кареты, и с нетерпением спросил, что нового.

— Одно слово! — крикнул джентльмен. — Лучше или хуже?

— Лучше, гораздо лучше! — поспешил ответить Оливер.

— Слава Богу! — воскликнул джентльмен. — Ты уверен?

— Совершенно уверен, сэр! — ответил Оливер. — Кризис был всего несколько часов назад, и мистер Лосберн говорит, что всякая опасность миновала.

Джентльмен, не произнося ни слова, открыл дверцу, выпрыгнул из кареты и, схватив Оливера под руку, отвел его в сторону.

— Ты совершенно уверен? Ты не ошибаешься, мой мальчик? — дрожащим голосом спросил он. — Не обманывай меня, пробуждая надежду, которой не суждено сбыться.

— Ни за что на свете я бы этого не сделал, сэр, — ответил Оливер. — Право же, вы можете мне поверить! Вот слова мистера Лосберна: «Она будет жить еще много лет на радость всем нам». Я сам слышал, как он это сказал.

У Оливера слезы выступили на глазах, когда он припомнил минуту, даровавшую такое великое счастье; а джентльмен молча отвернулся. Оливеру не один раз чудилось, будто он слышит его рыдания, но он боялся помешать ему каким-нибудь замечанием, ибо легко угадывал, что у него на душе, — а потому стоял в сторонке и делал вид, будто занят своим букетом.

Между тем мистер Джайлс, в белом ночном колпаке, сидел на подножке кареты, опершись обоими локтями о колени и утирая глаза бумажным носовым платком, синим в белую крапинку. Бедняга отнюдь не притворялся взволнованным — об этом явно свидетельствовали очень красные глаза, которые он поднял на молодого джентльмена, когда тот повернулся и заговорил с ним.

— Пожалуй, лучше будет, Джайлс, если вы сядете в карсту и поедете к моей матери, — сказал он. — А я предпочел бы пройти пешком, чтобы выиграть время, прежде чем увижу ее. Можете сказать ей, что я сейчас приду.

— Прошу прощения, мистер Гарри, — сказал Джайлс, наводя носовым платком последний лоск на свою взбудораженную физиономию, — но если бы вы приказали фореитору передать это поручение, я был бы вам весьма признателен. Не годится, чтобы служанки видели меня в таком состоянии, сэр... Я утрачу всякий авторитет в их глазах.

— Хорошо, — с улыбкой ответил Гарри Мэйли, — поступайте как знаете. Пусть он отправляется вперед с багажом, если вам это по вкусу, а вы следуйте за ним вместе с нами. Но сначала смените этот ночной колпак на более приличный головной убор, не то нас примут за сумасшедших.

Мистер Джайлс, получив напоминание о неподобающем своем наряде, сорвал с головы и спрятал в карман ночной колпак и заменил его шляпой солидного и простого фасона, которую достал из кареты. Когда с этим было покончено, фореитор поехал дальше; Джайлс, мистер Мэйли и Оливер следовали за ним не спеша.

Дорогой Оливер с большим интересом и любопытством посматривал на приезжего. На вид ему было лет двадцать пять; он был среднего роста, лицо открытое и красивое, обхождение простое и непринужденное. Невзирая на разницу в возрасте, он так походил на пожилую леди, что Оливер мог бы догадаться об их родстве, даже если бы он не упомянул о ней как о своей матери.

Когда он подходил к коттеджу, миссис Мэйли с нетерпением поджидала сына. При встрече оба были очень взволнованы.

— Маменька, — прошептал молодой человек, — почему вы не написали раньше?

— Я написала, — ответила миссис Мэйли, — но, подумав, решила не посылать письма, пока не услышу мнение мистера Лосберна.

— Но зачем, — продолжал молодой человек, — зачем было рисковать, когда могло случиться то, что едва не случилось? Если бы Роз... нет, сейчас я не могу выговорить это слово... если бы исход болезни оказался иным, разве могли бы вы когда-нибудь простить себе? Разве мог бы я когда-нибудь быть снова счастлив?

— Случись самое скверное, Гарри, — сказала миссис Мэйли, — твоя жизнь, боюсь, была бы навсегда разбита, и тогда имело бы очень, очень мало значения, приехал ты сюда днем раньше или позже.

— А если и так, что удивительного? — возразил молодой человек. — И зачем говорить если? Это так и есть, так и есть... вы это знаете, маменька... должны знать.

— Я знаю, что она заслуживает самой нежной и чистой любви, на какую способно сердце мужчины, — сказала миссис Мэйли, — знаю, что ее преданная и любящая натура требует не легкого чувства, но глубокого и постоянного. Если бы я этого не понимала и не знала вдобавок, что, изменись к ней тот, кого она любит, она тут же умерла бы с горя, я почла бы свою задачу не столь трудной и с легким сердцем взялась бы за исполнение того, что считаю своим непреложным долгом.

— Это жестоко, маменька, — сказал Гарри. — Неужели вы до сих пор смотрите на меня как на

мальчика, не ведающего своего собственного сердца и не понимающего стремлений своей души?

— Я думаю, дорогой мой сын, — ответила миссис Мэйли, положив руку ему на плечо, — что юности свойственны благородные стремления, которые не бывают длительными, а среди них есть такие, которые, будучи удовлетворены, оказываются еще более мимолетными. А прежде всего я думаю, — продолжала леди, не спуская глаз с сына, — что если восторженный, пылкий и честолюбивый человек вступает в брак с девушкой, на чьем имени лежит пятно, то хотя она в этом не повинна, бессердечные и дурные люди могут карать и ее и их детей и, по мере его успеха в свете, напоминать ему об этом пятне и издеваться над ним; и я думаю, что этот человек — как бы ни был он великодушен и добр по природе — может когда-нибудь раскаяться в союзе, какой заключил в молодости. А она, зная об этом, будет страдать.

— Маменька, — нетерпеливо сказал молодой человек, — тот, кто поступил бы так, недостойн называться мужчиной и недостойн женщины, которую вы описываете.

— Так думаешь ты теперь, Гарри, — отозвалась мать.

— И так буду думать всегда! — воскликнул молодой человек. — Душевная пытка, какую я претерпел за эти два дня, вырывает у меня признание в страсти, которая, как вам хорошо известно, родилась не вчера и возникла не вследствие моего легкомыслия. Роз, милой, кроткой девушке, навсегда отдано мое сердце, как только может быть отдано женщине сердце мужчины. Все мои мысли, стремления, надежды связаны с нею, и, препятствуя мне в этом, вы берете в свои руки мое спокойствие и счастье и пускаете их по ветру. Маменька, подумайте хорошенько об этом и обо мне и не пренебрегайте тем счастьем, о котором вы как будто так мало думаете!

— Гарри! — воскликнула миссис Мэйли. — Как раз потому, что я так много думаю о горячих и чувствительных сердцах, мне бы хотелось избавить их от ран. Но сейчас сказано об этом достаточно, более чем достаточно...

— В таком случае пусть решает Роз, — перебил Гарри. — Вы не будете отстаивать свои взгляды, чтобы создавать препятствия на моем пути?

— Нет, — ответила миссис Мэйли, — но мне бы хотелось, чтобы ты подумал...

— Я думал! — последовал нетерпеливый ответ. — Мама, я думал годы и годы. Я начал думать об этом, как только стал способен рассуждать серьезно. Мои чувства неизменны, и такими они останутся. К чему мне терпеть мучительную отсрочку и сдерживать их, раз это ничего доброго принести не может? Нет! Прежде чем я отсюда уеду, Роз должна меня выслушать.

— Она выслушает, — сказала миссис Мэйли.

— Судя по вашему тону, вы как будто полагаете, маменька, что она выслушает меня холодно, — сказал молодой человек.

— Нет, не холодно, — ответила старая леди. — Совсем нет.

— Тогда как? — настаивал молодой человек. — Не отдала ли она свое сердце другому?

— Конечно, нет! — сказала его мать. — Если не ошибаюсь, ее сердце принадлежит тебе. Но вот что хотелось бы мне сказать, — продолжала старая леди, удерживая сына, когда тот хотел заговорить, — прежде чем ставить все на эту карту, прежде чем позволить себе унести на

крыльях надежды, подумай минутку, дорогое мое дитя, об истории Роз и рассуди, как может повлиять на ее решение то, что она знает о своем сомнительном происхождении, раз она так предана нам всей своей благородной душой и всегда так безгранично готова пренебречь своими интересами — как в серьезных делах, так и в пустяках.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я предоставляю тебе подумать, — отозвалась миссис Мэйли. — Я должна вернуться к ней. Да благословит тебя Бог!

— Мы еще увидимся сегодня вечером? — с волнением спросил молодой человек.

— Позднее, — ответила леди, — когда я приду от Роз.

— Вы ей скажете, что я здесь? — спросил Гарри.

— Конечно, — ответила миссис Мэйли.

— И скажите, в какой я был тревоге, сколько страдал и как хочу ее видеть. Вы не откажете мне в этом, маменька?

— Нет, — отозвалась старая леди. — Я скажу ей все.

И, ласково пожав сыну руку, она вышла. Пока шел этот торопливый разговор, мистер Лосберн и Оливер оставались в другом конце комнаты. Теперь мистер Лосберн протянул руку Гарри Мэйли, и они обменялись сердечными приветствиями. Затем доктор в ответ на многочисленные вопросы своего молодого друга дал точный отчет о состоянии больной, оказавшейся не менее утешительным, чем слова Оливера, пробудившие в нем надежду. Мистер Джайлс, делая вид, будто занят багажом, прислушивался, наострив уши.

— За последнее время ничего особенного не подстрелили, Джайлс? — осведомился доктор, закончив отчет.

— Ничего особенного, сэр, — ответил мистер Джайлс, покраснев до ушей.

— И воров никаких не поймали и никаких грабителей не опознали? — продолжал доктор.

— Никаких, сэр, — важно ответил мистер Джайлс.

— Жаль, — сказал доктор, — потому что такого рода дела вы обделываете превосходно... А скажите, пожалуйста, как поживает Бритлс?

— Паренек чувствует себя прекрасно, сэр, — ответил мистер Джайлс, вновь обретя свой обычный, снисходительный тон, — и просит засвидетельствовать вам свое глубокое уважение.

— Отлично, — сказал доктор. — При виде вас я вспомнил, мистер Джайлс, что за день до того, как меня так поспешно вызвали, я исполнил, по просьбе вашей доброй хозяйки, маленькое приятное для вас поручение. Не угодно ли вам отойти на минутку сюда, в угол?

Мистер Джайлс величественно, с некоторым изумлением отступил в угол и имел честь вести шепотом краткую беседу с доктором, по окончании которой отвесил великое множество поклонов и удалился необычайно важной поступью. Предмет этого собеседования остался тайной в гостиной, но незамедлительно был обнародован в кухне, ибо мистер Джайлс отправился прямо туда и, потребовав кружку эля, возвестил с торжественным видом, что его

госпоже угодно было в награду за его доблестное поведение в день неудавшегося грабежа положить в местную сберегательную кассу двадцать пять фунтов специально для него. Тут обе служанки подняли руки и глаза к небу и предположили, что теперь мистер Джайлс совсем возгордится. На это мистер Джайлс, расправив жабо, отвечал: «Нет, нет», — добавив, что, если они заметят хоть сколько-нибудь высокомерное отношение с его стороны к подчиненным, он будет им благодарен, когда бы они ему об этом ни сказали. А затем он сделал еще много других замечаний, в не меньшей мере свидетельствовавших о его скромности, которые были приняты так же благосклонно и одобрительно и являлись такими же оригинальными и уместными, какими обычно бывают замечания великих людей.

Конец вечера прошел наверху весело: доктор был в превосходном расположении духа, а как ни был утомлен сначала или озабочен Гарри Мэйли, однако и он не мог устоять перед добродушием достойного джентльмена, проявлявшимся в разнообразнейших остротах, всевозможных профессиональных воспоминаниях и бесчисленных шутках, которые казались Оливеру самыми забавными из всех им слышанных и заставляли его смеяться, к явному удовольствию доктора, который и сам хохотал безудержно и, в силу симпатии, принуждал Гарри смеяться чуть ли не так же заразительно. Таким образом, они провели время очень приятно, насколько возможно при данных обстоятельствах, и было уже поздно, когда они с легким и благодарным сердцем ушли отдыхать, в чем после недавно перенесенных тревог и беспокойства очень нуждались.

Утром Оливер проснулся бодрым и принялся за свои обычные занятия с такой надеждой и радостью, каких не знал много дней. Клетки были снова развешаны, чтобы птицы пели на старых своих местах; и снова были собраны самые душистые полевые цветы, чтобы красотой своей радовать Роз. Грусть, которая, как представлялось печальным глазам встревоженного мальчика, нависла надо всем вокруг, хотя вокруг все и было прекрасно, рассеялась, словно по волшебству. Казалось, роса ярче сверкала на зеленой листве, ветер шелестел в ней нежнее и небо стало синее и ярче — Так влияют наши собственные мысли даже на внешний вид предметов. Люди, взирающие на природу и своих ближних и утверждающие, что все хмуро и мрачно, — правы; но темные тона являются отражением их собственных затуманенных желчью глаз и сердец. В действительности же краски нежны и требуют более ясного зрения.

Не мешает отметить — и Оливер не преминул обратить на это внимание, — что в утренние свои экскурсии он отправлялся теперь не один. Гарри Мэйли с того утра, когда он встретил Оливера, возвращающегося домой со своей ношей, воспылал такой любовью к цветам и проявил столько вкуса при составлении букетов, что заметно превзошел своего юного спутника. Но если в этом Оливер отстал, зато ему известно было, где найти лучшие цветы; и каждое утро они вдвоем рыскали по окрестностям и приносили домой прекрасные букеты. Окно спальни молодой леди было теперь открыто; ей нравилось, когда в комнату врвался душистый летний воздух и оживлял ее своей свежестью; а на подоконнике всегда стоял в воде особый маленький букетик, который с величайшей заботливостью составляли каждое утро. Оливер не мог не заметить, что увядшие цветы никогда не выбрасывались, хотя маленькая вазочка аккуратно наполнялась свежими; не мог он также не заметить, что, когда бы доктор не вышел в сад, он неизменно посматривал в тот уголок и весьма выразительно кивал головой, отправляясь на утреннюю свою прогулку. Оливер занимался наблюдениями, дни летели, и Роз быстро поправлялась.

Нельзя сказать, чтобы для Оливера время тянулось медленно, хотя молодая леди еще не выходила из своей комнаты и вечерних прогулок не было, разве что изредка недалекие прогулки с миссис Мэйли. С особым рвением он принялся за уроки у старого, седого джентльмена и работал так усердно, что даже сам был удивлен своими быстрыми успехами.

Но вот однажды, когда он занимался, неожиданное происшествие несказанно испугало его и потрясло.

Маленькая комнатка, где он обычно сидел за своими книгами, находилась в нижнем этаже, в задней половине дома. Это была обычная комната сельского коттеджа — окно, забранное решеткой, а за ним кусты жасмина и вившаяся по оконной раме жимолость, наполнявшие помещение чудесным ароматом. Окно выходило в сад, садовая калитка вела на огороженный лужок; дальше — прекрасный луг и лес. В этой стороне не было поблизости никакого жилья, а отсюда открывалась широкая даль.

Однажды чудесным вечером, когда первые сумеречные тени начали простираться по земле, Оливер сидел у окна, погруженный в свои книги. Он давно уже сидел над ними, а так как день был необычайно знойный и он немало потрудился — авторов этих книг, кто бы они там ни были, нисколько не унижает то, что Оливер незаметно заснул.

Иной раз к нам подкрадывается такой сон, который, держа в плену тело, не освобождает нашего духа от восприятия окружающего и позволяет ему витать где вздумается. Если ощущение непреодолимой тяжести, упадок сил и полная неспособность контролировать наши мысли и движения могут быть названы сном — это сон; однако мы сознаем все, что вокруг нас происходит, и если в это время вам что-нибудь снится, слова, действительно произносимые, и звуки, в этот момент действительно слышимые, с удивительной легкостью приноравливаются к нашему сновидению, и, наконец, действительное и воображаемое так странно сливаются воедино, что потом почти невозможно их разделить. Но это еще не самое поразительное явление, сопутствующее такому состоянию. Хотя наше чувство осязания и наше зрение в это время мертвы, однако на наши спящие мысли и на мелькающие перед нами видения может повлиять материально даже *безмолвное присутствие* какого-нибудь реального предмета, который мог и не находиться около нас, когда мы закрыли глаза, и о близости которого мы и не подозревали наяву.

Оливер прекрасно знал, что сидит в своей комнатке, что перед ним на столе лежат его книги, что за окном ароматный ветерок шелестит в листьях ползучих растений. И, однако, он спал. Внезапно картина изменилась. Воздух стал душным и спертым, и он с ужасом подумал, что снова находится в доме еврея. Там, в обычном своем уголку, сидел этот безобразный старик, указывая на него и шепча что-то другому человеку, который, отвернувшись в сторону, сидел рядом с ним.

— Тише, мой милый! — чудилось ему, будто он слышит слова еврея. — Конечно, это он! Уйдем.

— Он! — ответил будто бы тот, другой. — Вы думаете, я могу не узнать его? Если бы толпа призраков приняла его облик и он стоял в этой толпе, что-то подсказало бы мне, как его опознать. Если бы его тело зарыли глубоко под землей, я сыскал бы его могилу, даже не будь на ней ни плиты, ни камня.

Казалось, человек говорит с такой страшной ненавистью, что от испуга Оливер проснулся и вскочил.

О боже! Что же заставило кровь прихлынуть к его сердцу, лишило его голоса и способности двигаться? Там... там... у окна... близко — так близко, что он мог бы его коснуться, если бы не отшатнулся, — стоял еврей. Он заглядывал в комнату и встретился с ним глазами. А рядом с ним — побледневшее от ярости или страха, либо от обоих этих чувств — виднелось злобное лицо того самого человека, который заговорил с ним во дворе гостиницы.

Это было мгновение, взгляд, вспышка. Они исчезли. Но они его узнали; и он их узнал; и лица их запечатлелись в его памяти так прочно, словно были высечены глубоко на камне и со дня его рождения находились у него перед глазами. Секунду он стоял как пригвожденный к месту. Потом, выпрыгнув из окна в сад, громко позвал на помощь.

Глава XXXV, повествующая о том, как неудачно окончилось приключение Оливера, а также о не лишенном значения разговоре между Гарри Мэйли и Роз

Когда обитатели дома, привлеченные криками, бросились туда, откуда они доносились, Оливер, бледный и потрясенный, указывал на луга за домом и с трудом бормотал: «Старик! Старик!»

Мистер Джайлс не в силах был уразуметь, что означает этот возглас, но Гарри Мэйли, соображавший быстрее и слышавший историю Оливера от своей матери, понял сразу.

— В какую сторону он побежал? — спросил он, схватив тяжелую палку, стоявшую в углу.

— Туда! — ответил Оливер, указывая, в каком направлении они скрылись. — Я мгновенно потерял их из виду.

— Значит, они в канаве! — сказал Гарри. — За мной! И старайтесь от меня не отставать.

С этими словами он перепрыгнул через живую изгородь и помчался с такой быстротой, что остальным чрезвычайно трудно было не отставать.

Джайлс следовал за ним по мере сил; следовал за ним и Оливер, а минуты через две мистер Лосберн, вышедший на прогулку и только что вернувшийся домой, перевалился через изгородь и, вскочив на ноги с таким проворством, какого нельзя было от него ожидать, кинулся сломя голову в том же направлении и все время оглушительно кричал, желая узнать, что случилось.

Все мчались вперед и ни разу не остановились, чтобы отдышаться, пока их предводитель, свернув на указанный Оливером участок поля, не начал тщательно обыскивать канаву и прилегающие кусты, что дало время остальным догнать его, а Оливеру — поведать мистеру Лосберну о тех обстоятельствах, которые привели к столь стремительной погоне.

Поиски оказались тщетными. Не видно было даже свежих следов. Теперь все стояли на вершине небольшого холма, откуда на три-четыре мили можно было обозреть окрестные поля. Слева в ложбине находилась деревня, но чтобы добраться до нее дорогой, указанной Оливером, людям пришлось бы бежать в обход по открытому месту, и вряд ли они могли скрыться из виду за такое короткое время. С другой стороны луг был окаймлен густым лесом, но этого прикрытия они не могли достигнуть по той же причине.

— Не приснилось ли это тебе, Оливер? — сказал Гарри Мэйли.

— Нет, право же, нет, сэр! — воскликнул Оливер, содрогаясь при одном воспоминании о физиономии старого негодяя. — Я слишком ясно его видел! Их обоих я видел так же ясно, как вижу сейчас вас.

— А кто был этот второй? — в один голос спросили Гарри и мистер Лосберн.

— Тот самый, о котором я вам уже говорил. Тот самый, кто вдруг набросился на меня около

гостиницы, — ответил Оливер. — Мы встретились с ним взглядом, и я могу поклясться, что это он.

— Они побежали в эту сторону? — спросил Гарри. — Ты в этом уверен?

— Уверен так же, как и в том, что они стояли у окна, — ответил Оливер, указывая при этих словах на изгородь, отделявшую сад коттеджа от луга. — Вот здесь перепрыгнул высокий человек, а еврей, отбежав на несколько шагов вправо, пролез вон в ту дыру.

Пока Оливер говорил, оба джентльмена всматривались в его возбужденное лицо и, переглянувшись, по-видимому, поверили в точность его рассказа. Тем не менее нигде не видно было следов людей, поспешно обратившихся в бегство. Трава была высокая, но нигде не примята, за исключением тех мест, где они сами ее притоптали. По краям канав лежала сырая глина, но нигде не могли они различить отпечатков мужских башмаков или хоть какой-нибудь след, указывавший, что несколько часов назад здесь ступала чья-то нога.

— Удивительно, — сказал Гарри.

— Удивительно! — откликнулся доктор. — Блетерс и Дафф и те не могли бы тут разобраться.

Несмотря на явную бесполезность поисков, они не ушли домой — пока спустившаяся ночь не сделала дальнейшие поиски безнадежными; да и тогда они отказались от них с неохотой. Джайлса послали в деревенские трактиры, снабдив самым точным описанием внешности и одежды незнакомцев, какое мог дать Оливер. Еврей был во всяком случае достаточно примечателен, чтобы его запомнили, если б он зашел куда-нибудь выпить стаканчик или слонялся поблизости, но Джайлс вернулся, не принеся никаких сведений, которые могли бы раскрыть тайну или хоть что-нибудь объяснить.

На другой день возобновили поиски и снова наводили справки, но столь же безуспешно. Через день Оливер и мистер Мэйли отправились в городок, где был рынок, надеясь услышать что-нибудь об этих людях; но и эта попытка ни к чему не привела. Спустя несколько дней это событие стало забываться, как забываются почти все события, когда любопытство, не получая новой пищи, само собой угасает.

Между тем Роз быстро поправлялась. Она уже ходила по дому, начала выходить в сад и снова приняла участие в жизни семьи, радуя все сердца.

Но хотя эта счастливая перемена заметно отразилась на маленьком кружке и хотя в коттедже снова зазвучали беззаботные голоса и веселый смех, иногда кое в ком чувствовалась непривычная скованность — даже в самой Роз, — на что не мог не обратить внимания Оливер. Миссис Мэйли с сыном уединялись часто и надолго, а Роз не раз приходила заплаканная. Когда же мистер Лосберн назначил день своего отъезда в Чертей, эти признаки стали еще заметнее, и было ясно, что происходит нечто, нарушающее покой молодой леди и кого-то еще.

Наконец, как-то утром, когда Роз сидела одна в маленькой столовой, вошел Гарри Мэйли и нерешительно попросил позволения поговорить с ней несколько минут.

— Недолго... совсем недолго... я вас не задержу, Роз, — сказал молодой человек, придвигая к ней стул. — То, что я хочу сказать, уже открыто вашим мыслям... Самые заветные мои надежды известны вам, хотя от меня вы о них еще не слыхали.

Роз очень побледнела, когда он вошел, но это можно было приписать ее недавней болезни. Она опустила голову и, склонившись над стоявшими поблизости цветами, молча ждала

продолжения.

— Я... я должен был уехать отсюда раньше, — сказал Гарри.

— Да... должны, — отозвалась Роз. — Простите мне эти слова, но я бы хотела, чтобы вы уехали.

— Меня привело сюда самое ужасное и мучительное опасение, — продолжал молодой человек, — боязнь потерять единственное дорогое существо, на котором сосредоточены все мои упования и надежды. Вы были при смерти; вы пребывали между землей и небом. Мы знаем: когда болезнь поражает юных, прекрасных и добрых, их дух бессознательно стремится к светлой обители вечного покоя... Мы знаем — да поможет нам небо! — что лучшие и прекраснейшие из нас слишком часто увядают в полном расцвете.

При этих словах слезы выступили на глазах кроткой девушки; и когда одна слезинка упала на цветок, над которым она склонилась, и ярко засверкала в его венчике, цветок стал еще прекраснее, — казалось, будто изливания ее девственного, юного сердца заявляют по праву о своем родстве с чудеснейшим творением Природы.

— Создание, прекрасное и невинное, как ангел небесный, — с жаром продолжал молодой человек, — находилось между жизнью и смертью. О, кто мог надеяться — когда перед глазами ее приоткрылся тот далекий мир, который был родным для нее, — что она вернется к печалям и невзгодам этого мира! Роз, Роз, видеть, как вы ускользаете, подобно нежной тени, отброшенной на землю лугом с небес, отказаться от надежды, что вы будете сохранены для тех, кто прозябает здесь, — да и вряд ли знать, зачем должны вы быть сохранены для них, — чувствовать, что вы принадлежите тому лучезарному миру, куда так рано унеслись на крыльях столь многие, самые прекрасные и добрые, и, однако, вопреки этим утешительным мыслям, молиться о том, чтобы вы были возвращены тем, кто вас любит, — такое мучение вряд ли можно вынести! Я испытывал его днем и ночью. Вместе с ним на меня нахлынул поток страхов, опасений и себялюбивых сожалений, что вы можете умереть, не узнав, как беззаветно я любил вас, — этот поток мог унести с собой и сознание и мой разум!.. Вы выздоровели. День за днем и чуть ли не час за часом здоровье по капле возвращалось к вам и, вливаясь в истощенный, слабый ручеек жизни, медленно в вас текущий, вновь подарило ему стремительность и силу. Глазами, ослепленными страстной и глубокой любовью, я следил за тем, как с порога смерти вы возвращались к жизни. Не говорите же мне, что вы хотите лишить меня этого! Ибо теперь, когда я люблю, люди стали мне ближе.

— Я не это хотела сказать, — со слезами ответила Роз. — Я хочу только, чтобы вы уехали отсюда и снова устремились к высоким и благородным целям — целям, вполне достойным вас.

— Нет цели, более достойной меня, более достойной самого благородного человека, чем старания завоевать такое сердце, как ваше! — сказал молодой человек, беря ее руку. — Роз, милая моя, дорогая Роз! Много лет, много лет я любил вас, надеясь завоевать пути к славе, а потом гордо вернуться домой, чтобы разделить ее с вами... Я грезил наяву о том, как в эту счастливую минуту напому вам о многих безмолвных доказательствах юношеской любви и попрошу вашей руки во исполнение старого безмолвного соглашения, заключенного между нами! Это не случилось. Но теперь, не завоевав никакой славы и не осуществив ни одной юношеской мечты, я предлагаю вам свое сердце, давно отданное вам, и вся моя судьба зависит от тех слов, какими вы встретите это предложение.

— Вы всегда были добры и благородны, — сказала Роз, подавляя охватившее ее волнение. — Вы не считаете меня бесчувственной или неблагодарной, так выслушайте же мой ответ.

— Вы ответите, что я могу заслужить вас, не правда ли, дорогая Роз?

— Я отвечу, — сказала Роз, — что вы должны постараться забыть меня: нет, не старого и преданного вам друга — это ранило бы меня глубоко, — а ту, кого вы любите. Посмотрите вокруг! Подумайте, сколько на свете сердец, покорить которые вам было бы лестно. Если хотите, сделайте меня поверенной вашей новой любви... Я буду самым верным, любящим и преданным вашим другом.

Последовало молчание, в течение которого Роз, закрыв лицо рукой, дала волю слезам. Гарри не выпускал другой ее руки.

— Какие у вас причины. Роз, — тихо спросил он, наконец, — какие у вас причины для такого решения?

— Вы имеете право их знать, — ответила Роз. — И все ваши слова бессильны их изменить. Это — долг, который я должна исполнить. Я обязана это сделать ради других и ради самой себя.

— Ради самой себя?

— Да, Гарри. Ради себя самой; лишенная друзей и состояния, с запятнанным именем, я не должна давать вашим друзьям повод заподозрить меня в том, будто я из корысти уступила вашей первой любви и послужила помехой для всех ваших надежд и планов. Я обязана, ради вас и ваших родных, помешать тому, чтобы вы в пылу свойственного вам великодушия воздвигли такую преграду на пути к жизненным успехам...

— Если ваши чувства совпадают с сознанием долга... — начал Гарри.

— Нет, не совпадают... — сильно покраснев, ответила Роз.

— Значит, вы отвечаете на мою любовь? — спросил Гарри. — Только это одно скажите, дорогая Роз, только это! И смягчите горечь столь тяжкого разочарования!

— Если бы я могла отвечать на нее, не принося жестокого зла тому, кого люблю, — сказала Роз, — я бы...

— Вы приняли бы это признание совсем иначе? — спросил Гарри. — Хотя этого не скрывайте от меня. Роз!

— Да! — сказала Роз. — Довольно! — прибавила она, освобождая руку. — Зачем нам продолжать этот мучительный разговор? Очень мучительный для меня, и тем не менее он сулит мне счастье на долгие времена, потому что счастьем будет сознавать, что своей любовью вы вознесли меня так высоко и каждый ваш успех на жизненном поприще будет придавать мне сил и твердости. Прощайте, Гарри! Так, как встретились мы сегодня, мы больше никогда не встретимся, но хотя наши отношения не будут походить на те, какие могла повлечь за собой Эта беседа, — мы можем быть связаны друг с другом прочно и надолго. И пусть благословения, исторгнутые молитвами верного и пылкого сердца из источника правды, пусть они принесут вам радость и благоденствие!

— Еще одно слово, Роз! — сказал Гарри. — Скажите, какие у вас основания? Дайте мне услышать их из ваших уст!

— Перед вами блестящее будущее, — твердо ответила Роз. — Вас ждут все почести, которых большие способности и влиятельные родственники помогают достигнуть в общественной

жизни. Но эти родственники горды, а я не хочу встречаться с теми, кто может отнестись с презрением к матери, давшей мне жизнь, и не хочу принести позор сыну той, которая с такой добротой заступила место моей матери. Одним словом, — продолжала молодая девушка, отворачиваясь, так как стойкость покинула ее, — мое имя запятнано, и люди перенесут мой позор на невиновного! Пусть попрекают лишь меня и я одна буду страдать.

— Еще одно слово, Роз, дорогая Роз, только одно! — воскликнул Гарри, бросаясь перед ней на колени. — Если бы я не был таким... таким счастливым, как сказали бы в свете... если бы мне суждено было тихо и незаметно прожить свою жизнь, если бы я был беден, болен, беспомощен, вы и тогда отвернулись бы от меня? Или же эти сомнения рождены тем, что я, быть может, завуюю богатство и почести?

— Не настаивайте на ответе, — сказала Роз. — Этот вопрос не возникал и никогда не возникнет. Нехорошо, почти жестоко добиваться ответа!

— Если ответ ваш будет такой, на какой я почти смею надеяться, — возразил Гарри, — он прольет луч счастья на одинокий мой путь и осветит лежащую передо мной тропу. Произнести несколько коротких слов, дать так много тому, кто любит вас больше всех в мире, — не пустое дело! О Роз, во имя моей пламенной и крепкой любви, во имя того, что я выстрадал ради вас, и того, на что вы меня обрекаете, ответьте мне на один только этот вопрос!

— Да, если бы судьба ваша сложилась иначе, — сказала Роз, — и вы не намного выше меня стояли бы в обществе, если бы я могла быть вам помощью и утешением в каком-нибудь скромном, тихом и уединенном уголке, а не бесчестьем и помехой среди честолюбивых и знатных людей, — тогда мне проще было бы принять решение. Теперь у меня есть все основания быть счастливой, очень счастливой, но признаюсь вам, Гарри, тогда я была бы еще счастливее.

Яркие воспоминания о былых надеждах, которые она лелеяла давно, еще девочкой, воскресли в уме Роз, когда она делала это признание; но они вызвали слезы, какие всегда вызывают былые надежды, возвращаясь к нам увядшими, и слезы принесли ей облегчение.

— Я не могу побороть эту слабость, но она укрепляет мое решение, — сказала Роз, протягивая ему руку. — А теперь мы должны расстаться.

— Обещайте мне только одно, — сказал Гарри, — один раз, один только раз — ну, скажем, через год, а быть может, раньше — вы позволите мне снова заговорить с вами об этом... заговорить в последний раз!

— Но не настаивать на том, чтобы я изменила принятое мной решение, — с печальной улыбкой отозвалась Роз. — Это будет бесполезно.

— Согласен! — сказал Гарри. — Только услышать, как вы повторите его, если захотите — повторите в последний раз! Я положу к вашим ногам все чины и богатства, каких достигну, и если вы останетесь непоколебимы в своем решении, я не буду ни словом, ни делом добиваться, чтобы вы от него отступили.

— Пусть будет так, — ответила Роз, — это только причинит новую боль, но, может быть, к тому времени я в состоянии буду перенести ее.

Она снова протянула руку. Но молодой человек прижал Роз к груди и, поцеловав ее чистый лоб, быстро вышел из комнаты.

Глава XXXVI, очень короткая и, казалось бы, не имеющая большого значения в данном месте. Но тем не менее ее должно прочесть как продолжение предыдущей и ключ к той, которая последует в надлежащее время

— Так, стало быть, вы решили уехать сегодня утром со мной? — спросил доктор, когда Гарри Мэйли уселся за завтрак вместе с ним и Оливером. — Каждые полчаса у вас меняются или планы, или расположение духа!

— Придет время, и вы мне скажете совсем другое, — отозвался Гарри, краснея без всякой видимой причины.

— Надеюсь, у меня будут на то веские основания, — ответил мистер Лосберн, — хотя, признаюсь, я не думаю, чтобы это случилось. Не далее чем вчера утром вы очень поспешно приняли решение остаться здесь и, как подобает примерному сыну, проводить вашу мать на морское побережье. Еще до полудня вы возвещаете о своем намерении оказать мне честь и сопровождать меня в Лондон. А вечером вы весьма таинственно убеждаете меня отправиться в дорогу, раньше чем проснутся леди, — в результате чего юный Оливер принужден сидеть здесь за завтраком, хотя ему следовало бы рыскать по лугам в поисках всяких красивых растений... Плохо дело, не правда ли, Оливер?

— Я бы очень жалел, сэр, если бы меня не было дома, когда уезжаете вы и мистер Мэйли, — возразил Оливер.

— Молодец! — сказал доктор. — Когда вернешься в город, зайди навестить меня... Но, говоря серьезно, Гарри, не вызван ли этот неожиданный отъезд каким-нибудь известием, полученным от важных особ?

— От важных особ, — ответил Гарри, — к числу которых, полагаю, вы относите моего дядю, не было никаких известий с того времени, что я здесь, и в эту пору года вряд ли могло произойти какое-нибудь событие, делающее мое присутствие среди них необходимым.

— Ну и чудак же вы! — сказал доктор. — Разумеется, они проведут вас в парламент на предрождественских выборах, а эти внезапные колебания и переменчивость — недурная подготовка к политической жизни. В этом какой-то толк есть. Хорошая тренировка всегда желательна, состязаются ли из-за поста, кубка или выигрыша на скачках.

У Гарри Мэйли был такой вид, будто он мог продлить этот короткий диалог двумя-тремя замечаниями, которые потрясли бы доктора не на шутку, но он удовольствовался словом «посмотрим» и больше не говорил на эту тему. Вскоре к двери подъехала почтовая карета, и, когда Джайлс пришел за багажом, славный доктор суетливо выбежал из комнаты посмотреть, как его уложат.

— Оливер, — тихо произнес Гарри Мэйли, — я хочу сказать тебе несколько слов.

Оливер вошел в нишу у окна, куда поманил его мистер Мэйли; он был очень удивлен, видя, что расположение духа молодого человека было грустным и в то же время каким-то восторженным.

— Теперь ты уже хорошо умеешь писать? — спросил Гарри, положив руку ему на плечо.

— Надеюсь, сэр, — ответил Оливер.

— Быть может, я не скоро вернусь домой... Я бы хотел, чтобы ты мне писал — скажем, раз в две недели, в понедельник, — на главный почтамт в Лондоне. Согласен?

— О, разумеется, сэр! Я с гордостью буду это делать! — воскликнул Оливер, в восторге от такого поручения.

— Мне бы хотелось знать, как... как поживают моя мать и мисс Мэйли, — продолжал молодой человек, — и ты можешь заполнить страничку, описывая мне, как вы гуляете, о чем разговариваете и какой у нее... у них, хотел я сказать... вид, счастливый ли и здоровый. Ты меня понимаешь?

— О да, прекрасно понимаю, сэр, — ответил Оливер.

— Я бы хотел, чтобы ты им об этом не говорил, — быстро сказал Гарри, — так как моя мать стала бы писать мне чаще, что для нее утомительно и хлопотливо. Пусть это будет наш секрет. И помни — пиши мне обо всем! Я на тебя рассчитываю.

Оливер, восхищенный и преисполненный сознанием собственной значительности, от всей души пообещал хранить тайну и посылать точные сообщения. Мистер Мэйли распрощался с ним, заверив его в своем расположении и покровительстве.

Доктор сидел в карете; Джайлс (который, как было условлено, оставался здесь) придерживал дверцу, а служанки собрались в саду и наблюдали оттуда. Гарри бросил мимолетный взгляд на окно с частым переплетом и вскочил в экипаж.

— Трогайте! — крикнул он. — Быстрее, живей, галопом! Сегодня только полет будет мне по душе.

— Эй, вы! — закричал доктор, быстро опуская переднее стекло и вызывая к форейтору. — Мне полет совсем не по душе. Слышите?

Дребезжа и грохоча, пока расстояние не заглушило этого шума и только глаз мог различить движущийся экипаж, карета катилась по дороге, почти скрытая облаком пыли, то совсем исчезая из виду, то появляясь снова по воле встречавшихся на пути предметов и извилин дороги. Провожжающие разошлись лишь тогда, когда нельзя было разглядеть даже пыльное облачко.

А один из провожавших долго не спускал глаз с дороги, где исчезла карета, давно уже отъехавшая на много миль: за белой занавеской, которая скрывала ее от глаз Гарри, бросившего взгляд на окно, сидела Роз.

— Он как будто весел и счастлив, — произнесла она, наконец. — Одно время я боялась, что он будет иным. Я ошиблась. Я очень, очень рада.

Слезы могут знаменовать и радость и страдание; но те, что струились по лицу Роз, когда она задумчиво сидела у окна, глядя все в ту же сторону, казалось говорили скорее о скорби, чем о радости.

Глава XXXVII, в которой читатель может наблюдать столкновение, нередкое в супружеской жизни

Мистер Бамбл сидел в приемной работного дома, хмуро уставившись на унылую решетку камина, откуда по случаю летней поры не вырывались веселые языки пламени, и только бледные лучи солнца отражались на ее холодной и блестящей поверхности. С потолка свешивалась бумажная мухоловка, на которую он изредка в мрачном раздумье поднимал глаза, и, глядя, как суетятся в пестрой сетке неосторожные насекомые, мистер Бамбл выпускал тяжкий вздох, а на физиономию его спускалась еще более мрачная тень. Мистер Бамбл размышлял; быть может, насекомые напоминали ему какое-нибудь тягостное событие из его собственной жизни.

Но не только мрачное расположение духа мистера Бамбла могло пробудить меланхолию в душе наблюдателя. Немало было других признаков, и притом тесно связанных с его особой, которые возвещали о том, что в делах его произошла великая перемена. Обшитая галуном шинель и треуголка — где они? Нижняя половина его тела была по-прежнему облечена в короткие панталоны и черные бумажные чулки; но это были отнюдь не те панталоны. Сюртук был по-прежнему широкополый и этим напоминал прежнюю шинель, но — какая разница! Внушительную треуголку заменила скромная круглая шляпа.

Мистер Бамбл больше не был приходским бидлом. Есть такие должности, которые независимо от более существенных благ, с ними связанных, обретают особую ценность и значительность от сюртуков и жилетов, им присвоенных. У фельдмаршала есть мундир; у епископа — шелковая ряса; у адвоката — шелковая мантия; у приходского бидла — треуголка. Отнимите у епископа его рясу или у приходского бидла его треуголку и галуны — кем будут они тогда? Людьми. Обыкновенными людьми! Иной раз достоинство и даже святость зависят от сюртука и жилета больше, чем кое-кто полагает.

Мистер Бамбл женился на миссис Корни и стал надзирателем работного дома. Власть приходского бидла перешла к другому — он получил и треуголку, и обшитую галуном шинель, и трость.

— Завтра будет два месяца с тех пор, как это совершилось! — со вздохом сказал мастер Бамбл. — А мне кажется, будто прошли века.

Быть может, мистер Бамбл хотел сказать, что в этом коротком восьминедельном отрезке времени сосредоточилось для него все счастье жизни, но вздох — очень многозначителен был этот вздох.

— Я продался, — сказал мистер Бамбл, развивая все ту же мысль, — за полдюжины чайных ложек, щипцы для сахара, молочник и в придачу небольшое количество подержанной мебели и двадцать фунтов наличными. Я продешевил. Дешево, чертовски дешево!

— Дешево! — раздался над самым ухом мистера Бамбла пронзительный голос. — За тебя сколько ни дай, все равно будет дорого: всевышнему известно, что уж я-то немало за тебя заплатила!

Мистер Бамбл повернулся и увидел лицо своей привлекательной супруги, которая, не вполне уразумев те несколько слов, какие она подслушала из его жалобы, рискнула тем не менее сделать вышеупомянутое замечание.

— Миссис Бамбл, сударыня! — сказал мистер Бамбл с сентиментальной строгостью.

— Ну что? — крикнула леди.

— Будьте любезны посмотреть на меня, — произнес мистер Бамбл, устремив на нее взор. («Если она выдержит такой взгляд, — сказал самому себе мистер Бамбл, — значит, она может выдержать что угодно. Не помню случая, чтобы этот взгляд не подействовал на бедняков. Если он не подействует на нее, значит я потерял свою власть»).

Может быть, для умирения бедняков достаточно было лишь немного выпучить глаза, потому что они сидели на легкой пище и находились не в очень блестящем состоянии, или же бывшая миссис Корни была совершенно непроницаема для орлиных взглядов — зависит от точки зрения. Во всяком случае, надзирательница отнюдь не была сокрушена грозным видом мистера Бамбла, но, напротив, отнеслась к нему с великим презрением и даже разразилась хохотом, который казался вовсе не притворным.

Когда мистер Бамбл услышал эти весьма неожиданные звуки, на лице его отразилось сначала недоверие, а затем изумление. После этого он впал в прежнее состояние и очнулся не раньше, чем внимание его было вновь привлечено голосом подруги его жизни.

— Ты весь день намерен сидеть здесь и храпеть? — осведомилась миссис Бамбл.

— Я намерен сидеть здесь столько, сколько найду нужным, сударыня, — отвечал мистер Бамбл. — И хотя я не храпел, но, если мне вздумается, буду храпеть, зевать, чихать, смеяться или плакать. Это мое право.

— Твое право! — с неизъяснимым презрением ухмыльнулась миссис Бамбл.

— Да, я произнес это слово, сударыня, — сказал мистер Бамбл. — Право мужчины — повелевать!

— А какие же права у женщины, скажи во имя Господа Бога? — вскричала бывшая супруга усопшего мистера Корни.

— Повиноваться, сударыня! — загремел мистер Бамбл. — Следовало бы вашему злосчастному покойному супругу обучить вас этому, тогда, быть может, он бы и по сей день был жив. Хотел бы я, чтобы он был жив, бедняга!

Миссис Бамбл, сразу угадав, что решительный момент настал и удар, нанесенный той или другой стороной, должен окончательно и бесповоротно утвердить главенство в семье, едва успела выслушать это упоминание об усопшем, как уже рухнула в кресло и, завопив, что мистер Бамбл — бессердечная скотина, разразилась истерическими слезами.

Но слезам не проникнуть было в душу мистера Бамбла: сердце у него было непромокаемое. Подобно тому как кастровые шляпы, которые можно стирать, делаются только лучше от дождя, так и его нервы стали более крепкими и упругими благодаря потоку слез, каковые, являясь признаком слабости и в силу этого молчаливым признанием его могущества, были приятны ему и воодушевляли его. С большим удовлетворением он взирал на свою любезную супругу и поощрительным тоном просил ее хорошенько выплакаться, так как, по мнению врачей, это упражнение весьма полезно для здоровья.

— Слезы очищают легкие, умывают лицо, укрепляют Зрение и успокаивают нервы, — сказал мистер Бамбл. — Так плачь же хорошенько.

Сделав это шутовское замечание, мистер Бамбл снял с гвоздя шляпу и, надев ее довольно лихо набекрень, — как человек, сознающий, что он должным образом утвердил свое превосходство, — засунул руки в карманы и направился к двери, всем видом своим выражая полное удовлетворение и игривое расположение духа.

А бывшая миссис Корни прибегла к слезам, потому что это менее утомительно, чем кулачная расправа, но она была вполне подготовлена к тому, чтобы испробовать и последний способ воздействия, в чем не замедлил убедиться мистер Бамбл.

Первым доказательством этого факта, дошедшим до его сознания, был какой-то глухой звук, а затем его шляпа немедленно отлетела в другой конец комнаты. Когда эта предварительная мера обнажила его голову, опытная леди, крепко обхватив его одной рукой за шею, другой осыпала его голову градом ударов (наносимых с удивительной силой и ловкостью). Покончив с этим, она слегка видоизменила свои приемы, принявшись царапать ему лицо и таскать за волосы; когда же он, по ее мнению, получил должное возмездие за оскорбление, она толкнула его к стулу, который, по счастью, стоял как раз в надлежащем месте, и предложила ему еще раз заикнуться о своем праве, если у него хватит смелости.

— Вставай! — повелительным тоном сказала миссис Бамбл. — И убирайся вон, если не желаешь, чтобы я совершила какой-нибудь отчаянный поступок!

Мистер Бамбл с горестным видом встал, недоумевая, какой бы это мог быть отчаянный поступок. Подняв свою шляпу, он направился к двери.

— Ты уходишь? — спросила миссис Бамбл.

— Разумеется, дорогая моя, разумеется, — отвечал мистер Бамбл, устремившись к двери. — Я не хотел... я уйду, дорогая моя! Ты так порывиста, что, право же, я...

Тут миссис Бамбл торопливо шагнула вперед, чтобы расправить ковер, сбившийся во время потасовки. Мистер Бамбл мгновенно вылетел из комнаты, даже и не подумав докончить начатую фразу, а поле битвы осталось в полном распоряжении бывшей миссис Корни.

Мистер Бамбл растерялся от неожиданности и был разбит наголову. Он отличался несомненно склонностью к запугиванию, извлекал немалое удовольствие из мелочной жестокости и, следовательно (что само собой разумеется), был трусом. Это отнюдь не порочит его особы, ибо многие должностные лица, к которым относятся с великим уважением и восхищением, являются жертвами той же слабости. Это замечание сделано скорее в похвалу ему и имеет целью внушить читателю правильное представление о его пригодности к службе.

Но мера унижения его еще не исполнилась. Производя обход дома и впервые подумав о том, что законы о бедняках и в самом деле слишком суровы, а мужья, убежавшие от своих жен и оставившие их на попечение прихода, заслуживают по справедливости отнюдь не наказания, а скорее награды, как люди достойные, много претерпевшие, — мистер Бамбл подошел к комнате, где несколько призреваемых женщин обычно занимались стиркой приходского белья и откуда сейчас доносился гул голосов.

— Гм! — сказал мистер Бамбл, обретая присущее ему достоинство. — Уж эти-то женщины по крайней мере будут по-прежнему уважать мои права... Эй, вы! Чего вы такой шум подняли, негодные твари?

С этими словами мистер Бамбл открыл дверь и вошел с видом разгневанным и грозным, который мгновенно уступил место самому смиренному и трусливому, когда взгляд его

неожиданно остановился на достойной его супруге.

— Дорогая моя, — сказал мистер Бамбл, — я не знал, что ты здесь.

— Не знал, что я здесь! — повторила миссис Бамбл. — А ты что тут делаешь?

— Я подумал, что они слишком много болтают, а дела не делают, дорогая моя, — отвечал мистер Бамбл, в замешательстве глядя на двух старух у локхани, которые обменивались наблюдениями, восхищенные смиренным видом надзирателя работного дома.

— Ты думал, что они слишком много болтают? — спросила миссис Бамбл. — А тебе какое дело?

— Совершенно верно, дорогая моя, ты тут хозяйка, — покорно согласился мистер Бамбл. — Но я подумал, что, может быть, тебя сейчас здесь нет.

— Вот что я тебе скажу, мистер Бамбл, — заявила его супруга, — в твоём вмешательстве мы не нуждаемся. Очень уж ты любишь совать нос в дела, которые тебя не касаются; только ты отвернешься, над тобой смеются, все время разыгрываешь дурака... Ну-ка, проваливай!

Мистер Бамбл, с тоской наблюдая радость обеих старух, весело хихикавших, минутку колебался. Миссис Бамбл, не терпевшая никакого промедления, схватила ковш с мыльной пеной и, указав на дверь, приказала ему немедленно удалиться, пригрозив окатить дородную его персону содержимым ковш — ша.

Что было делать мистеру Бамблу? Он уныло осмотрелся и потихоньку ретировался. Когда он добрался до двери, хихиканье старух перешло в пронзительный смех, выражавший неудержимый восторг. Этого только не хватало! Он был унижен в их глазах; он уронил свой авторитет и достоинство даже перед этими бедняками; он упал с величественных высот поста бидла в глубочайшую пропасть, очутившись в положении мужа, находящегося под башмаком у сварливой жены.

— И все это за два месяца! — сказал мистер Бамбл, исполненный горестных дум. — Два месяца! Всего-навсего два месяца тому назад я был не только сам себе господин, но всем другим господин, во всяком случае в работном доме, а теперь!..

Это было уже слишком. Мистер Бамбл угостил пощечиной мальчишку, открывавшего ему ворота (ибо в раздумье, сам того не замечая, он добрался до ворот), и в замешательстве вышел на улицу.

Он прошел по одной улице, потом по другой, пока прогулка не заглушила первых приступов тоски, а эта перемена в расположении духа вызвала у него жажду. Он миновал много трактиров, но, наконец, остановился перед одним в переулке, где, как он убедился, глянув мельком поверх занавески, не было никого, кроме одного-единственного завсегдатая. Как раз в это время полил дождь. Это заставило его решиться. Мистер Бамбл вошел; пройдя мимо стойки и приказав, чтобы ему подали чего-нибудь выпить, он очутился в комнате, куда заглядывал с улицы.

Человек, сидевший там, был высокий и смуглый, в широком плаще. Он производил впечатление иностранца и, судя по изможденному его виду и запыленной одежде, совершил длинное путешествие. Когда вошел Бамбл, он искоса взглянул на него и едва удостоил кивком в ответ на его приветствие.

У мистера Бамбла хватило бы достоинства и на двоих, даже если бы незнакомец оказался

более общительным; поэтому он молча пил свой джин, разбавленный водой, и читал газету с очень важным и солидным видом. Однако же случилось так — это бывает очень часто, когда люди встречаются при подобных обстоятельствах, — что мистер Бамбл то и дело чувствовал сильное желание, которому не мог противостоять, украдкой бросить взгляд на незнакомца, и всякий раз он не без смущения отводил глаза, ибо в эту минуту незнакомец украдкой поглядывал на него. Замешательство мистера Бамбла усиливалось вследствие странного взгляда незнакомца, у которого глаза были зоркие и блестящие, но выражали какое-то мрачное недоверие и презрение, чего мистер Бамбл никогда доселе не наблюдал и что было очень неприятно.

Когда взгляды их таким образом несколько раз встретились, незнакомец грубым, низким голосом нарушил молчание.

— Это меня вы искали, когда заглядывали в окно? — спросил он.

— Думаю, что нет, если вы не мистер...

Тут мистер Бамбл запнулся, ибо он любопытствовал узнать имя незнакомца и в нетерпении своем надеялся, что тот заполнит пробел.

— Вижу, что не искали, — сказал незнакомец; саркастическая улыбка чуть заметно кривила его губы. — Иначе вы бы знали мое имя. Советую вам не осведомляться о нем.

— Я не хотел вас обидеть, молодой человек, — величественно отвечал мистер Бамбл.

— И не обидели, — сказал незнакомец.

После этого краткого диалога снова воцарилось молчание, которое и на сей раз было нарушено незнакомцем.

— Мне кажется, я вас раньше видел, — сказал он. — Я видел вас мельком на улице, когда вы были одеты иначе, но, кажется, я вас узнаю. Вы когда-то были здесь бидлом, не так ли?

— Правильно, — с удивлением сказал мистер Бамбл, — приходским бидлом.

— Вот именно, — отозвался незнакомец, кивнув головой. — Как раз эту должность вы и занимали, когда я вас встретил. А теперь кто вы такой?

— Надзиратель работного дома, — произнес мистер Бамбл медленно и внушительно, чтобы воспрепятствовать неуместной фамильярности, которую мог позволить себе незнакомец. — Надзиратель работного дома, молодой человек.

— Полагаю, вы, как и в прежние времена, не упускаете из виду своих интересов? — продолжал незнакомец, зорко посмотрев в глаза мистеру Бамблу, когда тот поднял их, удивленный этим вопросом. — Не смущайтесь, говорите откровенно, старина. Как видите, я вас хорошо знаю.

— Мне кажется, — отвечал мистер Бамбл, заслоняя глаза рукой и с явным замешательством осматривая незнакомца с головы до ног, — женатый человек, как и холостяк, не прочь честно заработать пенни, когда представляется случай. Приходским чиновникам не так уж хорошо платят, чтобы они могли отказываться от маленького добавочного вознаграждения, если его предлагают им вежливо и пристойно.

Незнакомец улыбнулся и снова кивнул головой, как бы желая сказать, что не ошибся в этом

человеке, затем позвонил в колокольчик.

— Наполните-ка еще разок, — сказал он, протягивая трактирщику пустой стакан мистера Бамбла. — Налейте покрепче и погорячее... Думаю, вам это по вкусу?

— Не слишком крепко, — ответил мистер Бамбл, деликатно кашлянув.

— Вы понимаете, что он хотел этим сказать, трактирщик? — сухо спросил незнакомец.

Хозяин улыбнулся, исчез и вскоре принес кружку горячего пунша; от первого же глотка у мистера Бамбла слезы выступили на глазах.

— Теперь слушайте меня, — начал незнакомец, предварительно закрыв дверь и окно. — Я приехал сюда сегодня, чтобы разыскать вас, и благодаря счастливому случаю, какие дьявол иной раз дарит своим друзьям, вы вошли в ту самую комнату, где я сидел, когда мои мысли были заняты главным образом вами. Мне нужно получить от вас кое-какие сведения. Хотя они и маловажны, но я не прошу, чтобы вы сообщали их даром. Для начала спрячьте-ка это в карман.

С этими словами он придвинул через стол своему собеседнику два соверена — осторожно, словно опасаясь, как бы снаружи не услышали звон монет. Когда мистер Бамбл заботливо проверил, не фальшивые ли деньги, и с большим удовольствием спрятал их в жилетный карман, незнакомец продолжал:

— Перенеситесь мыслями в прошлое... Ну, скажем, припомните зиму двенадцать лет назад.

— Времена далекие, — сказал мистер Бамбл. — Ладно. Припомнил.

— Место действия — работный дом.

— Хорошо.

— А время — ночь.

— Так.

— И где-то там — отвратительная дыра, в которой жалкие твари порождали на свет жизнь и здоровье, так часто отнятые у них самих, — рождали хнычущих ребят, оставляя их на попечение прихода, а сами, черт бы их побрал, скрывали свой позор в могиле.

— Должно быть, это родильная комната? — спросил мистер Бамбл, не совсем уразумев описание комнаты, с таким волнением сделанное незнакомцем.

— Правильно, — сказал незнакомец. — Там родился мальчик.

— Много мальчиков рождалось, — заметил мистер Бамбл, удрученно покачивая головой.

— Провались они сквозь землю, эти чертенята! — воскликнул незнакомец. — Я говорю только об одном: тихом, болезненном мальчике, который был учеником здешнего гробовщика — жаль, что тот не сделал ему гроб и не запрятал его туда, — а потом, как предполагают, сбежал в Лондон.

— Так вы говорите об Оливере? О юном Твисте? — воскликнул мистер Бамбл. — Конечно, я его помню. Такого негодного мальчишки никогда еще...

— Я не о нем хотел слышать; о нем я достаточно наслушался, — сказал незнакомец, прерывая речь мистера Бамбла на тему о пороках бедного Оливера. — Я спрашиваю о женщине, о той старой карге, которая ходила за его матерью. Где она?

— Где она? — повторил мистер Бамбл, который после джина с водой не прочь был пошутить. — На это нелегко ответить. Куда бы она ни отправилась, повитухи там не нужны, вот я и полагаю, что работы у нее нет.

— Что вы хотите этим сказать? — сердито спросил незнакомец.

— Да то, что она умерла этой зимой, — отвечал мистер Бамбл.

Услышав эти слова, незнакомец пристально на него посмотрел, и, хотя довольно долго не сводил с него глаз, взгляд его постепенно делался рассеянным, и он, казалось, глубоко задумался. Сначала он как будто колебался, почувствовать ли ему облегчение или разочарование при таком известии, но, наконец, вздохнув свободнее и отведя взгляд, заявил, что это не так важно. С этими словами он встал, словно собираясь уйти.

Но мистер Бамбл был достаточно хитер — он сразу угадал, что представляется возможность выгодно распорядиться некоей тайной, которая принадлежала его лучшей половине. Он прекрасно помнил тот вечер, когда умерла старая Салли, ибо обстоятельства этого дня не без основания запечатлелись в его памяти: благодаря им он сделал предложение-миссис Корни, и хотя эта леди не доверила ему того, чему была единственной свидетельницей, он слышал достаточно и понял, что это имеет отношение к какому-то событию, которое произошло в ту пору, когда старуха как сиделка работного дома ухаживала за молодой матерью Оливера Твиста. Быстро припомнив это обстоятельство, он с таинственным видом сообщил незнакомцу, что перед самой смертью старой карги одна женщина оставалась с ней с глазу на глаз и у него есть основания предполагать, что она может содействовать ему в его расследованиях.

— Как мне ее найти? — спросил застигнутый врасплох незнакомец, явно обнаруживая, что эта весть воскресила все его опасения (каковы бы они ни были).

— Только при моей помощи, — заявил мистер Бамбл.

— Когда? — нетерпеливо воскликнул незнакомец.

— Завтра, — ответил Бамбл.

— В девять часов вечера, — сказал незнакомец, достал клочок бумаги и почерком, выдававшим его волнение, записал на нем название какой-то улицы у реки. — В девять часов вечера придите с ней туда. Мне незачем говорить вам, чтобы вы держали все в тайне. Это в ваших интересах.

С этими словами он направился к двери, задержавшись, чтобы уплатить за выпивку. Бросив короткое замечание, что здесь их пути расходятся, он удалился без всяких церемоний, внушительно напомнив о часе, назначенном для свидания на следующий день.

Взглянув на адрес, приходский чиновник заметил, что фамилия не обозначена. Незнакомец еще не успел отойти далеко, а потому он побежал за ним, чтобы справиться о ней.

— Что вам нужно? — крикнул тот, быстро повернувшись, когда Бамбл тронул его за руку. — Выслеживаете меня?

— Хочу только узнать, — сказал мистер Бамбл, указывая на клочок бумаги, — кого мне там спросить?

— Монкса, — ответил тот и быстро пошел дальше.

Глава XXXVIII, содержащая отчет о том, что произошло между супругами Бамбл и мистером Монксом во время их вечернего свидания

Был хмурый, душный, облачный летний вечер. Тучи, которые ползли по небу весь день, собрались густой, грязноватой пеленой и уже роняли крупные капли дождя и, казалось, предвещали жестокую грозу, когда мистер и миссис Бамбл, свернув с главной улицы, направили свои стопы к кучке беспорядочно разбросанных, полуразрушенных домов, находящихся примерно на расстоянии полутора миль от центра города, в гнилой, болотистой низине у реки.

Старая, поношенная верхняя одежда, которая была на них, могла послужить двум целям: защищать от дождя и не привлекать к ним внимания. Супруг нес фонарь, пока еще не излучавший никакого света, и трусил в нескольких шагах впереди, словно для того, чтобы его жена могла ступать по тяжелым его следам: дорога была грязная. Они шли в глубоком молчании; время от времени мистер Бамбл замедлял шаги и оглядывался, как бы желая удостовериться, что подруга жизни от него не отстала; затем, видя, что она идет за ним по пятам, он ускорял шаги и еще быстрее устремлялся к цели их путешествия.

Репутация этого места отнюдь не вызывала сомнений: давно уже оно было известно как обиталище отъявленных негодяев, которые, всячески притворяясь, будто живут честным трудом, поддерживали свое существование главным образом грабежом и преступлениями. Здесь были только лачуги: одни — наспех построенные из заваливавшихся кирпичей, другие — из старого, подточенного червями корабельного леса; они были сбиты в кучу с полным пренебрежением к порядку и благоустройству и находились на расстоянии нескольких футов от реки. Продырявленные лодки, вытащенные на грязный берег и привязанные к окаймляющей его низенькой стене, а также лежавшие кое-где весла и сложенные в бухту канаты сначала наводили на мысль, что обитатели этих жалких хижин зарабатывают себе пропитание на реке. Но одного взгляда на эту старую и ни на что не годную заваль, разбросанную здесь, было достаточно, чтобы прохожий без особого труда пришел к заключению, что она выставлена скорее для виду и вряд ли кто пользуется ею.

В центре этой кучки лачуг, у самой реки, так что верхние этажи нависали над ней, возвышалось большое строение, бывшее прежде фабрикой. В былые времена оно, верно, доставляло заработок обитателям соседних домишек, но с тех пор давно пришло в ветхость. От крыс, червей и сырости расшатались и подгнили сваи, на которых оно держалось, — значительная часть здания уже погрузилась в воду, тогда как еще уцелевшая, шаткая и накренившаяся над темным потоком, казалось, ждала удобного случая, чтобы последовать за старым своим приятелем и подвергнуться той же участи.

Перед этим-то ветхим домом и остановилась достойная пара, когда в воздухе пронеслись первые раскаты отдаленного грома и полил сильный дождь.

— Должно быть, это где-то здесь, — сказал Бамбл, разглядывая клочок бумаги, который держал в руке.

— Эй, вы, там! — раздался сверху чей-то голос.

Мистер Бамбл поднял голову и увидел человека, наполовину высунувшегося из двери во втором этаже.

— Пойдите минутку, — продолжал голос, — я сейчас к вам выйду. С этими словами голова исчезла и дверь захлопнулась.

— Это и есть тот самый человек? — спросила любезная супруга мистера Бамбла.

Мистер Бамбл утвердительно шепнул.

— Так помни же, что я тебе наказывала, — сказала надзирательница, — и старайся говорить как можно меньше, а не то ты нас сразу выдашь.

Мистер Бамбл, с удрученным видом созерцавший дом, казалось, собирался высказать некоторое сомнение, уместно ли будет сейчас приводить в исполнение их план, но ему помешало появление Монкса — тот открыл маленькую дверь, у которой они стояли, и поманил их в дом.

— Входите! — нетерпеливо крикнул он, топнув ногой. — Не задерживайте меня здесь!

Женщина, колебавшаяся поначалу, смело вошла, не дожидаясь новых приглашений. Мистер Бамбл, который не то стыдился, не то боялся мешкать позади, последовал за ней, чувствуя себя весьма неважно и почти утратив ту исключительную величавость, которая являлась его характеристической чертой.

— Какого черта вы там топтались, под дождем? — заперевав за ними дверь, спросил Монкс, оглядываясь и обращаясь к Бамблу.

— Мы... мы только хотели немного прохладиться, — заикаясь, выговорил Бамбл, с опаской осматриваясь вокруг.

— Прохладиться! — повторил Монкс. — Все дожди, какие когда-либо выпали или выпадут, не могут угасить того адского пламени, которое иной человек носит в себе. Не так-то легко вам прохладиться, не надейтесь на это!

После такой любезной речи Монкс круто повернулся к надзирательнице и посмотрел на нее так пристально, что даже она, особа отнюдь не из пугливых, отвела взгляд и потупилась.

— Это та самая женщина? — спросил Монкс.

— Гм... Это та самая женщина, — ответил Бамбл, помня предостережения жены.

— Вы, верно, думаете, что женщины не умеют хранить тайну? — вмешалась надзирательница, отвечая при этом на испытующий взгляд Монкса.

— Одну тайну они всегда хранят, пока она не обнаружится, — сказал Монкс.

— Какую же? — спросила надзирательница.

— Потерю доброго имени, — ответил Монкс. — А стало быть, если женщина посвящена в тайну, которая может привести ее к виселице или каторге, я не боюсь, что она ее кому-нибудь выдаст, о нет! Вы меня понимаете, сударыня?

— Нет, — промолвила надзирательница и при этом слегка покраснела.

— Ну, разумеется, — сказал Монкс. — Разве вы можете это понять?

Посмотрев на обоих своих собеседников не то насмешливо, не то мрачно и снова поманив их за собой, он быстро пересек комнату, довольно большую, но с низким потолком. Он уже начал — подниматься по крутой лестнице, которая походила на приставную и вела в верхний этаж, где когда-то были склады, как вдруг яркая вспышка молнии осветила отверстие наверху, а последовавший за ней удар грома потряс до самого основания полуразрушенный дом.

— Вы слышите? — крикнул он, попятившись. — Слышите? Гремит и грохочет, как будто раскатывается по тысяче пещер, где прячутся от него дьяволы. Ненавижу гром!

Несколько секунд он молчал, потом внезапно отнял руки от лица, и мистер Бамбл, к невыразимому своему смутению, увидел, что оно исказилось и побелело.

— Со мной бывают такие припадки, — сказал Монкс, заметив его испуг, — и частенько их вызывает гром. Не обращайтесь на меня внимания, уже все прошло.

С этими словами он стал подниматься по лестнице и, быстро закрыв ставни в комнате, куда вошел, спустил фонарь, висевший на конце веревки с блоком; веревка была пропущена через тяжелую балку потолка, и фонарь бросал тусклый свет на стоявший под ним старый стол и три стула.

— А теперь, — сказал Монкс, когда все трое уселись, — чем скорее мы приступим к делу, тем лучше для всех... Женщина знает, о чем идет речь?

Вопрос был обращен к Бамблу, но его супруга предупредила ответ, объявив, что суть дела ей хорошо известна.

— Он правду сказал, что вы находились с той ведьмой в ночь, когда она умерла, и она сообщила вам что-то?..

— О матери того мальчика, про которого вы говорили? — перебила его надзирательница. — Да.

— Первый вопрос заключается в том, какого характера было ее сообщение, — сказал Монкс.

— Это второй вопрос, — очень рассудительно заметила женщина. — Первый заключается в том, сколько стоит это сообщение.

— А кто, черт возьми, на это ответит, не узнав, каково оно? — спросил Монкс.

— Лучше вас — никто, я в этом уверена, — заявила миссис Бамбл, у которой не было недостатка в храбрости, что с полным правом мог засвидетельствовать спутник ее жизни.

— Гм!.. — многозначительно произнес Монкс тоном, выражавшим живейшее любопытство. — Значит, из него можно извлечь деньги?

— Все может быть, — последовал сдержанный ответ.

— У нее что-то взяли, — сказал Монкс. — Какую-то вещь, которая была на ней. Какую-то вещь...

— Вы бы лучше назначили цену, — перебила миссис Бамбл. — Я уже слышала достаточно и убедилась, что вы как раз тот, с кем мне нужно потолковать.

Мистер Бамбл, которому лучшая его половина до сих пор еще не открыла больше того, что он когда-то узнал, прислушивался к этому диалогу, вытянув шею и выпучив глаза, переводя взгляд с жены на Монкса и не скрывая изумления, пожалуй еще усилившегося, когда сей последний сердито спросил, сколько они потребуют у него за раскрытие тайны.

— Какую цену она имеет для вас? — спросила женщина так же спокойно, как и раньше.

— Быть может, никакой, а может быть, двадцать фунтов, — ответил Монкс. — Говорите и предоставьте мне решать.

— Прибавьте еще пять фунтов к названной вами сумме. Дайте мне двадцать пять фунтов золотом, — сказала женщина, — и я расскажу вам все, что знаю. Только тогда и расскажу.

— Двадцать пять фунтов! — воскликнул Монкс, откинувшись на спинку стула.

— Я вам ясно сказала, — ответила миссис Бамбл. — Сумма небольшая.

— Вполне достаточно за жалкую тайну, которая может оказаться ничего не стоящей, — нетерпеливо крикнул Монкс. — И погребена она уже двенадцать лет, если не больше.

— Такие вещи хорошо сохраняются, а пройдет время — стоимость их часто удваивается, как это бывает с добрым вином, — ответила надзирательница, по-прежнему сохраняя рассудительный и равнодушный вид. — Что до погребения, то, кто знает, бывают такие вещи, которые могут пролежать двенадцать тысяч или двенадцать миллионов лет и в конце концов порассказать странные истории.

— А если я зря отдам деньги? — колеблясь, спросил Монкс.

— Вы можете легко их отобрать: я только женщина, я здесь одна и без защиты.

— Не одна, дорогая моя, и не без защиты, — почтительно вставил мистер Бамбл голосам, прерывающимся от страха. — Здесь я, дорогая моя. А кроме того, — продолжал мистер Бамбл, щелкая при этом зубами, — мистер Монкс — джентльмен и не станет совершать насилие над приходскими чиновниками. Мистеру Монксу известно, дорогая моя, что я уже не молод и, если можно так выразиться, немножко отцвел, но он слышал — я не сомневаюсь, дорогая моя, мистер Монкс слышал, что я особа очень решительная и отличаюсь незаурядной силой, если меня расшевелить. Меня нужно только немножко расшевелить, вот и все.

С этими словами мистер Бамбл попытался с грозной решимостью схватить фонарь, но по его испуганной физиономии было ясно видно, что его и в самом деле надо расшевелить, и расшевелить хорошенько, прежде чем он приступит к каким-либо воинственным действиям; конечно, если они не направлены против бедняков или особ, выдрессированных для этой цели.

— Ты — дурак, — сказала миссис Бамбл, — и лучше бы ты держал язык за зубами!

— Лучше бы он его отрезал, прежде чем идти сюда, если не умеет говорить потише! — мрачно сказал Монкс. — Так, значит, он ваш муж?

— Он — мой муж, — хихикнув, подтвердила надзирательница.

— Я так и подумал, когда вы вошли, — отозвался Монкс, отметив злобный взгляд, который леди метнула при этих словах на своего супруга. — Тем лучше. Я охотнее веду дела с мужем и женой, когда вижу, что они действуют заодно. Я говорю серьезно. Смотрите!

Он сунул руку в боковой карман и, достав парусиновый мешочек, отсчитал на стол двадцать пять соверенов и подвинул их к женщине.

— А теперь, — сказал он, — берите их. И когда утихнут эти проклятые удары грома, которые, я чувствую, вот-вот прокатятся над крышей, послушаем ваш рассказ.

Когда затих гром, грохотавший, казалось, где-то еще ближе, почти совсем над ними, Монкс, приподняв голову, наклонился вперед, готовясь выслушать рассказ женщины. Лица всех троих почти соприкасались, когда двое мужчин в нетерпении переглянулись через маленький столик, а женщина тоже наклонилась вперед, чтобы они слышали ее шепот. Тусклые лучи фонаря, падавшие прямо на них, еще усиливали тревожную бледность лиц, и, окруженные густым сумраком и тьмою, они казались призрачными.

— Когда умирала эта женщина, которую мы звали старой Салли, — начала надзирательница, — мы с ней были вдвоем.

— Больше никого при этом не было? — таким же глухим шепотом спросил Монкс. — Ни одной больной старухи или идиотки на соседней кровати? Никого, кто мог бы услышать, а может быть, и понять, о чем идет речь?

— Ни души, — ответила женщина, — мы были одни. Я одна была возле нее, когда пришла смерть.

— Хорошо, — сказал Монкс, пристально в нее всматриваясь. — Дальше.

— Она говорила об одной молодой женщине, — продолжала надзирательница, — которая родила когда-то ребенка не только в той самой комнате, но даже на той самой кровати, на которой она теперь умирала.

— Неужто? — дрожащими губами проговорил Монкс, оглянувшись через плечо. — Проклятье! Какие бывают совпадения!

— Это был тот самый ребенок, о котором он говорил вам вчера вечером, — продолжала надзирательница, небрежно кивнув в сторону своего супруга. — Сиделка обокрала его мать.

— Живую? — спросил Монкс.

— Мертвую, — слегка вздрогнув, ответила женщина. — Она сняла с еще не остывшего тела ту вещь, которую женщина, умирая, просила сберечь для младенца.

— Она продала ее? — воскликнул Монкс вне себя от волнения. — Она ее продала? Где? Когда? Кому? Давно ли?

— С великим трудом рассказав мне, что она сделала, — продолжала надзирательница, — она откинулась на спину и умерла.

— И ни слова больше не сказала? — воскликнул Монкс голосом, казавшимся еще более злобным благодаря тому, что он был приглушен. — Ложь! Со мной шутки плохи. Она еще что-то сказала. Я вас обоих прикончу, но узнаю, что именно.

— Она не вымолвила больше ни словечка, — сказала женщина, по-видимому ничуть не испуганная (чего отнюдь нельзя было сказать о мистере Бамбле) яростью этого странного человека. — Она изо всех сил уцепилась за мое платье, а когда я увидела, что она умерла, я

разжала ее руку и нашла в ней грязный клочок бумаги.

— И в нем было... — прервал Монкс, наклоняясь вперед.

— Ничего в нем не было, — ответила женщина. — Это была закладная квитанция.

— На какую вещь? — спросил Монкс.

— Скоро узнаете, — ответила женщина. — Сначала она хранила драгоценную безделушку, надеясь, наверно, как-нибудь получше ее пристроить, а потом заложила и наскребывала деньги, из года в год выплачивая проценты ростовщику, чтобы она не ушла из ее рук. Значит, если бы что-нибудь подвернулось, ее всегда можно было выкупить. Но ничего не подвертывалось, и, как я вам уже сказала, она умерла, сжимая в руке клочок пожелтевшей бумаги. Срок истекал через два дня. Я тоже подумала, что, может быть, со временем что-нибудь подвернется, и выкупила заклад.

— Где он сейчас? — быстро спросил Монкс.

— *Здесь*, — ответила женщина.

И, словно радуясь возможности избавиться от него, она торопливо бросила на стол маленький кошелек из лайки, где едва могли бы поместиться французские часики. Монкс схватил его и раскрыл трясущимися руками — в кошельке лежал маленький золотой медальон, а в медальоне две пряди волос и золотое обручальное кольцо.

— С внутренней стороны на нем выгравировано имя «Агнес», — сказала женщина. — Потом оставлено место для фамилии, а дальше следует дата примерно за год до рождения ребенка, как я выяснила.

— И это все? — спросил Монкс, жадно и пристально осмотрев содержимое маленького кошелька.

— Все, — ответила женщина.

Мистер Бамбл перевел дух, будто радуясь, что рассказ окончен и ни слова не сказано о том, чтобы отобрать двадцать пять фунтов; теперь он набрался храбрости и вытер капли пота, обильно стекавшие по его носу во время всего диалога.

— Я ничего не знаю об этой истории, кроме того, о чем могу догадываться, — после короткого молчания сказала его жена, обращаясь к Монксу, — да и знать ничего не хочу, так будет безопаснее. Но не могу ли я задать вам два вопроса?

— Можете, задавайте, — не без удивления сказал Монкс, — впрочем, отвечу ли я на них, или нет — это уж другой вопрос.

— Итого будет три, — заметил мистер Бамбл, пытаясь состричь.

— Вы получили от меня то, на что рассчитывали? — спросила надзирательница.

— Да, — ответил Монкс. — Второй вопрос?

— Что вы намерены с этим делать? Не обернется ли это против меня?

— Никогда, — сказал Монкс, — ни против вас, ни против меня. Смотрите сюда. Но ни шагу

вперед, а не то за вашу жизнь и соломинки не дашь.

С этими словами он неожиданно отодвинул стол и, дернув за железное кольцо в полу, откинул крышку большого люка, оказавшегося у самых ног мистера Бамбла, с величайшей поспешностью отступившего на несколько шагов.

— Загляните вниз, — сказал Монкс, опуская фонарь в отверстие. — Не бойтесь. Будь это в моих интересах, я преспокойно отправил бы вас туда, когда вы сидели над люком.

Ободренная этими словами, надзирательница подошла к краю люка, и даже сам мистер Бамбл, снедаемый любопытством, осмелился сделать то же самое. Бурлящая река, вздувшаяся после ливня, быстро катила вниз свои воды, и все другие звуки тонули в том грохоте, с каким они набегали и разбивались о зеленые сваи, покрытые тиной. Когда-то здесь была водяная мельница: поток, ленись и крутясь вокруг подгнивших столбов и уцелевших обломков машин, казалось, с новой силой устремлялся вперед, когда избавлялся от препятствий, тщетно пытавшихся остановить его бешеное течение.

— Если бросить туда труп человека, где очутится он завтра утром? — спросил Монкс, раскачивая фонарь в темном колодце.

— За двенадцать миль отсюда вниз по течению, и вдобавок он будет растерзан в клочья, — ответил мистер Бамбл, съездившись при этой мысли.

Монкс вынул маленький кошелек из-за пазухи, куда второпях засунул его, и, привязав кошелек к свинцовому грузу, когда-то служившему частью какого-то блока и валявшемуся на полу, бросил его в поток. Кошелек упал тяжело, как игральная кость, с едва уловимым плеском рассек воду и исчез.

Трое, посмотрев друг на друга, казалось, облегченно вздохнули.

— Готово, — сказал Монкс, опуская крышку люка, которая со стуком упала на прежнее место. — Если море и отдаст когда-нибудь своих мертвецов, как говорится в книгах, то золото свое и серебро, а также и эту дребедень оно оставит себе. Говорить нам больше не о чем, можно положить конец этому приятному свиданию.

— Совершенно верно, — быстро отозвался мистер Бамбл.

— Язык держите за зубами, слышите? — с угрожающим видом сказал Монкс. — За вашу жену я не боюсь.

— Можете положиться и на меня, молодой человек, — весьма учтиво ответил мистер Бамбл, с поклоном пятясь к лестнице. — Ради всех нас, молодой человек, и ради меня самого, понимаете ли, мистер Монкс?

— Слышу и рад за вас, — сказал Монкс. — Уберите свой фонарь и убирайтесь как можно скорее!

Хорошо, что разговор оборвался на этом месте, иначе мистер Бамбл, который, продолжая отвешивать поклоны, находился в шести дюймах от лестницы, неизбежно полетел бы в комнату нижнего этажа. Он зажег свой фонарь от того фонаря, который Монкс отвязал от веревки и держал в руке, и, не делая никаких попыток продолжать беседу, стал молча спускаться по лестнице, а за ним его жена. Монкс замыкал шествие, предварительно задержавшись на ступеньке и удостоверившись, что не слышно никаких других звуков, кроме шума дождя и

стремительно несущегося потока.

Они миновали комнату нижнего этажа медленно и осторожно, потому что Монкс вздрагивал при виде каждой тени, а мистер Бамбл, держа свой фонарь на фут от пола, шел не только с исключительной осмотрительностью, но и удивительно легкой поступью для такого дородного джентльмена, нервически осматриваясь вокруг, нет ли где потайных люков. Монкс бесшумно отпер и распахнул дверь, и супруги, обменявшись кивком со своим таинственным знакомым, очутились под дождем во мраке.

Как только они ушли, Монкс, казалось, питавший непреодолимое отвращение к одиночеству, позвал мальчика, который был спрятан где-то внизу. Приказав ему идти впереди и светить, он вернулся в комнату, откуда только что вышел.

Глава XXXIX, выводит на сцену несколько респектабельных особ, с которыми читатель уже знаком, и повествует о том, как совещались между собой достойный Монкс и достойный еврей

На следующий день после того, как три достойные особы, упомянутые в предшествующей главе, покончили со своим маленьким дельцем, мистер Уильям Сайкс, очнувшись вечером от дремоты, сонным и ворчливым голосом спросил, который час.

Этот вопрос был задан мистером Сайксом уже не в той комнате, какую он занимал до экспедиции в Чертей, хотя находилась она в том же районе, неподалеку от его прежнего жилища. Несомненно, это было менее завидное жилье, чем его старая квартира, — жалкая, плохо меблированная комната, совсем маленькая, освещавшаяся только одним крохотным оконцем в покатой крыше, выходившим в тесный, грязный переулок. Не было здесь недостатка и в других признаках, указывающих на то, что славному джентльмену за последнее время не везет, ибо весьма скудная обстановка и полное отсутствие комфорта, а также исчезновение такого мелкого движимого имущества, как запасная одежда и белье, свидетельствовали о крайней бедности; к тому же тощий и изможденный вид самого мистера Сайкса мог бы вполне удостоверить эти факты, если бы они нуждались в подтверждении.

Грабитель лежал на кровати, закутавшись вместо халата в свое белое пальто и отнюдь не похорошевший от мертвенного цвета лица, вызванного болезнью, равно как и от грязного ночного колпака и колючей черной бороды, неделю не бритой. Собака сидела около кровати, то задумчиво поглядывая на хозяина, то настораживая уши и глухо ворча, если ее внимание привлекал какой-нибудь шум на улице или в нижнем этаже дома. У окна, углубившись в починку старого жилета, который служил частью повседневного костюма грабителя, сидела женщина, такая бледная и исхудавшая от лишений и ухода за больным, что большого труда стоило признать в ней ту самую Нэнси, которая уже появлялась в этом повествовании, если бы не голос, каким она ответила на вопрос мистера Сайкса.

— Начало восьмого, — сказала девушка. — Как ты себя чувствуешь, Билл?

— Слаб, как чистая вода, — ответил мистер Сайкс, проклиная свои глаза, руки и ноги. — Дай руку и помоги мне как-нибудь сползти с этой проклятой кровати.

Нрав мистера Сайкса не улучшился от болезни: когда девушка помогала ему подняться и повела его к столу, он всячески ругал ее за неловкость, а потом ударил.

— Скулишь? — спросил Сайкс. — Хватит! Нечего стоять и хныкать! Если ты только на это и способна, проваливай! Слышишь?

— Слышу, — ответила девушка, отворачиваясь и пытаясь рассмеяться. — Что это еще взбрело тебе в голову?

— Э, так ты, стало быть, одумалась? — проворчал Сайкс, заметив слезы, навернувшиеся ей на глаза. — Тем лучше для тебя.

— Но ведь не хочешь же ты сказать, Билл, что и сегодня будешь жесток со мной, — произнесла девушка, положив руку ему на плечо.

— А почему бы и нет? — воскликнул мистер Сайкс, — Почему?..

— Столько ночей, — сказала девушка с еле заметной женственной нежностью, от которой даже в ее голосе слышались ласковые нотки, — столько ночей я терпеливо ухаживала за тобой, заботилась о тебе, как о ребенке, а сегодня я впервые вижу, что ты пришел в себя. Ведь не будешь же ты обращаться со мной как только что, правда ведь? Ну, скажи, что не будешь.

— Ладно, — отозвался мистер Сайкс, — не буду. Ах, черт подери, девчонка опять хнычет!

— Это пустяки, — сказала девушка, бросаясь на стул. — Не обращай на меня внимания. Скоро пройдет.

— Что — пройдет? — злобно спросил мистер Сайкс. — Какую еще дурь ты на себя напустила? Вставай, занимайся делом и не лезь ко мне со всякой бабьей чепухой!

В другое время это внушение и тон, каким оно было сделано, возымели бы желаемое действие, но девушка, действительно ослабевшая от истощения, откинула голову на спинку стула и лишилась чувств, прежде чем мистер Сайкс успел изрыгнуть несколько приличествующих случаю проклятий, которыми при подобных обстоятельствах имел обыкновение приправлять свои угрозы. Хорошенько не зная, что делать при столь исключительных обстоятельствах, — ибо у мисс Нэнси истерики обычно отличались тем бурным характером, который позволял больной справляться с ними без посторонней помощи, — мистер Сайкс попытался пустить в ход несколько ругательств и, убедившись, что такой способ лечения совершенно недейственен, позвал на помощь.

— Что случилось, мой милый? — спросил Феджин, заглядывая в комнату.

— Помогите-ка девчонке, — нетерпеливо откликнулся Сайкс. — Нечего тут бормотать, и ухмыляться, и пялить на меня глаза.

Вскрикнув от удивления, Феджин поспешил на помощь к девушке, а мистер Джек Даукинс (иными словами — Ловкий Плут), вошедший в комнату вслед за своим почтенным другом, мигом положил на пол узел, который тащил, и, выхватив бутылку из рук юного Чарльза Бейтса, шедшего за ним по пятам, мгновенно вытащил пробку зубами и влил часть содержимого бутылки в рот больной, предварительно отведав его сам, во избежание ошибки.

— Возьми-ка мехи, Чарльз, и дай ей глотнуть свежего воздуха, — сказал мистер Даукинс, — а вы похлопайте ее по рукам, Феджин, пока Билл развязывает юбки.

Все эти меры, совместно принятые и примененные с большой энергией — особенно те из них, которые были поручены юному Бейтсу, явно считавшему свою долю участия в процедуре

беспримерной забавой, — не замедлили привести к желаемым результатам. Девушка постепенно пришла в себя, шатаясь, добралась до стула у кровати и зарылась лицом в подушку, предоставив встречать новых посетителей мистеру Сайксу, несколько удивленному их неожиданным появлением.

— Какой чертов ветер принес вас сюда? — спросил он Феджина.

— Вовсе не чертов ветер, мой милый. Чертов ветер никому не приносит добра. А я захватил кое-что хорошее, что вам понравится... Плут, мой милый, развяжи узел и передай Биллу те пустяки, на которые мы сегодня утром истратили все деньги.

Исполняя распоряжение мистера Феджина, Ловкий Плут достал сверток не малых размеров, завязанный в старую скатерть, и начал передавать один за другим находившиеся в нем предметы Чарли Бейтсу, который раскладывал их на столе, расхваливая на все лады их редкие и превосходные качества.

— Ах, какой паштет из кроликов, Билл! — воскликнул сей молодой джентльмен, доставая огромный паштет. — Такое нежное создание, с такими хрупкими лапками, Билл, что даже косточки тают во рту и незачем их выбирать. Полфунта зеленого чаю, семь шиллингов шесть пенсов, такого крепкого, что, если засыпать его в кипяток, с чайника слетит крышка; полтора фунта сахара, чуть мокроватого, над которым негры здорово потрудились, пока он не достиг такого совершенства. Две двухфунтовые булки; фунт хорошего свежего масла; кусок жирного глостерского сыра наилучшего сорта, какого вы никогда и не нюхали.

Произнеся этот панегирик, юный Бейтс извлек из своего просторного кармана большую, тщательно закупоренную бутылку вина и в то же самое время налил из прежней бутылки полную рюмку чистого спирта, которую больной без всяких колебаний опрокинул себе в рот.

— Э, — воскликнул Феджин, с довольным видом потирая руки. — Вы не пропадете, Билл, теперь вы не пропадете.

— Не пропаду! — повторил мистер Сайкс. — Да я бы двадцать раз мог пропасть, прежде чем вы пришли ко мне на помощь. Как же это вы, лживая скотина, на три с лишним недели бросили человека на произвол судьбы когда он в таком состоянии?

— Вы только послушайте его, ребята! — пожимая плечами, сказал Феджин. — А мы-то принесли ему все эти чудесные вещи.

— Вещи в своем роде не плохи, — заметил мистер Сайкс, слегка смягчившись после того, как окинул взглядом стол, — но что вы можете сказать в свое оправдание? Почему вы бросили меня здесь, голодного, больного, без денег и вообще без всего и черт знает сколько времени обращали на меня не больше внимания, чем на эту вот собаку?.. Прогони ее, Чарли!

— Никогда еще я не видел такой потешной собаки! — воскликнул юный Бейтс, исполняя его просьбу. — Чует съестное не хуже, чем старая леди, идущая на рынок. Эта собака могла бы сколотить себе состояние на сцене и вдобавок оживить представление.

— А ну, молчи!.. — крикнул Сайкс, когда собака, не переставая рычать, уползла под кровать. — Так что же вы скажете в свое оправдание, тощий, старый кровопийца?

— Меня больше недели не было в Лондоне. Дела были разные, — ответил еврей.

— А другие две недели? — спросил Сайкс. — Другие две недели, когда я валялся здесь, как

больная крыса в норе?

— Я ничего не мог поделывать, Билл. Нельзя пускаться на людях в длинные объяснения... Я ничего не мог поделывать, клянусь честью.

— Чем это вы клянетесь? — с величайшим презрением проворчал Сайкс. — Эй, вы, мальчишки, пусть кто-нибудь из вас отрежет мне кусок паштета, чтобы отбить этот вкус во рту, иначе я совсем задохнусь.

— Не раздражайтесь, мой милый, — смиренно уговаривал Феджин. — Я никогда не забывал вас, Билл, никогда.

— Да, я готов биться об заклад, что не забывали, — с горькой усмешкой отозвался Сайкс. — Все время, пока я лежал здесь в жару и лихорадке, вы замыслили всякие планы и козни: Билл сделает то, Билл сделает это, и Билл сделает все за чертовски низкую плату, как только поправится — он достаточно беден, чтобы работать на вас. Если бы не эта девушка, я отправился бы на тот свет.

— Полно, Билл, — возразил Феджин, жадно ухватившись за эти слова. — «Если бы не эта девушка»! Кто, как не бедный старый Феджин, помог вам обзавестись такой ловкой девушкой?

— Это он правду говорит, — сказала Нэнси, быстро шагнув вперед. — Оставь его, оставь в покое.

Вмешательство Нэнси изменило характер беседы, так как мальчишки, подметив хитрое подмигивание осторожного старого еврея, начали угощать ее спиртным, — впрочем, пила она очень умеренно, а Феджин, обнаружив несвойственную ему веселость, постепенно привел мистера Сайкса в лучшее расположение духа, притворившись, будто считает его угрозы милыми шуточками, и вдобавок они от души посмеялись над теми двумя-тремя грубыми остротами, до которых снизошел Сайкс, предварительно приложившись несколько раз к бутылке со спиртом.

— Все это прекрасно, — сказал мистер Сайкс, — но сегодня я должен получить от вас наличные.

— При мне нет ни единой монеты, — ответил еврей.

— Но дома их у вас груды, — возразил Сайкс. — И из них я должен кое-что получить.

— Груды! — вскричал Феджин, вздевая руки. — Да мне не хватило бы даже на...

— Не знаю, сколько их у вас накопилось, да и сами-то вы не знаете, потому что долгонько пришлось бы их считать, — сказал Сайкс. — Но деньги мне нужны сегодня — коротко и ясно!

— Хорошо, хорошо! — со вздохом сказал Феджин. — Я пришлю с Ловким Плутотом.

— Этого вы не сделаете, — возразил мистер Сайкс. — Ловкий Плут слишком ловок — он позабудет прийти, или собьется с дороги, или будет увиливать от ищеек и не придет, или еще что-нибудь придумает в оправдание, если вы дадите ему такой наказ. Пусть Нэнси идет в вашу берлогу и принесет деньги, чтобы все было в порядке, а пока ее не будет, я лягу всхрапну.

После долгого торга и пререканий Феджин снизил требуемую ссуду с пяти фунтов до трех фунтов четырех шиллингов и шести пенсов, клятвенно заверяя, что теперь у него останется

только восемнадцать пенсов на хозяйство. Мистер Сайкс хмуро заметил, что придется ему удовлетвориться и этим, если на большее рассчитывать не приходится. Затем Нэнси собралась провожать Феджина, а Плут и мистер Бейтс спрятали еду в буфет.

Распрощавшись со своим любезным другом, еврей отправился домой в сопровождении Нэнси и мальчиков; тем временем мистер Сайкс бросился на постель, намереваясь спать вплоть до возвращения молодой леди.

Без всяких задержек они прибыли в обиталище Феджина, где застали Тоби Крекита и мистера Читлинга, увлеченных пятнадцатой партией криббеджа, причем вряд ли нужно говорить, что сей последний джентльмен эту партию проиграл, а вместе с нею пятнадцатый и последний шестипенсовик, к великой потехе своих молодых друзей. Мистер Крекит, явно пристыженный тем, что его застали за игрой с джентльменом, столь ниже его по общественному положению и умственным способностям, зевнул и, осведомившись о Сайксе, взял шляпу, собираясь уйти.

— Никто не приходил, Тоби? — спросил Феджин.

— Ни одной живой души, — ответил мистер Крекит, поднимая воротник. — От скуки я чуть не скис, как дрянное пиво. За вами хорошая выпивка, Феджин, в награду мне за то, что я так долго сторожил дом. Черт побери! Я отупел, как присяжный, и заснул бы так же крепко, как Ньюгетская тюрьма, если бы по доброте своей не вздумал позабавить этого юнца. Чертовская скука, будь я проклят, если не так!

С этими словами мистер Тоби Крекит забрал выигранные деньги и сунул в жилетный карман с высокомерным видом, словно мелкие серебряные деньги совершенно недостойны внимания такой особы, как он; покончив с этим, он важно вышел из комнаты элегантной и благородной поступью, после чего мистер Читлинг, бросавший восхищенные взгляды на его ноги и сапоги, пока они не скрылись из виду, объявил всей компании, что знакомство с ним обходится каких-нибудь пятнадцать шестипенсовиков за свидание, а такой проигрыш он ценит не дороже щелчка.

— Ну и чудак же вы, Том, — сказал мистер Бейтс, которого очень позабавило это заявление.

— Ничуть не бывало, — отозвался мистер Читлинг. — Разве я чудак, Феджин?

— Ты очень смывленный парень, мой милый, — сказал Феджин, похлопывая его по плечу и подмигивая другим ученикам.

— А мистер Крекит — настоящий франт. Правда, Феджин? — спросил Том.

— Без сомнения, мой милый.

— И поддерживать с ним знакомство очень лестно. Правда, Феджин? — продолжал Том.

— Конечно, очень лестно, мой милый. Они просто завидуют тебе, потому что с ними он не хочет водиться.

— Ну! — с торжеством воскликнул Том. — Вот в чем дело! Он меня дочиста обобрал. Но ведь я могу пойти заработать еще, когда мне вздумается, — правда, Феджин?

— Разумеется, можешь. Том, и чем скорее пойдешь, тем лучше. Возмести же, не мешкая, свой проигрыш и не теряй больше времени... Плут! Чарли! Пора вам отправляться на работу. Пошевеливайтесь! Скоро десять, а ничего еще не сделано.

Приняв к сведению намек, мальчики кивнули Нэнси и, взяв свои шляпы, вышли из комнаты; по дороге Плут и его жизнерадостный друг развлекались, придумывая всевозможные остроты, направленные против мистера Читлинга, в чьем поведении, нужно отдать ему справедливость, не было ничего особо примечательного или странного, поскольку немало есть в столице предприимчивых молодых щеголей, которые платят значительно больше, чем мистер Читлинг, за честь быть принятыми в хорошем обществе, и немало изысканных джентльменов (составляющих упомянутое хорошее общество), которые строят свою репутацию почти на таком же фундаменте, — как и ловкач Тоби Крекит.

— А теперь, — сказал Феджин, когда мальчики вышли из комнаты, — пойду принесу тебе деньги, Нэнси. Это просто ключ от шкафчика, моя милая, где я храню кое-какие вещи, которые приносят мальчики. Своих денег я никогда не запираю, потому что мне и запирать нечего, моя милая... ха-ха-ха... запирать нечего. Невыгодное это ремесло, Нэнси, и неблагодарное. Но я люблю видеть вокруг себя молодые лица и все терплю, все терплю. Тише, — воскликнул он, торопливо пряча ключ за пазуху. — Кто это там? Прислушайся.

Девушка, сидевшая за столом сложа руки, по-видимому, несколько не интересовалась, пришел ли кто-нибудь, или уходит, пока до слуха ее не донесся невнятный мужской голос. Едва уловив этот звук, она с быстротой молнии сорвала с себя шляпку и шаль и сунула их под стол. Когда еврей оглянулся, она пожаловалась на жару ослабевшим голосом, удивительно противоречащим стремительности и страстности ее движений, что, однако, не было замечено Феджином, стоявшим в то время к ней спиной.

— Ба! — пробормотал он, как будто раздосадованный помехой. — Это тот человек, которого я ждал раньше; он спускается по лестнице. Ни слова о деньгах, пока он здесь, Нэнси. Он недолго пробудет. Не больше десяти минут, моя милая.

Приложив к губам костлявый указательный палец, еврей понес лампу к двери, когда за нею на лестнице послышались шаги. Он подошел к двери одновременно с посетителем, который, быстро войдя в комнату, очутился возле девушки, прежде чем успел ее заметить.

Это был Монкс.

— Всего-навсего одна из моих молоденьких учениц, — сказал Феджин, заметив, что Монкс попятился при виде незнакомого лица. — Не уходи, Нэнси.

Девушка ближе придвинулась к столу и, мельком, с равнодушным видом посмотрев на Монкса, отвела взгляд; но когда Монкс перевод глаза с нее на Феджина, она искоса снова метнула на него взгляд — такой острый и испытующий, что, будь здесь какой-нибудь наблюдатель и подметь он эту перемену, он с трудом мог бы поверить, что оба эти взгляда брошены одной и той же особой.

— Есть новости? — осведомился Феджин.

— Очень важные.

— И... и... хорошие? — нерешительно спросил Феджин, словно опасаясь раздражать собеседника чрезмерным благодушием.

— Во всяком случае, неплохие, — с улыбкой ответил Монкс. — На этот раз я не терял времени. Мне нужно с вами поговорить.

Девушка еще ближе придвинулась к столу и не выразила намерения покинуть комнату, хотя и

могла заметить, что Монкс указывает на нее. Еврей, боясь, быть может, как бы она не заговорила вслух о деньгах, если он попытается ее выпроводить, указал наверх и увел Монкса.

— Только не в ту проклятую дыру, где мы были прошлый раз, — услышала она голос посетителя, когда они поднимались по лестнице. Феджин засмеялся, ответил что-то, чего она не разобрала, и, казалось, судя по скрипу досок, повел своего собеседника на третий этаж.

Еще не замерло в доме эхо, разбуженное их шагами, как девушка уже сняла башмаки, завернула на голову подол платья и, закутав в него руки, остановилась у двери, прислушиваясь с напряженным вниманием. Как только шум затих, она выскользнула из комнаты, удивительно легко и бесшумно поднялась по лестнице и скрылась во мраке наверху.

Около четверти часа, если не больше, в комнате никого не было; затем девушка вернулась той же неслышной поступью, и сейчас же вслед за этим раздались шаги двух мужчин, спускавшихся по лестнице. Монкс немедленно вышел на улицу, а еврей снова поплелся наверх за деньгами. Когда он вошел, девушка надевала шаль и шляпку, якобы собираясь уходить.

— Что это, Нэнси? — воскликнул еврей, поставивший свечу на стол, и отшатнулся. — Какая ты бледная!

— Бледная? — повторила девушка, заслоняя глаза руками, как будто для того, чтобы пристальнее посмотреть на него.

— Ужасно. Что это с тобой стряслось?

— Ровно ничего. Сидела в этой душной комнате невесть сколько времени, вот и все, — небрежно ответила девушка. — Ну, будьте добреньки, отпустите же меня.

Вздыхая над каждой монетой, Феджин отсчитал ей на ладонь деньги. Они расстались без дальнейших разговоров, обменявшись только пожеланием спокойной ночи.

Очутившись на улице, девушка присела на ступеньку у двери и в течение нескольких секунд казалась совершенно ошеломленной и неспособной продолжать путь. Вдруг она встала и, бросившись в сторону, как раз противоположную той, где ждал ее Сайкс, ускорила шаги и шла все быстрее, пока шаг ее не превратился в стремительный бег. Окончательно выбившись из сил, она остановилась, чтобы отдышаться, но, словно опомнившись и поняв, что не сможет осуществить задуманное, в отчаянии заломила руки и разрыдалась. Может быть, слезы облегчили ее или же она поняла полную безнадежность своего положения — как бы то ни было, она повернулась и побежала в обратную сторону чуть ли не с такой же быстротой — отчасти, чтобы наверстать потерянное время, а отчасти, чтобы приноровить шаг к стремительному потоку своих мыслей, — и вскоре добралась до дома, где оставила грабителя.

Если, представ перед мистером Сайксом, она и выдала чем-нибудь свое волнение, то он этого не заметил; осведомившись, принесла ли она деньги, и получив утвердительный ответ, он удовлетворенно пробурчал что-то и, снова опустив голову на подушку, погрузился в сон, прерванный ее приходом.

Счастье для нее, что на следующий день наличие денег заставило Сайкса столько потрудиться над едой и питьем и к тому же возымело столь благотворное влияние на его нрав, смягчив его шероховатость, что у него не было ни времени, ни желания критиковать ее поведение и манеры. Ее рассеянность и нервозность, как у того, кто готовится совершить какой-то смелый и опасный шаг, требующий серьезной борьбы, прежде чем принято решение, не ускользнули бы от рысжих глаз Феджина, который, вероятно, немедленно забил бы тревогу. Но мистер

Сайкс, не отличавшийся особой наблюдательностью и не тревожимый опасениями более тонкими, чем те, какие можно заглушить неизменной грубостью в обращении со всеми и каждым, а вдобавок, как было уже указано, находившийся в исключительно приятном расположении духа, — мистер Сайкс не видел ничего необычного в ее поведении и в сущности обращал на нее так мало внимания, что, будь даже ее волнение гораздо приметнее, оно вряд ли вызвало бы у него подозрения.

К концу дня возбуждение девушки усилилось, когда же настал вечер и она, сидя возле грабителя, ждала, пока он напьется и заснет, щеки ее были так бледны, а глаза так горели, что даже Сайкс отметил это с изумлением.

Мистер Сайкс, ослабевший от лихорадки, лежал на кровати, разбавляя джин горячей водой, чтобы уменьшить его возбуждающее действие, и уже в третий или четвертый раз пододвинул Нэнси стакан, чтобы та наполнила его, когда вдруг ее вид впервые поразил его.

— Ах, чтоб мне сдохнуть! — воскликнул он, приподнимаясь на руках и всматриваясь в лицо девушки. — Ты похожа на ожившего мертвеца. В чем дело?

— В чем дело? — повторила девушка. — Ни в чем. Чего ты так таращишь на меня глаза?

— Что это еще за дурь? — спросил Сайкс, схватив ее за руку и грубо встряхнув. — Что это значит? Что у тебя на уме? О чем ты думаешь?

— О многом, Билл, — ответила девушка, вздрагивая и закрывая глаза руками. — Но не все ли равно?

Притворно веселый тон, каким были сказаны последние слова, казалось, произвел на Сайкса более глубокое впечатление, чем дикий, напряженный взгляд, который им предшествовал.

— Вот что я тебе скажу, — начал Сайкс, — если ты не заразилась лихорадкой и не больна, так значит тут пахнет чем-то другим, особенным, да к тому же и опасным. Уж не собираешься ли ты... Нет, черт подери, этого ты бы не сделала!

— Чего бы не сделала? — спросила девушка.

— Нет на свете, — сказал Сайкс, не спуская с нее глаз и бормоча эти слова про себя, — нет на свете более надежной девки, не то я еще три месяца назад перерезал бы ей горло. Это у нее лихорадка начинается, вот что.

Успокоив себя таким доводом, Сайкс осушил стакан до дна, а затем, ворчливо ругнувшись, потребовал свое лекарство. Девушка поспешно вскочила, стоя спиной к нему, она быстро налила лекарство и держала стакан у его губ, пока он пил.

— А теперь, — сказал грабитель, — сядь возле меня и чтобы лицо у тебя было как всегда, а не то я разукрашу его так, что ты сама его не узнаешь.

Девушка повиновалась. Сайкс, зажав ее руку в своей, откинулся на подушку, не спуская глаз с ее лица. Глаза закрылись, открылись снова, опять закрылись и снова открылись. Он беспокойно повернулся, несколько раз задремывал на две-три минуты и так же часто вскакивал с испуганным видом, тупо озирался вокруг и вдруг, в ту самую минуту, когда хотел приподняться, погрузился в глубокий, тяжелый сон. Пальцы его разжались, поднятая рука вяло опустилась — он лежал словно в полном беспамятстве.

— Наконец-то опий подействовал, — прошептала ловушка, отходя от кровати, — но, может быть, теперь уже слишком поздно.

Она проворно надела шляпку и шаль, изредка боязливо оглядываясь, словно опасаясь, как бы, несмотря на снотворный напиток, не опустилась на ее плечо тяжелая рука Сайкса; потом, тихонько наклонившись над постелью, поцеловала грабителя в губы и, бесшумно открыв дверь комнаты, выбежала на улицу.

В темном переулке, который вел на главную улицу, сторож выкрикивал половину десятого.

— Давно пробило? — спросила девушка.

— Через четверть часа пробьет десять, — сказал сторож, поднимая фонарь к ее лицу.

— А мне не добраться туда раньше, чем через час, — пробормотала девушка, проскользнув мимо него и бросившись бежать по улице.

Многие лавки уже закрылись в тех глухих переулках и улицах, которыми она пробегала, направляясь из Спителфилдс к лондонскому Вест-Энду. Когда пробило десять, нетерпение ее усилилось. Она мчалась по узкому тротуару; расталкивая прохожих и проскакивая чуть ли не под самыми мордами лошадей, перебегала запруженные улицы, где кучки людей нетерпеливо ждали возможности перейти через дорогу.

— Эта женщина с ума сошла, — говорили прохожие, оборачиваясь, чтобы посмотреть ей вслед, в то время как она летела дальше.

Когда она добралась до более богатой части города, улицы были сравнительно пустынные, и здесь ее стремительность вызвала еще большее любопытство у редких прохожих, мимо которых она пробегала. Иные ускоряли шаг, словно хотели узнать, куда она так спешит, и те из них, кому удавалось нагнать ее, оглядывались, удивленные тем, что она мчится все с той же быстротой.

Но один за другим они отставали, и она была одна, когда достигла цели своего путешествия. Это был семейный пансион в тихой, красивой улице неподалеку от Гайд-парка. Когда ослепительный свет фонаря, горевшего у двери, привел ее к этому дому, пробило одиннадцать. Сначала она замедлила шаги, словно собираясь с духом, чтобы подойти, но бой часов придал ей решимости, и она вошла в холл... Привратника не было на обычном его месте. Она неуверенно огляделась вокруг и направилась к лестнице.

— Послушайте-ка, — сказала нарядная особа женского пола, выглядывая за ее спиной из-за двери, — кого вам здесь нужно?

— Леди, которая остановилась в этом доме, — отозвалась девушка.

— Леди? — последовал ответ, сопровождаемый презрительным взглядом. — Какую леди?

— Мисс Мэйли, — сказала Нэнси.

Нарядная особа, которая к тому времени обратила внимание на внешность Нэнси, ответила только взглядом, выражавшим добродетельное презрение, и призвала для переговоров с нею мужчину. Нэнси повторила ему свою просьбу.

— Как о вас доложить? — спросил слуга.

— Не к чему называть фамилию, — ответила Нэнси.

— А по какому делу? — продолжал тот.

— И об этом незачем говорить! — возразила девушка. — Мне нужно видеть леди.

— Уходите! — сказал слуга, подталкивая ее к двери. — Хватит, убирайтесь!

— Можете вытолкать меня отсюда, но сама я не уйду! — резко крикнула девушка. — А уж я постараюсь, чтобы вы и вдвоем со мной не сладили. Неужели нет здесь никого, — продолжала она, озираясь, — кто бы согласился исполнить просьбу такого жалкого создания, как я?

Этот призыв произвел впечатление на повара, который благодушно наблюдал эту сцену вместе с другими слугами и теперь выступил вперед, чтобы вмешаться.

— Доложите-ка о ней, Джо, что вам стоит, — сказала Эта персона.

— Да что толку? — возразил тот. — Уж не думаете ли вы, что молодая леди пожелает принять такую, как она?

Этот намек на сомнительную репутацию Нэнси вызвал бурю целомудренного гнева в груди четырех горничных, которые с великим угаром заявили, что эта тварь позорит свой пол, и решительно потребовали, чтобы ее без всякого сожаления бросили в канаву.

— Делайте со мной что хотите, — сказала девушка, снова обращаясь к мужчинам, — но сначала исполните мою просьбу, а я именем Господа Бога прошу доложить обо мне.

Мягкосердечный повар присовокупил свое ходатайство, и дело кончилось тем, что слуга, появившийся первым, взялся исполнить поручение.

— Так что же передать? — спросил он, уже стоя одной ногой на нижней ступеньке.

— Что одна молодая женщина убедительно просит позволения поговорить наедине с мисс Мэйли, — ответила Нэнси, — а когда леди услышит хоть одно слово из того, что та хочет ей сказать, она сама решит, выслушать ли ей до конца, или выгнать эту женщину, как обманщицу.

— Ну, знаете ли, — вы что-то уж очень напористы, — сказал слуга.

— Вы только передайте эти слова, — твердо сказала девушка, — и принесите мне ответ.

Слуга побежал по лестнице. Нэнси, бледная, с трудом переводя дух, стояла внизу, прислушиваясь с дрожащими губами к тем громким, презрительным замечаниям, на какие не скупались целомудренные служанки; они принялись расточать их еще щедрее, когда вернулся слуга и сказал, чтобы молодая женщина шла наверх.

— Что толку соблюдать благопристойность на этом свете? — сказала первая служанка.

— Медь иной раз ценят дороже золота, хотя ему и огонь нипочем! — заметила вторая.

Третья удовольствовалась недоуменным вопросом: «Из чего же сделаны леди?» — а четвертая положила начало квартету: «Какой срам!» — на чем и сошлись эти Дианы.

Невзирая на все это — ибо на сердце у нее было бремя более тяжкое, — Нэнси, дрожа всем телом, вошла вслед за слугой в маленькую переднюю, освещенную висевшей под потолком

лампой. Здесь слуга ее оставил и удалился.

Глава XL. Странное свидание, которое является продолжением событий, изложенных в предыдущей главе

Жизнь девушки протекала на улицах, в самых гнусных притонах и вертепах Лондона, но тем не менее она еще сохранила какую-то порядочность, присущую женщине, и, когда она услышала легкие шаги, приближающиеся к двери, находившейся против той, в какую она вошла, она подумала о резком контрасте, свидетелем которого будет через секунду эта маленькая комнатка, почувствовала всю тяжесть своего позора и съежилась, как будто ей почти непосильно было присутствие той, с кем она добивалась свидания.

Но с этими лучшими чувствами боролась гордость — порок самых развращенных и униженных, равно как и возвеличенных и самоуверенных. Жалкая сообщница воров и грабителей, падшее существо, исторгнутое грязными притонами, помощница самых мерзких преступников, живущая под сенью виселицы, — даже это погрязшее в пороках создание было слишком гордым, чтобы хоть отчасти проявить чувствительность, присущую женщине, — чувствительность, которую она считала слабостью, хотя она одна еще связывала ее с человеческой природой, следы которой стерла тяжелая жизнь в пору ее детства. Она подняла глаза лишь настолько, чтобы разглядеть, что представшая перед ней девушка стройна и прекрасна, затем, потупившись, она с притворной беззаботностью тряхнула головой и сказала:

— Нелегкое дело добраться до вас, сударыня. Если бы я обиделась и ушла, как сделали бы многие на моем месте, вы об этом когда-нибудь пожалели бы — и не зря.

— Я очень сожалею, если с вами были грубы, — отвечала Роз. — Постарайтесь забыть об этом. Скажите мне, зачем вы хотели меня видеть. Я та, кого вы спрашивали.

Ласковый тон, нежный голос, кроткая учтивость, полное отсутствие высокомерия или неудовольствия застigli девушку врасплох, и она залилась слезами.

— Ах, сударыня! — воскликнула она страстно, заломив руки. — Если бы больше было таких, как вы, — меньше было бы таких, как я... меньше... меньше...

— Сядьте, — настойчиво сказала Роз. — Если вы бедны или вас постигло несчастье, я от всей души и всем, чем могу, рада вам помочь. Сядьте.

— Разрешите мне постоять, леди, — сказала девушка, все еще плача, — и не говорите со мной так ласково, пока вы не узнаете, кто я такая. Становится поздно. Эта... Эта дверь закрыта?

— Да, — сказала Роз, отступив на несколько шагов, словно для того, чтобы к ней скорее могли прийти на помощь в случае, если понадобится. — Почему вы задаете этот вопрос?

— Потому, — сказала девушка, — потому, что я собираюсь отдать в ваши руки свою жизнь и жизнь других. Я — та самая девушка, которая утащила маленького Оливера к старику Феджину в тот вечер, когда он вышел из дома в Пентонвиле.

— Вы?! — воскликнула Роз Мэйли.

— Да, я, сударыня, — ответила девушка. — Я та самая бесчестная женщина, о которой вы

слыхали, живущая среди воров, и — да поможет мне Бог! — с того времени, как я себя помню, и когда глазам моим и чувствам открылись улицы Лондона, я не знала лучшей жизни и не слышала более ласковых слов, чем те, какими она меня награждала. Не бойтесь, можете отшатнуться от меня, леди. Я моложе, чем кажусь, но я к этому привыкла. Самые бедные женщины отшатываются от меня, когда я прохожу по людной улице.

— Какой ужас! — сказала Роз, невольно отступая от своей странной собеседницы.

— На коленях благодарите Бога, дорогая леди, — воскликнула девушка, — что у вас были друзья, которые с самого раннего детства о вас заботились и оберегали вас, и вы никогда не знали холода и голода, буйства и пьянства и... и еще кое-чего похуже, что знала я с самой колыбели. Я могу сказать это слово, потому что моей колыбелью были глухой закоулок да канава... они будут и моим смертным ложем.

— Мне жаль вас, — прерывающимся голосом сказала Роз. — У меня сердце надрывается, когда я вас слушаю.

— Да благословит вас Бог за вашу доброту, — отозвалась девушка. — Если бы вы знали, какой я иной раз бываю, вы бы я в самом деле меня пожалели. Но ведь я тайком убежала от тех, которые, конечно, убили бы меня, знай они, что я пришла, сюда, чтобы передать подслушанное. Знаете ли вы человека по имени Монкс?

— Нет, — ответила Роз.

— А он вас знает, — заявила девушка, — и знает, что вы остановились здесь. Ведь я вас отыскала потому, что подслушала, как он назвал это место.

— Я никогда не слыхала этой фамилии, — сказала Роз.

— Значит, у нас он появляется под другим именем, — заявила девушка, — я об этом и раньше догадывалась. Несколько времени назад, вскоре после того, как Оливера просунули к вам в окошко, — когда пытались вас ограбить, я, подозревая этого человека, подслушала однажды ночью его разговор с Феджином. И я поняла, что Монкс, тот самый, о котором я вас спрашивала...

— Да, — сказала Роз, — понимаю.

— Вот что Монкс, — продолжала девушка, — случайно увидел Оливера с двумя из ваших мальчишек в тот день, когда мы в первый раз его потеряли, и сразу узнал в нем того самого ребенка, которого он выслеживал, — я не могла угадать, о какой цели. С Феджином был заключен договора что, если Оливера опять захватят, он получит определенную сумму и получит еще больше, если сделает из него вора, а это для чего-то очень нужно было Монксу.

— Для чего? — спросила Роз.

— Он заметил мою тень на стене, когда я подслушивала, надеясь разузнать, в чем тут дело, — ответила девушка, — и мало кто мог бы, кроме меня, улизнуть вовремя и не попасться. Но мне это удалось, и я его не видела до вчерашнего вечера.

— А что же случилось вчера?

— Сейчас я вам расскажу, леди. Вчера вечером он опять пришел. Опять они поднялись наверх, и я, закутавшись так, чтобы тень не выдала меня, опять подслушивала у двери. Первое, что я

услышала, были слова Монкса: «Итак, единственные доказательства, устанавливающие личность мальчика, покоятся на дне реки, а старая карга, получившая их от его матери, гниет в своем гробу». Он и Феджин расхохотались и стали толковать о том, как посчастливилось ему все это обделать, а Монкс, заговорив о мальчике, рассвирепел и сказал, что хотя он и заполучил деньги чертенка, но лучше бы ему добиться их другим путем; вот была бы потеха, говорил он, поиздеваться над чванливым завещанием отца, протащить мальчишку через все городские тюрьмы, а потом вздернуть его на виселицу за какое-нибудь тяжкое преступление, что Феджин легко мог бы обделать, а до этого еще и подработать на нем.

— Что же это такое?! — воскликнула Роз.

— Сушая правда, леди, хотя это и говорю я, — ответила девушка. — Потом Монкс сказал с проклятиями, привычными для меня, но незнакомыми вам, что, если бы он мог утолить свою ненависть и лишить мальчика жизни без риска для собственной головы, он сделал бы это, но так как это невозможно, то он будет начеку, будет следить за превратностями его судьбы, и так как он знает о его происхождении и жизни — преимущество на его стороне, и, может быть, ему удастся повредить мальчику. «Короче говоря, Феджин, — сказал он, — хотя вы и еврей, но никогда еще не расставляли таких силков, какие я расставил для моего братца Оливера».

— Для брата! — воскликнула Роз.

— Это были его слова, — сказала Нэнси, пугливо озираясь, как озиралась она почти все время, пока говорила, ибо ее преследовал образ Сайкса. — Но это не все. Когда он заговорил о вас и о той, другой леди и сказал, что, видно, Бог или дьявол устроили так, чтобы, назло ему, Оливер попал в ваши руки, он расхохотался и заявил, что даже и это его радует, потому что немало тысяч и сотен фунтов отдали бы вы, если бы их имели, чтобы узнать, кто ваша двуногая собачка.

— Неужели это было сказано серьезно? — сильно побледнев, спросила Роз.

— Он говорил на редкость решительно и злобно, — покачивая головой, ответила девушка. — Он не шутит, когда в нем кипит ненависть. Я знаю многих, кто делает вещи похуже, но лучше мне слушать их десяток раз, чем один раз этого Монкса. Сейчас уже поздно, а я должна вернуться домой, чтобы не заподозрили, по какому делу а ходила. Мне нужно поскорее добраться до дому.

— Но что же я могу сделать? — сказала Роз. — Без вас какую пользу я могу извлечь из этих сведений? Добраться до дому? Почему вам хочется вернуться к товарищам, которых вы описали такими ужасными красками? Если вы повторите это сообщение одному джентльмену, которого я сию же минуту могу вызвать из соседней комнаты, не пройдет и получаса, как вас устроят в каком-нибудь безопасном месте.

— Я хочу вернуться, — сказала девушка. — Я должна вернуться, потому что... как говорить о таких вещах вам, невинной леди?.. потому что среди тех людей, о которых я вам рассказывала, есть один, самый отчаянный из всех, и его я не могу оставить, да, не могу, даже ради того, чтобы избавиться от той жизни, какую теперь веду.

— Ваше прежнее заступничество за этого милого мальчика, — сказала Роз, — ваш приход сюда, чтобы, невзирая на страшную опасность, рассказать мне то, что вы слышали, ваш вид, убеждающий меня в правдивости наших слов, ваше явное раскаяние и стыд — все это заставляет меня верить, что вы еще можете исправиться. О! — складывая руки, воскликнула пылкая девушка, а слезы струились у нее по лицу, — не будьте глухи к мольбам другой

женщины, которая первая — первая, я в этом уверена! — обратилась к вам со словами жалости и сострадания. Услышите меня и дайте мне вас спасти для лучшего будущего!

— Сударыня, — воскликнула девушка, падая на колени, — милая сударыня, добрая, как ангел! Да, вы первая, которая осчастливила меня такими словами, и, услышь я их несколько лет назад, они могли бы отвратить меня от пути греха и печали. Но теперь слишком поздно, слишком поздно.

— Никогда не поздно, — сказала Роз, — раскаяться и искупить грехи.

— Поздно! — вскричала девушка, терзаемая душевной мукой. — Теперь я не могу его оставить. Я не могу быть виновницей его смерти.

— А почему вы будете виновницей? — спросила Роз.

— Ничто бы его не спасло! — воскликнула девушка. — Если бы я рассказала другим то, что рассказала вам, и всех бы захватили, ему, конечно, не избежать смерти. Он самый отчаянный и был таким жестоким.

— Может ли быть, — вскричала Роз, — что ради такого человека вы отказываетесь от всех надежд на будущее и от уверенности в немедленном спасении? Это безумие!

— Не знаю, что это такое, — ответила девушка. — Знаю только, что так оно есть и так бывает не со мной одной, но с сотнями других, таких же падших и ничтожных, как я. Я должна вернуться. Божья ли это кара за содеянное мною зло, но меня тянет вернуться к нему, несмотря на все муки и побои, и, верно, тянуло бы, даже знай я, что в конце концов мне придется умереть от его руки.

— Что же мне делать? — сказала Роз. — Я не должна вас отпускать.

— Вы должны, сударыня! И я знаю, что вы меня отпустите, — возразила девушка, поднимаясь с колен. — Вы не помешаете мне уйти, потому что я доверилась вашей доброте и не потребовала от вас никаких обещаний, хотя могла бы это сделать.

— Какая же тогда польза от вашего сообщения? — сказала Роз. — Эту тайну необходимо раскрыть, иначе какое благо принесет Оливеру, которому вы хотите услужить, то, что вы мне говорили?

— Среди ваших знакомых, конечно, есть какой-нибудь добрый джентльмен, который выслушает все и, сохраняя тайну, посоветует вам, что делать, — сказала девушка.

— Но где же мне найти вас, если это будет необходимо? — спросила Роз. — Я вовсе не хочу знать, где живут эти ужасные люди, но не могли бы вы отныне прогуливаться где-нибудь в определенный час?

— Обещаете ли вы мне, что будете крепко хранить мою тайну и придете одна или только с тем человеком, которому ее доверите? Обещаете, что меня не будут подстерегать или выслеживать? — спросила девушка.

— Даю вам торжественное обещание — ответила Роз.

— Каждый воскресный вечер в одиннадцать часов, — не колеблясь, сказала девушка, — если буду жива, я буду ходить по Лондонскому мосту.

— Подождите еще минутку! — воскликнула Роз, когда девушка быстро направилась к двери. — Подумайте еще раз о своей собственной участи и о возможности изменить ее. Я перед вами в долгу не только потому, что вы добровольно доставили эти сведения, но и потому, что вы — женщина, погибшая почти безвозвратно. Неужели вы вернетесь к этой шайке грабителей и к этому человеку, когда одно слово может вас спасти? Что за обольщение заставляет вас вернуться и льнуть к пороку и злу? О, неужели нет ни одной струны в вашем сердце, которую я могла бы затронуть? Неужели не осталось ничего, к чему могла бы я воззвать, чтобы побороть это ужасное ослепление?

— Когда леди, такие молодые, добрые и прекрасные, как вы, отдают свое сердце, — твердо ответила девушка, — любовь может завлечь их куда угодно... даже таких, как вы, у которых есть дом, друзья, поклонники, все, что делает жизнь полной. Когда такие, как я, у которых нет никакой надежной крыши, кроме крышки гроба, и ни одного друга в случае болезни или смерти, кроме больничной сиделки, отдают свое развращенное сердце какому-нибудь мужчине и позволяют ему занять место, которое никем не было занято в продолжение всей нашей злосчастной жизни, кто может надеяться излечить нас? Пожалейте нас, леди! Пожалейте нас за то, что из всех чувств, ведомых женщине, у нас осталось только одно, да и оно, по суровому приговору, доставляет не покой и гордость, а новые насилия и страдания.

— Вы согласитесь, — помолчав, сказала Роз, — принять от меня немного денег, которые помогут вам жить честно, хотя бы до тех пор, пока мы снова не встретимся?

— Ни одного пенни! — махнув рукой, ответила девушка.

— Не замыкайте своего сердца, не сопротивляйтесь всем моим попыткам помочь вам! — сказала Роз, ласково подходя к ней. — Я ото всей души хочу оказать вам услугу.

— Вы оказали бы мне самую лучшую услугу, сударыня, — ломая руки, ответила девушка, — если бы могли сразу отнять у меня жизнь, потому что сегодня я испытала больше горя, чем когда бы то ни было, все думала о том, кто я такая и что, пожалуй, лучше мне умереть не в том аду, где я жила. Да благословит вас Бог, добрая леди, и да пошлет он вам столько счастья, сколько я навлекла на себя позора!

С этими словами, громко рыдая, несчастная девушка ушла, а Роз Мэйли, угнетенная необычайным свиданием, которое походило скорее на мимолетный сон, чем на реальное событие, опустилась в кресло и попыталась собраться с мыслями.

Глава ХLI, содержащая новые открытия и показывающая, что неожиданность, как и беда, не ходит одна

Ее положение было и в самом деле непривычно тяжелым и затруднительным. Охваченная непреодолимым и горячим желанием проникнуть в тайну, окутывавшую жизнь Оливера, она в то же время не могла не почитать священным секретное сообщение, какое несчастная женщина, с которой она только что беседовала, доверила ей — молодой и чистой девушке. Ее слова и вид тронули сердце мисс Мэйли; и к той любви, какую она питала к своему юному питомцу, присоединилось — такое же искреннее и горячее — стремление привести отверженную к раскаянию и надежде.

Они предполагали прожить в Лондоне только три дня, а затем уехать на несколько недель в отдаленное местечко на побережье. Была полночь первого дня их пребывания в столице. На

какой образ действий ей решиться, чтобы осуществить задуманное за сорок восемь часов? Или как отложить поездку, не возбуждая подозрений?

С ними приехал мистер Лосберн, который должен был остаться еще на два дня; но Роз слишком хорошо знала стремительность этого превосходного джентльмена и слишком ясно предвидела ту ярость, какой он восплает в припадке негодования против орудия вторичного похищения Оливера, чтобы доверить ему тайну, если ее доводы в защиту девушки не поддержит кто-нибудь, искушенный опытом. Были все основания соблюдать величайшую осторожность и осмотрительность, а если посвятить в это дело миссис Мэйли, первым побуждением ее неизбежно будет призвать на совет достойного доктора. Что касается юридического советчика — даже если бы она знала, как к нему обратиться, — то об этом, по тем же причинам, вряд ли можно было думать. Ей пришла в голову мысль искать помощи у Гарри, но это пробудило воспоминание об их последней встрече, и ей показалось недостойным призывать его назад; может быть, — при этой мысли на глазах у нее навернулись слезы, — он уже научился не думать о ней и чувствовать себя более счастливым вдали от нее.

Волнуемая этими разнообразными соображениями, склоняясь то к одному образу действий, то к другому и снова отшатываясь от всего, по мере того как перебирала в уме все доводы. Роз провела бессонную и тревожную ночь. На следующий день, снова поразмыслив и придя в отчаяние, она решила обратиться к Гарри.

«Если ему мучительно вернуться сюда, — думала она, — то как мучительно это мне! Но, возможно, он не придет; он может написать или приехать и старательно избегать встречи со мной — он это сделал, когда уезжал. Я не думала, что он так поступит, но это было лучше для нас обоих». Тут Роз уронила перо и отвернулась, словно даже бумага, которой предстояло стать ее вестником, не должна была быть свидетельницей ее слез.

Раз пятьдесят бралась она за перо и опять его откладывала, и снова и снова обдумывала первую строчку письма, не написав еще ни единого слова, как вдруг Оливер, гулявший по улицам с мистером Джайлсом вместо телохранителя, ворвался в комнату с такой стремительностью и в таком сильном возбуждении, что, казалось, это предвещало новый повод для тревоги.

— Что тебя так взволновало? — спросила Роз, вставая ему навстречу.

— Не знаю, что сказать... Я, кажется, сейчас задохнусь, — ответил мальчик. — Ах, боже мой! Подумать только, что наконец-то я его увижу, а у вас будет возможность убедиться, что я рассказал вам всю правду!

— Я никогда в этом не сомневалась, — успокаивая его, сказала Роз. — Но что случилось? О ком ты говоришь?

— Я видел того джентльмена, — ответил Оливер, с трудом внятно выговаривая слова, — того джентльмена, который был так добр ко мне! Мистера Браунлоу, о котором мы так часто говорили!

— Где? — спросила Роз.

— Он вышел из кареты, — ответил Оливер, плача от радости, — и вошел в дом! Я с ним не говорил, я не мог заговорить с ним, потому что он меня не заметил, а я так дрожал, что не в силах был подойти к нему. Но Джайлс, по моей просьбе, спросил, здесь ли он живет, и ему ответили утвердительно. Смотрите, — сказал Оливер, развертывая клочок бумаги, — вот здесь, здесь он живет... Я сейчас же туда пойду!.. Ах, боже мой, боже мой, что со мной будет, когда я

снова увижу его и услышу его голос!

Роз, чье внимание немало отвлекали бессвязные и радостные восклицания, прочла адрес — Крейвн-стрит, Стрэнде. Немедленно она приняла решение извлечь пользу из этой встречи.

— Живо! — воскликнула она. — Распорядись, чтобы наняли карету. Ты поедешь со мной. Сейчас же, не теряя ни минуты, я отвезу тебя туда. Я только предупрежу тетю, что мы на час отлучимся, и буду готова в одно время с тобой.

Оливера не нужно было торопить, и через пять минут они уже ехали на Крейвн-стрит.

Когда они туда прибыли. Роз оставила Оливера в карете якобы для того, чтобы приготовить старого джентльмена к встрече с ним, и, послав свою визитную карточку со слугой, выразила желание повидать мистера Браунлоу по неотложному делу. Слуга вскоре вернулся и попросил ее пройти вверх; войдя вслед за ним в комнату верхнего этажа, мисс Мэйли очутилась перед пожилым джентльменом с благодушной физиономией, одетым в бутылочного цвета фрак. Неподалеку от него сидел другой старый джентльмен в коротких нанковых штанах и гетрах; он имел вид не особенно благодушный и сжимал руками набалдашник толстой трости, подпирая им подбородок.

— Ах, боже мой! — сказал джентльмен в бутылочного цвета фраке, вставая поспешно и с величайшей учтивостью. — Прошу прощения, молодая леди... я думал, что это какая-нибудь навязчивая особа, которая... прошу извинить меня. Пожалуйста, присядьте.

— Мистер Браунлоу, не так ли, сэр? — спросила Роз, переводя взгляд с другого джентльмена на того, кто говорил.

— Да, это я, — сказал старый джентльмен. — А это мой друг, мистер Гримуиг... Гримуиг, не покинете ли вы нас на несколько минут?

— Я не стала бы беспокоить этого джентльмена просьбой уйти, — вмешалась мисс Мэйли. — Если я правильно осведомлена, ему известно то дело, о котором я хочу говорить с Вами.

Мистер Браунлоу поклонился. Мистер Гримуиг, который отвесил весьма чопорный поклон и поднялся со стула, отвесил еще один чопорный поклон и снова опустился на стул.

— Несомненно, я очень удивлю вас, — начала Роз, чувствуя вполне понятное смущение, — но когда-то вы отнеслись с величайшей добротой и благосклонностью к одному моему милому маленькому другу, и я уверена, что вам любопытно будет услышать о нем снова.

— Вот как! — сказал мистер Браунлоу.

— Вы его знали как Оливера Твиста, — добавила Роз.

Как только эти слова сорвались с ее губ, мистер Гримуиг, притворявшийся, будто внимание его всецело поглощено большущей книгой, лежавшей на столе, уронил ее с грохотом и, откинувшись на спинку стула, взглянул на девушку, причем на лице его нельзя было прочесть ничего, кроме безграничного изумления; он долго и бессмысленно таращил глаза, затем, слов — но пристыженный таким проявлением чувства, судорожно принял прежнюю позу и, глядя прямо перед собой, испустил протяжный, глухой свист, который, казалось, не рассеялся к воздуху, но замер в самых сокровенных тайниках его желудка.

Мистер Браунлоу был удивлен отнюдь не меньше, хотя его изумление выражалось не таким

эксцентрическим образом. Он придвинул стул ближе к мисс Мэйли и сказал:

— Окажите мне милость, прелестная моя юная леди, — не касайтесь вопроса о доброте и благосклонности: об этом никто ничего не знает. Если же есть у вас возможность представить какое-нибудь доказательство, которое может изменить то неблагоприятное мнение, какое я когда-то вынужден был составить об этом бедном мальчике, то, ради бога, поделитесь им со мной.

— Скверный мальчишка! Готов съесть свою голову, если это не так, — проворчал мистер Гримуиг; ни один мускул его лица не шевельнулся, словно он прибегнул к чревовещанию.

— У этого мальчика благородная натура и пылкое сердце, — покраснев, сказала Роз, — и та сила, которая почла нужным обречь его на испытания не по летам, вложила ему в грудь такие чувства и такую преданность, какие сделали бы честь многим людям старше его раз в шесть.

— Мне только шестьдесят один год, — сказал мистер Гримуиг все с тем же застывшим лицом. — Если сам черт не вмешался в дело, этому Оливеру никак не меньше двенадцати... И я не понимаю, кого вы имеете в виду?

— Не обращайтесь внимания на моего друга, мисс Мэйли, — сказал мистер Браунлоу, — он не то хотел сказать.

— Нет, то, — проворчал мистер Гримуиг.

— Нет, не то, — сказал мистер Браунлоу, явно начиная сердиться.

— Он готов съесть свою голову, если не то, — проворчал мистер Гримуиг.

— В таком случае он заслуживает того, чтобы у него сняли ее с плеч, — сказал мистер Браунлоу.

— Очень хотел бы он посмотреть, кто возьмется это сделать, — отвечивал мистер Гримуиг, стукнув тростью об пол.

Зайдя столь далеко, оба старых джентльмена взяли несколько понюшек табаку, а затем пожали друг другу руку во исполнение неизменного своего обычая.

— Итак, мисс Мэйли, — сказал мистер Браунлоу, — вернемся к предмету, который столь затронул ваше доброе сердце. Сообщите ли вы мне, какие у вас есть сведения об этом бедном мальчике? И разрешите мне сказать, что я исчерпал все средства, какие были в моей власти, чтобы отыскать его, и, с той поры как я покинул Англию, первоначальное мое мнение, будто он меня обманул и прежние сообщники уговорили его обокрасть меня, в значительной мере поколебалось.

Роз, успевшая к тому времени собраться с мыслями, тотчас же поведала просто и немногословно обо всем, что случилось с Оливером с той поры, как он вышел из дома мистера Браунлоу, умолчав о сообщении Нэнси, чтобы передать его потом наедине; закончила она свой рассказ уверениями, что единственным огорчением Оливера за последние несколько месяцев была невозможность встретиться с прежним своим благодетелем и другом.

— Слава Богу! — воскликнул старый джентльмен. — Для меня это величайшая радость, величайшая радость! Но вы мне не сказали, мисс Мэйли, где он сейчас находится? Простите, если я осмеливаюсь упрекать вас... но почему вы не привезли его с собой?

— Он ждет в карете у двери, — ответила Роз.

— У двери моего дома! — воскликнул старый джентльмен.

Не произнеся больше ни слова, он устремился вон из комнаты, вниз по лестнице, к подножке кареты и вскочил в карету.

Когда дверь комнаты захлопнулась за ним, мистер Гримуиг приподнял голову и, превратив одну из задних ножек стула в ось вращения, трижды, не вставая с места, описал круг, помогая себе тростью и придерживаясь за стол. Совершив такое упражнение, он встал и, прихрамывая, по крайней мере раз десять прошелся по комнате со всей быстротой, на какую был способен, после чего, внезапно остановившись перед Роз, поцеловал ее без всяких предисловий.

— Тише! — сказал он, когда молодая леди привстала, слегка испуганная этой странной выходкой. — Не бойтесь. Я стар и гожусь вам в деда. Вы славная девушка! Вы мне нравитесь... А вот и они!

Действительно, не успел он опуститься на прежнее место, как вернулся мистер Браунлоу в сопровождении Оливера, которого мистер Гримуиг принял очень благосклонно; и если бы эта счастливая минута была единственной наградой за все беспокойство и заботы об Оливере, Роз Мэйли была бы щедро вознаграждена.

— Между прочим, есть еще кое-кто, о ком не следует забывать, — сказал мистер Браунлоу, позвонив; в колокольчик. — Пожалуйста, пришлите сюда миссис Бэдуин.

Старая экономка тотчас пришла на зов и, сделав у двери реверанс, ждала приказаний.

— Да вы с каждым днем слепнете, Бэдуин, — с легким раздражением сказал мистер Браунлоу.

— И в самом деле слепну, сэр, — отозвалась старая леди. — В моем возрасте зрение с годами не улучшается, сэр.

— Я бы и сам мог вам это сказать, — заявил мистер Браунлоу, — но наденьте-ка очки да посмотрите... Не догадаетесь ли вы, зачем вас позвали.

Старая леди начала шарить в кармане в поисках очков. Но терпение Оливера не выдержало этого нового испытания, и, отдаваясь первому порыву, он бросился в ее объятия.

— Господи помилуй! — обнимая его, воскликнула старая леди. — Да ведь это мой невинный мальчик!

— Милая моя старая няня! — вскричал Оливер.

— Он вернулся — я знала, что он вернется! — воскликнула старая леди, не выпуская его из своих объятий. — А какой прекрасный у него вид, и снова он одет, как сын джентльмена! Где же ты был столько времени? Ах, это все то же милое личико, но не такое бледное, те же кроткие глаза, но не такие печальные! Никогда я не забывала ни этих глаз, ни его кроткой улыбки, каждый день видела его рядышком с моими милыми родными детками, которые умерли еще в ту пору, когда я была веселой и молодой.

Говоря без умолку и то отстраняя от себя Оливера, чтобы определить, очень ли он вырос, то снова прижимая его к груди и ласково перебирая пальцами его волосы, добрая старушка и смеялась и плакала у него на плече.

Предоставив ей и Оливеру делиться на досуге впечатлениями, мистер Браунлоу увел Роз в другую комнату и там выслушал подробный рассказ о ее свидании с Нэнси, который привел его в немалое изумление и замешательство. Роз объяснила также, почему она не доверилась прежде всего своему другу, мистеру Лосберну. Старый джентльмен нашел, что она поступила разумно, и охотно согласился сам открыть торжественное совещание с достойным доктором. Чтобы поскорее доставить ему возможность привести в исполнение этот план, условились, что он зайдет в гостиницу в восемь часов вечера и что к тому времени осторожно осведомят обо всем происшедшем миссис Мэйли. Когда эти предварительные меры были обсуждены, Роз с Оливером вернулись домой.

Роз отнюдь не ошиблась, предвидя, как разгневается добрый доктор. Как только ему поведали историю Нэнси, он разразился градом угроз и проклятий, грозил сделать ее первой жертвой хитроумия мистеров Блетерса и Даффа и даже надел шляпу, собираясь отправиться за помощью к этим достойным особам. Несомненно, в припадке ярости он осуществил бы свое намерение, ни на секунду не задумываясь о последствиях, если бы его не сдержала вспыльчивость мистера Браунлоу, который и сам отличался горячим нравом, а также те доводы и возражения, какие казались наиболее подходящими, чтобы отговорить его от опрометчивого шага.

— Черт возьми, что же в таком случае делать? — спросил неугомонный доктор, когда они вернулись к обеим леди. — Не должны ли мы изъявить благодарность всем этим бродягам мужского и женского пола и обратиться к ним с просьбой принять примерно по сотне фунтов на каждого как скромный знак нашего уважения и признательности за их доброту к Оливеру?

— Не совсем так, — со смехом возразил мистер Браунлоу, — но мы должны действовать осторожно и с величайшей осмотрительностью.

— Осторожность и осмотрительность! — воскликнул доктор. — Я бы их всех до единого послал к...

— Неважно куда! — перебил мистер Браунлоу. — Но рассудите: можем ли мы достигнуть цели, если пошлем их куда бы то ни было?

— Какой цели? — спросил доктор.

— Узнать о происхождении Оливера и вернуть ему наследство, которого, если этот рассказ правдив, его лишили мошенническим путем.

— Вот что! — сказал мистер Лосберн, обмахиваясь носовым платком. — Я об этом почти забыл.

— Видите ли, — продолжал мистер Браунлоу, — если даже оставить в стороне эту бедную девушку и предположить, что возможно предать негодяев суду, не подвергая ее опасности, чего бы мы этим добились?

— По крайней мере нескольких повесили бы, — заметил доктор, — а остальных сослали.

— Прекрасно! — с улыбкой отозвался мистер Браунлоу. — Но нет никаких сомнений, что в свое время они сами до этого дойдут, а если мы вмешаемся и предупредим их, то, кажется мне, мы совершим весьма донкихотский поступок, явно противоречащий нашим интересам или во всяком случае интересам Оливера, что одно и то же.

— Каким образом? — спросил доктор.

— А вот каким. Совершенно ясно, что мы столкнемся с чрезвычайными трудностями, попытаюсь проникнуть в тайну, если нам не удастся поставить на колени этого человека — Монкса. Этого можно добиться только хитростью, захватив его в тот момент, когда он не окружен своими сообщниками. Если допустить, что его арестуют, — у нас нет против него никаких улик. Он даже не участвовал с этой шайкой (поскольку нам известны или поскольку мы представляем себе обстоятельства дела) ни в одном из грабежей. Даже если его не оправдают, то самое большее, его приговорят к тюремному заключению за мошенничество и бродяжничество; разумеется, после этого он будет навсегда потерян для нас, и от него добьешься не больше, чем от какого-нибудь идиота, да к тому же еще глухого, немого и слепого.

— В таком случае, — с жаром заговорил доктор, — я спрашиваю вас снова: полагаете ли вы, что мы связаны обещанием, которое дали девушке? Обещание было дано с самыми лучшими и добрыми намерениями, но, право же...

— Прошу вас, не бойтесь, милая моя молодая леди, — сказал мистер Браунлоу, перебивая Роз, которая хотела заговорить. — Обещание не будет нарушено. Не думаю, чтобы оно явилось хотя бы ничтожной помехой в наших делах. Но прежде чем мы остановимся на каком-нибудь определенном образе действий, необходимо повидать девушку и узнать от нее, укажет ли она этого Монкса при условии, что он будет иметь дело с нами, а не с правосудием. Если же она либо не хочет, либо не может это сделать, то надо добиться, чтобы она указала, какие притоны он посещает, и описала его особу, а мы могли бы его опознать. С нею нельзя увидеться раньше, чем в воскресенье вечером, а сегодня вторник. Я бы посоветовал успокоиться и хранить это дело в тайне даже от самого Оливера.

Хотя мистер Лосберн скроил немало кислых гримас при этом предложении, требующем отсрочки на целых пять дней, ему поневоле пришлось признать, что в данный момент он не может придумать лучшего плана, а так как и Роз и миссис Мэйли весьма решительно поддерживали мистера Браунлоу, то предложение этого джентльмена было принято единогласно.

— Мне бы хотелось, — сказал он, — обратиться за содействием к моему другу Гримуигу. Он человек странный, но проницательный и может оказать нам существенную помощь; должен сказать, что он получил юридическое образование и с отвращением отказался от адвокатской деятельности, так как за двадцать лет ему было поручено ведение одного только дела, а служит ли это ему рекомендацией или нет — решайте сами.

— Я не возражаю против того, чтобы вы обратились к вашему другу, если мне позволят обратиться к моему, — сказал доктор.

— Мы должны решить это большинством голосов, — ответил мистер Браунлоу. — Кто он?

— Сын этой леди... старый друг этой молодой леди, — сказал доктор, указав на миссис Мэйли, а затем бросив выразительный взгляд на ее племянницу.

Роз густо покраснела, но ничего не возразила против этого предложения (быть может, она понимала, что неизбежно останется в меньшинстве), и в результате Гарри Мэйли и мистер Гримуиг вошли в комитет.

— Разумеется, — сказала миссис Мэйли, — мы останемся в городе, пока есть хоть малейшая надежда на успешное продолжение этого расследования. Я не остановлюсь ни перед хлопотами, ни перед расходами ради той цели, которая так сильно интересуется нас всех, и я готова жить здесь хоть целый год, если вы заверите меня, что надежда еще не потеряна.

— Прекрасно! — подхватил мистер Браунлоу. — А так как по выражению лиц, меня окружающих, я угадываю желание спросить, как это случилось, что меня не оказалось на месте, чтобы подтвердить рассказ Оливера, и я так внезапно покинул страну, то разрешите поставить условие: мне не будут задавать никаких вопросов, пока я не сочту целесообразным предупредить их, рассказав мою собственную историю. Поверьте, у меня есть веские основания для такой просьбы, ибо иначе я могу породить несбыточные надежды и только умножить трудности и разочарования, и без того уже достаточно многочисленные. Пойдемте! Об ужине уже докладывали, а юный Оливер, который сидит один-одинешенек в соседней комнате, чего доброго подумает, что нам надоело его общество и мы составили какой-то черный заговор, чтобы отделаться от него.

С этими словами старый джентльмен подал руку миссис Мэйли и повел ее в столовую. Мистер Лосберн, ведя Роз, последовал за ним, и заседание было закрыто.

Глава XLII. Старый знакомый Оливера обнаруживает явные признаки гениальности и становится видным деятелем в столице

В тот вечер, когда Нэнси, усыпив мистера Сайкса, Спешила к Роз Мэйли исполнить миссию, ею самой на себя возложенную, по Большой северной дороге приближались к Лондону два человека, которым следует уделить некоторое внимание в нашем повествовании.

Это были мужчина и женщина — или, может быть, вернее назвать их существом мужского и существом женского пола, ибо первый был одним из тех долговязых, кривоногих, расхлябанных, костлявых людей, чей возраст трудно установить с точностью: мальчиками они похожи на недоростков, а став мужчинами, напоминают мальчиков-переростков. Женщина была молода, но крепкого телосложения и вынослива, в чем она и нуждалась, чтобы выдержать тяжесть большого узла, привязанного у нее за спиной. Ее спутник не был обременен поклажей, так как на палке, которую он перекинул через плечо, болтался только маленький сверток, по-видимому довольно легкий, увязанный в носовой платок. Это обстоятельство, а также его ноги, отличавшиеся необыкновенной длиной, помогали ему без особых усилий держаться на несколько шагов впереди спутницы, к которой он иногда поворачивался, нетерпеливо встряхивая головой, слезно упрекая ее за медлительность и побуждая приложить больше усердия.

Так плелись они по пыльной дороге, обращая внимание на окружающие их предметы лишь тогда, когда им приходилось отступать к обочине, чтобы пропустить мчавшиеся из города почтовые кареты; когда же они прошли под Хайгетской аркой, путешественник, шагавший впереди, остановился и нетерпеливо окликнул свою спутницу:

— Иди же! Не можешь, что ли? Ну и лентяйка же ты, Шарлотт!

— Ноша у меня тяжелая, уверяю тебя, — подходя к нему, сказала женщина, чуть дышавшая от усталости.

— Тяжелая! Что ты болтаешь? А для чего же ты создана? — отозвался мужчина, перекладывая при этом свой собственный узелок на другое плечо. — Ну вот, опять решила отдохнуть! Право, не знаю, кто, кроме тебя, умеет так выводить из терпения!

— Далеко еще? — спросила женщина, прислонившись к насыпи и взглянув на него; пот струился у нее по лицу.

— Далеко! Да мы, можно сказать, пришли, — сказал длинноногий путник, указывая вперед. — Смотри! Вон огни Лондона.

— До них добрых две мили — по меньшей мере, — уныло отозвалась женщина.

— Нечего и думать о том, две мили или двадцать, — сказал Ноэ Клейпол, ибо это был он. — Вставай-ка да иди, не то я тебя пихну ногой, предупреждаю заранее!

Так как нос Ноэ от гнева еще сильнее покраснел и он с этими словами перешел через дорогу, словно готовясь привести угрозу в исполнение, женщина без дальнейших рассуждений встала и побрела рядом с ним.

— Где ты хочешь остановиться на ночь, Ноэ? — спросила она, когда они прошли еще несколько сот ярдов.

— Откуда мне знать, — огрызнулся Ноэ, расположение духа которого значительно ухудшилось от ходьбы.

— Надеюсь, где-нибудь поблизости, — сказала Шарлотт.

— Нет, не поблизости, — ответил мистер Клейпол. — Слышишь? Не поблизости. Значит, нечего и думать об этом.

— Почему не поблизости?

— Когда я говорю тебе, что не намерен что-либо делать, этого достаточно без всяких почему и потому, — с достоинством ответил мистер Клейпол.

— Зачем так сердиться? — сказала его спутница.

— Хорошенькое было бы дело, если б мы остановились в каком-нибудь трактире близ самого города, чтобы Саурбери, если он пустился за нами в погоню, сунул туда свой старый нос, надел на нас наручники и отвез нас обратно в повозке, — насмешливым тоном сказал мистер Клейпол. — Нет! Я уйду и затеряюсь в самых узких улицах, какие только удастся найти, и до тех пор не остановлюсь, пока не сыщу самый жалкий трактир из всех, какие нам попадаются по дороге. Благодарю свою счастливую звезду за то, что у меня есть голова на плечах: если бы я не схитрил и не пошел по другой дороге и не вернись мы через поля, вы, сударыня, уже неделю как сидели бы под крепким замком! И поделом тебе было бы, потому что ты дура!

— Я знаю, что я не такая смышленная, как ты, — ответила Шарлотт, — но не сваливай всю вину на меня и не говори, что меня посадили бы под замок. Случись это со мной, тебя бы, конечно, тоже посадили.

— Ты взяла деньги из кассы, сама знаешь, что ты, — сказал мистер Клейпол.

— Я их взяла для тебя, милый Ноэ, — возразила Шарлотт.

— А я их у себя оставил? — спросил мистер Клейпол.

— Нет. Ты доверился мне и позволил их нести, потому что ты милый и славный, — сказала леди, потрепан его по подбородку и взяв под руку.

Это соответствовало действительности, но так как у мистера Клейпола не было привычки слепо и безрассудно дарить кому бы то ни было свое доверие, то, воздавая должное этому

джентльмену, следует заметить, что он доверился Шарлотт только для того, чтобы деньги были найдены у нее, если их поймут: это дало бы ему возможность заявить о своей непричастности к краже и весьма благоприятствовало его надежде ускользнуть. Конечно, при таком положении дел он не стал объяснять своих мотивов, и они очень мирно пошли дальше рядом.

Следуя своему, благоразумному плану, мистер Клейпол шел, не останавливаясь, пока не добрался до «Ангела» в Излингтоне, где он пришел к мудрому заключению, что, судя по толпе прохожих и количеству экипажей, здесь и в самом деле начинается Лондон. Задержавшись только для того, чтобы посмотреть, какие улицы самые людные и каких, стало быть, надлежит особенно избегать, он свернул на Сент-Джон-роуд и вскоре углубился во мрак запутанных и грязных переулков между Грейс-Инн-лейном и Смитфилдом, благодаря которым эта часть города кажется одной из самых жалких и отвратительных, хотя она находится в центре Лондона и подверглась большой перестройке.

Этими улицами шел Ноэ Клейпол, таща за собой Шарлотт; время от времени он сходил на мостовую, чтобы окинуть глазом какой-нибудь трактирчик, и снова шел дальше, если наружный вид заведения заставлял думать, что здесь для него слишкомлюдно. Наконец, он остановился перед одним, на вид более жалким и грязным, чем все замеченные им раньше, перешел дорогу и, обозрев его с противоположного тротуара, милостиво объявил о своем намерении пристроиться здесь на ночь.

— Давай-ка узел, — сказал Ноэ, отстегивая ремни, укреплявшие его на плечах женщины, и взваливая его себе на плечи, — и не говори ни слова, пока с тобой не заговорят. Как называется это заведение... т-р... трое кого?

— Калек, — сказала Шарлотт.

— Трое калек, — повторил Ноэ. — Ну что ж, прекрасная вывеска. Вперед! Не отставай от меня ни на шаг. Идем!

Сделав такое внушение, он толкнул плечом скрипучую дверь и вошел в дом вместе со своей спутницей.

В буфетной никого не было, кроме молодого еврея, который, опершись обоими локтями о стойку, читал грязную газету. Он очень пристально посмотрел на Ноэ, а Ноэ очень пристально посмотрел на него.

Будь Ноэ в костюме приютского мальчика, у еврея могло быть какое-то основание так широко раскрывать глаза; но так как Ноэ отделался от куртки и значка и в дополнение к кожаным штанам надел короткую рабочую блузу, то, казалось, не было особых причин для того, чтобы внешний его вид привлекал к себе внимание посетителей трактира.

— Это «Трое калек»? — спросил Ноэ.

— Так называется это заведение, — ответил еврей.

— Один джентльмен, шедший из деревни, которого мы повстречали по дороге, посоветовал нам зайти сюда, — сказал Ноэ, подталкивая локтем Шарлотт, быть может, с целью обратить ее внимание на этот чрезвычайно хитроумный способ вызвать к себе уважение, а может быть, предостерегая ее, чтобы она не выдала своего изумления. — Мы хотим здесь переночевать.

— Насчет этого я не знаю, — сказал Барни, который был помощником трактирщика. — Пойду справлюсь.

— Проводите нас в другую комнату и дайте холодной говядины и пива, пока будете ходить справляться, — сказал Ноэ.

Барни повиновался — повел их в маленькую заднюю комнатку и поставил перед ними заказанную снедь; покончив с этим, он уведомил путешественников, что они могут устроиться здесь на ночлег, и ушел, предоставив любезной парочке подкрепляться.

Эта задняя комната находилась как раз за буфетной и была расположена на несколько ступенек ниже, так что любой, кто был своим в заведении, отдернув занавеску, скрывавшую маленькое оконце в стене упомянутого помещения, на расстоянии примерно пяти футов от пола, мог не только видеть гостей в задней комнате, не подвергая себя серьезной опасности быть замеченным (оконце было в углу, между стеной и толстой вертикальной балкой, и здесь должен был поместиться наблюдатель), но и, прижавшись ухом к перегородке, установить в достаточной мере точно предмет их разговора. Хозяин Заведения минут пять не отрывал глаз от потайного окна, а Барни, передав упомянутое выше сообщение, только что вернулся, когда Феджин заглянул в бар справиться о своих юных учениках.

— Тссс... — зашептал Барни. — В соседней комнате чужие.

— Чужие? — шепотом повторил старик.

— Да. И чудная пара, — добавил Барни. — Из провинции, но, если не ошибаюсь, вам по вкусу.

Казалось, Феджин выслушал это сообщение с большим интересом. Взобравшись на табурет, он осторожно прижался глазом к стеклу и из своего укромного местечка мог видеть, как мистер Клейпол брал холодную говядину с блюда, пил пиво из кружки и выдавал гомеопатические дозы того и другого Шарлотт, которая сидела рядом и покорно то пила, то ела.

— Эге, — прошептал Феджин, поворачиваясь к Барни. — Мне нравится этот парень. Он может нам пригодиться. Он уже знает, как дрессировать девушку. Притаитесь, как мышь, мой милый, и дайте мне послушать, о чем они говорят, дайте мне их послушать.

Он снова приблизил лицо к стеклу и, прижавшись ухом к перегородке, стал внимательно слушать с такой хитрой миной, которая была бы под стать какому-нибудь старому злому черту.

— Так вот: я хочу сделаться джентльменом, — сказал мистер Клейпол, вытягивая ноги и продолжая разговор, к началу которого Феджин опоздал. — Хватит с меня проклятых старых гробов, Шарлотт. Я желаю жить как джентльмен, а ты, если хочешь, будешь леди.

— Я бы очень хотела, дорогой! — отозвалась Шарлотт. — Но не каждый день можно очищать кассы, и после этого удирать.

— К черту кассы! — сказал мистер Клейпол. — И кроме касс есть что очищать.

— А что у тебя на уме? — спросила его спутница.

— Карманы, женские ридикюли, дома, почтовые кареты, банки, — сказал мистер Клейпол, воодушевляясь под влиянием пива.

— Но ты не сумеешь делать все это, дорогой мой, — сказала Шарлотт.

— Я постараюсь войти в компанию с теми, которые умеют, — ответил Ноэ. — Они-то помогут нам стать на ноги. Да ведь ты одна стоишь пятидесяти женщин; никогда еще я не видывал

такого хитрого и коварного создания, как ты, когда я тебе позволяю.

— Ах, боже мой, как приятно слышать это от тебя! — воскликнула Шарлотт, запечатлев поцелуй на его безобразном лице.

— Ну, хватит! Нечего чересчур нежничать, а не то я рассержусь! — важно сказал Ноэ, отстраняясь от нее. — Я бы хотел быть главарем какой-нибудь шайки, держать людей в руках и шпионить за ними так, чтобы они сами этого не знали. Вот это бы мне подошло, если барыш хорош. И если бы только нам связаться с какими-нибудь джентльменами этой породы, я бы сказал, что двадцатифунтовый билет, который у тебя спрятан, недорогая плата, тем более что мы-то сами толком не знаем, как от него отделаться.

Высказав такое пожелание, мистер Клейпол с видом великого мудреца заглянул в пивную кружку и, хорошенько взболтав ее содержимое, хлебнул пива, что, повидимому, очень его освежило. Он подумывал, не хлебнуть ли еще раз, но дверь внезапно распахнулась, и появление незнакомца ему помешало.

Незнакомец был мистер Феджин. И казался он очень любезным; он отвесил низкий поклон, когда подошел, и, присев за ближайший столик, приказал ухмыльнувшемуся Барни подать чего-нибудь выпить.

— Приятный вечер, сэр, но холодный для этой поры года, — сказал Феджин, потирая руки, — Из провинции, как вижу, сэр?

— Как вы это угадали? — спросил Ноэ Клейпол.

— У нас, в Лондоне, нет такой пыли, — ответил Феджин, указывая на башмаки Ноэ, затем на башмаки его спутницы и, наконец, на два узла.

— Вы человек смысленный, — сказал Ноэ. — Ха-ха!.. Ты послушай только, Шарлотт!

— Эх, милый мой, в этом городе приходится быть смысленным, — отозвался еврей, понизив голос до доверительного шепота. — Что правда, то правда.

Феджин подкрепил это замечание, постукав себя сбоку по носу указательным пальцем — жест, который Ноэ попробовал воспроизвести, хотя и не особенно успешно, ибо его собственный нос был для этого слишком мал. Тем не менее мистер Феджин, казалось, истолковал его попытку как выражение полного согласия с высказанным мнением и весьма дружески угостил его вином, которое принес вновь появившийся Барни.

— Славная штука! — заметил мистер Клейпол, причмокивая губами.

— Мой милый, — сказал Феджин, — приходится очищать кассу, или карман, или женский ридикюль, или дом, или почтовую карету, или банк, если пьешь регулярно.

Услышав эту выдержку из своих собственных речей, мистер Клейпол откинулся на спинку стула и с испуганной физиономией перевел взгляд с еврея на Шарлотт.

— Не обращайтесь на меня внимания, мой милый, — сказал Феджин, придвигая свой стул. — Ха-ха! Вам повезло, что вас слышал только я. Очень удачно вышло, что это был только я.

— Я их не брал, — заикаясь, выговорил Ноэ; он уже не вытягивал ног, как подобало независимому джентльмену, а подбирал их старательно под стул, — это все ее рук дело... Они у

тебя сейчас, Шарлотт, ты же знаешь, что у тебя!

— Не важно, у кого они и кто это сделал, мой милый, — отозвался Феджин, бросив, однако, хищный взгляд на девушку и на два узла. — Я сам этим промышляю, поэтому вы мне нравитесь.

— Чем промышляете? — спросил мистер Клейпол, слегка оправившись.

— Такими делами, — ответил Феджин. — Ими занимаются и обитатели этого дома. Вы попали как раз куда нужно, и здесь вы в полной безопасности. Во всем городе не найдется более безопасного места, чем «Калеки», — впрочем, это зависит от меня. А я почувствовал симпатию к вам и к молодой женщине. Потому-то я и заговорил, и пусть у вас на душе будет спокойно.

Может быть, после такого заявления у Ноэ Клейпола и стало спокойно на душе, но к телу его это отнюдь не относилось, ибо он ерзал и корчился, принимая самые нелепые позы, и взирал на своего нового друга боязливо и подозрительно.

— А вам еще кое-что скажу, — продолжал Феджин после того, как успокоил девушку дружелюбными кивками и пробормотал какие-то ободряющие слова, — есть у меня приятель, который сможет исполнить ваше заветное желание и выведет вас на верную дорогу, а тогда вы выберете дельце, которое, по вашему мнению, больше всего подходит вам поначалу, и обучитесь всему остальному.

— Вы как будто говорите всерьез! — сказал Ноэ.

— Какая для меня польза говорить иначе? — пожимая плечами, спросил Феджин. — Знаете, я хочу сказать вам словечко в другой комнате.

— К чему утруждать себя и вставать? — возразил Ноэ, постепенно снова вытягивая ноги. — Она пока отнесет вещи наверх... Шарлотт, займись узлами!

Этот приказ, отданный весьма величественно, был исполнен без всяких возражений, и Шарлотт удалилась с поклажей, а Ноэ придержал дверь и посмотрел ей вслед.

— Недурно я ее натаскал, правда? — вернувшись на свое место, спросил он тоном укротителя, который приручил дикого зверя.

— Очень хорошо! — заявил Феджин, похлопывая его по плечу. — Вы — гений, мой милый!

— Что ж, пожалуй, не будь я им, не сидел бы я сейчас здесь, — ответил Ноэ. — Но послушайте, она вернется, если вы будете мешкать.

— Ну, так что ж вы об этом думаете? — спросил Феджин. — Если мой приятель вам понравится, почему бы вам к нему не пристроиться?

— А дело у него хорошее? Вот что важно, — отвечал Ноэ, подмигивая одним глазом.

— Самое отменное! Нанимает множество людей. С ним лучшие люди этой профессии.

— Настоящие горожане? — спросил мистер Клейпол.

— Ни одного провинциала. И не думаю, чтобы он вас принял, даже по моей рекомендации, не нуждайся он как раз теперь в помощниках.

— Надо ему дать? — спросил Ноэ, похлопав себя по карману штанов.

— Без этого никак не обойтись, — решительным тоном ответил Феджин.

— Но двадцать фунтов... это куча денег.

— Нет, если это банкнот, от которого вы не можете отделаться, — возразил Феджин. — Номер и год, полагаю, записаны? Выплата в банке задержана? Вот видите, он из этого банкнота тоже не много извлечет. Придется переправить за границу, ему не удастся продать его на рынке по высокой цене.

— Когда я его увижу? — неуверенно спросил Ноэ.

— Завтра утром.

— Где?

— Здесь.

— Гм, — сказал Ноэ, — какое жалованье?

— Будете жить как джентльмен, стол и квартира, табаку и спиртного вволю, половина вашего заработка и половина заработка молодой женщины — ваши, — ответил Феджин.

Весьма сомнительно, согласился бы Ноэ Клейпол, алчность которого не знала пределов, даже на такие блестящие условия, будь он совершенно свободен в своих действиях; но так как он припомнил, что в случае отказа новый знакомый может предать его немедленно в руки правосудия (а случались вещи и более невероятные), то постепенно смягчился и сказал, что, пожалуй, это ему подойдет.

— Но, знаете ли, — заметил Ноэ, — раз она может справиться с тяжелой работой, то мне бы хотелось взяться за что-нибудь полегче.

— За какую-нибудь маленькую, приятную работенку? — предложил Феджин.

— Вот именно, — ответил Ноэ. — Как вы думаете, что бы мне теперь подошло? Ну, скажем, дельце, не требующее больших усилий и, знаете ли, не очень опасное. Что-нибудь в этом роде.

— Я слышал, вы говорили о том, чтобы шпионить за другими, мой милый, — сказал Феджин. — Мой приятель нуждается в человеке, который бы с этим справился.

— Да, об этом я упомянул и не прочь иной раз этим заняться, — медленно проговорил Ноэ, — но, знаете ли, эта работа себя не оправдывает.

— Верно, — заметил еврей, размышляя или притворяясь размышляющим. — Нет, не подходит.

— Так что же вы скажете? — спросил Ноэ, с беспокойством поглядывая на него. — Хорошо бы красть под шумок, чтобы дело было надежное, а риска немногим больше, чем если сидишь у себя дома.

— Что вы думаете о старых леди? — спросил Феджин. — Очень хороший бывает заработок, когда вырываешь у них сумки и пакеты и убегаешь за угол.

— Да ведь они ужасно вопят, а иногда и царапаются, — возразил Ноэ, покачивая головой. — Не

думаю, чтобы это мне подошло. Не найдется ли какого-нибудь другого занятия?

— Пойдите, — сказал Феджин, положив руку ему на колено. — Облапошивание птенцов.

— А что это значит? — осведомился мистер Клейпол.

— Птенцы, милый мой, — сказал Феджин, — это маленькие дети, которых матери посылают за покупками, давая им шестипенсовики и шиллинги. А облапошить — значит отобрать у них деньги... они их держат всегда наготове в руке... потом столкнуть их в водосточную канаву у тротуара и спокойно удалиться, будто ничего особенного не случилось, кроме того, что какой-то ребенок упал и ушибся. Ха-ха-ха!

— Ха-ха! — захохотал мистер Клейпол, в восторге дрыгая ногами. — Ей-богу, это как раз по мне!

— Разумеется, — ответил Феджин. — И вы можете наметить себе места в Кемден-Тауне, Бэтл-Бридже и по соседству, куда их всегда посылают за покупками, и в каждый свой обход в любой час дня будете сбивать с ног столько птенцов, сколько вам вздумается. Ха-ха-ха!

С этими словами мистер Феджин ткнул мистера Клейпола в бок, и они дружно разразились громким и долго не смолкавшим смехом.

— Ну, все в порядке, — сказал Ноэ; когда в комнату вернулась Шарлотт, он уже мог говорить. — В котором часу завтра?

— В десять можете? — спросил Феджин и, когда мистер Клейпол кивнул в знак согласия, добавил: — Как вас отрекомендовать моему доброму другу?

— Мистер Болтер, — ответил Ноэ, заранее приготовившийся к такому вопросу. — Мистер Морис Болтер. А это миссис Болтер.

— Я к вашим услугам, миссис Болтер, — сказал Феджин, раскланиваясь с комической учтивостью. — Надеюсь, в самом непродолжительном времени ближе познакомиться с вами.

— Ты слышишь, что говорит джентльмен, Шарлотт? — заревел мистер Клейпол.

— Да, дорогой Ноэ, — ответила миссис Болтер, протягивая руку.

— Она называет меня Ноэ, это вроде ласкательного имени, — сказал Морис Болтер, бывший Клейпол, обращаясь к Феджину. — Понимаете?

— О да, понимаю, прекрасно понимаю, — ответил Феджин, на сей раз говоря правду. — Спокойной ночи!

После длительных прощаний и многозначительных благих пожеланий мистер Феджин отправился своей дорогой. Ноэ Клейпол, призвав к вниманию свою любезную супругу, начал рассказывать ей о заключенном им соглашении со всем высокомерием и сознанием собственного превосходства, какие приличествуют не только представителю более сильного пола, но и джентльмену, который оценил честь назначения на специальную должность облапошивателя птенцов в Лондоне и его окрестностях.

Глава XLIII, в которой рассказано, как Ловкий Плут попал в беду

— Так это вы и были вашим собственным другом? — спросил мистер Клейпол, иначе Болтер, когда, в силу заключенного им договора, переселился в дом Феджина. — Ей-богу, мне приходило это в голову еще вчера.

— Каждый человек себе друг, милый мой, — ответил Феджин с вкрадчивой улыбкой. — И такого хорошего друга ему нигде не найти.

— Бывают исключения, — возразил Морис Болтер с видом светского человека. — Иной, знаете ли, никому не враг, а только самому себе.

— Не верьте этому, — сказал Феджин. — Если человек сам себе враг, то лишь потому, что он уж слишком сам себе друг, а не потому, что заботится обо всех, кроме себя. Вздор, вздор! Такого на свете не бывает.

— А если бывает, так не должно быть, — отозвался мистер Болтер.

— Само собой разумеется. Одни заклинатели говорят, что магическое число — три, а другие — семь. Ни то, ни другое, мой друг, ни то, ни другое? Это число — один.

— Ха-ха! — захохотал мистер Болтер. — Всегда один.

— В такой маленькой, общине, как наша, мой милый, — сказал Феджин, считая необходимым пояснить свое суждение, — у нас общее число — один; иначе говоря, вы не можете почитать себя номером первым, не почитая таковым же и меня, а также всех наших молодых людей.

— Ах, черт! — воскликнул мистер Болтер.

— Видите ли, — продолжал Феджин, притворяясь, будто не слышал этого возгласа, — мы все так связаны общими интересами, что иначе и быть не может. Вот, например, ваша цель — заботиться о номере первом, то есть о самом себе.

— Конечно, — отозвался мистер Болтер. — В этом вы правы.

— Отлично. Вы не можете заботиться о себе, номере первом, не заботясь обо мне, номере первом.

— Номере втором, хотите вы сказать, — заметил мистер Болтер, который был щедро наделен таким качеством, как эгоизм.

— Нет, не хочу, — возразил Феджин. — Я имею для вас такое же значение, как и вы сами...

— Послушайте, — перебил мистер Болтер, — вы очень славный человек и очень мне нравитесь, но не так уж мы с вами крепко подружились, чтобы дело дошло до этого.

— Вы только подумайте, — сказал Феджин, пожимая плечами и протягивая руки, — только рассудите. Вы обделали очень хорошенькое дельце, и я вас за это люблю, но зато вам теперь грозит галстук на шею, который так легко затянуть и так трудно развязать, — петля, говоря простым английским языком.

Мистер Болтер поднес руку к своему шейному платку, как будто почувствовав, что он слишком

туго завязан, и пробормотал что-то, выражая согласие тоном, но не словами.

— Виселица, — продолжал Феджин, — виселица, мой милый, — это безобразный, придорожный столб, указывающий путь к очень короткому и очень крутому повороту, который положил конец карьере многих смельчаков на широкой, большой дороге. Не сходить с прямой тропы и держаться от него подальше — вот ваша цель, номер первый.

— Конечно, это верно, — ответил мистер Болтер. — Но зачем вы толкуете о таких вещах?

— Только для того, чтобы пояснить вам смысл моих слов, — сказал еврей, пожимая плечами. — Чтобы добиться этого, вы полагаетесь на меня. Чтобы мирно заниматься своим маленьким делом, я полагаюсь на вас. Одно — для вас номер первый, другое — для меня номер первый. Чем больше вы цените свой номер первый, тем больше вы заботитесь о моем; вот, наконец, мы и вернулись к тому, что я вам сказал вначале: внимание к номеру первому связывает нас всех вместе. Так и должно быть, иначе вся наша компания развалится.

— Это правда, — задумчиво промолвил мистер Болтер. — Ох, и ловкий же вы старый пройдоха!

Мистер Феджин с великой радостью убедился, что эта похвала его способностям не простой комплимент, но что он действительно внушил новичку представление о своем гениальном хитроумии, а укрепить в нем такое представление было делом чрезвычайно важным. Дабы усилить впечатление, столь желательное и полезное, он еще подробнее ознакомил Ноэ с размахом своих операций, переплетая в своих целях правду с вымыслом и преподнося то и другое с таким мастерством, что почтение к нему мистера Болтера явно возросло и окрасилось неким благодетельным страхом, к чему Феджин и стремился.

— Вот это взаимное доверие, какое мы питаем друг к другу, и утешает меня в случае тяжелых утрат, — сказал Феджин. — Вчера утром я лишился своего лучшего помощника.

— Неужели вы хотите сказать, что он умер! — воскликнул мистер Болтер.

— Нет, — ответил Феджин, — дело не так плохо. Не так уж плохо.

— Тогда, должно быть, его...

— Затребовали, — подсказал Феджин. — Да, его затребовали.

— По очень важному делу? — спросил мистер Болтер.

— Нет, — ответил мистер Феджин, — не очень. Его обвинили в попытке очистить карман и нашли у него серебряную табакерку — его собственную, мой милый, его собственную, потому что он сам очень любит нюхать табак. Его держали под арестом до сегодняшнего дня, так как полагали, что знают владельца. Ах, он стоил пятидесяти табакерок, и я бы заплатил их стоимость, только бы его вернуть. Следовало вам знать Плута, мой милый, следовало вам знать Плута.

— Ну что ж, надеюсь, я с ним познакомлюсь, как вы думаете? — сказал мистер Болтер.

— Сомневаюсь, — со вздохом ответил Феджин. — Если они не раздобудут каких-нибудь новых улик, то дадут ему короткий срок, и месяца через полтора он к нам вернется, а если раздобудут, то дело пахнет укупоркой. Им известно, какой он умный парень. Он будет пожизненным. Они сделают Плута ни больше, ни меньше, как пожизненным.

— Что значит укупорка и пожизненный? — спросил мистер Болтер. — Что толку объясняться со мной на таком языке? Почему вы не говорите так, чтобы я мог вас понять?

Феджин хотел было перевести эти таинственные выражения на простой язык, и, получив объяснение, мистер Болтер узнал бы, что сочетание этих слов означает по жизненную каторгу, но тут беседа была прервана появлением юного Бейтса, руки которого были засунуты в карманы, а лицо перекошилось, выражая полукомическую скорбь.

— Все кончено, Феджин! — сказал Чарли, когда он и его новый товарищ были представлены друг другу.

— Что это значит?

— Они отыскиали джентльмена, которому принадлежит табакерка. Еще два-три человека явятся опознать его, и Плуту придется пуститься в плавание, — ответил юный Бейтс. — Мне, Феджин, нужны траурный костюм и лента на шляпу, чтобы навестить его перед тем, как он отправится в путешествие. Подумать только, что Джек Даукинс — молодчага Джек — Плут — Ловкий Плут уезжает в чужие края из-за простой табакерки, которой цена два с половиной пенса. Я всегда думал, что если такое с ним случится, то по меньшей мере из-за золотых часов с цепочкой и печатками. Ох, почему он не отобрал у какого-нибудь старого богача все его драгоценности, чтобы уехать как джентльмен, а не как простой воришка, без всяких почестей и славы!

Выразив таким образом сочувствие своему злосчастному другу, юный Бейтс с видом грустным и угнетенным опустил на ближайший стул.

— Что это ты там болтаешь? — воскликнул Феджин, бросив сердитый взгляд на своего ученика. — Разве не был он на голову выше всех вас? Разве есть среди вас хоть один, кто бы мог до него дотянуться и в чем-нибудь сравняться с ним?

— Ни одного, — ответил юный Бейтс голосом, охрипшим от огорчения. — Ни одного.

— Так о чем же ты болтаешь? — сердито спросил Феджин. — О чем ты хнычешь?

— О том, что этого не будет в протоколе, — сказал Чарли, которого взбудоражили нахлынувшие сожаления, побудив бросить открытый вызов своему почтенному другу о том, что это не будет указано в обвинительном акте, о том, что никто никогда до конца не узнает, кем он был. Какое место он займет в Ньюгетском справочнике?^[42] Может быть, вовсе не попадет туда. О Господи, какой удар!

— Ха-ха! — вскричал Феджин, вытягивая правую руку к мистеру Болтеру и, словно паралитик, весь сотрясаясь от собственного хихиканья. — Посмотрите, как они гордятся своей профессией, мой милый. Не чудесно ли это?

Мистер Болтер кивнул утвердительно, а Феджин, в течение нескольких секунд созерцавший с нескрываемым удовлетворением скорбь Чарли Бейтса, подошел к сему молодому джентльмену и потрепал его по плечу.

— Полно, Чарли, — успокоительно сказал Феджин, — Это станет известно, непременно станет известно. Все узнают, каким он был смышленным парнем, он сам это покажет и не опозорит своих старых приятелей и учителей. Подумай о том, как он молод. Как почетно, Чарли, получить укупорку в такие годы!

— Пожалуй, это и в самом деле честь, — сказал Чарли, немножко утешившись.

— Он получит все, чего пожелает, — продолжал еврей. — Его будут содержать в каменном кувшине, как джентльмена, Чарли. Как джентльмена. Каждый день пиво и карманные деньги, чтобы играть в орлянку, если он не может их истратить.

— Да неужели? — воскликнул Чарли Бейтс.

— Все это он получит, — ответил Феджин. — И у нас будет большой парик — такой, что лучше всех умеет болтать языком, чтобы его защитить. Плут, если захочет, и сам может произнести речь, а мы ее всю прочитаем в газетах: «Ловкий Плут — взрывы смеха, с судьями конвульсии». Ну как, Чарли, э?

— Ха-ха! — захохотал Чарли. — Вот будет потеха! Верно, Феджин? Плут-то им досадит, верно?

— Верно! — воскликнул Феджин. — Уж он досадит.

— Да что и говорить, досадит, — повторил Чарли, потирая руки.

— Мне кажется, я его перед собой вижу, — сказал еврей, устремив взгляд на своего ученика.

— Я тоже! — крикнул Чарли Бейтс. — Ха-ха-ха! Я тоже. Я все это вижу, ей-богу, вижу, Феджин. Вот потеха! Вот уж взаправду потеха! Все большие парики стараются напустить на себя важность, а Джек Даукинс обращается к ним спокойно и задушевно, будто он родной сын судьи и произносит спич после обеда. Ха-ха-ха!

В самом деле, мистер Феджин столь искусно воздействовал на эксцентрический характер своего молодого друга, что Бейтс, который сначала был склонен почитать арестованного Плута жертвой, смотрел на него теперь как на первого актера на сцене, отличающегося беспримерным и восхитительным юмором, и с нетерпением ждал часа, когда старому его приятелю представится столь благоприятный случай обнаружить свои таланты.

— Мы должны половчее разузнать, как идут у него дела сейчас, — сказал Феджин. — Дай-ка я подумаю.

— Не пойти ли мне? — спросил Чарли.

— Ни за что на свете! — ответил Феджин. — Рехнулся ты, что ли, мой милый, окончательно рехнулся, если вздумал идти туда, где... Нет, Чарли, нет. Нельзя терять больше одного за раз.

— Я думаю, сами-то вы не собираетесь идти? — сказал Чарли, шутливо подмигивая.

— Это было бы не совсем удобно, — покачивая головой, ответил Феджин.

— А почему бы не послать этого нового парня? — спросил юный Бейтс, положив руку на плечо Ноэ. — Его никто не знает.

— Ну что же, если он ничего не имеет против... — начал Феджин.

— Против? — перебил Чарли. — А что он может иметь против?

— Ровно ничего, мой милый, — сказал Феджин, поворачиваясь к мистеру Болтеру, — ровно ничего.

— О, как бы не так! — возразил Ноэ, пятясь к двери и опасливо качая головой. — Нет, нет, бросьте! Это не входит в мои обязанности.

— А какие он взял на себя обязанности, Феджин? — спросил юный Бейтс, презрительно созерцая тощую фигуру Ноэ. — Удирать, когда что-нибудь неладно, и есть по горло, когда все в порядке? Это, что ли, его занятие?

— Не все ли равно? — возразил мистер Болтер. — А ты, малыш, не позволяй себе вольностей со старшими, не то тебе не поздоровится.

В ответ на эту великолепную угрозу юный Бейтс так неистово захохотал, что прошло некоторое время, прежде чем Феджин мог вмешаться и объяснить мистеру Болтеру, что в полицейском управлении ему ничто не грозит, ибо ни отчет о маленьком дельце, в котором он участвовал, ни описание его особы еще не препровождены в столицу и, по всей вероятности, его даже не подозревают в том, что он искал в ней приюта, а потому — если он надлежащим образом переоденется, то может посетить это место с такой же безопасностью, как и всякое другое в Лондоне, тем более что из всех мест оно самое последнее, где можно ждать добровольного его появления.

Убежденный отчасти такими доводами, но в значительно большей степени подавленный страхом перед Феджином, мистер Болтер с большой неохотой согласился, наконец, отправиться в эту экспедицию. По указанию Феджина он немедленно заменил свой костюм курткой возчика, короткими плисовыми штанами и кожаными гетрами, — все это было у Феджина под рукой. Его снабдили также войлочной шляпой, разукрашенной билетиками с заставы и извозчичьим кнутом. В таком снаряжении он должен был ввалиться в суд, как сделал бы какой-нибудь деревенский парень с Ковент-Гарденского рынка, вздумавший удовлетворить свое любопытство. А так как Ноэ был как раз таким неотесанным, неуклюжим и костлявым парнем, какой был нужен, мистер Феджин не сомневался в том, что он в совершенстве справится со своей ролью.

Когда эти приготовления были закончены, ему сообщили признаки и приметы, необходимые для опознания Ловкого Плути, и юный Бейтс проводил его темными и извилистыми путями до того места, откуда было недалеко до Боу-стрит. Описав точное местонахождение полицейского управления и присовокупив многочисленные указания, как пройти переулком, пересечь двор, подняться по лестнице к двери по правую руку и, войдя в комнату, снять шляпу, Чарли Бейтс предложил ему проститься и быстро идти дальше и обещал ждать его возвращения там, где они расстались.

Ноэ Клейпол, или, если читателю угодно, Морис Болтер, пунктуально следовал полученным указаниям, которые (юный Бейтс был недурно знаком с этой местностью) были так точны, что ему удалось достигнуть полицейского управления, не задавая никаких вопросов и не встретив на пути никаких помех. Он очутился в плотной толпе, состоявшей преимущественно из женщин, теснившихся в грязной, душной комнате, в дальнем конце которой находилось огороженное перилами возвышение со скамьей для подсудимых у стены слева, кафедрой для свидетелей посередине и столом для судей справа; это последнее, устрашающее место было отделено перегородкой, которая скрывала суд от взоров простых смертных и давала свободу черни представлять себе (если ей это удастся) правосудие во всем его величии.

На скамье подсудимых сидели только две женщины, которые все время кивали своим восхищенным друзьям, пока клерк читал какие-то показания двум полисменам и чиновнику в штатском, склонившемуся над столом. Тюремщик стоял, опершись на перила скамьи подсудимых и лениво постукивал себя по носу большим ключом, отрываясь от этого занятия лишь для того, чтобы окриком пресечь неуместные попытки зевак вести разговор или, сурово подняв взор, приказать какой-нибудь женщине: «Унесите этого ребенка», — если торжественное отправление правосудия прерывалось слабым писком какого-нибудь тощего

младенца, доносившимся из-под материнской шали. Воздух в комнате был тяжелый и спертый; от грязи изменилась окраска стола, а потолок почернел. На каменной стене возвышался старый, закопченный бюст, а над скамьей подсудимых — запылившиеся часы — единственный предмет, который, казалось, был в должном порядке, тогда как пороки, бедность или близкое знакомство с ними оставили на всех одушевленных существах налет, вряд ли менее неприятный, чем густой, жирный слой копоти, лежавший на всех неодушевленных предметах, хмуро взиравших на происходящее.

Ноэ нетерпеливо озирался в поисках Плута, но хотя многие из присутствующих женщин прекрасно могли бы сойти за мать или сестру этого выдающегося человека и несколько мужчин могли походить на его отца, не было видно решительно никого, к кому подошло бы полученное Ноэ описание наружности мистера Даукинса. Ноэ ждал с величайшим беспокойством и неуверенностью, пока женщины, чьи дела передавались в уголовный суд^[43], не удалились с развязным видом, а затем его быстро успокоило появление другого арестованного, который, как он сразу понял, мог быть только тем, ради кого он сюда пришел.

Это был действительно мистер Даукинс с закатанными, по обыкновению, длинными рукавами сюртука; засунув левую руку в карман, а в правой держа шляпу, он вошел, сопровождаемый тюремщиком, в комнату совершенно неопишуемой походкой, волоча ноги, вразвалку и, заняв место на скамье подсудимых, громким голосом пожелал узнать, чего ради поставили его в такое унижительное положение.

— Прикусите язык, слышите? — сказал тюремщик.

— Я — англичанин, разве не так? — возразил Плут. — Где же мои привилегии?

— Скоро получите свои привилегии, — отрезал тюремщик, — и перцу в придачу!

— А если не получу, то посмотрим, что скажет этим крючкотворам министр внутренних дел... — отвечивал мистер Даукинс. — Ну, какое у нас тут дело? Я буду благодарен судьям, если они разберут это маленькое дельце и не станут меня задерживать, читая газету, потому что у меня назначено свидание с одним джентльменом в Сити, а так как я всегда верен своему слову и очень пунктуален в делах, то он уйдет, если я не приду вовремя. И уж не думают ли они, что им не предъявят иска о возмещении убытков, если они меня задержат? О, как бы не так!

Тут Плут, делая вид, будто крайне заинтересован процессом, который может возникнуть на этой почве, пожелал узнать у тюремщика фамилии вон тех двух ловкачей в судейских креслах. Это столь позабавило зрителей, что они захохотали почти так же громко, как захохотал бы юный Бейтс, если бы услышал такое требование.

— Эй, потише! — крикнул тюремщик.

— В чем его обвиняют? — спросил один из судей.

— В карманной краже, ваша честь.

— Этот мальчик бывал здесь когда-нибудь раньше?

— Много раз следовало бы ему здесь быть, — ответил тюремщик. — Почти везде он побывал. Уж я-то его хорошо знаю, ваша честь.

— О, вы меня знаете, вот как? — откликнулся на это сообщение Плут. — Очень хорошо! Так

или иначе, а это попытка опорочить репутацию.

Тут снова раздался смех, и снова призыв к молчанию.

— Ну, а где же свидетели? — спросил клерк.

— Вот именно, — подхватил Плут. — Где они? Хотел бы я на них посмотреть.

Это желание было немедленно удовлетворено, ибо вперед выступил полисмен, который видел, как арестованный покусался на карман какого-то джентльмена в толпе и даже вытащил оттуда носовой платок, оказавшийся таким старым, что он преспокойно положил его назад, предварительно воспользовавшись им для своего собственного носа. На этом основании он арестовал Плута, как только удалось до него добраться, и при обыске у названного Плута была найдена серебряная табакерка с выгравированной на крышке фамилией владельца. Этого джентльмена разыскивали с помощью «Судебного справочника», и, находясь в настоящее время здесь, он показал под присягой, что табакерка принадлежит ему и что он хватился ее накануне, когда выбрался из той самой толпы. Он также заметил в толпе молодого джентльмена, весьма решительно прокладывавшего себе дорогу, и находящийся перед ним арестованный и есть этот молодой джентльмен.

— Мальчик, вы имеете о чем-нибудь спросить этого свидетеля? — сказал судья.

— Я не намерен унижаться, снисходя до беседы с ним, — ответил Плут.

— Вы ничего не имеете сказать?

— Слышите, их честь спрашивает, имеете ли вы что сказать? — повторил тюремщик, подталкивая локтем молчавшего Плута.

— Прошу прощения! — сказал Плут, с рассеянным видом поднимая глаза. — Это вы ко мне обращаетесь, милейший?

— Никогда я не видал такого прожженного молодого бродяги, ваша честь, — усмехаясь, заметил полисмен. — Хотите ли вы что-нибудь сказать, юнец?

— Нет, — ответил Плут, — не здесь, потому что эта лавочка не годится для правосудия, да к тому же сегодня утром мой адвокат завтракает с вице-президентом палаты общин. Но в другом месте я кое-что скажу, а также и он и мои многочисленные и почтенные знакомые, и тогда эти крючкотворы пожалеют, что родились на свет или что не приказали своим лакеям повесить их на гвоздь вместо шляпы, когда те отпустили их сегодня утром проделывать надо мной эти штуки. Я...

— Довольно! Приговорен к преданию суду. Уведите его, — перебил клерк.

— Идем! — сказал тюремщик.

— Иду, — ответил Плут, чистя ладонью свою шляпу, — Эй (обращаясь к судьям), нечего напускать на себя испуганный вид: я вам не окажу ни малейшего снисхождения, ни на полпенни! Вы за это заплатите, милейшие! Я бы ни за что не согласился быть на вашем месте. Я бы не вышел теперь на волю, даже если бы вы упали на колени и умоляли меня. Эй, ведите меня в тюрьму! Уведите меня!

Произнеся эти последние слова, Плут разрешил, чтобы его вытащили за шиворот, и, пока не

очутился во дворе, грозил возбудить дело в парламенте, а затем весело и самодовольно ухмыльнулся в лицо полисмену.

Убедившись, что Даукинса заперли в маленькой одиночной камере, Ноэ быстрыми шагами направился туда, где оставил юного Бейтса. Здесь он дождался этого молодого джентльмена, который благоразумно избегал показываться на глаза, пока из укромного уголка тщательно не обозрел местность и не удостоверился, что никакая назойливая личность не выслеживает его нового друга.

Вдвоем они поспешили домой сообщить мистеру Феджину радостную весть, что Плут воздаст должное полученному им воспитанию и завоевывает себе блестящую репутацию.

Глава XLIV. Для Нэнси настает время исполнить обещание, данное Роз Мэйли. Она терпит неудачу

Как ни была искушена Нэнси во всех тонкостях искусства хитрить и притворяться, однако она не могла до конца скрыть того смутения, в которое ее поверг соделанный ею поступок. Она помнила, что и лукавый еврей и жестокий Сайкс посвящали ее в свои планы, которые оставались тайной для всех других, в полной уверенности, что она достойна доверия и стоит вне подозрений. Как ни гнусны были эти планы, какими отъявленными негодьями ни были люди, их замыслившие, и как ни велико было ее озлобление против Феджина, который вел ее шаг за шагом вниз и вниз, в бездну преступлений и отчаяния, откуда нет возврата, однако бывали минуты, когда она смягчалась даже по отношению к нему, опасаясь, как бы ее разоблачение не привело его к тем железным тискам, от которых он так долго ускользал, и как бы он не погиб — хотя такую участь он и заслужил — от ее руки.

Но подобные колебания духа не могли целиком оторвать ее от прежних товарищей и сообщников, хотя она и способна была сосредоточиться на одной цели и не уклоняться в сторону, невзирая ни на какие соображения. Ее опасения за Сайкса могли послужить более серьезным мотивом для отступления, пока еще не поздно, но она условилась, что ее тайну будут свято хранить, она не дала ни одной нити, которая помогла бы его найти; ради него она даже отказалась спастись от всех преступлений и мерзости, окружавших ее, — могла ли она сделать больше? Она решила.

Хотя ее душевная борьба и заканчивалась таким решением, но она начиналась снова и снова и не проходила бесследно. За эти несколько дней Нэнси похудела и побледнела. Иногда она никакого внимания не обращала на то, что происходило вокруг, и не принимала участия к разговорах, тогда как прежде кричала бы громче всех. Иной раз она смеялась невесело и поднимала шум без причины и без толку. Иной раз — это нередко случалось минуту спустя — она сидела молчаливая и понурая, в раздумье опустив голову на руки, и те усилия, какие она делала, чтобы оживиться, красноречивее, чем эти признаки, говорили о том, что ей не по себе и мысли ее не имеют никакого отношения к тому, о чем толкуют ее товарищи.

Был воскресный вечер, и на ближней церкви колокол начал отбивать часы. Сайкс с евреем вели беседу, но теперь умолкли, прислушиваясь. Девушка, сидевшая, сгорбившись, на низкой скамье, подняла голову и тоже прислушалась. Одиннадцать.

— Час до полуночи, — сказал Сайкс, приподняв штору, чтобы посмотреть на улицу, и возвращаясь на свое место. — И к тому же темно и облачно. Славная ночь для работы.

— Ах! — вздохнул Феджин. — Как досадно, Билл, милый мой, что у нас никакой работы не

припасено.

— На этот раз вы правы, — хмуро сказал Сайкс. — Досадно, потому что сейчас мне это пришлось бы по вкусу.

Феджин вздохнул и уныло покачал головой.

— Мы должны наверстать потерянное время, как только дела у нас наладятся, вот что я думаю, — заметил Сайкс.

— Правильно рассуждаете, милый мой, — ответил Феджин, осмелившись потрепать его по плечу. — Мне приятно вас слушать.

— Вам приятно! — воскликнул Сайкс. — Ну что ж, пусть так.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Феджин, как будто это замечание его успокоило. — Сегодня вы опять такой, как прежде, Билл. Совсем такой же.

— А я себя не чувствую таким, когда вы кладете мне на плечо эти усохшие старые когти. Стало быть, уберите их, — сказал Сайкс, отталкивая руку еврея.

— Это вас волнует, Билл; походит на то, будто вас схватили? — сказал Феджин, решив не обижаться.

— Походит на то, будто меня сам черт схватил, — ответил Сайкс. — Не бывало еще человека с такой рожей, как у вас. Вот разве что у вашего отца была такая, а уж ему-то, наверно, подпаливают сейчас бороду, рыжую с проседью. Или, может быть, вы произошли прямо от черта, без всякого отца, — меня бы это ничуть не удивило.

На этот комплимент Феджин ничего не ответил, но, дернув Сайкса за рукав, указал пальцем на Нэнси, которая воспользовалась возникшим разговором, чтобы надеть шляпку, и теперь собралась выйти из комнаты.

— Эй! — крикнул Сайкс. — Нэнс! Куда это девка вздумала идти так поздно?

— Недалеко.

— Это еще что за ответ? — сказал Сайкс. — Куда ты идешь?

— Говорю — недалеко.

— А я спрашиваю: куда? — закричал Сайкс. — Ты меня слышишь?

— Не знаю куда, — ответила девушка.

— Ну, так я знаю, — сказал Сайкс, не столько потому, что у него были веские причины не пускать ее, если бы она вздумала куда-нибудь пойти, сколько из упрямства, — Никуда!.. Сядь!

— Мне нездоровится. Я тебе уже говорила, — возразила девушка. — Я хочу подышать свежим воздухом.

— Высунь голову в окно, — ответил Сайкс.

— Мне этого мало, — сказала девушка. — Мне нужно подышать воздухом на улице.

— Обойдешься! — ответил Сайкс.

С этими словами он встал, запер дверь, вынул ключ и, сорвав у нее с головы шляпку, забросил ее на старый шкаф.

— Вот так, — сказал грабитель. — Теперь сиди смирно там, где сидела, слышишь?

— Шляпа-то меня не удержит, — сильно побледнев, сказала девушка. — Что с тобой, Билл? Да знаешь ли ты, что ты делаешь?

— Знаю ли я... О! — воскликнул Сайкс, поворачиваясь к Феджину. — Смотрите, она свихнулась, иначе она бы не посмела так со мной говорить.

— Ты меня доведешь до какого-нибудь отчаянного поступка, — пробормотала девушка, прижимая обе руки к груди, словно стараясь удержаться от бурного взрыва. — Отпусти, слышишь... сию же минуту... сию же секунду!

— Нет, — сказал Сайкс.

— Феджин, скажите ему, чтобы он меня отпустил. Пусть лучше отпустит. Для него же будет лучше. Слышишь ты меня? — топнув ногой, крикнула Нэнси.

— Слышу ли? — повторил Сайкс, поворачиваясь на стуле лицом к ней. — Если я еще минуту буду тебя слышать, собака вцепится тебе в горло так, что выдерет из глотки этот крикливый голос. Что это на тебя нашло, дрянь ты этакая?! Что на тебя нашло?

— Пусти меня, — очень настойчиво сказала девушка и, усевшись на пол перед дверью, добавила: — Билл, пусти меня! Ты не знаешь, что ты делаешь. Не знаешь... Только на один час... Пусти!.. Пусти...

— Пусть меня режут на куски, — воскликнул Сайкс, грубо схватив ее за плечо, — если у этой девки не буйное помешательство! Встань!

— Не встану, пока ты меня не пустишь... пока не пустишь... ни за что... ни за что!.. — завизжала девушка.

С минуту Сайкс смотрел на нее, подстерегая удобный момент, потом, внезапно скрутив ей руки, потащил ее, невзирая на сопротивление, в маленькую смежную комнату, где швырнул на стул, а сам уселся рядом на скамью, продолжая держать ее. Она то вырывалась, то умоляла, пока не пробило двенадцать, тогда, устав и выбившись из сил, она перестала настаивать на своем. Бросив ей предостережение, скрепленное многочисленными ругательствами, не пытаться больше выйти сегодня из дому, Сайкс предоставил ей успокаиваться на досуге и вернулся к Феджину.

— Вот так штука! — сказал взломщик, вытирая пот с лица. — Чертовски странная девка.

— Что и говорить, Билл... — задумчиво отозвался Феджин, — что и говорить.

— Как вы думаете, что это ей взбрело в голову уходить из дому ночью? — спросил Сайкс. — Послушайте, вы знаете ее лучше, чем я. Что это значит?

— Упрямство. Мне кажется, это женское упрямство, мой милый.

— Мне тоже так кажется, — проворчал Сайкс. — Я думал, что высколил ее, но она такая же

дрянь, какой была.

— Хуже, — задумчиво произнес Феджин. — Я никогда еще не видел, чтобы это с ней случилось из-за таких пустяков.

— Я тоже, — сказал Сайкс. — Я думаю, у нее еще бродит в крови эта лихорадка, а?

— Похоже на то.

— Если она еще раз примется за такие штуки, я ей сделаю маленькое кровопускание, не утруждая доктора, — сказал Сайкс.

Феджин выразительно кивнул, одобряя такой способ лечения.

— Она по целым дням, да и по ночам не отходила от меня, когда я лежал пластом, а вы, злое, волчье отродье, держались в стороне, — сказал Сайкс. — К тому же мы все время очень нуждались, и, я думаю, ее это мучило и раздражало, а от долгого сиденья здесь взаперти она, наверно, и сделалась такой беспокойной.

— Так оно и есть, мой милый, — шепотом ответил еврей. — Тише.

Как только он произнес эти слова, девушка вошла в комнату и села на прежнее место. Глаза у нее опухли и покраснели; она раскачивалась взад и вперед, встряхивала головой и вдруг расхохоталась.

— Ну вот, теперь она покатилась по другой дорожке! — воскликнул Сайкс, с величайшим изумлением посмотрев на своего собеседника.

Феджин кивнул ему, чтобы он не обращал на нее внимания, и через несколько минут девушка пришла в себя. Шепнув Сайксу, что больше нечего опасаться нового припадка, Феджин взял шляпу и пожелал ему спокойной ночи. У двери он приостановился и, оглянувшись, спросил, не посветит ли ему кто-нибудь на темной лестнице.

— Посвети ему, — сказал Сайкс, набивавший трубку. — Жаль будет, если он свернет себе шею и разочарует любителей зрелищ. Проводи его со свечой.

Взяв свечу, Нэнси спустилась вслед за стариком по лестнице. Когда они вышли в коридор, он приложил палец к губам и, придвинувшись к девушке, спросил шепотом:

— Что случилось, Нэнси, милая?

— О чем вы говорите? — также тихо спросила девушка.

— О причине всего этого, — ответил Феджин. — Если *он*, — костлявым пальцем он указал вверх, — так жесток с тобой (ведь он скотина, Нэнс, грубая скотина), то почему же ты не...

— Ну? — сказала девушка, когда Феджин замолчал, почти касаясь губами ее уха и не сводя с нее глаз.

— Сейчас не будем говорить. Мы об этом еще потолкуем. Во мне ты имеешь друга, Нэнс, верного друга. У меня есть средства под рукой, надежные и безопасные. Если ты хочешь отомстить тем, кто обращается с тобой как с собакой — нет, хуже, чем с собакой, потому что ей он иной раз потакает, — приходи ко мне. Слышишь, приходи ко мне! Этот негодяй у тебя на один день, а меня ты давно знаешь, Нэнс.

— Я вас хорошо знаю, — отозвалась девушка без всякого волнения. — Спокойной ночи.

Она отшатнулась, когда Феджин хотел пожать ей руку, но снова твердым голосом пожелала ему спокойной ночи и, ответив на его прощальный взгляд многозначительным кивком, заперла за ним дверь.

Феджин направился к себе домой, погруженный в глубокие размышления. У него медленно и постепенно зарождалось подозрение — не только из-за сегодняшней сцены, хотя она и служила тому подтверждением, — подозрение, что Нэнси, измученная грубостью взломщика, решила завести себе нового друга. Перемена в ее обращении, частые отлучки из дому, некоторое равнодушие к интересам шайки, которой она когда-то была так предана, и в довершение — ее неудержимое желание уйти в тот вечер в определенный час — все это делало правдоподобным его догадку и превращало ее, по крайней мере для него, чуть ли не в уверенность. Предмет этой новой любви не был одним из его подручных. Он мог оказаться ценным приобретением с такой помощницей, как Нэнси, и его следовало (так рассуждал Феджин) привлечь без промедления.

Нельзя было терять из виду и другой цели, еще более преступной. Сайксу слишком многое было известно, а его грубое издевательство раздражало Феджина ничуть не меньше оттого, что он это скрывал. Девушка должна прекрасно знать, что, если она его бросит, ей никогда не защитить себя от его ярости, и эта ярость несомненно обрушится на предмет ее нового увлечения, а это приведет к увечью, может быть и к смерти. «Стоит подговорить ее, — размышлял Феджин, — и весьма вероятно, что она согласится его отравить. Для этого женщины проделывали вещи и похуже. Исчезнет опасный негодяй, человек, которого я ненавижу, его место займет другой, а мое влияние на девушку, подкрепленное тем, что ее преступление мне известно, окажется безграничным».

Эти соображения промелькнули в голове Феджина за короткое время, пока он сидел в комнате грабителя, и, всецело занятый ими, он затем воспользовался представившимся случаем испытать девушку с помощью туманных намеков, брошенных при прощании. Она не удивилась, но притворилась, будто ей непонятен смысл его слов. Девушка все поняла. Об этом говорил при прощании ее взгляд. Но, может быть, она отшатнется от предложения лишить Сайкса жизни, а это была одна из главных целей, о которой надо было помнить. «Как усилить мое влияние на нее? — думал Феджин, плетясь домой. — Как мне добиться большей власти?»

Такие люди умеют изыскивать средства. Скажем, не вырывая у нее признания, он, Феджин, примется выслеживать, откроет предмет ее новой привязанности и, если она отвергнет его замысел, пригрозит рассказать обо всем Сайксу (которого она не на шутку боялась), — разве не обеспечит он себе ее согласия?

— Я этого добьюсь, — прошептал Феджин. — Тогда она не посмеет мне отказать. Ни за что, ни за что не посмеет. Я все обдумал. Средства под рукой и будут пущены в ход. Я еще до тебя доберусь!

Он бросил мрачный взгляд назад, сделал угрожающий жест, глядя в ту сторону, где оставил негодяя, более храброго, чем он сам, и пошел своей дорогой, теребя и туго закручивая костлявыми пальцами складки рваного плаща, словно руки его сокрушали ненавистного врага.

Глава XLV. Феджин дает Ноэ Клейполу секретное

пору́чение

На следующее утро старик встал рано и с нетерпением ждал прихода своего нового сообщника, который с большим опозданием явился, наконец, и с жадностью набросился на завтрак.

— Болтер, — сказал Феджин, придвигая стул и усаживаясь против Мориса Болтера.

— Ну вот, я здесь, — отозвался Ноэ. — Что случилось? Не просите меня ни о чем, пока я не покончу с едой. Вот что у вас здесь плохо: никогда не хватает времени спокойно поесть.

— Разве вы не можете разговаривать и есть одновременно? — спросил Феджин, от всей души проклиная прожорливость своего любезного молодого друга.

— Ну что же, разговаривать я могу. У меня дело идет лучше, когда я разговариваю, — сказал Ноэ, отрезая чудовищный ломоть хлеба. — Где Шарлотт?

— Ушла, — ответил Феджин. — Я ее отослал утром с другой молодой женщиной, потому что хотел остаться с вами наедине.

— О! — сказал Ноэ. — Жаль, что вы не приказали ей сначала приготовить гренки с маслом. Ну ладно. Говорите. Вы мне не мешаете.

В самом деле, не было, казалось, большой опасности помешать ему чем бы то ни было, так как он уселся за стол с твердым намерением потрудиться на славу.

— Вчера вы хорошо поработали, мой милый, — сказал Феджин. — Превосходно. В первый же день шесть шиллингов девять с половиной пенсов. Вы сколотите себе состояние на облапошивании птенцов.

— Не забудьте прибавить к этому три пинтовые кружки и кувшин для молока, — сказал мистер Болтер.

— Да, да, мой милый. Что касается до кружек — это было здорово сделано, а кувшин — завидная работа.

— Мне кажется, очень неплохо для начинающего, — самодовольно заметил мистер Болтер. — Кружки я снял с изгороди, а кувшин стоял сам по себе у входа в трактир. Я подумал, как бы он не заржавел от дождя или, знаете ли, не схватил простуду. А? Ха-ха-ха!

Феджин сделал вид, будто смеется от души, а мистер Болтер, нахохотавшись вдоволь, проглотил один за другим несколько больших кусков и, покончив с первым ломтем хлеба с маслом, принялся за второй.

— Мне нужно, Болтер, — сказал Феджин, нагнувшись над столом, — чтобы вы, мой милый, исполнили для меня одну работу, требующую величайшего старания и осмотрительности.

— Послушайте, — сказал Болтер, — не вздумайте толкать меня на опасное дело или опять посылать в ваше полицейское управление. Это мне вовсе не подходит, и я вам так прямо и говорю.

— Никакой опасности в этом нет, ни малейшей, — сказал еврей, — нужно только проследить за одной женщиной.

— За старухой? — спросил мистер Болтер.

— За молодой, — ответил еврей.

— С этим делом я прекрасно могу справиться, — сказал Болтер. — В школе я был ловким доносчиком. А зачем мне ее выслеживать? Уж не для того ли, чтобы...

— Делать ничего не нужно, только сообщите мне, куда она ходит, с кем встречается и, если возможно, что говорит; запомнить улицу — если это улица, или дом — если это дом, и принести мне все сведения, какие раздобудете.

— Сколько вы мне заплатите? — спросил Ноэ, поставив чашку и жадно всматриваясь в лицо своего хозяина.

— Фунт, если вы хорошо это обделаете, мой милый. Целый фунт, — сказал Феджин, желая заинтересовать его выслеживанием. — Столько я никогда еще не давал за работу, которая не приносит никаких выгод.

— А кто она? — осведомился Ноэ.

— Одна из наших.

— Ах, бог ты мой! — воскликнул Ноэ, сморщив нос. — Вы, значит, ее подозреваете?

— Она нашла себе каких-то новых друзей, мой милый, а я должен знать, кто они, — ответил Феджин.

— Понимаю, — сказал Ноэ. — Только для того, чтобы иметь удовольствие познакомиться с ними, если они люди почтенные, да? Ха-ха-ха!.. Я готов вам служить.

— Я знал, что вы согласитесь! — воскликнул Феджин в восторге от успеха своей затеи.

— Конечно, конечно! — отозвался Ноэ. — Где она? Где мне ее подстерегать? Куда я должен идти?

— Все это вы узнаете от меня, мой милый. Я вам ее покажу, когда придет время, — сказал Феджин. — Будьте наготове, а остальное предоставьте мне.

Этот вечер и два следующих шпион просидел в сапогах и в полном снаряжении возчика, готовый выйти по приказу Феджина. Прошло шесть вечеров — шесть долгих, томительных вечеров, — и каждый раз Феджин приходил домой с разочарованной миной и коротко сообщал, что время еще не настало. На седьмой день он явился раньше обычного, с трудом скрывая свой восторг. Было воскресенье.

— Сегодня ода уйдет из дому, — сказал Феджин. — И я уверен, по тому самому делу... Целый день она провела одна, а человек, которого она боится, вернется не раньше чем на рассвете. Идем. Поторапливайтесь!

Ноэ вскочил, не говоря ни слова, ибо еврей был в таком сильном волнении, что оно передалось и ему. Крадучись они вышли из дому и, быстро пройдя лабиринтом улиц, остановились, наконец, перед трактиром, в котором Ноэ признал тот самый, где провел ночь по прибытии своем в Лондон.

Был двенадцатый час, и дверь была заперта. Она бесшумно распахнулась, когда Феджин

негромко свистнул. Они потихоньку вошли, и дверь за ними закрылась.

Едва осмеливаясь говорить шепотом и заменяя речь пантомимой, Феджин и молодой еврей, впустивший их, указали Ноэ на оконце и знаком предложили ему посмотреть на особу в соседней комнате.

— Это та самая женщина? — спросил он чуть слышно.

Феджин утвердительно кивнул головой.

— Я не могу разглядеть ее лицо, — прошептал Ноэ. — Она опустила голову, а свеча стоит у нее за спиной.

— Подождите, — шепнул Феджин.

Он сделал знак Барни, после чего тот удалился. Секунду спустя парень вошел в соседнюю комнату и, якобы желая снять нагар со свечи, передвинул ее, как было нужно, и, заговорив с девушкой, заставил ее поднять голову.

— Теперь я ее вижу, — прошептал шпион.

— Ясно?

— Я узнал бы ее из тысячи!

Он быстро спустился вниз, так как дверь комнаты распахнулась и появилась девушка. Феджин оттащил его в угол комнаты, отделенный занавеской, и они затаили дыхание, когда она прошла в нескольких футах от их убежища и исчезла за дверью, в которую они вошли.

— Тес! — сказал парень, открывший дверь. — Пора!

Ноэ переглянулся с Феджином и выбежал из трактира.

— Налево! — шепнул парень. — Ступайте налево и держитесь противоположной стороны улицы.

Ноэ так и сделал и при свете фонарей увидел удаляющуюся фигуру девушки, уже значительно его опередившей. Придерживаясь все время другой стороны улицы, он приблизился к ней настолько, насколько считал благоразумным, чтобы удобнее было за нею следить. Раза два или три она тревожно оглянулась, а один раз приостановилась, желая пропустить двух мужчин, шедших за нею. Казалось, она набиралась храбрости по мере того, как шла дальше, и теперь шагала более твердо и уверенно. Шпион соблюдал между нею и собой все то же расстояние и шел, не спуская с нее глаз.

Глава XLVI. Свидание состоялось

Церковные часы пробили три четверти двенадцатого, когда на Лондонском мосту появились две фигуры.

Одна, шедшая впереди торопливым и быстрым шагом, была женщина, которая нетерпеливо озиралась, словно поджидала и отыскивала кого-то; другая фигура — мужчина, пробиравшийся в самой густой тени, какую только мог найти, и издали принаравливавший свой шаг к ее шагам: приостанавливаясь, когда останавливалась она, и двигаясь вперед, как только она шла

дальше, но и в пылу преследования не позволяя себе нагнать ее. Так перешли они по мосту из Мидлсекса на Саррийскую сторону, как вдруг женщина, с тревогой заглядывавшая в лица прохожих, по-видимому, обманулась в своих надеждах и повернула назад. Она повернула внезапно, но тот, кто за ней следил, не был застигнут врасплох: забившись в одну из ниш над быками моста и перегнувшись через перила, чтобы получше спрятаться, он выждал, пока она не прошла по противоположному тротуару. Когда она оказалась впереди его примерно на таком же расстоянии, как и раньше, он потихоньку вышел и снова последовал за ней. Почти на середине моста она остановилась. Остановился и мужчина.

Ночь была очень темная, погода стояла плохая, и в этот час и в таком месте людей было мало. Немногие прохожие быстро шли мимо, по всей вероятности, не замечая ни женщины, ни мужчины, который не терял ее из виду, и, уж конечно, не обращая на них внимания. Не такой был у них вид, чтобы привлекать докучливые взоры тех лондонских нищих, которые случайно проходили в тот вечер по мосту в поисках какой-нибудь холодной ниши или лачуги без дверей, где можно приклонить голову. Оба стояли молча — ни с кем не заговаривали, и никто из прохожих не заговаривал с ними.

Над рекой навис туман, сгущая красные отблески огней, которые горели на маленьких судах, пришвартованных к различным пристаням, и в тумане мрачные строения на берегу казались еще более хмурыми и расплывчатыми. Старые, закопченные склады, по обоим берегам реки поднимались, тяжелые и сумрачные над тесным скопищем крыш и карнизов и мрачно взирали на воду, слишком черную, чтобы отражать даже их громоздкую массу. Во мраке виднелись башня старой церкви Спасителя и шпиль церкви Сент Магнуса — древние стражи-гиганты старинного моста, но лес мачт внизу и густо рассыпанные шпили церквей вверх были почти скрыты от глаз.

Девушка беспокойно прошла несколько раз взад и вперед — за ней все время пристально следил прятавшийся от нее наблюдатель, — наконец, тяжелый колокол собора св. Павла возвестил о смерти еще одного дня. Полночь спустилась на многолюдный город. На дворец, на ночной винный погребок, на тюрьму, на сумасшедший дом, на приют рождения и смерти, здоровья и болезни, на застывшее лицо мертвеца и мирный сон ребенка — на все спустилась полночь.

Не прошло и двух минут после боя часов, как из наемной кареты, остановившейся неподалеку от моста, вышли молодая леди и седой джентльмен и, отпустив экипаж, направились прямо к мосту. Они едва успели вступить на него, как девушка встрепенулась и сейчас же поспешила к ним навстречу.

Они шли вперед, посматривая по сторонам с таким видом, как будто ждали чего-то, что вряд ли могло осуществиться, когда перед ними внезапно появилась девушка. Они остановились, вскрикнув от изумления, но тотчас умолкли, потому что в этот самый момент мимо них прошел очень близко — даже задел их — какой-то человек, одетый по-деревенски.

— Не здесь! — торопливо сказала Нэнси. — Здесь я боюсь разговаривать с вами. Пойдемте... подальше от дороги... вот сюда, вниз по ступеням.

Когда она произнесла эти слова и указала рукой в ту сторону, куда хотела их повести, деревенский парень оглянулся и, грубо спросив, чего ради они заняли весь тротуар, пошел дальше.

Ступени, указанные девушкой, были те самые, которые на Саррийской стороне, на том же берегу, где церковь Спасителя, служат речной пристанью. Сюда-то и поспешил никем не

замеченный человек, похожий на деревенского жителя, и, быстро окинув взглядом это место, стал спускаться.

Эта лестница является частью моста; она состоит из трех пролетов. В конце второго уходящая вниз каменная стена заканчивается с левой стороны орнаментальным пилястром, обращенным к Темзе. Здесь нижние ступени шире, так что человек, завернувший за угол этой стены, не может быть замечен находящимися на лестнице, если они стоят хотя бы на одну ступеньку выше, чем он. Дойдя до этого места, деревенский парень быстро осмотрелся вокруг, и, так как нигде не видно было более укромного уголка, а благодаря отливу места было вполне достаточно, он крадучись свернул в сторону и, прижавшись спиной к пилястру, ждал, совершенно уверенный, что они не спустятся ниже и, если даже ему не удастся подслушать разговор, он может с полной безопасностью снова пойти за ними следом.

Так медленно тянулось время в этом уединенном уголке и так не терпелось шпиону разузнать причины свидания, столь не похожего на то, какого он мог ждать, что он не раз готов был счесть дело проигранным и говорил себе, что либо они остановились значительно выше, либо удалились для своей таинственной беседы совсем в другое место. Он уже собрался выйти из своего тайника и снова подняться наверх, как вдруг услышал шаги и сейчас же вслед за этим голоса чуть ли не над самым своим ухом.

Он выпрямился, прижимаясь к стене, и, затаив дыхание, стал внимательно слушать.

— Довольно! — сказал голос, несомненно принадлежавший джентльмену. — Я не допущу, чтобы эта молодая леди шла дальше. Немногие доверились бы вам настолько, чтобы прийти с вами сюда, но, как видите, я готов вам потакать.

— Потакать мне! — раздался голос девушки, которую он выслеживал. — Право же, вы очень деликатны, сэр. Потакать мне! Ну, неважно.

— Но с какой же целью, — сказал джентльмен более мягким тоном, — с какой целью вы привели нас в это странное место? Почему не позволили мне поговорить с вами там, наверху, где светло и встречаются прохожие, вместо того чтобы тащить нас в эту темную и мрачную дыру?

— Я уже вам сказала, — ответила Нэнси, — что боюсь разговаривать там с вами. Не знаю почему, — содрогаясь, добавила девушка, — но сегодня меня охватывает такой ужас, что я едва держусь на ногах.

— Ужас перед чем? — спросил джентльмен, казалось почувствовав к ней жалость.

— Я и сама не знаю, — ответила девушка. — А мне так хотелось бы знать. Весь день меня преследовали ужасные мысли о смерти, о каких-то саванах, запятнанных кровью, и такой страх, что я горела, как в огне. Вечером, чтобы скоротать время, я взялась за книгу, и те же видения появлялись между строк.

— Воображение, — успокаивая ее, сказал джентльмен.

— Нет, это не воображение, — хриплым голосом сказала девушка. — Я могу поклясться, что видела слово «гроб», написанное большими черными буквами на каждой странице книги, — да, а сегодня вечером по улице пронесли гроб как раз мимо меня.

— В этом нет ничего необычного, — сказал джентльмен. — Мимо меня их тоже часто проносили.

— *Настоящие гробы*, — возразила девушка. — А этот был не такой.

Что-то столь странное послышалось в ее тоне, что у притаившегося наблюдателя мурашки пробежали по коже и кровь застыла, когда он услышал произнесенные девушкой слова. Никогда еще не испытывал он большего облегчения, чем в тот момент, когда послышался нежный голос молодой леди, просившей ее успокоиться и бороться с такими страшными видениями, созданными воображением.

— Поговорите с ней ласково, — сказала молодая леди своему спутнику. — Бедняжка! Мне кажется, она в этом нуждается.

— Эти надменные благочестивые люди, ваши знакомые, задрали бы нос, увидев меня такой, какая я сейчас, и стали бы проповедовать о пекле и возмездии! — воскликнула девушка. — Ах, дорогая леди, почему те, что считают себя исповедующими заповеди Божьи, не относятся к нам, жалким тварям, с такой же кротостью и добротой, с какой относитесь вы? Ведь вам, молодой, прекрасной, имеющей все то, что они утратили, можно было бы немножко возгордиться, а вы гораздо скромнее их.

— О! — отозвался джентльмен. — Турок, умыв лицо, обращает его к востоку, чтобы прочитать свои молитвы, а эти благочестивые люди, с чьих лиц от соприкосновения с миром навсегда сбежала улыбка, неизменно поворачиваются к самой мрачной стороне света. Если выбирать между мусульманином и фарисеем, я предпочту первого.

По-видимому, эти слова были обращены к молодой леди и, быть может, произнесены с целью дать Нэнси время успокоиться. Вскоре джентльмен снова заговорил с ней.

— Вас не было здесь в прошлое воскресенье вечером, — сказал он.

— Я не могла прийти, — ответила Нэнси, — меня удержали силой.

— Кто?

— Тот, о ком я уже говорила молодой леди.

— Надеюсь, вас не заподозрили в том, что вы вступили с кем-нибудь в переговоры по тому делу, которое привело нас сюда сегодня? — спросил старый джентльмен.

— Нет, — покачав головой, ответила девушка. — Не очень-то легко уйти от него, если он не знает, зачем я иду. И в тот раз мне бы не удалось повидать леди, если бы перед уходом я не дала ему выпить настойку из опия.

— Он проснулся прежде, чем вы вернулись? — спросил джентльмен.

— Нет. Ни он и никто из них меня не подозревает.

— Хорошо, — сказал джентльмен. — Теперь выслушайте меня.

— Я слушаю, — отозвалась девушка, когда он на секунду умолк.

— Эта молодая леди, — начал джентльмен, — сообщила мне и кое-кому из друзей, которым можно спокойно довериться, то, что вы ей рассказали почти две недели назад. Признаюсь вам, сначала у меня были сомнения, можно ли всецело на вас положиться, но теперь я твердо верю, что можно.

— Можно! — с жаром подтвердила девушка.

— Повторяю, я этому твердо верю. В доказательство того, что я склонен вам доверять, скажу вам без всяких недомолвок, что мы предполагаем испытать тайну, какова бы она ни была, припугнув этого Монкса. Но если... если, — продолжал джентльмен, — его не удастся задержать или если мы его задержим, но не удастся воздействовать на него так, как мы хотим, вы должны выдать еврея.

— Феджина! — вскрикнула девушка, отшатнувшись.

— Этого человека вы должны выдать, — сказал джентльмен.

— Я этого не сделаю! Я этого никогда не сделаю! — воскликнула девушка. — Хоть он и черт, а для меня был хуже черта, этого я никогда не сделаю.

— Не сделаете? — переспросил джентльмен, который, казалось, был вполне подготовлен к такому ответу.

— Никогда, — повторила девушка.

— Объясните мне — почему.

— По одной причине, — твердо ответила девушка, — по одной причине, которая известна этой леди, и леди будет на моей стороне, я это знаю, потому что я заручилась ее обещанием. Есть и другая причина: какой бы дурной ни была его жизнь, моя жизнь тоже была дурной; многие из нас шли вместе одной дорогой, и я не предаю тех, которые могли бы — любой из них — предать меня, но не предали, какими бы ни были они дурными людьми.

— В таком случае, — быстро сказал джентльмен, словно это и была та цель, какой он стремился достигнуть, — отдайте в мои руки Монкса и предоставьте мне иметь дело с ним.

— А что, если он выдаст остальных?

— Обещаю вам, что, если у него будет вырвано правдивое признание, тем дело и кончится. В короткой жизни Оливера несомненно есть какие-то обстоятельства, которые тягостно предавать огласке, и если мы добьемся правды, эти люди не понесут никакого наказания.

— А если не добьетесь? — спросила девушка.

— Тогда, — продолжал джентльмен, — этот Феджин не будет предан суду без вашего согласия. Думаю, в таком случае мне удастся привести вам доводы, которые заставят вас уступить.

— Леди тоже обещает мне это? — спросила девушка.

— Да, — ответила Роз. — Даю вам торжественное обещание!

— Монкс никогда не узнает, откуда вам все известно? — спросила девушка после короткого молчания.

— Никогда, — ответил джентльмен. — Эти сведения будут преподнесены ему так, что у него не мелькнет ни единой догадки.

— Я была лгуньей и с детства жила среди лгунов, — сказала девушка после новой паузы, — но вам я поверю на слово.

Получив от обоих подтверждение, что она может твердо им верить, девушка тихим голосом, — подслушивавшему не раз было трудно уловить даже смысл ее слов, — начала рассказ, упомянув название и местоположение трактира, где в тот вечер начали ее выслеживать. Судя по тому, что иногда она умолкала, могло показаться, будто джентльмен торопливо записывает сообщаемые ею сведения. Старательно указав все приметы этого трактира, наиболее удобное место, откуда можно было бы за ним следить, не привлекая к себе внимания, и те дни и часы, когда Монкс имел обыкновение его посещать, она как будто на несколько секунд призадумалась, стараясь ярче восстановить в памяти его лицо и манеры.

— Он высокого роста, — сказала девушка, — и крепкого сложения, но не толстый; он как будто не ходит, а крадется и при ходьбе поминутно оглядывается через плечо сначала в одну сторону, потом в другую. Не забудьте об этом, потому что глаза у него так глубоко посажены, как я ни у кого еще не видела, и, должно быть, по одному этому вы могли бы его узнать. Лицо смуглое, волосы и глаза темные; и хотя ему не больше двадцати шести — двадцати восьми лет, вид у него изнуренный и угрюмый. Губы у него бледные и искушенные, потому что с ним случаются ужасные припадки, а иногда он даже до крови кусает себе руки. Почему вы вздрогнули? — спросила девушка, внезапно запнувшись.

Джентльмен поспешно ответил, что ей показалось, и попросил ее продолжать.

— Часть этих сведений, — сказала девушка, — я выпытала у жильцов этого дома, о котором вам говорила, потому что сама видела его только два раза, и оба раза он был закутан в широкий плащ. Вот, кажется, и все приметы, какие я могу вам сообщить, чтобы вы его узнали. А впрочем, подождите! — добавила она. — У него на шее, под галстуком, вы можете увидеть, когда он поворачивает голову...

— Большое красное пятно, словно от ожога? — вскричал джентльмен.

— Как?.. — сказала девушка. — Вы его знаете!

Молодая леди вскрикнула от удивления, и несколько секунд они стояли так тихо, что шпион ясно слышал их дыхание.

— Кажется, да, — сказал джентльмен, нарушая молчание. — Я бы узнал его по вашему описанию. Посмотрим. Много есть людей, поразительно похожих друг на друга. Быть может, это и не он.

Сказав это с притворным равнодушием, он приблизился шага на два к притаившемуся шпиону, о чем последний мог догадаться по тому, как отчетливо было слышно его бормотанье: «Это несомненно он!»

— Вы, любезная, — сказал он, вернувшись, если судить по голосу, туда, где стоял раньше, — оказали нам весьма важную услугу, и я хочу вас отблагодарить. Чем могу я быть вам полезен?

— Ничем, — ответила Нэнси.

— Не упорствуйте, — настаивал джентльмен, в голосе и тоне которого было столько доброты, что она могла бы тронуть сердце гораздо более жестокое и черствое. — Подумайте. Скажите.

— Ничем, сэр, — заплакав, повторила девушка. — Вы ничем не можете мне помочь. Нет у меня больше никакой надежды.

— Вы сами себя ее лишаете, — сказал джентльмен. — До сих пор вы лишь понапрасну

расточали свои юные силы, те бесценные сокровища, которыми творец одаряет нас лишь однажды и никогда не наделяет вновь. Но что касается будущего, то вы можете надеяться. Я не говорю, что в нашей власти дать покой вашему сердцу и душе, ибо покой приходит, если вы его ищете; но обеспечить вам тихое пристанище в Англии или, если вы боитесь здесь остаться, где-нибудь в чужих краях, — это не только в нашей власти, но является самым горячим нашим желанием. Еще до рассвета, прежде чем эта река проснется при первых проблесках дня, вы будете совершенно недосыгаемы для ваших прежних сообщников и не оставите после себя никаких следов, словно вы в одно мгновение исчезли с лица земли. Пойдемте! Я не хочу, чтобы вы вернулись туда, обменялись хоть одним словом с кем-нибудь из прежних товарищей, бросили взгляд на старые места, вдохнули тот воздух, который несет вам гибель и смерть. Оставьте все это, пока есть время и возможность!

— Теперь ее удастся уговорить! — воскликнула молодая леди. — Я уверена, что она колеблется.

— Боюсь, что нет, моя дорогая, — сказал джентльмен.

— Да, сэр, я не колеблюсь, — ответила девушка после недолгой борьбы с собой. — Я прикована цепями к прежней жизни. Теперь она мне отвратительна и ненавистна, но я не могу ее бросить. Должно быть, я зашла слишком далеко, чтобы вернуться, а впрочем, не знаю: если бы вы заговорили со мной об этом прежде, я бы расхохоталась в ответ. Но меня опять охватывает страх, — добавила она, быстро озираясь. — Мне надо идти домой.

— Домой! — повторила молодая леди с сильным ударением на этом слове.

— Домой, леди, — откликнулась девушка. — В тот дом, который я сама для себя построила трудами всей моей жизни. Простимся. Меня могут выследить или увидеть. Идите! Идите! Если я оказала вам какую-то услугу, я прошу вас только об одном — оставьте меня, не мешайте мне идти своей дорогой.

— Все это бесполезно, — со вздохом сказал джентльмен. — Быть может, оставаясь здесь, мы подвергаем ее опасности. Пожалуй, мы уже задержали ее дольше, чем она рассчитывала.

— Да, да, — подхватила девушка. — Вы меня задержали.

— Чем же кончится жизнь этого бедного создания! — воскликнула молодая леди.

— Чем кончится? — повторила девушка. — Посмотрите прямо перед собой, леди. Посмотрите на эту темную воду. Сколько раз читали вы о том, что такие, как я, бросались в реку, не оставив ни одного живого существа, которому было бы до них дело и которое оплакивало бы их! Может быть, пройдут годы, может быть, только месяцы, но в конце концов мне этого не миновать.

— Прошу вас, не говорите так, — всхлипывая, отозвалась молодая леди.

— Вы никогда не услышите об этом, дорогая леди, и сохрани Бог, чтобы вы слышали о таких ужасах! — ответила девушка. — Прощайте, прощайте!

Джентльмен отвернулся.

— Вот кошелек! — воскликнула молодая леди. — Возьмите его ради меня, чтобы у вас были какие-то средства в час нужды и горя.

— Нет! — сказала девушка. — Я это сделала не для денег. Я хочу помнить об этом. Но... дайте мне какую-нибудь вещь, которую вы носили, — я бы хотела иметь что-нибудь... Нет, нет, не кольцо... ваши перчатки или носовой платок... что-нибудь такое, что я могла бы хранить в память о вас, милая леди... Ну вот! Будьте счастливы! Да благословит вас Бог! Прощайте, прощайте!

Сильное волнение девушки, боявшейся, что если ее увидят, то жестоко избыют, казалось побудило джентльмена отпустить ее, как она просила. Послышались удаляющиеся шаги, и голоса смолкли.

Вскоре на мосту появились две фигуры — молодая леди и ее спутник. Они остановились на верхней площадке лестницы.

— Подождите! — воскликнула молодая леди, прислушиваясь. — Она как будто окликнула нас! Мне послышался ее голос.

— Нет, дорогая моя, — ответил мистер Браунлоу, печально оглянувшись. — Она стоит все там же и не тронется с места, пока мы не уйдем.

Роз Мэйли медлила, но старый джентльмен продел ее руку под свою и ласково, но настойчиво увел. Как только они скрылись из виду, девушка упала на каменную ступень, растянувшись чуть ли не во весь рост, и в горьких слезах излила свою душевную боль.

Спустя некоторое время она встала и, пошатываясь, неуверенно ступая, поднялась на улицу. Пораженный слушатель стоял еще несколько минут неподвижно на своем посту, потом, несколько раз осторожно осмотревшись вокруг и удостоверившись, что снова остался один, медленно выбрался из своего тайника и поднялся по лестнице, крадучись в тени стены, так же как спустился сюда.

Достигнув верхней ступени и несколько раз трусливо оглянувшись, дабы убедиться, что за ним не следят, Ноэ Клейпол пустился во всю прыть и устремился к дому еврея с той быстротой, на какую только способны были его ноги.

Глава XLII. Роковые последствия

Оставалось почти два часа до рассвета — была та пора, которую осенью можно по справедливости назвать глухой ночью, когда улицы безмолвны и пустынные, когда даже звуки как будто погружаются в сон, а распутство и разгул, пошатываясь, возвращаются домой на отдых. В этот тихий и безмолвный час в старом своем логове Феджин бодрствовал с таким перекошенным и бледным лицом, с такими красными и налитыми кровью глазами, что походил не столько на человека, сколько на какойто отвратительный призрак, вставший из сырой могилы и терзаемый злым духом.

Он сидел, сгорбившись, у холодного очага, закутанный в старое, рваное одеяло, лицом к оплывающей свече, которая стояла на столе около него. Правую руку он держал у рта и, поглощенный своими мыслями, грыз длинные черные ногти, а меж беззубых десен виднелось несколько клыков, какие бывают у собаки или крысы.

На полу, растянувшись на тюфяке, крепко спал Ноэ. Старик изредка останавливал на нем взгляд и снова переводил его на свечу, обгоревший фитиль которой согнулся почти вдвое, а горячее сало капало на стол, явно свидетельствуя, что мысли старика витают где-то далеко.

Так оно в действительности и было. Досада, вызванная крушением его великолепного плана, ненависть к девушке, осмелившейся связаться с чужими людьми, полное неверие в искренность ее отказа выдать его, горькое разочарование, ибо не было возможности отомстить Сайксу, боязнь разоблачения, гибели, смерти и дикое, неудержимое бешенство — все это проносилось вихрем в мозгу Феджина, а дьявольские мысли и самые черные замыслы грызли ему сердце.

Он сидел, не меняя позы и как будто не замечая, как долго он сидит, пока до чуткого его слуха не донесся шум шагов на улице.

— Наконец-то! — пробормотал он, вытирая сухие, воспаленные губы. — Наконец-то!

Когда он произнес эти слова, тихо звякнул колокольчик. Феджин бесшумно поднялся по лестнице к двери и вскоре вернулся с каким-то человеком, который был закутан до подбородка и держал под мышкой узел. Усевшись и сбросив пальто, этот человек оказался дюжим Сайксом.

— Вот! — сказал он, кладя узел на стол. — Займитесь-ка этим да постарайтесь побольше за него выручить. Немало было хлопот, чтобы его добыть: я думал прийти сюда на три часа раньше.

Феджин забрал узел и, заперев его в шкаф, снова уселся, не говоря ни слова. Все это время он ни на секунду не сводил глаз с грабителя, и теперь, когда они сидели друг против друга, лицом к лицу, он пристально смотрел на него, а губы его так сильно дрожали и лицо так изменилось от овладевшего им волнения, что грабитель невольно отодвинул свой стул и взглянул на него с неподдельным испугом.

— Что случилось? — крикнул Сайкс. — Чего вы так уставились на меня?

Феджин поднял правую руку и погрозил дрожащим указательным пальцем, но возбуждение его было так велико, что на секунду он лишился дара речи.

— Проклятье! — крикнул Сайкс, с тревожным видом нащупывая что-то у себя за пазухой. — Он с ума спятил. Надо мне поостеречься.

— Нет! — возразил Феджин, обретя голос. — Это не то... не вы тот человек, Билл. Я никакой... никакой вины за вами не знаю.

— Не знаете! Вот как! — сказал Сайкс, злобно на него глядя и у него на глазах перекладывая пистолет в другой карман, что поближе. — Это хорошо — для одного из нас. Кто этот один — неважно.

— Билл, я вам должен сказать нечто такое, — начал Феджин, придвигая свой стул, — отчего вы почувствуете себя хуже, чем я.

— Ну? — недоверчиво отозвался грабитель. — Говорите! Да поживее, не то Нэнси подумает, что я пропал.

— Пропал! — воскликнул Феджин. — Для нее это вопрос решенный.

Сайкс с величайшим недоумением посмотрел на еврея и, не найдя удовлетворительного разрешения загадки, схватил его огромной ручищей за шиворот и основательно встряхнул.

— Да говорите же! — крикнул он. — А если не заговорите, то скоро вам дышать будет нечем. Раскройте рот и скажите просто и ясно. Выкладывайте, проклятый старый пес, выкладывайте!

— Допустим, что парень, который лежит вон там... — начал Феджин.

Сайкс повернулся в ту сторону, где спал Ноэ, словно не заметил его раньше.

— Ну? — сказал он, принимая прежнюю позу.

— Допустим, этот парень, — продолжал Феджин, — вздумал донести... предать всех нас, сначала отыскав для этой цели подходящих людей, а потом назначив им свидание на улице, чтобы описать нашу внешность, указать все приметы, по которым они могут нас найти, и место, где нас легче всего захватить. Допустим, он задумал все это устроить и вдобавок выдать одно дело, в котором мы все более или менее замешаны, — задумал это по своей прихоти; не потому, что священник ему нашептал или его довели до этого, посадив на хлеб и на воду, — по своей прихоти, для собственного своего удовольствия, уходил тайком, ночью отыскивать тех, кто больше всего вооружен против нас, и доносил им. Вы слышите меня? — крикнул еврей, в глазах которого загорелась ярость. — Допустим, он все это сделал. Что тогда?

— Что тогда? — повторил Сайкс, изрыгнув ужасное проклятье. — Останься он в живых до моего прихода, я бы железным каблуком моего сапога раздробил ему череп на столько кусков, сколько у него волос на голове.

— Что, если бы это сделал я? — чуть ли не завопил Феджин. — Я, который столько знает и столько людей может вздернуть, не считая самого себя!

— Не знаю, — отозвался Сайкс, стиснув зубы и побледнев при одном предположении. — Я бы выкинул какую-нибудь штуку в тюрьме, чтобы на меня надели кандалы, и если бы меня судили вместе с вами, я бы на суде обрушил на вас эти кандалы и на глазах у всех вышиб вам мозги. У меня хватило бы силы, — пробормотал грабитель, поднимая свою мускулистую руку, — разmozжить вам голову так, словно по ней проехала нагруженная повозка.

— Вы бы это сделали?

— Сделал ли бы я? — переспросил взломщик. — Испытайте меня.

— А если бы это был Чарли, или Плут, или Бет, или...

— Мне все равно кто! — нетерпеливо ответил Сайкс. — Кто бы это ни был, я бы расправился с ним точно так же.

Феджин в упор посмотрел на грабителя и, знаком приказав ему молчать, наклонился над тюфяком на полу и начал трясти спящего, стараясь разбудить его. Сайкс нагнулся вперед и, положив руки на колени, недоумевал, к чему клонились все эти вопросы и приготовления.

— Болтер, Болтер! Бедняга! — сказал Феджин, поднимая глаза, горевшие дьявольским предвкушением развязки, и говоря медленно и с многозначительными ударениями. — Он устал... устал, выслеживая ее так долго... выслеживая ее, Билл!

— Что это значит? — спросил Сайкс, откинувшись назад.

Феджин ничего не ответил и, снова наклонившись над спящим, приподнял его и усадил. Когда присвоенное им себе имя было повторено несколько раз, Ноэ протер глаза и, протяжно зевнув,

стал сонно озираться.

— Расскажите мне опять об этом, еще раз, чтобы он послушал, — сказал еврей, указывая на Сайкса.

— О чем вам рассказать? — спросил сонный Ноэ, с неудовольствием встряхиваясь.

— Расскажите о... *Нэнси*, — сказал Феджин, хватая Сайкса за кисть руки, чтобы тот не бросился вон из дома, не дослушав до конца. — Вы шли за ней следом?

— Да.

— До Лондонского моста?

— Да.

— Там она встретила двоих?

— Вот, вот...

— Джентльмена и леди, к которой она уже ходила по собственному желанию, а те предложили ей выдать всех ее товарищей и в первую очередь Монкса, что она и сделала; и указать дом, где мы собираемся и куда ходим, что она и сделала; и место, откуда удобнее всего следить за ним, что она и сделала; и час, когда там собираются, что она и сделала. Все это она сделала. Она рассказала все до последнего слова, хотя ей не угрожали, рассказала по своей воле. Она это сделала, да или нет? — крикнул Феджин, обезумев от ярости.

— Верно, — ответил Ноэ, почесывая голову. — Так оно и было!

— Что они сказали о прошлом воскресенье?

— О прошлом воскресенье? — призадумавшись, отозвался Ноэ. — Да ведь я вам уже говорил.

— Еще раз. Скажите еще раз! — крикнул Феджин, еще крепче вцепляясь в Сайкса одной рукой и потрясая другой, в то время как на губах у него выступила пена.

— Они спросили ее... — сказал Ноэ, который, по мере того как рассеивалась его сонливость, как будто начинал догадываться, кто такой Сайкс, — они спросили ее, почему она не пришла, как обещала, в прошлое воскресенье. Она сказала, что не могла.

— Почему, почему? Скажите это ему.

— Потому что ее насильно удержал дома Билл — человек, о котором она говорила им раньше, — ответил Ноэ.

— Что еще про него? — крикнул Феджин. — Что еще про человека, о котором она говорила им раньше? Скажите это ему, скажите ему!

— Да то, что ей не очень-то легко уйти из дому, если он не знает, куда она идет, — сказал Ноэ, — и потому-то в первый раз, когда она пошла к леди, она дала ему — вот рассмешила-то она меня, когда это сказала! — она дала ему выпить настойки из опия.

— Тысяча чертей! — заревел Сайкс, неистово вырываясь из рук еврея. — Пустите меня!

Отшвырнув старика, он бросился вон из комнаты и, вне себя от бешенства, сбежал по лестнице.

— Билл, Билл! — закричал Феджин, поспешив за ним. — Одно слово! Только одно слово!

Это слово не было бы сказано, если бы грабитель мог отпереть дверь, на что зря тратил силы и ругательства, когда еврей, запыхавшись, догнал его.

— Выпустите меня! — крикнул Сайкс. — Не разговаривайте со мной, это опасно. Говорю вам, выпустите меня!

— Выслушайте одно только слово, — возразил Феджин, положив руку на замок. — Вы не будете...

— Ну? — отозвался тот.

— Вы не будете... слишком неистовы, Билл?

Загорался день, и было достаточно светло, чтобы каждый из них мог видеть лицо другого. Они обменялись быстрым взглядом; у обоих глаза зажглись огнем, который не вызывал никаких сомнений.

— Я хочу сказать, — продолжал Феджин, не скрывая, что считает теперь всякое притворство бесполезным, — хочу сказать, что быть чересчур неистовым опасно. Будьте хитрым, Билл, и не слишком неистовым...

Сайкс ничего не ответил и, распахнув дверь, которую отпер Феджин, выбежал на пустынную улицу.

Ни разу не остановившись, ни на секунду не задумываясь, не поворачивая головы ни направо, ни налево, не поднимая глаз к небу и не опуская их к земле, но с беспощадной решимостью глядя прямо перед собой, стиснув зубы так крепко, что, казалось, напряженные челюсти прорвут кожу, грабитель неудержимо мчался вперед и не пробормотал ни слова, не ослабил ни одного мускула, пока не очутился у своей двери. Он бесшумно отпер дверь ключом, легко поднялся по лестнице и, войдя в свою комнату, дважды повернул ключ в замке и, придвинув к двери тяжелый стол, отдернул полог кровати.

Девушка лежала на ней полуодетая. Его приход разбудил ее, она приподнялась торопливо, с испуганным видом.

— Вставай! — сказал мужчина.

— Ах, это ты, Билл! — сказала девушка, по-видимому обрадованная его возвращением.

— Это я, — был ответ. — Вставай.

Горела свеча, но мужчина быстро выхватил ее из подсвечника и швырнул под каминную решетку. Заметив слабый свет загоревшегося дня, девушка встала, чтобы отдернуть занавеску.

— Не надо, — сказал Сайкс, преграждая ей дорогу рукой. — Света хватит для того, что я собираюсь сделать.

— Билл, — сказала девушка тихим, встревоженным голосом, — почему ты на меня так смотришь?

Несколько секунд грабитель сидел с раздувавшимися ноздрями и вздымающейся грудью, не спуская с нее глаз; потом, схватив ее за голову и за шею, потащил на середину комнаты и, оглянувшись на дверь, зажал ей рот тяжелой рукой.

— Билл, Билл, — хрипела девушка, отбиваясь с силой, рожденной смертельным страхом. — Я... я не буду ни вопить, ни кричать... ни разу не вскрикну... Выслушай меня... поговори со мной... скажи мне, что я сделала!

— Сама знаешь, чертовка! — ответил грабитель, переводя дыхание. — Этой ночью за тобой следили. Слышали каждое твое слово.

— Так пощади же, ради неба, мою жизнь, как я пощадила твою! — воскликнула девушка, прижимаясь к нему. — Билл, милый Билл, у тебя не хватит духа убить меня. О, подумай обо всем, от чего я отказалась ради тебя хотя бы только этой ночью. Подумай об этом и спаси себя от преступления; я не разожму рук, тебе не удастся меня отшвырнуть. Билл, Билл, ради Господа Бога, ради самого себя, ради меня, подожди, прежде чем прольешь мою кровь! Я была тебе верна, клянусь моей грешной душой, я была верна!

Мужчина отчаянно боролся, чтобы освободить руки, но вокруг них обвились руки девушки, и, как он ни старался, он не мог оторвать ее от себя.

— Билл! — воскликнула девушка, пытаясь положить голову ему на грудь. — Джентльмен и эта милая леди предлагали мне сегодня пристанище в какой-нибудь чужой стране, где бы я могла доживать свои дни в уединении и покое. Позволь мне повидать их еще раз и на коленях молить, чтобы они с такой же добротой и милосердием отнеслись и к тебе, и тогда мы оба покинем это ужасное место и далеко друг от друга начнем лучшую жизнь, забудем, как мы жили раньше, вспоминая об этом только в молитвах, и больше не встретимся. Никогда не поздно раскаяться. Так они мне сказали... я это чувствую теперь... но нам нужно время... хоть немножко времени.

Взломщик освободил одну руку и схватил пистолет. Несмотря на взрыв ярости, в голове его пронеслась мысль, что он будет немедленно пойман, если выстрелит. И, собрав силы, он дважды ударил им по обращенному к нему лицу, почти касавшемуся его лица.

Она пошатнулась и упала, полуослепленная кровью, стекавшей из глубокой раны на лбу; поднявшись с трудом на колени, она вынула из-за пазухи белый носовой платок — платок Роз Мэйли — и, подняв его в сложенных руках к небу, так высоко, как только позволяли ее слабые силы, прошептала молитву, взывая к создателю о милосердии.

Страшно было смотреть на нее. Убийца, отшатнувшись к стене и заслоняя глаза рукой, схватил тяжелую дубинку и одним ударом сбил ее с ног.

Глава XLVIII. Бегство Саймса

Из всех злодеяний, совершенных под покровом тьмы в пределах широко раскинувшегося Лондона с того часа, как нависла над ним ночь, это злодеяние было самое страшное. Из всех ужасных преступлений, отравивших зловонием утренний воздух, это преступление было самое гнусное и самое жестокое.

Солнце — яркое солнце, приносящее человеку не только свет, но и новую жизнь, надежду и бодрость, — взошло, сияющее и лучезарное, над многолюдным городом. Сквозь дорогое цветное стекло и заклеенное бумагой окно, сквозь соборный купол и расщелину в ветхой стене оно равно проливало свои лучи. Оно озарило комнату, где лежала убитая женщина. Оно

озарило ее. Сайкс попытался преградить ему доступ, но лучи все-таки струились. Если зрелище было страшным в тусклых, предутренних сумерках, то каково же было оно теперь при этом ослепительном свете!

Сайкс не двигался: он боялся пошевелинуться. Послышался стон, рука дернулась, и в ужасе, слившемся с яростью, он нанес еще удар и еще. Он набросил на нее одеяло; но было тяжелее представлять себе глаза и думать, что они обращены к нему, чем видеть, как они пристально смотрят вверх, словно следя за отражением лужи крови, которое в лучах солнца трепетало и плясало на потолке. Он снова сорвал одеяло. Здесь лежало тело — только плоть и кровь, не больше, — но какое тело и как много крови!

Он зажег спичку, растопил очаг и сунул в огонь дубинку. На конце ее прилипли волосы, они вспыхнули, съезжились в легкий пепел и, подхваченные тягой, кружась, полетели вверх к дымоходу. Даже это его испугало при всей его смелости, но он продолжал держать оружие, пока оно не переломилось, а потом бросил его на угли, чтобы оно сгорело и обратилось в золу. Он умылся и вычистил свою одежду; несколько пятен не удалось вывести, он вырезал куски и сжег их. Сколько этих пятен было в комнате! Даже у собаки лапы были в крови.

Все это время он ни разу не поворачивался спиной к трупу — да, ни на секунду. Покончив с приготовлениями, он, пятась, отступил к двери, таща за собой собаку, чтобы она снова не запачкала лап и не вынесла на улицу новых улик преступления. Он потихоньку открыл дверь, запер ее за собой, взял ключ и покинул дом.

Он перешел через дорогу и поднял глаза на окно, желая убедиться, что с улицы ничего не видно. Все еще была задернута занавеска, которую она хотела раздвинуть, чтобы впустить свет, так и не увиденный ею. Она лежала почти у окна. Он это знал. Боже, как льются солнечные лучи на это самое место!

Взгляд был мимолетный. Стало легче, когда он вырвался из этой комнаты. Он свистнул собаку и быстро зашагал прочь.

Он прошел через Излингтон, поднялся на холм у Хайгета, где водружен камень в честь Виттингтона^[44], и стал спускаться к Хайгет-Хилл. Он шел бесцельно, не зная, куда идти; едва начав спускаться с холма, он опять свернул вправо, и пойдя по тропинке через поля, обогнул Сиин-Вуд и таким образом вышел на Хэмстед-Хит. Миновав ложбину у Вейл-Хит, он взобрался на насыпь с противоположной стороны, пересек дорогу, соединяющую деревни Хэмстед и Хайгет, и, дойдя до конца вересковой пустоши, вышел в поля у Норт-Энда, где улегся под живой изгородью и заснул.

Вскоре он опять поднялся и пошел — не от Лондона, а обратно, в город, по проезжей дороге, потом назад, пересек с другой стороны пустошь, по которой уже проходил, затем стал блуждать по полям, ложился отдыхать у края канавы и снова вскакивал, чтобы отыскать какое-нибудь другое местечко, возвращался и снова бродил наугад.

Куда бы зайти поблизости, где было не слишкомлюдно, чтобы поесть и выпить? Хэндон. Это было прекрасное место, неподалеку, куда мало кто заглядывал по пути. Сюда-то он и направился, то пускаясь бегом, то, по странной прихоти, подвигаясь со скоростью улитки, а иногда даже приостанавливался и лениво сбивал палкой ветки кустарника. Но когда он пришел туда, все, кого он встречал — даже дети у дверей, — казалось, посматривали на него подозрительно. Снова повернул он обратно, не осмелившись купить чего-нибудь поесть или выпить, хотя вот уже много часов у него не было ни куска во рту; и опять он побрел по вересковой пустоши, не зная, куда идти.

Он проходил милю за милей и снова приходил на старое место. Утро и полдень миновали, и день был на исходе, а он по-прежнему тащился то в одну сторону, то в другую, то в гору, то под гору, по-прежнему возвращался назад и мешкал возле одного и того же места. Наконец, он ушел и зашагал по направлению к Хэтфилду.

Было девять часов вечера, когда мужчина, окончательно выбившись из сил, и собака, волочившая ноги и хромавшая от непривычной ходьбы, спустились с холма возле церкви в тихой деревне и, пройдя по маленькой улочке, проскользнули в небольшой трактир, тусклый огонек которого привел их сюда. В комнате был затоплен камин, и перед ним выпивали поселяне. Они освободили место для незнакомца, но он уселся в самом дальнем углу и ел и пил в одиночестве, или, вернее, со своей собакой, которой время от времени бросал кусок.

Беседа собравшихся здесь людей шла о соседних полях, о фермерах, а когда эти темы были исчерпаны — о возрасте какого-то старика, которого похоронили в прошлое воскресенье; юноши считали его очень дряхлым, а старики утверждали, что он был совсем еще молод — не старше, как заявил один седовласый дед, чем он сам, и его еще хватило бы лет на десять — пятнадцать по крайней мере, если бы он берег себя... если бы он берег себя!

Эта беседа ничем не могла привлечь внимания или вызвать тревогу. Грабитель, расплатившись по счету, сидел молчаливый и неприметный в своем углу и уже задремал, как вдруг его разбудило шумное появление нового лица.

Это был коробейник, балагур и шарлатан, странствовавший пешком по деревням, торгуя точильными камнями, ремнями для правки бритв, бритвами, круглым мылом, смазкой для сбруи, лекарствами для собак и лошадей, дешевыми духами, косметическими мазями и тому подобными вещами, которые он таскал в ящике, привязанном за спиной. Его появление послужило для поселян сигналом к обмену всевозможными незамысловатыми шуточками, которые не смолкали, пока он не поужинал и не раскрыл своего ящика с сокровищами, после чего остроумно ухитрился соединить приятное с полезным.

— А что это за товары? Каковы на вкус, Гарри? — спросил ухмыляющийся поселянин, указывая на плитки в углу ящика.

— Вот это, — сказал парень, извлекая одну из них, — Это незаменимое и неоценимое средство для удаления всяких пятен, ржавчины, грязи, крапинок и брызг с шелка, атласа, полотна, батиста, сукна и крепа, с шерсти, с ковров, с шерсти мериносовой, с муслина, бомбазина и всяких шерстяных тканей. Пятна от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски и дегтя — любое пятно сойдет, стоит разок потереть этим незаменимым и неоценимым средством. Если леди запятнала свое имя, ей достаточно проглотить одну штуку — и она сразу исцелится, потому что это яд. Если джентльмен пожелает это проверить, ему достаточно принять одну маленькую плиточку — и никаких сомнений не останется, потому что она действует не хуже пули и на вкус гораздо противнее, а стало быть, тем больше ему чести, что он ее принял... Пенни за штуку! Такая польза, и только пенни за штуку!

Сразу нашлись два покупателя, и многие слушатели начинали явно склоняться к тому же. Заметив это, торговец стал еще болтливее.

— Выпустить не успеют, как все нарасхват разбирают! — продолжал парень. — Четырнадцать водяных мельниц, шесть паровых машин и гальваническая батарея без отдыха выделяют их да все не успевают, хотя люди трудятся так, что помирают, а вдовам сейчас же дают пенсию и двадцать фунтов в год на каждого ребенка, а за близнецов — пятьдесят... Пенни за штуку! Два полупенни тоже годятся, и четыре фартинга будут приняты с радостью. Пенни за штуку! Пятна

от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски, дегтя, грязи, крови!.. Вот у этого джентльмена пятно на шляпе, которое я выведу, не успеет он заказать мне пинту пива.

— Эй! — восторженно крикнул Сайкс. — Отдайте!

— Я его выведу, сэр, — возразил торговец, подмигивая компании, — прежде чем вы подойдете с того конца комнаты. Джентльмены, здесь присутствующие, обратите внимание на темное пятно на шляпе этого джентльмена величиной не больше шиллинга, но толщиной с полукрону. Будь пятно от вина, от фруктов, от пива, от воды, от краски, дегтя, грязи или крови...

Торговец не кончил фразы, потому что Сайкс с отвратительным проклятьем опрокинул стол и, вырвав у него шляпу, выбежал из дому.

Под влиянием все той же странной прихоти и колебаний, которые весь день владели им вопреки его воле, убийца, убедившись, что его не преследуют и, по всей вероятности, приняли за угрюмого и пьяного парня, повернул обратно в город и, сторонясь от фонарей кареты, стоявшей перед маленькой почтовой конторой, хотел пройти мимо, но узнал почтовую карету из Лондона. Он почти угадывал, что за этим последует, но перешел дорогу и стал прислушиваться.

У двери стоял кондуктор в ожидании почтовой сумки. В эту минуту к нему подошел человек в форме лесничего, и тот вручил ему корзинку, которую поднял с мостовой.

— Это для вашей семьи, — сказал кондуктор. — Эй, вы, там, пошевеливайтесь! Будь проклята эта сумка, и вчера она была не готова. Так, знаете ли, не годится!

— Что нового в городе, Бен? — спросил лесничий, отступая к ставням, чтобы удобнее было любоваться лошадьми.

— Ничего как будто не слышал, — ответил тот, надевая перчатки. — Цена на хлеб немного поднялась. Слыхал, что толковали о каком-то убийстве в Спителфилдсе, но не очень-то я этому верю.

— Нет, это правда, — сказал джентльмен, сидевший в карете и выглядывавший из окна. — И вдобавок — Зверское убийство.

— Вот как, сэр! — отозвался кондуктор, притронувшись к шляпе. — Кого убили, сэр: мужчину или женщину?

— Женщину, — ответил джентльмен. — Полагают...

— Эй, Бен! — нетерпеливо крикнул кучер.

— Будь проклята эта сумка! — воскликнул кондуктор. — Заснули вы там, что ли?

— Иду! — крикнул, выбегая, заведующий конторой.

— Иду! — проворчал кондуктор. — Идет так же, как та молодая и богатая женщина, которая собирается в меня влюбиться, да не знаю когда. Ну, давайте! Готово!

Весело затрубил рог, и карета уехала. Сайкс продолжал стоять на улице; казалось, его не взволновала только что услышанная весть, не тревожило ни одно сильное чувство, кроме колебаний, куда идти. Наконец, он снова повернул назад и пошел по дороге, ведущей из

Хэтфилда в Сент-Элбанс.

Он шел упрямо вперед. Но, оставив позади город и очутившись на безлюдной и темной дороге, он почувствовал, как подкрадываются к нему страх и ужас, проникая до сокровенных его глубин. Все, что находилось впереди — реальный предмет или тень, что-то неподвижное или движущееся, — превращалось в чудовищные образы, но эти страхи были ничто по сравнению с не покидавшим его чувством, будто за ним по пятам идет призрачная фигура, которую он видел этим утром. Он мог проследить ее тень во мраке, точно восстановить очертания и видеть, как непреклонно и торжественно шествует она. Он слышал шелест ее одежды в листве, и каждое дыхание ветра приносило ее последний тихий стон. Если он останавливался, останавливалась и она. Если он бежал, она следовала за ним, — не бежала, что было бы для него облегчением, но двигалась, как труп, наделенный какой-то механической жизнью и гонимый ровным, унылым ветром, не усиливавшимся и не стихавшим.

Иногда он поворачивался с отчаянным решением отогнать привидение, даже если б один его взгляд принес смерть; но волосы поднимались у него дыбом и кровь стыла в жилах, потому что оно поворачивалось вместе с ним и оставалось у него за спиной. Утром он удерживал его перед собой, но теперь оно было за спиной — всегда. Он прислонился к насыпи и чувствовал, что оно высится над ним, вырисовываясь на фоне холодного ночного неба. Он растянулся на дороге — лег на спину. Оно стояло над его головой, безмолвное, прямое и неподвижное — живой памятник с эпитафией, начертанной кровью.

Пусть никто не говорит об убийцах, ускользнувших от правосудия, и не высказывает догадку, что провидение, должно быть, спит. Одна нескончаемая минута этого мучительного страха стоила десятка насильственных смертей.

В поле, где он проходил, был сарай, который мог служить пристанищем на ночь. Перед дверью росли три высоких тополя, отчего внутри было очень темно, и ветер жалобно завывал в ветвях. Он не мог идти дальше, пока не рассветет, и здесь он улегся у самой стены, чтобы подвергнуться новой пытке.

Ибо теперь видение предстало перед ним такое же неотвязное, но еще более страшное, чем то, от которого он спасся. Эти широко раскрытые глаза, такие тусклые и такие остекленевшие, что ему легче было бы их видеть, чем о них думать, появились во мраке; свет был в них, но они не освещали ничего. Только два глаза, но они были всюду. Если он смыкал веки, перед ним возникала комната со всеми хорошо знакомыми предметами — конечно, об иных он бы не вспомнил, если бы восстанавливал обстановку по памяти, — каждая вещь на своем привычном месте. И труп был на своем месте и глаза, какими он их видел, когда бесшумно уходил.

Он вскочил и побежал в поле. Фигура была у него за спиной. Он вернулся в сарай и снова съежился там. Глаза появились раньше, чем он успел лечь.

И здесь он остался, охваченный таким ужасом, какой никому был неведом, дрожа всем телом и обливаясь холодным потом, как вдруг ночной ветер донес издали крики и гул голосов, испуганных и встревоженных. Человеческий голос, прозвучавший в этом уединенном месте, пусть даже возвещающая о какой-то беде, принес ему облегчение. Сознание грозящей опасности заставило Сайкса обрести новые силы, и, вскочив на ноги, он выбежал из сарая.

Казалось, широко раскинувшееся небо было в огне. Поднимаясь вверх с дождем искр и перекатываясь один через другой, вырывались языки пламени, освещая окрестности на много миль и гоня облака дыма в ту сторону, где он стоял. Рев стал громче, так как новые голоса подхватили вопль, и он мог слышать крики: «Пожар!» — сливавшиеся с набатом, грохотом

от падения каких-то тяжестей и треском огня, когда языки обвивались вокруг какого-нибудь нового препятствия и вздымались вверх, словно подкрепленные пищей. Пока он смотрел, шум усилился. Там были люди — мужчины и женщины, — свет, суматоха. Для него это была как будто новая жизнь. Он рванулся вперед — напрямик, опрометью, мчась сквозь вересковые заросли и кусты и перескакивая через изгороди и заборы так же неудержимо, как его собака, которая неслась впереди с громким и звонким лаем.

Он добежал. Метались полуодетые фигуры: одни старались вывести из конюшен испуганных лошадей, другие гнали скот со двора и из надворных построек, тащили пожитки из горящего дома под градом сыпавшихся искр и раскаленных докрасна балок. Сквозь отверстия, где час назад были двери и окна, виднелось бушующее море огня; стены качались и падали в пылающий колодец; расплавленный свинец и железо, добела раскаленные, лились потоком на землю. Визжали женщины и дети, а мужчины подбадривали друг друга громкими криками. Лязг пожарных насосов, свист и шипение струи, падавшей на горящее дерево, сливались в оглушительный рев.

Он тоже кричал до хрипоты и, убегая от воспоминаний и самого себя, нырнул в гущу толпы. Из стороны в сторону бросался он в эту ночь, то трудясь у насосов, то пробиваясь сквозь дым и пламя, но все время норовя попасть туда, где больше всего было шума и людей. На приставных лестницах, наверху и внизу, на крышах строений, на половицах, скрипевших и колебавшихся под его тяжестью, под градом падающих кирпичей и камней, — всюду, где бушевал огонь, был он, но его жизнь была заколдована, он остался невредимым: ни единой царапины, ни ушибов; он не ведал ни усталости, ни мыслей, пока снова не занялась заря и остались только дым да почерневшие развалины.

Когда прошло это сумасшедшее возбуждение, с удесятенной силой вернулось страшное сознание совершенного преступления. Он подозрительно осмотрелся; люди разговаривали, разбившись на группы, и он опасался, что предметом их беседы служит он. Собака повиновалась выразительному движению его пальца, и они крадучись пошли прочь. Он проходил мимо пожарного насоса, где сидели несколько человек, и они окликнули его, предлагая с ними закусить. Он поел хлеба и мяса, а когда принялся за пиво, услышал, как пожарные, которые явились из Лондона, толкуют об убийстве.

— Говорят, он пошел в Бирмингем, — сказал один, — но его схватят, потому что сыщики уже на ногах, а завтра к вечеру об этом будут знать по всей стране.

Он поспешил уйти и шел, пока не подкосились ноги, — тогда он лег на тропинке и спал долго, но беспокойным сном. Снова он побрел, нерешительный и колеблющийся, страшно боясь провести еще ночь в одиночестве. Вдруг он принял отчаянное решение вернуться в Лондон.

«Там хоть есть с кем поговорить, — подумал он, — и надежное место, чтобы спрятаться. Раз пущен слух, что я в этих краях, им не придет в голову ловить меня там. Почему бы мне не притаиться на недельку, а потом выколотить деньги из Феджина и уехать во Францию? Черт поberi, рискну!»

Этому побуждению он последовал немедленно и, выбирая самые глухие дороги, пустился в обратный путь, решив укрыться где-нибудь неподалеку от столицы, в сумерках войти в нее окольными путями и отправиться в тот квартал, который он наметил целью своего путешествия.

А собака? Если разосланы сведения о его приметах, не забудут, что собака тоже исчезла и, по всей вероятности, ушла с ним. Это может привести к аресту, когда он будет проходить по

улицам. Он решил утопить ее и пошел дальше, отыскивая какой-нибудь пруд; по дороге поднял тяжелый камень и завязал его в носовой платок.

Пока делались эти приготовления, собака не сводила глаз со своего хозяина; инстинкт ли предупредил собаку об их цели, или же косой взгляд, брошенный на нее грабителем, был суровее обычного, но она держалась позади него немного дальше, чем всегда, и поджала хвост, как только он замедлил шаги. Когда ее хозяин остановился у небольшого пруда и оглянулся, чтобы подзвать ее, она не тронулась с места.

— Слышишь, зову! Сюда! — крикнул Сайкс.

Собака подошла в силу привычки, но, когда Сайкс нагнулся, чтобы обвязать ей шею платком, она глухо заворчала и отскочила.

— Назад! — крикнул грабитель.

Собака завиляла хвостом, но осталась на том же месте. Сайкс сделал мертвую петлю и снова позвал ее.

Собака подошла, отступила, постояла секунду, повернулась и стремглав бросилась прочь.

Сайкс свистнул еще и еще раз, сел и стал ждать, надеясь, что она вернется. Но собака так и не вернулась, и, наконец, он снова тронулся в путь.

Глава XLIX. Монкс и мистер Браунлоу, наконец, встречаются. Их беседа и известие, ее прервавшее

Смеркалось, когда мистер Браунлоу вышел из наемной кареты у своего подъезда и тихо постучал. Когда дверь открылась, из кареты вылез дюжий мужчина и занял место по одну сторону подножки, тогда как другой, сидевший на козлах, в свою очередь спустился и стал по другую сторону. По знаку мистера Браунлоу они помогли выйти третьему и, поместившись по правую и левую его руку, быстро увлекли в дом. Этот человек был Монкс.

Таким же манером они молча поднялись по лестнице, и мистер Браунлоу, шедший впереди, повел их в заднюю комнату. У двери этой комнаты Монкс, поднимавшийся с явной неохотой, остановился.

— Пусть он выбирает, — сказал мистер Браунлоу. — Если он замешкается или хоть пальцем пошевелинет, сопротивляясь вам, тащите его на улицу, зовите полицию и от моего имени предъявите ему обвинение в преступлении.

— Как вы смеете говорить это обо мне? — спросил Монкс.

— Как вы смеете вынуждать меня к этому, молодой человек? — отозвался мистер Браунлоу, пристально глядя ему в лицо. — Или вы с ума сошли, что хотите уйти из этого дома?... Отпустите его... Ну вот, сэр: вы вольны идти, а мы — последовать за вами. Но предупреждаю вас — клянусь всем самым для меня святым! — что в ту самую минуту, когда вы окажетесь на улице, я арестую вас по обвинению в мошенничестве и грабеже. Я тверд и непоколебим. Если и вы решили вести себя так же, то да падет ваша кровь на вашу голову.

— По чьему распоряжению я схвачен на улице и доставлен сюда этими собаками? — спросил Монкс, переводя взгляд с одного на другого из стоявших возле него мужчин.

— По моему, — ответил мистер Браунлоу. — За этих людей ответственность несусь я. Если вы жалуетесь, что вас лишили свободы, — вы имели право и возможность вернуть ее, когда ехали сюда, однако сочли разумным не поднимать шума, — то, повторяю, отдайтесь под защиту закона. Я в свою очередь обращаюсь к закону. Но если вы зайдете слишком далеко, чтобы отступать, не просите меня о снисхождении, когда власть перейдет в другие руки, и не говорите, что я толкнул вас в пропасть, в которую вы бросились сами.

Монкс был заметно смущен и к тому же встревожен. Он колебался.

— Вы должны поспешить с решением, — сказал мистер Браунлоу с большой твердостью и самообладанием. — Если вам угодно, чтобы я предъявил обвинение публично и обрек вас на кару, которую хотя и могу с содроганием предвидеть, но не могу изменить, то, говорю еще раз, путь вам известен. Если же не угодно и вы взываете к моей снисходительности и к милосердию тех, кому причинили столько зла, садитесь без дальнейших разговоров на этот стул. Он ждет вас вот уже два дня.

Монкс пробормотал что-то невнятное, но все еще колебался.

— Поторопитесь, — сказал мистер Браунлоу. — Одно мое слово — и выбора уже не будет.

Монкс все еще колебался.

— Я не склонен вступать в переговоры, — продолжал мистер Браунлоу. — И к тому же, раз я защищаю насущные интересы других, не имею на это права.

— Нет ли... — запинаясь, спросил Монкс, — нет ли какого-нибудь компромисса?

— Никакого.

Монкс с тревогой посмотрел на старого джентльмена, но, не прочтя на его лице ничего, кроме суровости и решимости, вошел в комнату и, пожав плечами, сел.

— Заприте дверь снаружи, — сказал мистер Браунлоу слугам, — и войдите, когда я позвоню.

Те повиновались, и они остались вдвоем.

— Недурное обращение, сэр, — сказал Монкс, снимая шляпу и плащ, — со стороны старейшего друга моего отца.

— Именно потому, что я был старейшим другом вашего отца, молодой человек! — отвечал мистер Браунлоу. — Именно потому, что надежды и желания юных и счастливых лет были связаны с ним и тем прекрасным созданием, родным ему по крови, которое в юности отошло к богу и оставило меня здесь печальным и одиноким; именно потому, что он, еще мальчиком, стоял на коленях рядом со мной у смертного ложа единственной своей сестры в то утро, когда — на это не было воли Божьей — она должна была стать моей молодой женой; именно потому, что мое омертвевшее сердце льнуло к нему с того дня и вплоть до его смерти во время всех его испытаний и заблуждений; именно потому, что сердце мое полно старых воспоминаний и привязанностей, и даже при виде вас у меня возникают былые мысли о нем; именно потому-то я и расположен отнестись к вам мягко теперь... Да, Эдуард Лиффорд, даже теперь... И я краснею за вас, недостойного носить это имя!

— А причем тут мое имя? — спросил тот, до сих пор молча, с хмурым недоумением наблюдавший волнение своего собеседника. — Что для меня имя?

— Ничто, — ответил мистер Браунлоу, — для вас ничто. Но его носила *она*, и даже теперь, по прошествии стольких лет, оно возвращает мне, старику, жар и трепет, охватывавшие меня, стоило мне лишь услышать Это имя. Я очень рад, что вы его переменили... очень рад.

— Все это превосходно, — сказал Монкс (сохраним присвоенное им себе имя) после долгой паузы, в течение которой он ерзал на стуле, с угрюмым и вызывающим видом поглядывая на мистера Браунлоу, тихо сидевшего заслонив лицо рукой. — Но чего вы от меня хотите?

— У вас есть брат, — очнувшись, сказал мистер Браунлоу, — брат... И достаточно было шепотом сказать вам на ухо его имя, когда я шел за вами по улице, чтобы заставить вас последовать за мной сюда в недоумении и тревоге.

— У меня нет брата, — возразил Монкс. — Вы знаете, что я был единственным ребенком. Зачем вы толкуете мне о брате? Вы это знаете не хуже, чем я.

— Выслушайте то, что знаю я и чего можете не знать вы, — сказал Браунлоу. — Скоро я сумею вас заинтересовать. Я знаю, что единственным и чудовищным плодом этого злосчастного брака, к которому принудили вашего отца, совсем еще юного, семейная гордость и корыстное, черствое тщеславие, — были вы!..

— Я равнодушен к резким выражениям, — с язвительным смехом перебил Монкс. — Факт вам известен, и для меня этого достаточно.

— Но я знаю также, — продолжал старый джентльмен, — о медленной пытке, о долгих терзаниях, вызванных этим неудачным союзом. Я знаю, как томительно и бесцельно влачила эта несчастная чета свою тяжелую цепь сквозь жизнь, отравленную для обоих. Я знаю, как холодные, формальные отношения сменились явным издевательством, как равнодушие уступило место неприязни, неприязнь — ненависти, а ненависть — отвращению, пока, наконец, они не разорвали гремющей цепи. И, разойдясь в разные стороны, каждый унес с собой обрывок постылой цепи, звенья которой не могло сломать ничто, кроме смерти, чтобы в новом окружении скрывать их под личиной веселости, на какую только ваши родители были способны. Вашей матери это удалось: она забыла быстро; но в течение многих лет звенья ржавели и разъедали сердце вашего отца.

— Да, они разошлись, — сказал Монкс. — Ну так что же?

— Когда прошло некоторое время после их разрыва, — отвечал мистер Браунлоу, — и ваша мать, отдавшись всецело суетной жизни на континенте, совершенно забыла своего молодого мужа, который остался на родине без всяких надежд на будущее, — у него появились новые друзья. Это обстоятельство вам во всяком случае известно.

— Нет, неизвестно, — сказал Монкс, отводя взгляд и постукивая ногой по полу, как бы решившись отрицать все. — Неизвестно.

— Ваш вид, не менее чем ваши поступки, убеждает меня в том, что вы об этом никогда не забывали и всегда думали с горечью, — возразил мистер Браунлоу. — Я говорю о том, что случилось пятнадцать лет назад, когда вам было не больше одиннадцати лет, а вашему отцу только тридцать один год, ибо, повторяю, он был совсем юным, когда его отец приказал ему жениться. Должен ли я возвращаться к тем событиям, которые бросают тень на память вашего родителя, или же вы избавите меня от этого и откроете мне правду?

— Мне нечего открывать, — возразил Монкс. — Можете говорить, если вы этого желаете.

— Ну что ж! — продолжал мистер Браунлоу. — Итак, одним из этих новых друзей был морской офицер, вышедший в отставку, жена которого умерла за полгода перед тем и оставила ему двух детей — их было больше, но, к счастью, выжили только двое. Это были дочери: одна — прелестная девятнадцатилетняя девушка, а другая — совсем еще дитя двух-трех лет.

— Что мне за дело до этого? — спросил Монкс.

— Они проживали, — сказал мистер Браунлоу, не обратив внимания на вопрос, — в той части страны, куда ваш отец попал во время своих скитаний и где он обосновался. Знакомство, сближение, дружба быстро следовали одно за другим. Ваш отец был одарен, как немногие. У него была душа и характер его сестры. Чем ближе узнавал его старый офицер, тем больше любил. Хорошо, если бы этим и кончилось. Но дочь тоже его полюбила.

Старый джентльмен сделал паузу. Монкс кусал губы и смотрел в пол. Заметив это, джентльмен немедленно продолжал:

— К концу года он принял на себя обязательство, священное обязательство перед этой девушкой, — он завоевал первую истинную пламенную любовь бесхитростного, невинного создания.

— Ваш рассказ не из коротких, — заметил Монкс, беспокойно ерзая на стуле.

— Это правдивый рассказ о страданиях, испытаниях и горе, молодой человек, — возразил мистер Браунлоу, — а такие рассказы обычно бывают длинными; будь это рассказ о безоблачной радости и счастье, он оказался бы очень коротким. Наконец, умер один из тех богатых родственников, ради интересов которых ваш отец был принесен в жертву, что является делом обычным; желая исправить зло, орудием которого он был, он оставил вашему отцу деньги, которые казались ему панацеей от всех бед. Возникла необходимость немедленно ехать в Рим, куда этот человек отправился лечиться и где он умер, оставив свои дела в полном беспорядке. Ваш отец поехал и заболел там смертельной болезнью. Как только сведения достигли Парижа, за ним последовала ваша мать, взяв с собой вас. На следующий день после ее приезда он умер, не оставив никакого завещания — *никакого завещания*, — так что все имущество досталось ей и вам.

Теперь Монкс затаил дыхание и слушал с напряженным вниманием, хотя и не смотрел на рассказчика. Когда мистер Браунлоу сделал паузу, он изменил позу с видом человека, внезапно почувствовавшего облегчение, и вытер разгоряченное лицо и руки.

— Перед отъездом за границу, проезжая через Лондон, — медленно продолжал мистер Браунлоу, не спуская глаз с его лица, — он зашел ко мне...

— Об этом я никогда не слышал, — перебил Монкс голосом, который должен был звучать недоверчиво, но выражал скорее неприятное изумление.

— Он зашел ко мне и оставил у меня, помимо других вещей, картину — портрет этой бедной девушки, нарисованный им самим. Он не хотел оставлять его и не мог взять с собой, спешно отправляясь в путешествие. От тревоги и угрызений совести он стал похож на собственную тень, говорил сбивчиво, в смятении о гибели и бесчестье, им самим навлеченных; сообщил мне о своем намерении обратить все имущество в деньги, несмотря ни на какие убытки, и, выделив своей жене и вам часть из полученного наследства, бежать из страны, — я прекрасно понял, что бежать он собирался не один, — и никогда больше сюда не возвращаться. Даже мне, своему старому другу, которого связывала с ним смерть дорогого нам обоим существа, — даже мне он не сделал полного признания, обещав написать и рассказать обо всем, а затем

повидаться со мной еще раз, последний раз в жизни. Увы! Это и был последний раз. Никакого письма я не получил и никогда больше его не видел... Когда все было кончено, — помолчав, продолжал мистер Браунлоу, — я поехал туда, где родилась — употребляю выражение, которым спокойно воспользовались бы люди, ибо и жестокость людская и снисходительность не имеют для него теперь значения, — где родилась его преступная любовь. Я решил, что если мои опасения оправдаются, заблудшее дитя найдет сердце и дом, которые будут ему приютом и защитой. За неделю до моего приезда семья покинула те края; они расплатились со всеми мелкими долгами и уехали оттуда ночью. Куда и зачем — никто не мог сказать мне.

Монкс вздохнул еще свободнее и с торжествующей улыбкой обвел взглядом комнату.

— Когда ваш брат, — сказал мистер Браунлоу, придвигаясь к нему ближе, — когда ваш брат, хилый, одетый в лохмотья, всеми покинутый мальчик, был брошен на моем пути силой более могущественной, чем случай, и спасен мною от жизни порочной и бесчестной...

— Что такое? — вскричал Монкс.

— Мною! — повторил мистер Браунлоу: — Я предупреждал, что скоро заинтересую вас. Да, мною. Вижу, что хитрый сообщник скрыл от вас мое имя, хотя, как он считал, оно было вам незнакомо. Когда ваш брат был спасен мною и, оправляясь от болезни, лежал в моем доме, поразительное его сходство с портретом, о котором я упоминал, привело меня в изумление. Даже когда я впервые его увидел, грязного и жалкого, что-то в его лице произвело на меня впечатление, словно в ярком сне промелькнул передо мною образ какого-то старого друга. Мне незачем говорить вам, что он был похищен, прежде чем я узнал его историю...

— Почему — незачем? — быстро спросил Монкс.

— Потому что вам это хорошо известно.

— Мне?

— Отрицать бессмысленно, — отозвался мистер Браунлоу. — Я вам докажу, что знаю еще больше.

— Вы... вы... ничего не можете доказать... против меня, — заикаясь, выговорил Монкс. — Попробуйте-ка это сделать.

— Посмотрим! — промолвил старый джентльмен, бросив на него пыливый взгляд. — Я потерял мальчика и, несмотря на все мои усилия, не мог его найти. Вашей матери уже не было в живых, и я знал, что, кроме вас, никто не может раскрыть тайну; а так как, когда я в последний раз о вас слышал, вы находились в своем поместье в Вест-Индии, куда, как вам хорошо известно, вы удалились после смерти матери, спасаясь от последствий дурных ваших поступков, то я отправился в путешествие. Несколько месяцев назад вы оттуда уехали и, по-видимому, находились в Лондоне, но никто не мог сказать, где именно. Я вернулся. Агентам вашим было неизвестно ваше местопребывание. По их словам, вы появлялись и исчезали так же таинственно, как делали это всегда: иногда появлялись ежедневно, а иногда исчезали на месяцы, посещая, по-видимому, все те же притоны и общаясь все с теми же презренными людьми, которые были вашими товарищами в ту пору, когда вы были наглым, строптивым юнцом. Я докучал вашим агентам новыми вопросами. Днем и ночью я блуждал по улицам, но еще два часа назад все мои усилия оставались бесплодными, и мне не удавалось увидеть вас ни на мгновение.

— А теперь вы меня видите, — сказал Монкс, смело вставая. — Что же дальше?

Мошенничество и грабеж — громкие слова, оправданные, по вашему мнению, воображаемым сходством какого-то чертенка с дрянной картиной, намалеванной умершим человеком. Брат! Вы даже не знаете, был ли у этой чувствительной пары ребенок. Даже этого вы не знаете.

— Я не знал, — ответил Браунлоу, тоже вставая, — но за последние две недели я узнал все. У вас есть брат! Вы это знаете и знаете его. Было завещание, которое ваша мать уничтожила, перед смертью открыв вам тайну и связанные с нею выгоды. В завещании упоминалось о ребенке, который мог явиться плодом этой печальной связи; ребенок родился, и, когда вы случайно его встретили, ваши подозрения были впервые пробуждены его сходством с отцом. Вы отправились туда, где он родился. Там сохранились данные — данные, которые долго скрывались, — о его рождении и происхождении. Эти доказательства были уничтожены вами, и теперь говорю вашими же словами, обращенными к вашему собеседнику еврею, *«единственные доказательства, устанавливающие личность мальчика, покоятся на дне реки, а старая карга, получившая их от его матери, гниет в своем гробу»*. Недостойный сын, негодяй, лжец! Вы, по ночам совещающийся с ворами и убийцами в темных комнатах! Вы, чьи заговоры и плутни обрекли насильственной смерти ту, что стоила миллионов таких, как вы! Вы, кто с самой колыбели отравлял горечью и желчью сердце родного отца и в ком зрели все дурные страсти, порок и распутство, пока не завершились отвратительной болезнью, сделавшей ваше лицо верным отображением вашей души! Вы, Эдуард Лифорд, вы все еще бросаете мне вызов?

— Нет, нет, нет... — прошептал негодяй, ошеломленный всеми этими обвинениями.

— Каждое слово, каждое слово, каким обменялись вы с этим мерзким злодеем, известно мне! — воскликнул старый джентльмен, — Тени на стене подслушивали ваш шепот и донесли его до моего слуха. Вид загнанного ребенка воздействовал даже на порочное существо, вдохнув в него мужество и чуть ли не добродетель. Совершено убийство, в котором вы участвовали морально, если не фактически...

— Нет, нет! — перебил Монкс. — Я... я... ничего об этом не знаю. Я собирался узнать правду об этом происшествии, когда вы меня задержали. Я не знал причины. Я думал, что это была обычная ссора.

— Причиной явилось частичное разоблачение ваших тайн, — отозвался мистер Браунлоу. — Откроете ли вы все?

— Да, открою.

— Подпишете ли правдивое изложение фактов и подтвердите ли его при свидетелях?

— И это я обещаю.

— Останетесь спокойно здесь, пока не будет составлен этот документ, и отправитесь со мной туда, где я сочту наиболее уместным его засвидетельствовать?

— И это я сделаю, если вы настаиваете, — ответил Монкс.

— Вы должны сделать больше, — сказал мистер Браунлоу. — Возвратить имущество невинному и безобидному ребенку, ибо таков он есть, хотя и является плодом преступной и самой несчастной любви. Вы не забыли условий завещания?.. Исполните их, поскольку они касаются вашего брата, и тогда отправляйтесь куда угодно! В этом мире вам больше незачем с ним встречаться!

Пока Монкс шагал взад и вперед, размышляя с мрачным и злобным видом об этом предложении и о возможностях увильнуть от него, терзаемый, с одной стороны, опасениями, а с другой — ненавистью, дверь торопливо отперли, и в Комнату в сильнейшем волнении вошел джентльмен (мистер Лосберн).

— Этот человек будет схвачен! — воскликнул он. — Он будет схвачен сегодня вечером.

— Убийца? — спросил мистер Браунлоу.

— Да, — ответил тот. — Видели, как его собака шныряла около одного из старых притонов, и, по-видимому, нет никаких сомнений в том, что ее хозяин либо находится там, либо придет туда под покровом темноты. Там повсюду снуют сыщики. Я говорил с людьми, которым поручена его поимка, и они утверждают, что он не может ускользнуть. Сегодня вечером правительством объявлена награда в сто фунтов.

— Я дам еще пятьдесят, — сказал мистер Браунлоу, — и лично объявлю об этом там, на месте, если мне удастся туда добраться... Где мистер Мэйли?

— Гарри? Как только он увидел, что вот этот ваш приятель благополучно уселся с вами в карету, он поспешил туда, где услышал эти вести, и поскакал верхом, чтобы присоединиться к первому отряду в каком-то условленном месте на окраине.

— А Феджин? — спросил мистер Браунлоу. — Что известно о нем?

— Когда я в последний раз о нем слышал, он еще не был арестован, но его схватят, быть может уже схватили. В этом они уверены.

— Вы приняли решение? — тихо спросил Монкса мистер Браунлоу.

— Да, — ответил тот. — Вы... вы... сохраните мою тайну?

— Сохраню. Оставайтесь здесь до моего возвращения. Это единственная ваша надежда ускользнуть от опасности.

Джентльмены вышли из комнаты, и дверь была снова заперта на ключ.

— Чего вы добились? — шепотом спросил доктор.

— Всего, на что мог надеяться, и даже большего. Сообщив полученные от бедной девушки сведения, а также прежние мои сведения и результаты расследования, произведенные на месте добрым нашим другом, я не оставил ему ни одной лазейки и показал в неприкрашенном виде всю его подлость, которая в таком освещении стала, ясной, как день. Напишите и назначьте встречу послезавтра в семь часов вечера. Мы будем там на несколько часов раньше, но нам необходимо отдохнуть, в особенности молодой леди, которой, вероятно, потребуется значительно большая твердость духа, чем мы с вами можем сейчас предполагать. Но у меня кровь закипает от желания отомстить за эту бедную убитую женщину. В какую сторону они отправились?

— Поезжайте прямо в полицейское управление — и вы явитесь как раз вовремя, — ответил мистер Лосберн. — Я останусь здесь.

Джентльмены поспешно распрощались — оба были в лихорадочном возбуждении, с которым не могли справиться.

Глава L. Погоня и бегство

Неподалеку от Темзы, там, где стоит церковь в Ротерхизе и где строения на берегу самые грязные, а суда на реке самые черные от пыли угольных барж и от дыма скученных, низких домов, расположен самый грязный, самый странный, самый удивительный из всех многочисленных лондонских районов, неизвестных даже по названию огромному числу обитателей этого города.

Очутиться в этой местности путник может лишь пробравшись сквозь лабиринт тесных, узких и грязных улиц, заселенных самыми грубыми и самыми бедными из береговых жителей, где торгуют товарами, на которые здесь может оказаться спрос. Самые дешевые и невкусные продукты навалены в лавках, самые неприхотливые и грубые одежды висят у двери торговца и свешиваются с перил и из окон. Натыкаясь на безработных из числа самых неквалифицированных тружеников, на грузчиков, угольщиков, падших женщин, оборванных детей и всякий сброд с пристани, путник с трудом прокладывает себе дорогу, осаждаемый отвратительными картинами и запахами из узких переулков, ответвляющихся направо и налево, и оглушаемый грохотом тяжелых фургонов, которые развозят груды товаров из складов, попадающих на каждом углу — Выйдя, наконец, на улицы более отдаленные и менее людные, он идет мимо шатких фасадов, нависающих над тротуаром; мимо подгнивших стен, как будто качающихся, когда он проходит; мимо полуразрушенных труб, вот-вот готовых упасть, окон, защищенных ржавыми железными прутьями, изъеденными временем, — мимо всего того, что свидетельствует о невообразимой нищете и разрушении.

Вот в этих-то краях за Докхедом, в Саутуорке, находится Остров Джекоба, окруженный грязным рвом глубиной в шесть — восемь футов в часы прилива и шириной в пятнадцать — двадцать, некогда называвшимся Милл-Ронд, но в дни, относящиеся к нашему повествованию, известным как Фолли-Дитч. Эта речонка, или рукав Темзы, во время прилива всегда может наполниться водой, если открыть шлюзы у Лид-Миллс, от которой она и получила старое свое наименование. В таких случаях прохожий, глядя с одного из деревянных мостиков, переброшенных через ров у Милл-лейн, может наблюдать, как жильцы домов по обеим сторонам спускают из задних дверей и окон кадушки, ведра и всевозможную домашнюю посуду, чтобы втащить наверх воду. А если взгляд его, оторвавшись от этих операций, обратится к самим домам, то открывшаяся картина вызовет величайшее его изумление. Шаткие деревянные галереи вдоль задних стен, общие для пяти-шести домов, с дырами в полах, сквозь которые виден ил; окна, разбитые и заклеенные, с торчащими из них жердями для сушки белья, которого никогда на них нет; комнаты, такие маленькие, такие жалкие, такие тесные, что воздух кажется слишком зараженным даже для той грязи и мерзости, какую они скрывают; деревянные пристройки, нависающие над грязью и грозящие рухнуть в нее — что и случается с иными; закопченные стены и подгнивающие фундаменты; все отвратительные признаки нищеты, всякая грязь, гниль, отбросы, — это украшает берега Фолли-Дитч.

На Острове Джекоба склады стоят без крыш и пустуют, стены крошатся, окна перестали быть окнами, двери вываливаются на улицу, трубы почернели, но из них не вырывается дым. Лет тридцать — сорок назад, когда эта местность еще не знала убытков и тяжб в Канцлерском суде^[45], она процветала, но теперь это поистине заброшенный остров. У домов нет владельцев; двери выломаны. И сюда входят все, у кого хватает на это храбрости; здесь они живут, и здесь они умирают. Те, что ищут приюта на Острове Джекоба, должны иметь основательные причины для поисков тайного убежища, либо они дошли до крайней нищеты.

В верхней комнате одного из этих домов — в большом доме, не сообщавшемся с другими, полуразрушенном, но с крепкими дверями и окнами, задняя стена которого обращена была,

как описано выше, ко рву, — собралось трое мужчин, которые, то и дело бросая друг на друга взгляды, выражавшие замешательство и ожидание, сидели некоторое время в глубоком и мрачном молчании. Один был Тоби Крекит, другой — мистер Читлинг, а третий — грабитель лет пятидесяти, у которого нос был перебит во время одной из драк, а на лице виднелся страшный шрам, быть может появившийся в ту же пору. Этот человек был беглый каторжник, и звали его Кэгс.

— Хотел бы я, милейший, — сказал Тоби, обращаясь к мистеру Читлингу, — чтобы вы подыскили себе какую-нибудь другую берлогу, когда в двух старых стало слишком жарко, а не являлись бы сюда.

— Почему вы этого не сделали, болван? — спросил Кэгс.

— Я думал, что вы чуточку больше обрадуетесь, увидев меня, — меланхолически ответил мистер Читлинг.

— Видите ли, юноша, — сказал Тоби, — если человек держится так обособленно, как держался я, и, стало быть, имеет уютный дом, вокруг которого никто не шныряет и не разнюхивает, то довольно неприятно, когда его удостаивает визитом молодой джентльмен (какой бы он ни был порядочный и приятный партнер, когда есть время перекинуться в карты), находящийся в таких обстоятельствах, как вы.

— Тем более что у этого обособленного молодого человека остановился приятель, который вернулся из чужих стран раньше, чем его ждали, и слишком скромн, чтобы до возвращения своим представляться судьям, — добавил мистер Кэгс.

Последовало короткое молчание, после чего Тоби Крекит, по-видимому понимая, насколько безнадежной будет всякая попытка сохранить свой обычный бесшабашно хвастливый вид, повернулся к Читлингу и спросил:

— Так когда же забрали Феджина?

— Как раз в обеденную пору — сегодня в два часа дня. Мы с Чарли улизнули через дымоход в прачечной, а Болтер залез вниз головой в пустую бочку, но ноги у него такие чертовски длинные, что торчали из бочки, и его тоже забрали.

— А Бет?

— Бедняжка Бет! Она пошла взглянуть, кого убили, — ответил Читлинг, чье лицо вытягивалось все больше и больше, — и рехнулась: начала визжать, бесноваться, биться головой об стенку, так что на нее надели смирительную рубашку и отправили в больницу. Там она и осталась.

— Где же юный Бейтс? — спросил Кэгс.

— Где-то слоняется, чтобы не показываться здесь до темноты, но он скоро придет, — ответил Читлинг. — Теперь некуда больше идти, потому что у «Калек» всех забрали, а буфетная — я там проходил и своими глазами видел — битком набита ищейками.

— Это разгром, — кусая губы, заметил Тоби. — Многих сцапают.

— Сейчас сессия, — сказал Кэгс. — Если они закончат следствие и Болтер выдаст остальных — а он, конечно, это сделает, судя по тому, что он уже сделал, — они могут доказать участие Феджина и назначить суд на пятницу, а через шесть дней его вздернут, клянусь всеми

чертями!

— Послушали бы вы, как ревела толпа, — сказал Читлинг. — Полицейские дрались как черти, а не то его разорвали бы в клочья. Один раз его сбили с ног, но полицейские окружили его кольцом и проложили себе дорогу. Видели бы вы, как он озирался, окровавленный, весь в грязи, и цеплялся за них, как за лучших своих друзей. Я их как сейчас вижу: они едва могут устоять, так на них наваливается толпа, и тащат его за собой; как сейчас вижу — в толпе дерутся, скалят на него зубы и рвутся к нему. Как сейчас вижу кровь на его волосах и бороде и слышу крики женщин — они пробились в самую гущу толпы на углу и клялись, что вырвут у него сердце.

Потрясенный ужасом, очевидец этой сцены зажал уши руками и с закрытыми глазами встал и словно помешанный начал быстро ходить взад и вперед.

Он метался, другие двое сидели молча, уставившись в пол, как вдруг они услышали, что в дверь кто-то скребется, и в комнату вбежала собака Сайкса. Они бросились к окну, потом вниз по лестнице на улицу. Собака вскочила на подоконник открытого окна; она не последовала за ними, а хозяина ее нигде не было видно.

— Что же это значит? — сказал Тоби, когда они вернулись. — Не может быть, чтобы он шел сюда. Надеюсь, что нет.

— Если бы он шел сюда, он пришел бы с собакой, — сказал Кэгс, наклоняясь и разглядывая собаку, которая, тяжело дыша, растянулась на полу. — Послушайте, дадим-ка ей воды, она так долго бежала, что чуть жива...

— Все выпила, до последней капли, — сказал Читлинг, молча следивший за собакой. — Вся в грязи, хромает, полуослепла... должно быть, долго бежала.

— Откуда она могла взяться? — воскликнул Тоби. — Конечно, она побывала в других притонах, увидела толпу чужих людей и прибежала сюда, где частенько бывала раньше. Но с самого-то начала откуда она пришла и как очутилась здесь одна, без него?

— Не мог же он (ни один из них не называл убийцу по имени), не мог же он покончить с собой? Как вы думаете? — спросил Читлинг.

Тоби покачал головой.

— Если бы он покончил с собой, — сказал Кэгс, — собака потянула бы нас к тому месту. Нет. Я думаю, он убрался из Англии, а собаку оставил. Должно быть, как-нибудь улизнул от нее, иначе она не лежала бы так смиренно.

Это решение, казавшееся наиболее правдоподобным, было признано правильным; собака, забившись под стул, свернулась в клубок и заснула, не привлекая больше и себе внимания.

Так как уже стемнело, то закрыли ставни, зажгли свечу и поставили ее на стол. Страшные события последних двух дней произвели глубокое впечатление на всех троих, еще усилившееся вследствие угрожавшей им опасности. Они ближе сдвинули стулья, вздрагивая при каждом звуке. Говорили они мало, да и то шепотом, и так были молчаливы и запуганы, словно в соседней комнате лежало тело убитой женщины.

Так сидели они некоторое время, как вдруг внизу раздался нетерпеливый стук в дверь.

— Юный Бейтс, — сказал Кэгс, сердито оглядываясь, чтобы побороть страх, охвативший его.

Стук повторился. Нет, это был не Бейтс. Тот никогда так не стучал.

Креkit подошел к окну и, дрожа всем телом, высунул голову. Не было необходимости сообщать им, кто пришел: об этом говорило его бледное лицо. Да и собака встрепелулась и, скуля, подбежала к двери.

— Мы должны его впустить, — сказал Креkit, беря свечу.

— Неужели ничего нельзя поделать? — хриплым голосом спросил другой.

— Ничего. Он *должен войти*.

— Не оставляйте нас в темноте, — сказал Кэгс, взяв с каминной полки другую свечу; рука его так дрожала, когда он зажигал свечу, что стук повторился дважды, прежде чем он успел это сделать.

Креkit спустился к двери и вернулся в сопровождении человека, у которого нижняя часть лица была обмотана носовым платком и голова под шляпой обвязана другим платком. Он медленно их снял. Побледневшее лицо, запавшие глаза, ввалившиеся щеки, борода, отросшая за три дня, изможденный вид, короткое, хриплое дыхание — это был призрак Сайкса.

Он положил руку на спинку стула, стоявшего посреди комнаты, но, когда собирался опуститься на него, вздрогнул и, бросив взгляд через плечо, придвинул стул к стене — так близко, как только мог, — придвинул вплотную и сел.

Никто не проронил ни слова. Он молча посматривал то на одного, то на другого. Если кто-нибудь украдкой поднимал глаза и встречал его взгляд, то сейчас же отворачивался. Когда его глухой голос нарушил молчание, все трое вздрогнули. Казалось, никогда еще не слышали они этого голоса.

— Как прибежала сюда собака? — спросил он.

— Одна. Три часа назад.

— В вечерней газете пишут, что Феджина забрали. Правда это или вздор?

— Правда.

Снова замолчали.

— Будьте вы все прокляты! — воскликнул Сайкс, проводя рукой по лбу. — Нечего вам, что ли, мне сказать?

Они смущенно заерзали, но никто не заговорил.

— Вы хозяин этого дома, — сказал Сайкс, поворачиваясь лицом к Крекиту. — Собираетесь вы меня выдать или дадите мне пересидеть здесь, пока не кончилась эта охота?

— Можете оставаться здесь, если считаете безопасным, — ответил после некоторого колебания тот, к кому он обратился.

Сайкс чуть заметно повернул голову, покосился на стену у себя за спиной — и спросил:

— А что оно... тело... его похоронили?

Они ответили отрицательным жестом.

— Да почему же нет? — воскликнул он, снова бросив взгляд назад. — Чего ради держат они такую пакость на земле?.. Кто это там стучит?

Прежде чем выйти из комнаты, Крекит дал понять жестом, что опасаться нечего, и тотчас же вернулся с Чарли Бейтсом, который шел за ним по пятам. Сайкс сидел против двери, так что мальчик увидел его, едва вошел в комнату.

— Тоби! — сказал он, попятившись, когда Сайкс перевел на него взгляд. — Почему вы мне об этом не сказали там, внизу?

Было что-то столь потрясающее в боязни тех, троих, что злосчастный человек готов был заискивать даже перед этим простаком. И вот он кивнул головой и, казалось, готов был пожать ему руку.

— Проводите-ка меня в какую-нибудь другую комнату, — сказал мальчик, снова пятясь.

— Чарли, — сказал Сайкс, шагнув вперед. — Разве ты... ты меня не узнал?

— Не подходите ко мне, — отозвался тот, отступая еще дальше и с ужасом глядя в лицо убийцы. — Чудовище!

Мужчина остановился на полпути, и они посмотрели друг на друга, но глаза Сайкса медленно опустились долу.

— Будьте свидетелями вы, трое! — крикнул мальчик, потрясая сжатым кулаком и волнуясь все больше и больше по мере того, как говорил. — Будьте свидетелями вы, трое, — я не боюсь его! Если они придут сюда за ним, я его выдам, я это сделаю. Предупреждаю вас заранее. Он может убить меня за это, если вздумает или если посмеет, но если я буду здесь, я его выдам. Я бы выдал его, хотя бы его сварили заживо... Убивают! На помощь!.. Если у вас троих хватит храбрости взять одного человека, вы мне поможете... Убивают! На помощь! Держите его!..

Издавая эти вопли и сопровождая их отчаянными жестами, мальчик действительно бросился один на сильного мужчину и благодаря неистовой своей энергии и внезапности нападения, повалил его на пол.

Трое зрителей казались совершенно ошеломленными. Они не сделали попытки вмешаться, и мальчик и мужчина катались по полу: первый, невзирая на сыпавшиеся на него удары, вцепился в платье убийцы и во весь голос звал на помощь.

Однако борьба была слишком неравной, чтобы длиться долго. Сайкс подмял его под себя и придавил ему горло коленом, но Крекит оттащил его от Бейтса и с тревогой указал на окно. Внизу мелькали огни, слышались громкие голоса, торопливый топот ног — казалось, их было множество — на ближайшем мостике. По-видимому, в толпе был верховой, так как раздался стук копыт, ударявших о неровную мостовую. Блеск огней стал ярче; шум шагов становился все сильнее. Затем послышался громкий стук в дверь и такой яростный и глухой гул, что самый храбрый и тот содрогнулся бы.

— На помощь!.. — крикнул мальчик, и голос его прорезал воздух. — Он здесь. Выломайте дверь!

— Именем короля! — раздались голоса снаружи, в снова прокатился глухой рев, но еще более громкий.

— Выломайте дверь! — кричал мальчик; — Говорю вам: они никогда ее не откроют! Бегите прямо в ту комнату, где горит свет! Выломайте дверь!

Когда он умолк, удары, частые и тяжелые, обрушились на дверь и ставни нижнего этажа и громовое «ура» вырвалось у толпы, впервые давая слушателю возможность составить более или менее правильное представление о том, как велика эта толпа.

— Откройте дверь в какую-нибудь комнату, где бы я мог запереть этого визгливого чертенка! — в бешенстве крикнул Сайкс, бегая взад и вперед и волоча за собой мальчика с такой легкостью, словно это был пустой мешок. — Вот эту! Живее! — Он швырнул мальчика в комнату, заложил засов и повернул ключ. — Нижняя дверь заперта?

— На два поворота ключа и на цепь.

— А створки прочные?

— Обшиты листовым железом.

— И ставни тоже?

— Да, и ставни.

— Будьте вы прокляты! — крикнул отъявленный негодяй, поднимая оконную раму и угрожая толпе. — Делайте что хотите! Я вам еще покажу!

Из всех устрашающих воплей, когда-либо касавшихся человеческого слуха, ни один не был громче рева этой взбешенной толпы. Одни кричали тем, кто стоял ближе, чтобы они подожгли дом; другие орали полисменам, чтобы они его застрелили. В толпе никто, не проявлял такой ярости, как человек верхом на лошади, который, соскочив с седла и прорвавшись сквозь толпу, словно сквозь воду, крикнул под самым окном голосом, заглушившим все остальные:

— Двадцать гиней тому, кто принесет лестницу!

Стоявшие ближе подхватили этот крик, и сотни повторили его. Одни требовали лестниц, другие — молотов; третьи метались с факелами, возвращались и снова кричали; иные надрывались, выкрикивая беспощадные проклятья; другие с иступлением сумасшедших пробивались вперед и мешали тем, кто работал; смельчаки пытались взобраться по водосточной трубе и выбоинам в стене. И все волновались в темноте, словно колосья в поле под гневным ветром, и время от времени сливали вопли в едином громком, неистовом реве.

— Прилив! — крикнул убийца, отпрянув в комнату и опуская оконную раму. — Был прилив, когда я пришел. Дайте мне веревку, длинную веревку! Все они толпятся у фасада. Я спущусь в Фолли-Дитч и улизну. Дайте мне веревку, а не то я совершу еще три убийства и покончу с собой!

Охваченные паническим страхом, люди указали, где хранятся веревки. Убийца второпях схватил самую длинную и крепкую веревку и бросился наверх.

Все окна в задней половине дома были давно заложены кирпичом, за исключением одного оконца в той комнате, где заперли мальчика. Оно было слишком узко, чтобы он мог пролезть.

Но через это отверстие мальчик все время кричал стоявшим на улице, чтобы они охраняли дом сзади, и когда убийца выбрался, наконец, через дверцу чердака на крышу, громкий крик возвестил об этом собравшимся перед фасадом дома, и они тотчас же непрерывным потоком пустились в обход, напирая друг на друга.

Сайкс так крепко припер дверцу доской, которую нарочно захватил для этой цели, что изнутри очень трудно было ее открыть, и, пробираясь ползком по черепицам, взглянул через низкий парапет.

Вода схлынула, и рев превратился в илистое русло. На несколько мгновений толпа притихла, следя за его движением, не зная его намерений, но, угадав их и увидев, что его постигла неудача, она разразилась таким торжествующим и бешеным ревом, по сравнению с которым все прежние вопли казались шепотом. Снова и снова раздавался рев. К нему присоединялись те, кто стоял слишком далеко, чтобы уловить его значение; казалось, будто город изрыгнул сюда всех своих обитателей, чтобы проклясть этого человека.

Со стороны фасада спешили люди — вперед и вперед, — могучий, бурный поток яростных лиц, то там, то сям озаряемых пылающими факелами. В дома по ту сторону канала ворвалась толпа; в каждом окне виднелись лица; люди гроздьями лепились на каждой крыше. Каждый мостик (а отсюда видно было три моста) прогибался под тяжестью толпы. А поток людей все катился, — отыскивая какое-нибудь местечко, откуда можно было хоть на секунду увидеть негодяя и выкрикнуть какое-нибудь проклятье.

— Теперь они его поймают! — крикнул кто-то на ближайшем мосту. — Ура!

В толпе размахивали шапками. И снова поднялся крик.

— Я дам пятьдесят фунтов тому, кто захватит его живым! — крикнул старый джентльмен, появившийся на том же мосту. — Я останусь здесь, пока этот человек не придет ко мне за деньгами.

Опять раздался рев. В эту минуту в толпе пронесся слух, что дверь, наконец, взломали и тот, кто первый потребовал лестницу, поднялся в комнату. Как только это известие стало переходить из уст в уста, поток круто повернул назад; а люди у окон, видя, что народ на мостах хлынул обратно, выбежали на улицу и влились в толпу, которая беспорядочно рвалась теперь к покинутому ею месту. Толкаясь и напирая друг на друга, они неудержимо стремились к двери, чтобы взглянуть на преступника, когда полисмены будут выводить его из дома. Крики и вопли тех, кого чуть не задушили или сбили с ног и топтали в давке, были устрашающи; узкие проходы оказались запруженными; и в это время, когда одни ломились вперед, чтобы вернуться к фасаду дома, а другие тщетно пытались выбраться из толпы, внимание было отвлечено от убийцы, хотя всеобщее желание видеть его схваченным возросло, если только это было возможно.

Убийца, съежившись, присел, совершенно подавленный яростью толпы и невозможностью спастись, но, подметив эту внезапную перемену, он вскочил, решив сделать последнее усилие в борьбе за жизнь — спуститься в ров и, рискуя захлебнуться, ускользнуть в темноте и суматохе.

Обретя новую силу и энергию и подгоняемый шумом в доме, возвещавшим, что туда ворвались, он оперся ногой о дымовую трубу, крепко обвязал вокруг нее один конец веревки и руками и зубами чуть ли не в одну секунду сделал прочную подвижную петлю на другом ее конце. Он мог спуститься по веревке так, чтобы от земли его отделяло расстояние меньше его собственного роста, и — в руке он держал наготове нож, намереваясь перерезать затем

веревку и прыгнуть.

В тот самый момент, когда он накинул петлю на шею, собираясь пропустить ее под мышки, а упомянутый старый джентльмен (который крепко вцепился в перила моста, чтобы его не смяла толпа) взволнованно предупреждал стоявших вокруг, что человек готовится спуститься в ров, — в этот самый момент убийца, бросив взгляд назад, на крышу, поднял руки над головой и вскрикнул от ужаса.

— Опять эти глаза! — вырвался у него нечеловеческий вопль.

Шатаясь, словно пораженный молнией, он потерял равновесие и упал через парапет. Петля была у него на шее. От его тяжести она натянулась, как тетива; точно стрела, сорвавшаяся с нее, он пролетел тридцать пять футов. Тело его резко дернулось, страшная судорога свела руки и ноги, и он повис, сжимая в коченеющей руке раскрытый нож.

Старая труба дрогнула от толчка, но доблестно устояла. Убийца висел безжизненный у стены, а мальчик, отталкивая раскачивающееся тело, заслонявшее ему оконце, молил ради Господа выпустить его.

Собака, до той поры где-то прятаясь, бегала с заунывным воем взад и вперед по парапету и вдруг прыгнула на плечи мертвеца. Промаяхнувшись, она полетела в ров, перекувырнулась в воздухе и, ударившись о камень, разможила себе голову.

Глава II, дающая объяснение некоторых тайн и включающая брачное предложение без всяких упоминаний о закреплении части имущества за женой и о деньгах на булавки

Всего лишь два дня спустя после событий, изложенных в предыдущей главе, в три часа пополудни Оливер сидел в дорожной карете, быстро мчавшей его к родному городу. С ним ехали миссис Мэйли, Роз, миссис Бэдуин и добряк доктор, а в почтовой карете следовал мистер Браунлоу в сопровождении еще одного человека, чье имя не было названо.

Дорогой они разговаривали мало, ибо от волнения и неизвестности Оливер не мог собраться с мыслями и почти лишился дара речи; по-видимому, его спутники в равной степени разделяли это волнение. Мистер Браунлоу очень осторожно ознакомил его и обеих леди с показаниями, вырванными у Монкса, и хотя они знали, что целью их настоящего путешествия является завершение дела, так удачно начатого, однако все происходящее было настолько окутано таинственностью, что они испытывали сильнейшее беспокойство.

Тот же добрый друг с помощью мистера Лосберна позаботился, чтобы к ним не просочилось никаких сведений о случившихся недавно ужасных событиях. «Разумеется, — сказал он, — в скором времени им придется узнать о них, но, пожалуй, лучше будет, если они узнают не теперь; хуже, во всяком случае, быть не может».

Итак, ехали они молча. Каждый был погружен в размышления о том, что свело их вместе, и ни один не был расположен высказывать вслух мысли, осаждавшие всех.

Но если Оливер под влиянием таких впечатлений молчал, пока они ехали к месту его рождения дорогой, которую он никогда не видел, зато какой поток воспоминаний увлек его в былые времена и какие чувства проснулись у него в груди, когда они свернули на ту дорогу, по

которой он шел пешком, бедный, бездомный мальчик-бродяга, не имеющий ни друга, который бы помог ему, ни крова, где можно приклонить голову.

— Видите, вон там! Там! — воскликнул Оливер, с волнением схватив за руку Роз и показывая в окно кареты. — Вон тот перелаз, где я перебрался; вон та живая изгородь, за которой я крался, боясь, как бы кто-нибудь меня не догнал и не заставил вернуться. А там тропинка через поля, ведущая к старому дому, где я жил, когда был совсем маленьким. Ах, Дик, Дик, мой милый старый друг, как бы я хотел тебя увидеть!

— Ты его скоро увидишь, — отозвалась Роз, ласково сжимая его стиснутые руки. — Ты ему скажешь, как ты счастлив и каким стал богатым; скажешь, что никогда еще не был так счастлив, как теперь, когда вернулся сюда, чтобы и его сделать счастливым!

— О да! — подхватил Оливер. — И мы... мы увезем его отсюда, оденем его, будем учить, пошлем в какое-нибудь тихое местечко в деревне, где он окрепнет и выздоровеет, да?

Роз ответила только кивком: мальчик так радостно улыбался сквозь слезы, что она не могла говорить.

— Вы будете ласковы и добры к нему, потому что со всеми вы такая, — сказал Оливер. — Я знаю, вы заплачете, слушая его рассказ; но ничего, ничего, все это пройдет, и вы опять начнете улыбаться — я это тоже знаю, — когда увидите, как он изменится... Так отнеслись вы и ко мне... Он мне сказал: «Да благословит тебя Бог», — когда я решился бежать! — с умилением воскликнул мальчик. — А теперь я скажу: «Да благословит тебя Бог», — и докажу ему, как я люблю его.

Когда они достигли, наконец, города и ехали узкими его улицами, оказалось нелегко удержать мальчика в пределах благоразумия. Здесь было заведение гробовщика Саурбери, точь-в-точь такое же, как и в прежние времена, только не такое большое и внушительное, каким оно ему запомнилось; здесь были хорошо знакомые лавки и дома, — чуть ли не с каждым из них он связывал какое-нибудь маленькое происшествие; здесь была повозка Гэмфилда — та самая, что и прежде, — и стояла она у двери старого трактира; здесь был работный дом, мрачная тюрьма его детства, с унылыми окнами, хмуро обращенными к улице; здесь был все тот же тощий привратник у ворот, при виде которого Оливер отпрянул, а потом сам засмеялся над своей глупостью, потом заплакал, потом снова засмеялся. В дверях и окнах он видел десятки знакомых людей; здесь почти все осталось по-прежнему, словно он только вчера покинул эти места, а та жизнь, какую он вел последнее время, была лишь счастливым сном. Однако это была подлинная, радостная действительность.

Они подъехали прямо к подъезду главной гостиницы (на которую Оливер смотрел, бывало, с благоговением, считая ее великолепным дворцом, но которая утратила часть своего великолепия и внушительности). Здесь уже ждал их мистер Гримуиг, поцеловавший молодую леди, а также и старую, когда они вышли из кареты, словно приходился дедушкой всей компании, — мистер Гримуиг, расплывавшийся в улыбках, приветливый и не выражавший желания съесть свою голову, — да, ни разу, даже когда поспорил с очень старым фореитором о кратчайшем пути в Лондон и уверял, что он лучше знает, хотя только один раз ехал этой дорогой, да и то крепко спал. Их ждал обед, спальни были приготовлены, и все устроено, словно по волшебству.

И все же, когда по прошествии получаса суматоха улеглась, снова наступило то неловкое молчание, которое сопровождало их путешествие. За обедом мистер Браунлоу не присоединился к ним и оставался в своей комнате. Два других джентльмена то приходили

торопливо, то уходили с взволнованными лицами, а в те короткие промежутки времени, пока находились здесь, беседовали друг с другом в сторонке.

Один раз вызвали миссис Мэйли, и после часового отсутствия она вернулась с опухшими от слез глазами. Все это породило беспокойство и растерянность у Роз и Оливера, которые не были посвящены в новые тайны. В недоумении они сидели молча либо, если обменивались несколькими словами, говорили шепотом, словно боялись услышать звук собственного голоса.

Наконец, когда пробило девять часов и они начали подумывать, что сегодня вечером им ничего больше не придется узнать, в комнату вошли мистер Лосберн и мистер Гримуиг в сопровождении мистера Браунлоу и человека, при виде которого Оливер чуть не вскрикнул от изумления: его предупредили, что придет его брат, а это был тот самый человек, которого он встретил в городе, где базар, и видел, когда тот вместе с Феджином заглядывал в окно его маленькой комнатки. Монкс бросил на пораженного мальчика взгляд, полный ненависти, которую даже теперь не мог скрыть, и сел у двери. Мистер Браунлоу, державший в руке какие-то бумаги, подошел к столу, у которого сидели Роз и Оливер.

— Это тягостная обязанность, — сказал он, — но заявления, подписанные в Лондоне в присутствии многих джентльменов, должны быть в основных чертах повторены здесь. Я бы хотел избавить вас от унижения, но мы должны услышать их из ваших собственных уст, прежде чем расстанемся. Причина вам известна.

— Продолжайте, — отвернувшись, сказал тот, к кому он обращался. — Поторопитесь. Думаю, я сделал почти все, что требуется. Не задерживайте меня здесь.

— Этот мальчик, — сказал мистер Браунлоу, притянув к себе Оливера и положив руку ему на голову, — ваш единокровный брат, незаконный сын вашего отца, дорогого моего друга Эдвина Лифорда, и бедной юной Агнес Флеминг, которая умерла, дав ему жизнь.

— Да, — отозвался Монкс, бросив хмурый взгляд на трепещущего мальчика, у которого сердце билось так, что он мог услышать его биение. — Это их незаконнорожденный ублюдок.

— Вы позволяете себе оскорблять тех, — сурово сказал мистер Браунлоу, — кто давно ушел в иной мир, где бессильны наши жалкие осуждения. Оно не навлекает позора ни на одного живого человека, за исключением вас, воспользовавшегося им. Не будем об этом говорить... Он родился в этом городе.

— В здешнем работном доме, — последовал угрюмый ответ. — У вас там записана эта история. — С этими словами он нетерпеливо указал на бумаги.

— Вы должны сейчас ее повторить, — сказал мистер Браунлоу, окинув взглядом слушателей.

— Ну так слушайте! — воскликнул Монкс. — Когда его отец заболел в Риме, к нему приехала жена, моя мать, с которой он давно разошелся. Она выехала из Парижа и взяла меня с собой — мне кажется, она хотела присмотреть за его имуществом, так как сильной любви она к нему отнюдь не питала, так же как и он к ней. Нас он не узнал, потому что был без сознания и не приходил в себя вплоть до следующего дня, когда он умер. Среди бумаг у него в столе мы нашли пакет, помеченный вечером того дня, когда он заболел, и адресованный на ваше имя, — повернулся он к мистеру Браунлоу. — На конверте была короткая приписка, в которой он просил вас после его смерти переслать этот пакет по назначению. В нем лежали две бумаги — письмо к этой девушке — Агнес — и завещание.

— Что вы можете сказать о письме? — спросил мистер Браунлоу.

— О письме?.. Лист бумаги, в котором многое было замарано, с покаянным признанием и молитвами Богу о помощи ей. Он одурачил девушку сказкой, будто какая-то загадочная тайна, которая в конце концов должна раскрыться, препятствует в настоящее время его бракосочетанию с ней, и она жила, терпеливо доверяясь ему, пока ее доверие не зашло слишком далеко и она не утратила то, чего никто не мог ей вернуть. В то время ей оставалось всего несколько месяцев до родов. Он поведал ей обо всем, что намеревался сделать, чтобы скрыть ее позор, если будет жив, и умолял ее, если он умрет, не проклинать его памяти и не думать о том, что последствия их греха падут на нее или на их младенца, ибо вся вина лежит на нем. Он напоминал о том дне, когда подарил ей маленький медальон и кольцо, на котором было выгравировано ее имя и оставлено место для того имени, какое он надеялся когда-нибудь ей дать; умолял ее хранить медальон и носить на сердце, как она это делала раньше, а затем снова и снова повторял бессвязно все те же слова, как будто лишился рассудка. Думаю, так оно и было.

— А завещание? — задал вопрос мистер Браунлоу.

Оливер заливался слезами. Монкс молчал.

— Завещание, — заговорил вместо него мистер Браунлоу, — было составлено в том же духе, что и письмо. Он писал о несчастьях, какие навлекла на него его жена, о строптивом нраве, порочности, злобе, о том, что уже с раннего детства проявились дурные страсти у вас, его единственного сына, которого научили ненавидеть его, и оставил вам и вашей матери по восемьсот фунтов годового дохода каждому. Все остальное свое имущество он разделил на две равные части: одну для Агнес Флеминг, другую для ребенка, если он родится живым и достигнет совершеннолетия. Если бы родилась девочка, она должна была унаследовать деньги безоговорочно; если мальчик, то лишь при условии, что до совершеннолетия он не запятнает своего имени никаким позорным, бесчестным, подлым или порочным поступком. По его словам, он сделал это, чтобы подчеркнуть свое доверие к матери и свое убеждение, укрепившееся с приближением смерти, что ребенок унаследует ее кроткое сердце и благородную натуру. Если бы он обманулся в своих ожиданиях, деньги перешли бы к вам; ибо тогда — и только тогда, когда оба сына были бы равны, — соглашался он признать, что права притязать на его кошелек в первую очередь имеете вы, который никогда не притязал на его сердце, но еще в раннем детстве оттолкнул его своей холодностью и злобой.

— Моя мать, — повысив голос, сказал Монкс, — сделала то, что сделала бы любая женщина. Она сожгла это завещание. Письмо так и не достигло места своего назначения; но и письмо и другие доказательства она сохранила на случай, если эти люди когда-нибудь попытаются скрыть пятно позора. Отец девушки узнал от нее правду со всеми преувеличениями, какие могла подсказать ее жестокая ненависть, — за это я люблю ее теперь. Под гнетом стыда и бесчестия он бежал со своими детьми в самый отдаленный уголок Уэльса, переменив даже свою фамилию, чтобы друзья не могли отыскать его убежище; и здесь, спустя некоторое время, его нашли мертвым в постели. За несколько недель до этого девушка тайком ушла из дому; он искал ее, бродя по окрестным городам и деревням. В ту самую ночь, когда он вернулся домой, уверенный, что она покончила с собой, чтобы скрыть свой и его позор, его старое сердце разорвалось.

Наступило короткое молчание, после которого мистер Браунлоу продолжал рассказ.

— По прошествии многих лет, — сказал он, — мать этого человека — Эдуарда Лифорда — явилась ко мне. Он покинул ее, когда ему было только восемнадцать лет; похитил у нее драгоценности и деньги; играл в азартные игры, швырял деньгами, не останавливался перед мошенничеством и бежал в Лондон, где в течение двух лет поддерживал связь с самыми

гнусными подонками общества. Она страдала мучительным и неизлечимым недугом и хотела отыскать его перед смертью. Начато было дознание, и предприняты самые тщательные поиски. Долгое время они были безрезультатны, но в конце концов увенчались успехом, и он вернулся с матерью во Францию.

— Там она умерла после долгой болезни, — продолжал Монкс, — и на смертном одре завещала мне эти тайны, а также неутолимую и смертельную ненависть ко всем, кого они касались, — хотя ей незачем было завещать ее мне, потому что эту ненависть я унаследовал гораздо раньше. Она отказывалась верить, что девушка покончила с собой, а стало быть и с ребенком, и не сомневалась, что родился мальчик и этот мальчик жив. Я поклялся ей затравить его, если он когда-нибудь появится на моем пути; не давать ему ни минуты покоя; преследовать его с самой, неукротимой жестокостью; излить на него всю сжигающую меня ненависть и, если сумею, притащить его к самому подножию виселиц, и тем посмеяться над оскорбительным завещанием отца. Она была права. Он появился, наконец, на моем пути. Я начал хорошо, и, не будь этих болтливых шлюх, я бы кончил так же, как начал!

Когда негодяй скрестил руки и в бессильной злобе стал вполголоса проклинать самого себя, мистер Браунлоу повернулся к потрясенным слушателям и пояснил, что еврей, старый сообщник и доверенное лицо Монкса, получил большое вознаграждение за то, чтобы держать в сетях Оливера, причем часть этого вознаграждения надлежало возвратить в случае, если тому удастся спастись, и что спор, возникший по этому поводу, повлек за собой их посещение загородного дома с целью опознать мальчика.

— Медальон и кольцо? — сказал мистер Браунлоу, поворачиваясь к Монксу.

— Я их купил, у мужчины и женщины, о которых говорил вам, а они украли их у сиделки, которая сияла их с трупа, — не поднимая глаз, ответил Монкс. — Вам известно, что случилось с ними.

Мистер Браунлоу кивнул мистеру Гримуигу, который, стремительно выбежав из комнаты, вскоре вернулся, подталкивая вперед миссис Бамбл и таща за собою упирающегося супруга.

— Уж не обманывают ли меня глаза, или это в самом деле маленький Оливер? — воскликнул мистер Бамбл с явно притворным восторгом. — Ах, Оливер, если бы ты знал, как я горевал о тебе!..

— Придержи язык, болван! — пробормотала миссис Бамбл.

— Это голос природы, природы, миссис Бамбл! — возразил надзиратель работного дома. — Неужели я не могу расчувствоваться — я, воспитавший его по-приходски, — когда вижу, как он восседает здесь среди леди и джентльменов самой приятнейшей наружности! Я всегда любил этого мальчика, как будто он приходился мне родным... родным дедушкой, — продолжал мистер Бамбл, запнувшись и подыскивая удачное сравнение. — Оливер, дорогой мой, ты помнишь того достойного джентльмена в белом жилете? Ах, Оливер, на прошлой неделе он отошел на небо в дубовом гробу с ручками накладного серебра.

— Довольно, сэр! — резко сказал мистер Гримуиг. — Сдержите свои чувства.

— Постараюсь по мере сил, сэр, — ответил мистер Бамбл. — Как поживаете, сэр? Надеюсь, — вы в добром здравье.

Это приветствие было обращено к мистеру Браунлоу, который остановился в двух шагах от почтенной четы. Он спросил, указывая на Монкса:

— Знаете ли вы этого человека?

— Нет, — решительно ответила Миссис Бамбл.

— Быть может, и вы не знаете? — сказал мистер Браунлоу, обращаясь к ее супругу.

— Ни разу в жизни его не видел, — сказал мистер Бамбл.

— И, может быть, ничего ему не продавали?

— Ничего, — ответила миссис Бамбл.

— И, может быть, у вас никогда не было золотого медальона и кольца? — сказал мистер Браунлоу.

— Конечно, не было! — ответила надзирательница. — Зачем нас привели сюда и заставляют отвечать на такие дурацкие вопросы?

Снова мистер Браунлоу кивнул мистеру Гримуигу, и снова сей джентльмен с величайшей готовностью вышел, прихрамывая. На этот раз его сопровождали не дородный мужчина с женой, а две параличных женщины, которые шли, трясясь и шатаясь.

— Вы закрыли дверь, когда умирала старая Салли, — сказала шедшая впереди, поднимая высохшую руку, — во вы не могли заглушить звуки и заткнуть щели.

— Вот, вот, — сказала вторая, озираясь и двигая беззубыми челюстями. — Вот... вот...

— Мы слышали, как Салли пыталась рассказать вам, что она сделала, и видели, как вы взяли у нее из рук бумагу, а на следующий день мы проследили вас до лавки ростовщика, — сказала первая.

— Вот, вот! — подтвердила вторая. — Медальон и золотое кольцо. Мы это разузнали и видели, как вам их отдали. Мы были поблизости, да поблизости!

— И мы еще больше знаем, — продолжала первая. — Много времени назад мы слышали от нее о том, как молодая мать сказала, что направлялась к могиле отца ребенка, чтобы там умереть: когда ей стало плохо, она почувствовала, что ей не остаться в живых.

— Не желаете ли повидать самого ростовщика? — спросил мистер Гримуиг, направившись к двери.

— Нет! — ответила миссис Бамбл. — Если он, — она указала на Монкса, — струсил и признался, — вижу, что он это сделал, — а вы расспрашивали всех этих ведьм, пока не нашли подходящих, мне нечего больше сказать. Да, я продала эти вещи, и сейчас они там, откуда вы их никогда не добудете! Что дальше?

— Ничего, — отозвался мистер Браунлоу. — За одним исключением: нам остается позаботиться о том, чтобы вы оба не занимали больше должностей, требующих доверия. Уходите!

— Надеюсь... — сказал мистер Бамбл, с великим унынием посматривая вокруг, когда мистер Гримуиг вышел с двумя старухами, — надеюсь, эта злополучная, ничтожная случайность не лишит меня моего поста в приходе?

— Разумеется, лишит, — ответил мистер Браунлоу. — С этим вы должны примириться и

вдобавок почитать себя счастливым.

— Это все миссис Бамбл! Она настаивала на этом, — упорствовал мистер Бамбл, оглянувшись сначала, дабы удостовериться, что спутница его жизни покинула комнату.

— Это не оправдание! — возразил мистер Браунлоу. — Эти вещицы были уничтожены в вашем присутствии, и по закону вы еще более виновны, ибо закон полагает, что ваша жена действует по вашим указаниям.

— Если закон это полагает, — сказал мистер Бамбл, выразительно сжимая обеими руками свою шляпу, — стало быть, закон — осел... идиот! Если такова точка зрения закона, значит закон — холостяк, и наихудшее, что я могу ему пожелать, — это чтобы глаза у него раскрылись благодаря опыту... благодаря опыту!..

Повторив последние два слова с энергическим ударением, мистер Бамбл плотно нахлобучил шляпу и, засунув руки в карманы, последовал вниз по лестнице за подругой своей жизни.

— Милая леди, — сказал мистер Браунлоу, обращаясь к Роз, — дайте мне вашу руку. Не надо дрожать. Вы можете без страха выслушать те последние несколько слов, какие нам осталось сказать.

— Если они... я не допускаю этой возможности, но если они имеют... какое-то отношение ко мне, — сказала Роз, — прошу вас, разрешите мне выслушать их в другой раз. Сейчас у меня не хватит ни сил, ни мужества.

— Нет, — возразил старый джентльмен, продевая ее руку под свою, — я уверен, что у вас хватит твердости духа... Знаете ли вы эту молодую леди, сэр?

— Да, — ответил Монкс.

— Я никогда не видела вас, — слабым голосом сказала Роз.

— Я вас часто видел, — произнес Монкс.

— У отца несчастной Агнес было две дочери, — сказал мистер Браунлоу. — Какова судьба другой — маленькой девочки?

— Девочку, — ответил Монкс, — когда ее отец умер в чужом месте, под чужой фамилией, не оставив ни письма, ни клочка бумаги, которые дали бы хоть какую-то нить, чтобы отыскать его друзей или родственников, — девочку взяли бедняки-крестьяне, воспитавшие ее, как родную.

— Продолжайте, — сказал мистер Браунлоу, знаком приглашая миссис Мэйли подойти ближе. — Продолжайте!

— Вам бы не найти того места, куда удалились эти люди, — сказал Монкс, — но там, где терпит неудачу дружба, часто пробивает себе путь ненависть. Моя мать нашла это место после искусных поисков, длившихся год, — и нашла девочку.

— Она взяла ее к себе?

— Нет. Эти люди были бедны, и им начало надоедать — во всяком случае, мужу — их похвальное человеколюбие; поэтому моя мать оставила ее у них, дав им небольшую сумму денег, которой не могло хватить надолго, и обещала выслать еще, чего отнюдь не намеревалась

делать. Впрочем, она не совсем полагалась на то, что недовольство и бедность сделают девочку несчастной, И рассказала этим людям о позоре ее сестры с теми изменениями, какие считала нужными, просила их хорошенько присматривать за девочкой, так как у нее дурная кровь, и сказала им, что она незаконнорожденная и рано или поздно несомненно сойдет с пути. Все это подтверждалось обстоятельствами; эти люди поверили. И ребенок влачил существование достаточно жалкое, чтобы удовлетворить даже нас, но случайно одна леди, вдова, проживавшая в то время в Честере, увидела девочку, почувствовала к ней сострадание и взяла ее к себе. Мне кажется, против нас действовали какие-то проклятые чары, потому что, несмотря на все наши усилия, она осталась у этой леди и была счастлива. Года два-три назад я потерял ее из виду и снова встретил всего за несколько месяцев до этого дня.

— Вы видите ее сейчас?

— Да. Она опирается о вашу руку.

— Но она по-прежнему моя племянница, — воскликнула миссис Мэйли, обнимая слабеющую девушку, — она по-прежнему мое дорогое дитя! Ни за какие блага в мире не рассталась бы я с ней теперь: это моя милая, родная девочка!

— Единственный мой друг! — воскликнула Роз, прижимаясь к ней. — Самый добрый, самый лучший из друзей! У меня сердце разрывается. Я не в силах все это вынести!

— Ты вынесла больше и, несмотря ни на что, оставалась всегда самой милой и кроткой девушкой, делавшей счастливыми всех, кого ты знала, — нежно обнимая ее, сказала миссис Мэйли. — Полно, полно, дорогая моя! Подумай о том, кому не терпится заключить тебя в свои объятия! Взгляни сюда... посмотри, посмотри моя милая!

— Нет, она мне не тетя! — вскричал Оливер, обвивая руками ее шею. — Я никогда не буду называть ее тетей!.. Сестра... моя дорогая сестра, которую почему-то я сразу так горячо полюбил! Роз, милая, дорогая Роз!

Да будут священы эти слезы и те бессвязные слова, какими обменялись сироты, заключившие друг друга в долгие, крепкие объятия! Отец, сестра и мать были обретены и потеряны в течение одного мгновения. Радость и горе смешались в одной чаше, но это не были горькие слезы; ибо сама скорбь была такой смягченной и окутанной такими нежными воспоминаниями, что, перестав быть мучительной, превратилась в торжественную радость.

Долго-долго оставались они вдвоем. Наконец, тихий стук возвестил о том, что кто-то стоит за дверью. Оливер открыл дверь, выскользнул из комнаты и уступил место: Гарри Мэйли.

— Я знаю все! — сказал он, садясь рядом с прелестной девушкой. — Дорогая Роз, я знаю все!.. Я здесь не случайно, — добавил он после долгого молчания. — И обо всем этом я, услышал не сегодня, я это узнал вчера — только вчера... Вы догадываетесь, что я пришел напомнить вам об одном обещании?

— Подождите, — сказала Роз. — Вы знаете все?

— Все... Вы разрешили мне в любое время в течение года вернуться к предмету нашего последнего разговора.

— Разрешила.

— Не ради того, чтобы заставить вас изменить свое решение, — продолжал молодой человек, —

но чтобы выслушать, как вы его повторите, если пожелаете. Я должен был положить к вашим ногам то положение в обществе и то состояние, какие могли у меня быть, и если бы вы не отступили от первоначального своего решения, я взял на себя обязательство не пытаться ни словом, ни делом его изменить.

— Те самые причины, какие влияли на меня тогда, будут влиять на меня и теперь, — твердо сказала Роз. — Если есть у меня твердое и неуклонное чувство долга по отношению к той, чья доброта спасла меня от нищеты и страданий, то могло ли оно быть когда-нибудь сильнее, чем сегодня?.. Это борьба, — добавила Роз, — но я буду с гордостью ее вести. Это боль, но ее мое сердце перенесет.

— Разоблачения сегодняшнего вечера... — начал Гарри.

— Разоблачения сегодняшнего вечера, — мягко повторила Роз, — не изменяют моего положения.

— Вы ожесточаете свое сердце против меня, Роз, — возразил влюбленный.

— Ах, Гарри, Гарри! — залившись слезами, сказала молодая леди. — Хотелось бы мне, чтобы я могла это сделать и избавить себя от такой муки!

— Зачем же причинять ее себе? — сказал Гарри, взяв ее руку. — Подумайте, дорогая Роз, подумайте о том, что вы слышали сегодня вечером.

— А что я слышала? Что я слышала? — воскликнула Роз. — Сознание, что он обещан, так повлияло на моего отца, что он бежал от всех... Вот что я слышала! Довольно... достаточно сказано, Гарри, достаточно сказано!

— Еще нет! — сказал молодой человек, удерживая ее, когда она встала. — Мои надежды, желания, виды на будущее, чувства, каждая мысль — все, за исключением моей любви к вам, претерпело изменения. Я не предлагаю вам теперь почетного положения в суетном свете, я не предлагаю вам общаться с миром злобы и унижений, где честного человека заставляют краснеть отнюдь не из-за подлинного бесчестия и позора... Я предлагаю свой домашний очаг — сердце и домашний очаг, — да, дорогая Роз, и только это, только это я и могу вам предложить.

— Что вы хотите сказать? — запинаясь, выговорила Роз.

— Я хочу сказать только одно: когда я расстался с вами в последний раз, я вас покинул с твердой решимостью сравнять с землей все воображаемые преграды между вами и мной. Я решил, что, если мой мир не может быть вашим, я сделаю ваш мир своим; я решил, что ни один из тех, кто чванится своим происхождением, не будет презрительно смотреть на вас, ибо я отвернусь от них. Это я сделал. Те, которые отшатнулись от меня из-за этого, отшатнулись от вас и доказали, что в этом смысле вы были правы. Те покровители, власть имущие, и те влиятельные и знатные родственники, которые улыбались мне тогда, смотрят теперь холодно. Но есть в самом преуспевающем графстве Англии веселые поля и колеблемые ветром рощи, а близ одной деревенской церкви — моей церкви. Роз, моей! — стоит деревенский коттедж, и вы можете заставить меня гордиться им в тысячу раз больше, чем всеми надеждами, от которых я отрекся. Таково теперь мое положение и звание, и я их кладу к вашим ногам.

— Пренеприятная штука — ждать влюбленных к ужину! — сказал мистер Гримуиг, просыпаясь и сдергивая с головы носовой платок.

По правде говоря, ужин откладывали возмутительно долго... Ни миссис Мэйли, ни Гарри, ни

Роз (которые вошли все вместе) ничего не могли сказать в оправдание.

— У меня было серьезное намерение съесть сегодня вечером свою голову, — сказал мистер Гримуиг, — так как я начал подумывать, что ничего другого не получу. С вашего разрешения, я беру на себя смелость поцеловать невесту.

Не теряя времени, мистер Гримуиг привел эти слова в исполнение и поцеловал зарумянившуюся девушку, а его примеру, оказавшемуся заразительным, последовали и доктор и мистер Браунлоу. Кое-кто утверждает, что Гарри Мэйли первый подал пример в соседней комнате, но наиболее авторитетные лица считают это явной клеветой, так как он молод и к тому же священник.

— Оливер, дитя мое, — сказала миссис Мэйли, — где ты был и почему у тебя такой печальный вид? Вот и сейчас ты плачешь. Что случилось?

Наш мир — мир разочарований, и нередко разочарований в тех надеждах, какие мы больше всего лелеем, и в надеждах, которые делают великую честь нашей природе.

Бедный Дик умер!

Глава LII. Последняя ночь Феджина

Снизу доверху зал суда был битком набит людьми. Испытующие, горящие нетерпением глаза заполняли каждый дюйм пространства. От перил перед скамьей подсудимых и вплоть до самого тесного и крохотного уголка на галерее все взоры были прикованы к одному человеку — Феджину, — перед ним, сзади него, вверху, внизу, справа и слева; он, казалось, стоял окруженный небосводом, усеянным сверкающими глазами.

Он стоял в лучах этого живого света, одну руку опустив на деревянную перекладину перед собой, другую — поднес к уху и вытягивая шею, чтобы отчетливее слышать каждое слово, срывавшееся с уст председательствующего судьи, который обращался с речью к присяжным. Иногда он быстро переводил на них взгляд, стараясь подметить впечатление, произведенное каким-нибудь незначительным, почти невесомым доводом в его пользу, а когда обвинительные пункты излагались с ужасающей ясностью, посматривал на своего адвоката с немой мольбой, чтобы тот хоть теперь сказал что-нибудь в его защиту. Если не считать этих проявлений тревоги, он не шевельнул ни рукой, ни ногой. Вряд ли он сделал хоть одно движение с самого начала судебного разбирательства, и теперь, когда судья умолк, он оставался в той же напряженной позе, выражавшей глубокое внимание, и не сводил с него глаз, словно все еще слушал.

Легкая суeta в зале заставила его опомниться. Оглянувшись, он увидел, что присяжные придвинулись друг к другу, чтобы обсудить приговор. Когда его взгляд блуждал по галерее, он мог наблюдать, как люди приподнимаются, стараясь разглядеть его лицо; одни торопливо подносили к глазам бинокль, другие с видом, выражающим омерзение, шептали что-то соседям. Были здесь немногие, которые как будто не обращали на него внимания и смотрели только на присяжных, досадливо недоумевая, как могут они медлить. Но ни на одном лице — даже у женщин, которых здесь было множество, не прочел он ни малейшего сочувствия, ничего, кроме всепоглощающего желания услышать, как его осудят.

Когда он все это заметил, бросив вокруг растерянный взгляд, снова наступила мертвая тишина, и, оглянувшись, он увидел, что присяжные повернулись к судье. Тише!

Но они просили только разрешения удалиться. Он пристально всматривался в их лица, когда один за другим они выходили, как будто надеялся узнать, к чему склоняется большинство; но это было тщетно. Тюремщик тронул его за плечо. Он машинально последовал за ним с помоста и сел на стул. Стул указал ему тюремщик, иначе он бы его не увидел.

Снова он поднял глаза к галерее. Кое-кто из публики закусывал, а некоторые обмахивались носовыми платками, так как в переполненном зале было очень жарко. Какой-то молодой человек зарисовывал его лицо в маленькую записную книжку. Он задал себе вопрос, есть ли сходство, и, словно был праздным зрителем, смотрел на художника, когда тот сломал карандаш и очинил его перочинным ножом.

Когда он перевел взгляд на судью, в голове у него закопошились мысли о покрое его одежды, о том, сколько она стоит и как он ее надевает. Одно из судейских кресел занимал старый толстый джентльмен, который с полчаса назад вышел и сейчас вернулся. Он задавал себе вопрос, уходил ли этот человек обедать, что было у него на обед и где он обедал, и предавался этим пустым размышлениям, пока какой-то другой человек не привлёк его внимания и не вызвал новых размышлений.

Однако в течение всего этого времени его мозг ни на секунду не мог избавиться от гнетущего, ошеломляющего сознания, что у ног его разверзлась могила; оно не покидало его, но это было смутное, неопределенное представление, и он не мог на нем сосредоточиться. Но даже сейчас, когда он дрожал и его бросало в жар при мысли о близкой смерти, он принялся считать железные прутья перед собой и размышлять о том, как могла отломиться верхушка одного из них и починят ли ее или оставят такой, какая есть. Потом он вспомнил обо всех ужасах виселицы и эшафота и вдруг отвлекся, следя за человеком, кропившим пол водой, чтобы охладить его, а потом снова задумался.

Наконец, раздался возглас, призывающий к молчанию, и все, затаив дыхание, устремили взгляд на дверь. Присяжные вернулись и прошли мимо него. Он ничего не мог угадать по их лицам: они были словно каменные. Спустилась глубокая тишина... ни шороха... ни вздоха... Виновен!

Зал огласился страшными криками, повторявшимися снова и снова, а затем эхом прокатился громкий рев, который усиливался, нарастая, как грозные раскаты грома. То был взрыв радости толпы, ликующей перед зданием суда при вести о том, что он умрет в понедельник.

Шум утих, и его спросили, имеет ли он что-нибудь сказать против вынесенного ему смертного приговора. Он принял прежнюю напряженную позу и пристально смотрел на вопрошавшего; но вопрос повторили дважды, прежде чем Феджин его расслышал, а тогда он пробормотал только, что он — старик... старик... старик... и, понизив голос до шепота, снова умолк.

Судья надел черную шапочку, а осужденный стоял все с тем же видом и в той же позе. У женщин на галерее вырвалось восклицание, вызванное этим страшным и торжественным моментом. Феджин быстро поднял глаза, словно рассерженный этой помехой, и с еще большим вниманием наклонился вперед. Речь, обращенная к нему, была торжественна и внушительна; приговор страшно было слушать. Но он стоял, как мраморная статуя: ни один мускул не дрогнул. Его лицо с отвисшей нижней челюстью и широко раскрытыми глазами было изможденным, и он все еще вытягивал шею, когда тюремщик положил ему руку на плечо и поманил его к выходу. Он тупо посмотрел вокруг и повиновался.

Его повели через комнату с каменным полом, находившуюся под залом суда, где одни арестанты ждали своей очереди, а другие беседовали с друзьями, которые толпились у

решетки, выходявшей на открытый двор. Не было никого, кто бы поговорил с ним; но когда он проходил мимо, арестованные расступились, чтобы не заслонять его от тех, кто прильнул к прутьям решетки, а те осыпали его ругательствами, кричали и свистели. Он погрозил кулаком и хотел плюнуть на них, но сопровождающие увлекли его мрачным коридором, освещенным несколькими тусклыми лампами, в недра тюрьмы.

Здесь его обыскали — нет ли при нем каких-нибудь средств, которые могли бы предварить исполнение приговора; по совершении этой церемонии его отвели в одну из камер для осужденных и оставили здесь одного.

Он опустился на каменную скамью против двери, служившую стулом и ложем, и, уставившись налитыми кровью глазами в пол, попытался собраться с мыслями. Спустя некоторое время он начал припоминать отдельные, не связанные между собой фразы из речи судьи, хотя тогда ему казалось, что он ни слова не может расслышать. Постепенно они расположились в должном порядке, — а за ними пришли и другие. Вскоре он восстановил почти всю речь. Быть повешенным, за шею, пока не умрет, — таков был приговор. Быть повешенным за шею, пока не умрет.

Когда совсем стемнело, он начал думать обо всех знакомых ему людях, которые умерли на эшафоте — иные не без его помощи. Они возникали перед ним в такой стремительной последовательности, что он едва мог их сосчитать. Он видел, как умерли иные из них, и посмеивался, потому что они умирали с молитвой на устах. С каким стуком падала доска^[46] и как быстро превращались они из крепких, здоровых людей в качающиеся тюки одежды!

Может быть, кое-кто из них находился в этой самой камере — сидел на этом самом месте. Было очень темно; почему не принесли света? Эта камера была выстроена много лет назад. Должно быть, десятки людей проводили здесь последние свои часы. Казалось, будто сидишь в склепе, устланном мертвыми телами, — капюшон, петля, связанные руки, лица, которые он узнавал даже сквозь это отвратительное покрывало... Света, света!

Наконец, когда он в кровь разбил руки, колотя о тяжелую дверь и стены, появилось двое: один нес свечу, которую затем вставил в железный фонарь, прикрепленный к стене; другой тащил тюфяк, чтобы переспать на нем, так как заключенного больше не должны были оставлять одного.

Вскоре настала ночь — темная, унылая, немая ночь. Другим, бодрствующим, радостно прислушиваться к бою часов на церкви, потому что он возвещает о жизни и следующем дне. Ему он приносил отчаяние. В каждом звуке медного колокола, его глухом и низком «бум», ему слышалось — «смерть». Что толку было от шума и сутолоки беззаботного утра, проникавших даже сюда, к нему? Это был все тот же похоронный звон, в котором издевательство слилось с предостережением.

День миновал. День? Не было никакого дня; он пролетел так же быстро, как наступил, — и снова спустилась ночь, ночь такая долгая и все же такая короткая: долгая благодаря устрашающему своему безмолвию и короткая благодаря быстротечным своим часам. Он то бесновался и богохульствовал, то выл и рвал на себе волосы. Его почтенные единоверцы пришли, чтобы помолиться вместе с ним, но он их прогнал с проклятьями. Они возобновили свои благочестивые усилия, но он вытолкал их вон.

Ночь с субботы на воскресенье. Ему осталось жить еще одну ночь. И пока он размышлял об этом, настал день — воскресенье.

Только к вечеру этого последнего, ужасного дня угнетающее сознание беспомощного и отчаянного его положения охватило во всей своей напряженности его порочную душу — не потому, что он лелеял какую-то твердую надежду на помилование, а потому, что до сей поры он допускал лишь смутную возможность столь близкой смерти. Он мало говорил с теми двумя людьми, которые сменяли друг друга, присматривая за ним, а они в свою очередь не пытались привлечь его внимание. Он сидел бодрствуя, но грезя. Иногда он вскакивал и с раскрытым ртом, весь в жару, бегал взад и вперед в таком припадке страха и злобы, что даже они — привычные к таким сценам — отшатывались от него с ужасом. Наконец, он стал столь страшен, терзаемый нечистой своей совестью, что один человек не в силах был сидеть с ним с глазу на глаз — и теперь они сторожили его вдвоем.

Он прикорнул на своем каменном ложе и задумался о прошлом. Он был ранен каким-то предметом, брошенным в него из толпы в день ареста, и голова его была обмотана полотняными бинтами. Рыжие волосы свешивались на бескровное лицо; борода сбилась, несколько ключев было вырвано; глаза горели страшным огнем; невытая кожа трескалась от пожиравшей его лихорадки. Восемь... девять... десять... Если это не фокус, чтобы запугать его, если это и в самом деле часы, следующие по пятам друг за другом, где будет он, когда стрелка обойдет еще круг! Одиннадцать! Снова бой, а эхо предыдущего часа еще не отзвучало. В восемь он будет единственным плакальщиком в своей собственной траурной процессии. В одиннадцать...

Страшные стены Ньюгета, скрывавшие столько страдания и столько невыразимой тоски не только от глаз, но — слишком часто и слишком долго — от мыслей людей, никогда не видели зрелища столь ужасного. Те немногие, которые, проходя мимо, замедляли шаги и задавали себе вопрос, что делает человек, приговоренный к повешению, плохо спали бы в эту ночь, если бы могли его увидеть.

С раннего вечера и почти до полуночи маленькие группы, из двух-трех человек, приближались ко входу в привратническую, и люди с встревоженным видом осведомлялись, не отложен ли смертный приговор. Получив отрицательный ответ, они передавали желанную весть другим группам, собиравшимся на улице, указывали друг другу дверь, откуда он должен был выйти, и место для эшафота, а затем, неохотно уходя, оглядывались, мысленно представляя себе это зрелище. Мало-помалу они ушли один за другим, и в течение часа в глухую пору ночи улица оставалась безлюдной и темной.

Площадка перед тюрьмой была расчищена, и несколько крепких брусьев, окрашенных в черный цвет, были положены заранее, чтобы сдержать натиск толпы, когда у калитки появились мистер Браунлоу и Оливер и предъявили разрешение на свидание с заключенным, подписанное одним из шерифов ^[47]. Их немедленно впустили в привратническую.

— И этот юный джентльмен тоже войдет, сэр? — спросил человек, которому поручено было сопровождать их. — Такое зрелище не для детей, сэр.

— Верно, друг мой, — сказал мистер Браунлоу, — но мальчик имеет прямое отношение к тому делу, которое привело меня к этому человеку; а так как этот ребенок видел его в пору его преуспевания и злодейств, то я считаю полезным, чтобы он увидел его теперь, хотя бы это вызвало страх и причинило страдания.

Эти несколько слов были сказаны в сторонке — так, чтобы Оливер их не слышал. Человек притронулся к шляпе и, с любопытством взглянув — на Оливера, открыл другие ворота, против тех, в которые они вошли, и темными, извилистыми коридорами повел их к камерам.

— Вот здесь, — сказал он, останавливаясь в мрачном коридоре, где двое рабочих в глубоком молчании занимались какими-то приготовлениями, — вот здесь он будет проходить. А если вы заглянете сюда, то увидите дверь, через которую он выйдет.

Он ввел их в кухню с каменным полом, уставленную медными котлами для варки тюремной пищи, и указал на дверь. На ней было зарешеченное отверстие, в которое врывались голоса, сливаясь со стуком молотков и грохотом падающих досок. Там возводили эшафот.

Далее они миновали несколько массивных ворот, которые отпирали другие тюремщики с внутренней стороны, и, пройдя открытым двором, поднялись по узкой лестнице и вступили в коридор с рядом дверей по левую руку. Подав им знак остановиться здесь, тюремщик постучал в одну из них связкой ключей. Оба сторожа, пошептавшись, вышли, потягиваясь, в коридор, словно обрадованные передышкой, и предложили посетителям войти вслед за тюремщиком в камеру. Они вошли.

Осужденный сидел на скамье, раскачиваясь из стороны в сторону; лицо его напоминало скорее морду затравленного зверя, чем лицо человека. По-видимому, мысли его блуждали в прошлом, потому что он без умолку бормотал, казалось воспринимая посетителей только как участников своих галлюцинаций.

— Славный мальчик, Чарли... ловко сделано... — бормотал он. — Оливер тоже... ха-ха-ха!.. и Оливер... Он теперь совсем джентльмен... совсем джентль... уведите этого мальчика спать!

Тюремщик взял Оливера за руку и, шепнув, чтобы он не боялся, молча смотрел.

— Уведите его спать! — крикнул Феджин. — Слышите вы меня, кто-нибудь из вас? Он... он... причина всего этого. Дадут денег, если приучить его... глотку Болтера... Билл, не возитесь с девушкой... режьте как можно глубже глотку Болтера. Отпилите ему голову!

— Феджин! — окликнул его тюремщик.

— Это я! — воскликнул еврей, мгновенно принимая ту напряженную позу, какую сохранял во время суда. — Старик, милорд! Дряхлый, дряхлый старик!

— Слушайте! — сказал тюремщик, положив ему руку на грудь, чтобы он не вставал. — Вас хотят видеть, чтобы о чем-то спросить. Феджин, Феджин! Ведь вы мужчина!

— Мне недолго им быть, — ответил тот, поднимая лицо, не выражавшее никаких человеческих чувств, кроме бешенства и ужаса. — Прикончите их всех! Какое имеют они право убивать меня?

Тут он заметил Оливера и мистера Браунлоу. Забившись в самый дальний угол скамьи, он спросил, что им здесь нужно.

— Сидите смирно, — сказал тюремщик, все еще придерживая его. — А теперь, сэр, говорите то, что вам нужно. Пожалуйста, поскорее, потому что с каждым часом он становится все хуже!

— У вас есть кое-какие бумаги, — подойдя к нему, сказал мистер Браунлоу, — которые передал вам для большей сохранности человек по имени Монкс.

— Все это ложь! — ответил Феджин. — У меня нет ни одной, ни одной!

— Ради Господа Бога, — торжественно сказал мистер Браунлоу, — не говорите так сейчас, на

пороге смерти! Ответьте мне, где они. Вы знаете, что Сайкс умер, что Монкс сознался, что нет больше надежды извлечь какую-нибудь выгоду. Где эти бумаги?

— Оливер! — крикнул Феджин, поманив его. — Сюда, сюда! Я хочу сказать тебе что-то на ухо.

— Я не боюсь, — тихо сказал Оливер, выпустив руку мистера Браунлоу.

— Бумаги, — сказал Феджин, притягивая к себе Оливера, — бумаги в холщовом мешке спрятаны в отверстии над самым камином в комнате наверху... Я хочу поговорить с тобой, мой милый. Я хочу поговорить с тобой.

— Хорошо, хорошо, — ответил Оливер. — Позвольте мне прочитать молитву. Прошу вас! Позвольте мне прочитать одну молитву. На коленях прочитайте вместе со мной только одну молитву, и мы будем говорить до утра.

— Туда, туда! — сказал Феджин, толкая перед собой мальчика к двери и растерянно глядя поверх его головы. — Скажи, что я лег спать, — тебе они поверят. Ты можешь меня вывести, если пойдешь вот так. Ну же, ну!

— О Боже, прости этому несчастному! — заливаясь слезами, вскричал мальчик.

— Прекрасно, прекрасно! — сказал Феджин. — Это нам поможет. Сначала в эту дверь. Если я начну дрожать и трястись, когда мы будем проходить мимо виселицы, не обращай внимания и ускори шаги. Ну, ну, ну!

— Вам больше не о чем его спрашивать, сэр? — осведомился тюремщик.

— Больше нет никаких вопросов, — ответил мистер Браунлоу. — Если бы я надеялся, что можно добиться, чтобы он понял свое положение...

— Это безнадежно, сэр, — ответил тот, покачав головой. — Лучше оставьте его.

Дверь камеры открылась, и вернулись сторожа.

— Поторопись, поторопись! — крикнул Феджин. — Без шума, но не мешкай. Скорее, скорее!

Люди схватили его и, освободив из его рук Оливера, оттащили назад. С минуту он отбивался с силой отчаяния, а затем начал испускать вопли, которые проникали даже сквозь эти толстые стены и звенели у посетителей в ушах, пока они не вышли во двор.

Не сразу покинули они тюрьму. Оливер чуть не упал в обморок после этой страшной сцены и так ослабел, что в течение часа, если не больше, не в силах был идти.

Светало, когда они вышли. Уже собралась огромная толпа; во всех окнах теснились люди, кутившие и игравшие в карты, чтобы скоротать время; в толпе толкались, спорили, шутили. Все говорило о кипучей жизни — все, кроме страшных предметов в самом центре: черного помоста, поперечной перекладины, веревки и прочих отвратительных орудий смерти.

Глава LIII, и последняя

Рассказ о судьбе тех, кто выступал в этой повести, почти закончен. То небольшое, что остается поведать их историю, мы изложим коротко и просто.

Не прошло и трех месяцев, как Роз Флеминг и Гарри Мэйли сочетались браком в деревенской церкви, где отныне должен был трудиться молодой священник; в тот же день они вступили во владение своим новым и счастливым домом.

Миссис Мэйли поселилась у своего сына и невестки, чтобы в течение остающихся ей безмятежных дней наслаждаться величайшим блаженством, какое может быть ведомо почтенной старости: созерцанием счастья тех, на кого неустанно расточались самая горячая любовь и нежнейшая забота всей жизни, прожитой столь достойно.

После основательного и тщательного расследования обнаружилось, что, если остатки промотанного состояния, находившегося у Монкса (оно никогда не увеличивалось ни в его руках, ни в руках его матери), разделить поровну между ним и Оливером, каждый получит немногим больше трех тысяч фунтов. Согласно условиям отцовского завещания, Оливер имел права на все имущество; но мистер Браунлоу, не желая лишать старшего сына возможности отречься от прежних пороков и вести честную жизнь, предложил такой раздел, на который его юный питомец с радостью согласился.

Монкс, все еще под этим вымышленным именем, уехал со своей долей наследства в самую удаленную часть Нового Света, где, быстро растратив все, вновь вступил на прежний путь и за какое-то мошенническое деяние попал в тюрьму, где пробыл долго, был сражен приступом прежней своей болезни и умер. Так же далеко от родины умерли главные уцелевшие члены шайки его приятеля Феджина.

Мистер Браунлоу усыновил Оливера. Поселившись с ним и старой экономкой на расстоянии мили от приходского дома, в котором жили его добрые друзья, он исполнил единственное еще не удовлетворенное желание преданного и любящего Оливера, и все маленькое общество собралось вместе и зажило такой счастливой жизнью, какая только возможна в этом полном превратностей мире.

Вскоре после свадьбы молодой пары достойный доктор вернулся в Чертси, где, лишенный общества старых своих друзей, мог бы предаться хандре, если бы по своему нраву был на это способен, и превратился бы в брюзгу, если бы знал, как это сделать. В течение двух-трех месяцев он ограничивался намеками, что опасается, не вредит ли здешний климат его здоровью; затем, убедившись, что эта местность потеряла для него прежнюю притягательную силу, передал практику помощнику, поселился в холостяцком коттедже на окраине деревни, где его молодой друг был пастором, и мгновенно выздоровел. Здесь он увлекся садоводством, посадкой деревьев, ужением, столярными работами и различными другими занятиями в таком же роде, которым отдался с присущей ему пылкостью. Во всех этих занятиях он прославился по всей округе как величайший авторитет.

Еще до своего переселения он воспылал дружескими чувствами к мистеру Гримуигу, на которые этот эксцентрический джентльмен отвечал искренней взаимностью. Поэтому великое множество раз на протяжении года мистер Гримуиг навещает его. И каждый раз, когда он приезжает, мистер Гримуиг сажает деревья, удит рыбу и столярничает с большим рвением, делая все это странно и необычно, но упорно повторяя любимое свое утверждение, что его способ — самый правильный. По воскресеньям в разговоре с молодым священником он неизменно критикует его проповедь, всегда сообщая затем мистеру Лосберну строго конфиденциально, что находит проповедь превосходной, но не считает нужным это говорить. Постоянное и любимое развлечение мистера Браунлоу — подсмеиваться над старым его пророчеством касательно Оливера и напоминать ему о том вечере, когда они сидели, положив перед собой часы, и ждали его возвращения. Но мистер Гримуиг уверяет, что в сущности он был прав, и в доказательство сего замечает, что в конце концов Оливер не вернулся, каковое

замечание всегда вызывает смех у него самого и способствует его доброму расположению духа.

Мистер Ноэ Клейпол, получив прощение от Коронного суда благодаря своим показаниям о преступлениях Феджина и рассудив, что его профессия не столь безопасна, как было бы ему желательно, сначала не знал, где искать средств к существованию, не обременяя себя чрезмерной работой. После недолгих размышлений он взял на себя обязанности осведомителя, в каковом звании имеет приличный заработок. Метод его заключается в том, что раз в неделю, во время церковного богослужения, он выходит на прогулку вместе с Шарлотт, оба прилично одетые. Леди падает в обморок у двери какого-нибудь сердобольного трактирщика, а джентльмен, получив на три пенса бренди для приведения ее в чувство, доносит об этом на следующий же день и кладет себе в карман половину штрафа^[48]. Иногда в обморок падает сам мистер Клейпол, но результат получается тот же.

Мистер и миссис Бамбл, лишившись должности, дошли постепенно до крайне бедственного и жалкого состояния и, наконец, поселились как призреваемые бедняки в том самом рабочем доме, где некогда властвовали над другими. Передавали, будто мистер Бамбл говорил, что такие унижения и превратности судьбы мешают ему быть благодарным даже за разлуку с супругой.

Что касается мистера Джайлса и Бритлса, то они попрежнему занимают свои посты, хотя первый облысел, а упомянутый паренек стал совсем седым. Они ночуют в доме приходского священника, но так равномерно распределяют свое внимание между его обитателями и Оливером, мистером Браунлоу и мистером Лосберном, что населению и по сей день не удалось установить, у кого в сущности состоят они на службе.

Чарльз Бейтс, уstraшенный преступлением Сайкса, принялся размышлять о том, не является ли честная жизнь наилучшей. Придя к заключению, что это несомненно так, он покончил со своим прошлым и решил загладить его, принявшись за какой-нибудь другой род деятельности. Сначала ему пришлось тяжело, и он терпел большие лишения, но, отличаясь благодушным нравом и преследуя прекрасную цель, в конце концов добился успеха; поработав батраком у фермера и подручным у возчика, он стал теперь самым веселым молодым скотопромышленником во всем Нортхемптоншире.

Рука, пишушая эти строки, начинает дрожать по мере приближения к концу работы и охотно протянула бы немного дальше нити этих приключений.

Я неохотно расстаюсь с некоторыми из тех, с кем так долго общался, и с радостью разделил бы их счастье, пытаясь его описать. Я показал бы Роз Мэйли в полном расцвете и очаровании юной женственности, показал бы ее излучающей на свою тихую жизненную тропу мягкий и нежный свет, который падал на всех, шедших вместе с нею, и проникал в их сердца. Я изобразил бы ее как воплощение жизни и радости в семейном кругу зимой, у очага, и в веселой компании летом; я последовал бы за нею по знойным полям в полдень и слушал бы ее тихий, милый голос во время вечерней прогулки при лунном свете; я наблюдал бы ее вне дома, всегда добрую и милосердную и с улыбкой неутомимо исполняющую свои обязанности у домашнего очага; я описал бы, как она и дитя ее покойной сестры счастливы своей любовью друг к другу и многие часы проводят вместе, рисуя в своем воображении образы друзей, столь печально ими утраченных; я вновь увидел бы радостные личики, льнувшие к ее коленям, и прислушался бы к их болтовне; я припомнил бы этот звонкий смех и вызвал бы в памяти слезы умиления, сверкавшие в кротких голубых глазах. Все это и еще тысячу взглядов и улыбок, мыслей и слов — все хотел бы я воскресить.

О том, как мистер Браунлоу продолжал изо дня в день обогащать ум своего приемного сына сокровищами знаний и привязывался к нему все сильнее и сильнее по мере того, как он развивался и прорастали семена тех качеств, какие он хотел видеть в нем. О том, как он подмечал в нем новые черты сходства с другом своей молодости, которые пробуждали воспоминания о былом и тихую печаль, но были сладостны и успокоительны. О том, как двое сирот, испытав превратности судьбы, сохранили в памяти ее уроки, не забывая о милосердии к людям, о взаимной любви и о пылкой благодарности к тому, кто защитил и сохранил их. Обо всем этом не нужно говорить. Я сказал, что они были истинно счастливы, а без глубокой любви, доброты сердечной и благодарности к тому существу, чей закон — милосердие и великое свойство которого — благоволение ко всему, что дышит, — без этого не достижимо счастье.

В алтаре старой деревенской церкви находится белая мраморная доска, на которой начертано пока одно только слово: «Агнес». Нет гроба в этом склепе, и пусть пройдет много-много лет, прежде чем появится над ним еще другое имя! Но если души умерших возвращаются когда-нибудь на землю, чтобы посетить места, овеянные любовью уходящей за грань могилы, — любовью тех, кого они знали при жизни, — я верю, что тень Агнес витает иногда в этом священном уголке. Верю, что она приходит сюда, в алтарь, хоть при жизни и была слабой и заблуждающейся.

Конец

Примечания

[1] *Хогарт Уильям* (1697-1764) — замечательный английский живописец и график, основоположник нравоописательной сатиры в живописи, создавший несколько классических циклов гравюр, рисующих без прикрас быт и нравы английского общества XVIII века, чем и объясняется замечание Диккенса, что Хогарт является исключением среди бытописателей, идеализирующих преступников.

[2] «*Опера нищего*» — пародийная комедия поэта Джона Гея (1685-1732), прославившая имя автора, который в описании лондонского «дна» — нищих и преступных обитателей лондонских трущоб — дал сатиру на современное ему буржуазное общество Англии.

[3] «*Поль Клиффорд*» — один из ранних романов (1830) Эдуарда Бульвера, лорда Литтона (1803-1873), автора многочисленных популярных, но не представляющих литературной ценности романов самых различных жанров. В упоминаемом Диккенсом романе автор рисует своего героя, Клиффорда, жертвой среды, толкнувшей его на путь преступлений; Бульвер «спасает» своего героя, заставляя его пройти через очистительную любовь, благодаря которой герой раскаивается и становится весьма уважаемым гражданином.

[4] *Макарони* — кличка английских щеголей в 70-х годах XVIII века, организовавших даже «Макаронический клуб» в Лондоне; эта кличка связана с литературным термином — с так называемой «макаронической поэзией» XVI века, которая характеризовалась смешением латыни с национальными языками и выродилась в словесную буффонаду.

[5] *Работный дом* — дом призрения (приют) для бедняков в Англии. Нарисованная Диккенсом в романе картина реалистически воспроизводит организацию и порядки английских работных домов с их тюремным режимом.

[6] *Приходский врач* — врач, состоящий на службе в «приходе». В Англии раньше приходом назывался район, во главе которого церковные власти ставили священника с правом взимать с населения налоги в пользу государственной англиканской церкви. Но с течением времени приходом стал называться небольшой район в городах и сельской местности, хозяйственная жизнь которого была подчинена выборному совету граждан. В эпоху Диккенса в Англии было пятнадцать с половиной тысяч приходов. К управлению делами прихода рабочие и крестьяне не допускались, ибо правом голоса обладали только жители с высоким имущественным цензом. В круг ведения приходских властей входила также организация так называемой «помощи бедным», то есть работный дом, куда решались вступать только те жители прихода, которые потеряли всякую надежду на улучшение своих жизненных условий.

[7] *...юные нарушители закона о бедных...* — Диккенс имеет в виду закон 1834 года, по которому работный дом стоял в центре всей системы помощи бедным; приходским властям только в исключительных случаях разрешалось помещать сирот не в работном доме, а отдавать на фермы, где за ними, кстати сказать, не было никакого ухода, как и в работном доме. Таким образом, то, что Оливера отправили на ферму, являлось некоторым отступлением от закона 1834 года, и поэтому Диккенс называет младенцев, находящихся на ферме, «юными нарушителями закона».

[8] *Бидл* — низшее должностное лицо в приходе. Первоначально бидл был курьером приходских собраний, а также простым исполнителем распоряжений чиновника, ведающего в приходе призрением бедных, но вскоре стал фактически заменять этого чиновника, присвоив его функции, — он по своему произволу решал вопрос о материальном положении неимущих, осуществляя полицейский надзор в работном доме, в церкви, а нередко и в пределах прихода. Диккенс часто изображает в своих произведениях этого чиновника (см. в особенности гл. I в «Очерках Боза») и всегда рисует его резко отрицательно, убедившись на опыте в том, что бидл обладал бесконтрольной властью над судьбой бедняков, нередко являющихся жертвой его произвола.

[9] *Эликсир Даффи* — популярная детская микстура; Это название перенесено было на джин (можжевелевую водку).

[10] *Докторс-Коммонс* — так первоначально называлась корпорация (общество) юристов, занимавшихся адвокатской практикой в особом — церковном — суде, где слушались дела бракоразводные, по утверждению завещаний и споры по наследству, а также некоторые другие. Название этой корпорации юристов перенесено было на дома, где они имели свои конторы и проживали, а затем — на суд, находившийся в одном из этих домов и разбиравший упомянутые выше дела (этот суд был упразднен только в 1857 году).

[11] *Поклонись судье* — то есть мировому судье, который по закону 1834 года имел в некоторых случаях право утверждать и отменять распоряжения «совета блюстителей» работного дома, наблюдавшего также и за сиротским домом.

[12] *Чиновник по надзору за бедными* — находившийся на службе у приходских властей ответственный чиновник, одной из функций которого была проверка нуждаемости граждан, обращавшихся за помощью к приходскому совету, а также исполнение решений «совета блюстителей». Власти мало заботились о приеме на эту должность добросовестных людей, и чиновник возлагал функцию проверки нуждаемости на такое безответственное лицо, как бидл, от которого после 1834 года фактически зависело помещение нуждавшегося в работный дом.

[13] *Брайдуэл* — старинная исправительная тюрьма со строгим режимом, известная тем, что заключение в ней, как писали мемуаристы XVII века, «было хуже смерти». Эта тюрьма была снесена только в 1864 году.

[14] *Блюхеровские башмаки* — высокие зашнурованные ботинки.

[15] *Ступальное колесо* — Так назывался длинный вал, нарезанный горизонтальными ступенями. Над валом неподвижно закреплена широкая доска с ручками, держась за которые и переступая ногами по ступеням вала, рабочие приводят его в движение; ступальное колесо соединялось с каким-нибудь механизмом. В английских тюрьмах и работных домах на ступальное колесо назначали в порядке наказания.

[16] *Боб да сорока* — на воровском жаргоне: шиллинг и полпенни.

[17] «*Ангел*» — популярный трактир в одном из лондонских районов — в Излингтоне.

[18] *Шарики* — излюбленная в Англии детская игра.

[19] *Волан* — игра, напоминающая теннис, с той разницей, что партнеры играют не мячом, а куском пробкового дерева с насаженными на него перьями.

[20] *Панч* — герой английского кукольного театра, соответствует русскому Петрушке.

[21] *Ньюгет* — центральная уголовная тюрьма в Лондоне. Во время лондонского «мятежа лорда Гордона» (1780), описанного Диккенсом в романе «Барнеби Радж», частично была разрушена, затем восстановлена и в 1877 году закрыта.

[22] *Тростниковая свеча* — тусклая сальная свеча с фитилем из сердцевины тростника.

[23] *Рэтклифская большая дорога* — так называлась раньше длинная улица в рабочем районе Лондона, к северу от огромных лондонских доков.

[24] *Криббедж* — популярная карточная игра.

[25] *Красный фонарь* — «вывеска» врача в эпоху Диккенса.

[26] *Соверен* — золотая монета ценностью в фунт стерлингов, то есть двадцать шиллингов.

[27] *Небезынтересная газета «Лови! Держи!»* — полицейская газета, в которой печатались приметы разыскиваемых преступников. В Англии, в старину, все жители местности, где было совершено преступление, обязаны были участвовать в поимке преступников, ибо, в случае их бегства, на все население налагался штраф. Обычно облава сопровождалась гиканьем и криками «Хью энд край!». Эти возгласы, — которые можно перевести, как указано выше, были избраны для названия газеты.

[28] *Варфоломеев день* — праздник св. Варфоломея в ноябре, когда в Лондоне с давних пор

происходила большая ярмарка; эта ярмарка перестала существовать при жизни Диккенса — в 1855 году.

[29] *Сенешаль* — управляющий королевским замком во Франции.

[30] *Судебный процесс касательно оседлости* — судебное разбирательство вопроса о месте рождения граждан, нуждающихся в помощи приходских властей. К нему прибегали всякий раз, когда приходские власти старались сократить расходы по работному дому; одной из таких мер, помогающих приходу избавиться от неимущих граждан, была высылка бедняков, не родившихся в данной местности, то есть не имеющих «права оседлости». На такой судебный «процесс» Бамбл и везет двух тяжело больных людей, которым приходские власти отказали в помощи.

[31] *Клеркенуэлская сессия* — период, в течение которого происходили судебные заседания; в Англии суды, за исключением низших (мировых, заседали периодически — четыре раза в год; зги периоды, в течение которых суды разбирали подлежащие их ведению дела, назывались «квартальными сессиями». На такую сессию и едет Бамбл в Лондон, где в районе Клеркенуэл суд должен был разбирать дело о «праве оседлости».

[32] *Олд-Бейли* — старый уголовный суд, находившийся рядом с Ньюгетской тюрьмой; смертные приговоры приводились в исполнение не во дворе суда, а во дворе тюрьмы.

[33] *Уайтчепл* — северо-восточный район Лондона, получивший печальную известность своими трущобами, в которых ютилась беднота.

[34] *Джемми* — так называют на воровском жаргоне складной лом, которым пользуются взломщики.

[35] *Вакса Дэй и Мартин* — известная в Лондоне вакса для обуви, производимая фирмой, успешно конкурировавшей с фирмой Уоррена, на предприятии которого работал Диккенс, когда был ребенком.

[36] Исковерканный юридический латинский термин «Non est inventus» — «Не найден»

[37] *Джек Кетч* — так называли палача в эпоху реставрации Стюартов на английском престоле в 60–80-х годах XVIII века. Это прозвище стало нарицательным.

[38] *Пепперминт* — водка, настоянная на мяте и перце.

[39] «Газета» — сокращенное название «Лондонской газеты», основанной в XVII веке для публикации распоряжений правительства, назначений чиновников, судебных постановлений о банкротствах и тому подобного.

[40] *Самострел* — ружье, приводимое в действие каким-нибудь механическим способом. Диккенс имеет в виду самострелы, устанавливаемые для борьбы с браконьерами. Английское законодательство не запрещало такой бесчеловечной расправы над теми, кто рисковал охотиться без разрешения на земле помещика.

[41] *Эсквайр* — звание, значение которого менялось с течением времени; в феодальную эпоху его получал оруженосец рыцаря; затем оно было присвоено чиновникам, занимающим должности, связанные с доверием правительства (например, мировым судьям); в прошлом веке это значение было утрачено и в обиходе звание эсквайра присваивалось состоятельным буржуа; в настоящее время вышло из употребления.

[42] *Ньюгетский справочник* — издание в шести томах, содержащее биографии знаменитых преступников, отбывавших наказание в Ньюгетской тюрьме с конца XVIII века.

[43] *...чи дела передавались в уголовный суд* — то есть те правонарушители, действия которых определением мирового судьи подлежат рассмотрению судом более высокой инстанции. По английским законам о судостроительстве мировой (полицейский) суд, если дело подлежало его ведению, мог оправдать обвиняемого или осудить. В том случае, если бывало доказано, что есть основания для обвинения арестованного в преступлении, не подлежащем ведению мирового суда, последний выносил решение о передаче дела в суд более высокой инстанции — в уголовный суд.

[44] *...водружен камень в честь Виттингтона...* — камень, водруженный на одной из улиц района Хайгет в Лондоне, в том месте, где легендарный Дик Виттингтон якобы услышал звон колоколов, призывавший его вернуться назад. Диккенс не раз упоминает в своих романах о герое этой популярной легенды, рассказывающей о юном ученике торговца мануфактурой, задумавшем бежать из Лондона, но по дороге до него донесся звон колоколов старинной церкви Сент Мэри Ле Бау, в котором якобы слышались голоса: «Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». Юный Дик вернулся, и, согласно легенде, пророчество осуществилось — Роберт Виттингтон (историческое лицо XV века) трижды занимал пост лорд-мэра Лондона.

[45] *Канцлерский суд* — высший суд, созданный в раннюю пору феодализма как дополнение к системе судов, руководствовавшихся при рассмотрении дел королевскими указами и другими источниками закона; по замыслу организаторов Канцлерского суда последний должен был руководствоваться «справедливостью» и председателем его являлся канцлер (министр юстиции). На практике такое противопоставление судов «общего права» Канцлерскому суду привело к необычайной сложности в толковании законов, а производство в Канцлерском суде сопровождалось неслыханной волокитой и было постоянным источником юридических ухищрений недобросовестных адвокатов. Не удивительно, что Диккенс не раз возвращался к разоблачению злоупотреблений, связанных с деятельностью Канцлерского суда, являвшегося бедствием для населения Англии.

[46] *С каким стуком падала доска...* — доска, которую выдергивают из-под ног осужденного при совершении казни через повешение.

[47] *Шериф* — высший представитель исполнительной власти в графстве (области), ведающий полицией и уголовным розыском, а также надзирающий за организацией выборов в парламент, исполнением судебных решений и тому подобным.

[48] *...кладет себе в карман половину штрафа...* — Прибегая к своей уловке, Ноэ выяснял, кто из трактирщиков торгует спиртными напитками по воскресеньям, покуда не кончилось богослужение в церквях, что запрещалось полицейскими властями; донося полиции о нарушении закона, он получал от последней награду в размере половины штрафа, взимаемого

с торговца.